This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

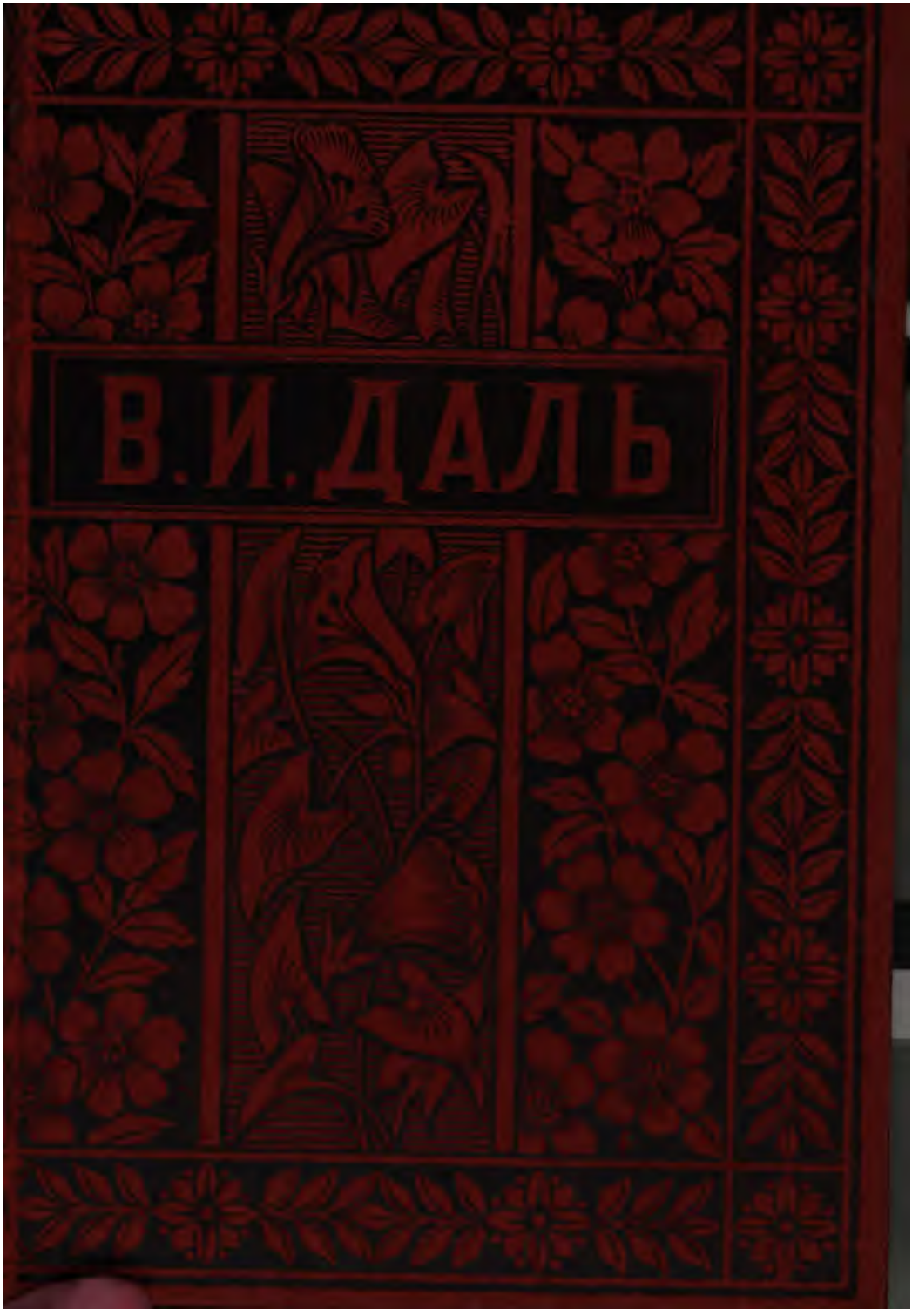
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

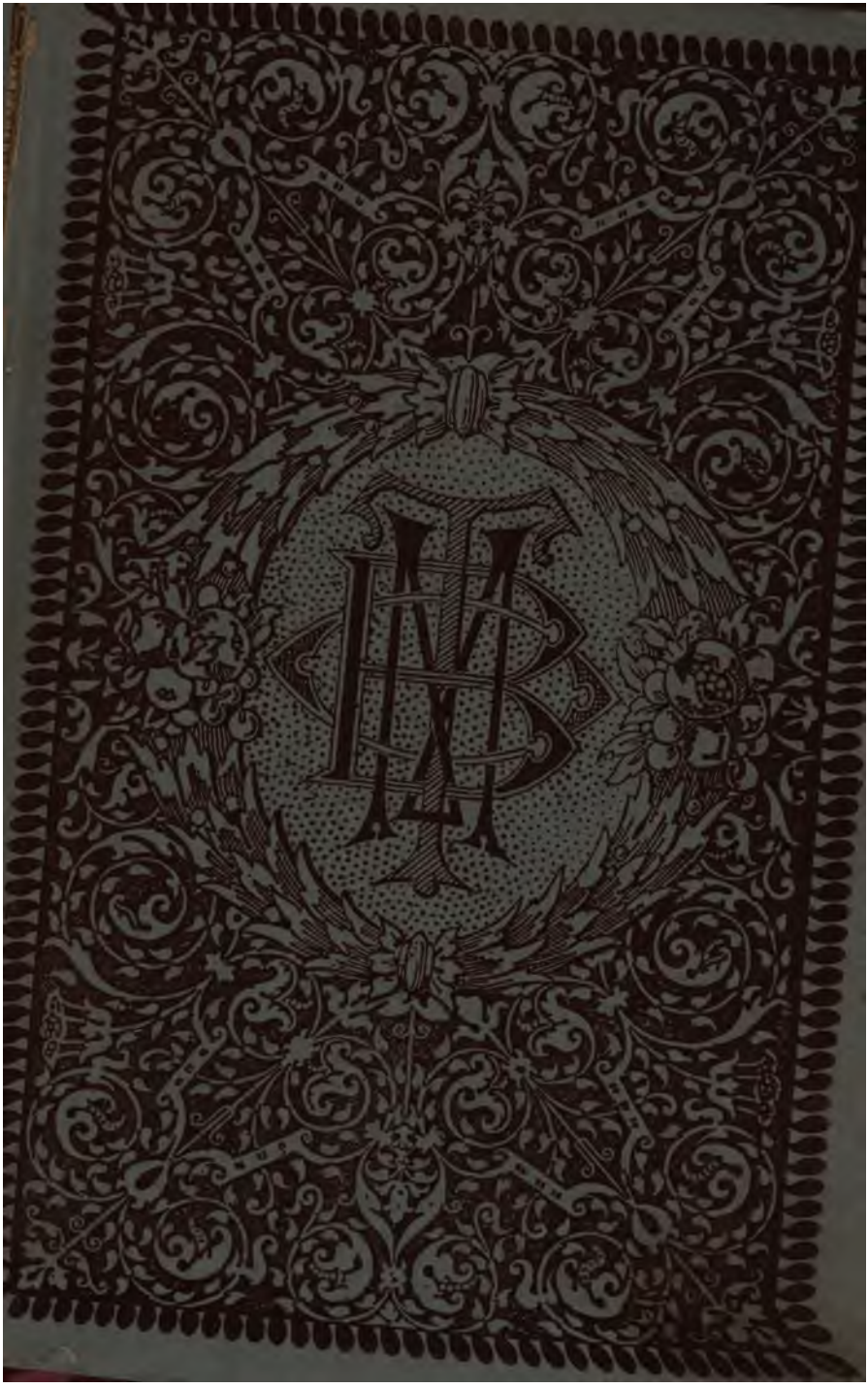
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


В.И.ДАЛЬ

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.



14-1
№ 115.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

I. КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
II. ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ИГРИВЫЙ
III. ОТЕЦЪ СЪ СЫНОМЪ
IV. ГДѢ ПОТЕРЯЕШЬ, НЕ ЧАЕШЬ, ГДѢ НАЙДЕШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ
V. ГОФМАНСКАЯ КАПЛЯ
VI. ОТСТАВНОЙ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРБУРГЪ — Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА — Кузнецкій мостъ, домъ № 12

1897

Д 14-1
№ 115.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

Даль, Вл. И.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

I. КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
II. ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ИГРИВЫЙ
III. ОТЕЦЪ СЪ СЫНОМЪ
IV. ГДѢ ПОТЕРЯЕШЬ, НЕ ЧАЕШЬ, ГДѢ НАЙДЕШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ
V. ГОФМАНСКАЯ КАПЛЯ
VI. ОТСТАВНОЙ

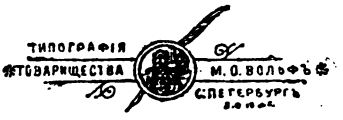
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРВУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, домъ № 12

1897

891.13
D131
V.1



Дозволено цензурою 1-го марта 1897 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВИЧЪ ДАЛЬ

КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

П. И. МЕЛЬНИКОВА

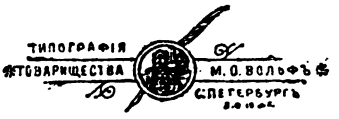
(Андрея Печерскаго)

I.

Владиміръ Ивановичъ Даль родился 10-го ноября 1801 года, въ мѣстечкѣ Луганѣ, Славяносербскаго уѣзда Екатеринославской губерніи. Отецъ его въ то время служилъ врачомъ при Луганскомъ казенномъ литейномъ заводѣ.

Іоганнъ Даль, родомъ Датчанинъ, въ ранней молодости уѣхалъ въ Германію и тамъ въ одномъ изъ университетовъ (кажется Іенскомъ) прошелъ курсъ наукъ богословскаго факультета. Онъ сдѣлался замѣчательнымъ лингвистомъ. Кромѣ греческаго и латинскаго и многихъ новыхъ европейскихъ языковъ, онъ въ совершенствѣ изучилъ языкъ еврейскій. Извѣстность Даля

87.13
D131
V.1



Дозволено цензурою 1-го марта 1897 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВИЧЪ ДАЛЬ

КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

П. И. МЕЛЬНИКОВА

(Андрея Печерскаго)

I.

Владиміръ Ивановичъ Даль родился 10-го ноября 1801 года, въ мѣстечкѣ Луганѣ, Славяносербскаго уѣзда Екатеринославской губерніи. Отецъ его въ то время служилъ врачомъ при Луганскомъ казенномъ литейномъ заводѣ.

Іоганнъ Даль, родомъ Датчанинъ, въ ранней молодости уѣхалъ въ Германію и тамъ въ одномъ изъ университетовъ (кажется Іенскомъ) прошелъ курсъ наукъ богословскаго факультета. Онъ сдѣлался замѣчательнымъ лингвистомъ. Кромѣ греческаго и латинскаго и многихъ новыхъ европейскихъ языковъ, онъ въ совершенствѣ изучилъ языкъ еврейскій. Извѣстность Даля

какъ лингвиста достигла императрицы Екатерины II, и она вызвала его въ Петербургъ на должность библіотекаря. Здѣсь Іоганнъ Даль увидѣлъ, что протестантское богословіе и знаніе древнихъ и новыхъ языковъ не дадутъ ему хлѣба, а потому отправился въ Іену, прошелъ тамъ курсъ врачебнаго факультета и возвратился въ Россію съ дипломомъ на степень доктора медицины. Въ Петербургѣ женился онъ на Маріи Фрейтагъ, дочери служившаго въ ломбардѣ чиновника. Мать ея, бабушка Владиміра Ивановича, Марья Ивановна Фрейтагъ, изъ рода французскихъ гугенотовъ де-Мальи, занималась русскою литературой. Она переводила на русскій языкъ Гескера и Ифланда [1]). Вліяніе бабушки не осталось безслѣднымъ для Владиміра Ивановича Даля. Съ матерью говорилъ онъ по-русски, а поминая бабушку какъ только выучился читать, сталъ читать ея переводы, а съ ними и другія русскія книги. Такимъ образомъ чтеніе на русскомъ языкѣ было первымъ его чтеніемъ.

Отецъ Владиміра Ивановича былъ горячъ иногда до безумія. Онъ поступилъ на медицинскую службу въ кирасирскій полкъ, принадлежавшій къ Гатчинскимъ полкамъ великаго князя Павла Петровича. Въ автобіографической запискѣ, которую Владиміръ Ивановичъ, уже пораженный физическими и нравственными ударами [2]), диктовалъ дочери за полгода до кончины, сказано слѣдующее: «Отецъ мой съ великимъ княземъ не

---

[1]) Нѣкоторые упоминаются въ *Росписи* Смирдина, №№ 7.207 и 7.268.

[2]) Въ Ноябрѣ 1871 года съ нимъ случился первый ударъ; въ февралѣ 1872 скончалась супруга его Екатерина Львовна (дочь оренбургскаго помѣщика Соколова). Всякій, кто хотя немного зналъ семейство Даля, согласится, что эта чета составляла рѣдкій образецъ истиннаго христіанскаго супружества. Начало автобіографической записки В. И. Даля (всего три страницы, до выпуска изъ Морскаго корпуса) напечатано въ 11-й книжкѣ *Русскаго Архива* 1872 года.

ладилъ, а по обязанности являлся ежедневно къ нему съ рапортомъ. Однажды майоръ того полка (кирасирскаго) опоздалъ на какой-то смотръ или парадъ. Великій князь, наскакавъ на него, до того ему выговаривалъ, что тотъ, покачавшись на лошади, свалился снопомъ: съ нимъ сдѣлался ударъ. Павелъ Петровичъ бросился къ нему, приказалъ отцу моему о немъ заботиться, а когда, черезъ нѣсколько дней, майоръ поправился и могъ лично явиться къ нему, то великій князь, подавъ ему руку, сказалъ:

« — Sind Sie ein Mensch?

Тотъ отвѣчалъ:

« — Ja, Hoheit.

« — So können Sie auch verzeihen [1]).

«Я слышалъ отъ матери», продолжаетъ Владиміръ Ивановичъ, «что она была все время послѣ этого въ ужасномъ страхѣ, потому что отецъ мой постоянно держалъ заряженные пистолеты, объявивъ что еслибы съ нимъ случилось что-нибудь подобное, то онъ клянется застрѣлить себя.»

Изъ Гатчины Іоганнъ Даль перешелъ на службу въ горное вѣдомство, сначала въ Петрозаводскъ, потомъ въ Луганскій заводъ, затѣмъ, уже по рожденіи Владиміра Ивановича, въ морское вѣдомство, въ Николаевъ. Отсюда лѣтомъ 1814 года, когда Владиміру Далю было тринадцать съ половиной лѣтъ, его отвезли учиться въ Морской кадетскій корпусъ.

«Что́ скажу о воспитаніи въ корпусѣ» говоритъ Владиміръ Ивановичъ въ автобіографической запискѣ. «О немъ въ памяти остались однѣ розги, такъ-называемыя дежурства, гдѣ дневалъ и ночевалъ барабанщикъ со скамейкою, назначенною для этой потѣхи.

---

1) «Вы человѣкъ?»—«Да, ваше высочество.»—«Ну, стало-быть вы можете и прощать.»

Трудно нынѣ повѣрить, что не было другаго исправительнаго наказанія противъ ошибки, шалости, лѣни и даже въ случаѣ простой безсмысленной досады любаго изъ числа двадцати пяти офицеровъ. Раскажу нѣсколько случаевъ, которыхъ я былъ свидѣтелемъ. По обычнымъ преданіямъ, кадеты сообща устраивали въ огромной обѣденной залѣ въ Новый Годъ родъ иллюминаціи, ставили раскрашенныя и промасленныя бумажныя саженныя пирамиды, освѣщенныя огарками внутри. Какого труда и заботы дѣло это стоило, особенно потому, что оно должно было дѣлаться тайно! Дѣти прятались для этого на чердакѣ и въ другихъ малодоступныхъ мѣстахъ, расписывая, подъ охраной выставленныхъ махальныхъ, бумажные листы вензелями начальниковъ своихъ и наклеивали на лучинныя пирамиды. Объ этомъ, конечно, знали всѣ офицеры, но не менѣе того, какъ всякая безъ изъятія забава или занятіе, кромѣ научнаго, были запрещены, то въ 1816 году офицеръ 1-й роты Миллеръ (онъ стóитъ того, чтобъ его назвать) [1]) своими руками, въ умывалкѣ 1-й роты, изломалъ въ щепы и изорвалъ въ клочки изготовленныя къ Новому Гогу пирамиды. Не безъ слезъ, конечно, изготовлены были въ замѣнъ вторыя, по недосугу гораздо меньшія, а впослѣдствіи, на самой иллюминаціи и маскарадѣ, сами офицеры, прохаживаясь по залѣ, любовались картинными вензелями своими на пирамидахъ, будто ни въ чемъ не бывало. Другой примѣръ. Директоръ нашъ, дряхлѣйшій адмиралъ Карцовъ, [2]) выживший уже изъ лѣтъ, замѣтилъ въ сумеркахъ, что кадеты разчистили себѣ на дворѣ катокъ и катаются, немногіе на конькахъ, другіе скользя на по-

---

[1]) Тогда флота лейтенантъ Николай Ѳедоровичъ Миллеръ.

[2]) Полный адмиралъ, сенаторъ, адмиралтействъ-коллегіи членъ, *александровскій кавалеръ* Петръ Кондратьевичъ Карцовъ.

дошвахъ, приказалъ купить и раздать на каждую роту по десяти паръ коньковъ. Казалось бы затрудненіе и самое запрещеніе этимъ было устранено, и раздачу коньковъ нельзя было принять иначе какъ за поощреніе, а между тѣмъ если кадетъ ловили на такой забавѣ, которая считалась въ числѣ шалостей, если они не успѣвали скрыться черезъ безконечно длинныя галлереи, то ихъ непремѣнно сѣкли. Иногда нельзя было не подумать, что люди эти не въ своемъ умѣ. То же можно сказать о лейтенантѣ Калугинѣ, вертлявомъ щеголѣ и ломакѣ. Всякаго кадета который смѣлъ при немъ смѣяться, онъ допрашивалъ подъ розгами: «о чемъ ты смѣешься?» вѣроятно подозрѣвая, что смѣются надъ нимъ. Послѣдствія такого воспитанія очевидны. Не было того порока, который бы не входилъ въ обиходъ кадетской жизни. Это было тѣмъ тяжелѣе, что о самой возможности такой жизни и не слыхивали дома....

«Что сказать о наукѣ въ корпусѣ? Почти то же что и о нравственномъ воспитаніи: оно было изъ рукъ вонъ плохо, хотя для виду учили всему. Маркъ Филипповичъ Горковенко, [1]) ученикъ извѣстнаго Гамалѣи и нашъ инспекторъ классовъ, былъ того убѣжденія, что знаніе можно вбить въ ученика только розгами или серебряною табатеркой въ голову. Эта табатерка всякому памятна.

«Тамъ не такъ сказано, говори тѣми же словами»,— и затѣмъ тукманку въ голову: это было привѣтствіе Марка Филипповича при вступленіи ученика въ безконечный рядъ классовъ.»

Владиміръ Ивановичъ свое дѣтство и корпусное воспитаніе описалъ также въ повѣсти *Мичманъ Поцѣлуевъ*. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этой повѣсти, ко-

---

1) Капитанъ-лейтенантъ, а впослѣдствіи капитанъ перваго ранга и почетный членъ морскаго ученаго комитета.

торую можно, хотя не совсѣмъ, но отчасти, назвать автобіографическою, по крайней мѣрѣ Владиміръ Ивановичъ не разъ говаривалъ, что описывая похожденія Поцѣлуева, онъ разумѣлъ себя, молоденькаго мичмана, ѣхавшаго въ мартѣ 1819 года изъ Петербурга въ Николаевъ.

«Смарагдъ Петровичъ Поцѣлуевъ былъ сынъ помѣщика Екатеринославской губерніи, воспитывался въ Морскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ мичманомъ, назначенъ въ Черноморскій флотъ и ѣхалъ теперь въ Николаевъ.

«Смарагдъ былъ мальчикомъ съ хорошими способностями, съ доброю, дѣтскою душою, родился подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ созвѣздія Лиры и былъ поэтъ. Такъ по крайней мѣрѣ ему самому казалось; хотя сущность дѣла заключалась въ томъ, что Смарагдъ вступалъ въ тѣ лѣта и отношенія, когда всякій человѣкъ съ душой и чувствомъ дѣлается поэтомъ, и стиховъ не пишетъ только тотъ, развѣ кому своенравная природа положительно отказала въ способности расположить готовую мысль мѣрными стопами и закончить ихъ риѳмой. Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которые рѣшительно не въ состояніи написать самое будничное стихотвореніе. Они пишутъ прозой хорошо, цвѣтисто, въ прозѣ ихъ есть поэзія, но они не въ состояніи сложить четыре стиха, сколько бы ни бились. Если такихъ людей по справедливости называемъ въ этомъ отношеніи бездарными, то Смарагдъ Петровичъ былъ юноша даровитый; онъ писалъ стишки, несмотря на недавнее упражненіе свое въ искусствѣ этомъ и малую опытность, довольно складно и свободно, даже нерѣдко наобумъ, вдругъ, но—геній его былъ слабосиленъ; это была естественно одна только вспышка, и начатое стихотвореніе оставалось недоконченнымъ. Начать стихотвореніе было ему легко, почти не стоило труда;

но продолженіе и конецъ всегда откладывались на не извѣстный срокъ и очень рѣдко исполнялись.

В. И. Даль на 30-мъ году жизни, съ портрета принадлежаго дочери, изъ альбома Пушкинской выставки въ Москвѣ

«Поцѣлуевъ получилъ дома отъ матери, нѣмки, благонравное воспитаніе, мечтательное воображеніе, кур-

чавый волосъ, бѣлое лицо и голубые глаза; [1]) отъ отца, русскаго—беззаботный нравъ, неглупую голову, довольно широкія плечи, крѣпкое здоровье. На тринадцатомъ году поступилъ онъ въ морской корпусъ, пробылъ тамъ пять лѣтъ, и теперь, съ эполетами, шитымъ воротникомъ и саблею на черномъ лаковомъ ремнѣ черезъ плечо, увидѣлъ свѣтъ.

«Поцѣлуевъ, какъ острый, но скромный и чулый мальчикъ, который выросъ дома безъ розогъ, этой необходимой принадлежности и приправы всякаго порядочнаго воспитанія, Поцѣлуевъ понялъ, въ первые три дня пребыванія своего въ корпусѣ, что здѣсь всего вѣрнѣе и безопаснѣе какъ можно менѣе попадаться на глаза, не пускаться никогда и ни въ какія дѣтскія игры, а сидѣть, прижавшись къ стѣнкѣ, тише воды, ниже травы. Такъ было въ то время въ корпусѣ; я знаю, что теперь совсѣмъ иное, я говорю о давнопрошедшемъ [2]). Тогда сѣкли съ большимъ прилежаніемъ

---

[1]) Такова была въ самомъ дѣлѣ наружность Даля. О родителяхъ своихъ въ автобіографической запискѣ онъ говоритъ: «Отецъ былъ строгъ, но очень уменъ и справедливъ; мать добра и разумна и лично занималась обученіемъ нашимъ, насколько могла; она знала кромѣ нѣмецкаго и русскаго еще три языка». То же и въ *Мичманѣ Поцѣлуевѣ*, хотя тамъ горный врачъ, Датчанинъ, жившій въ Екатеринославской губерніи, и представленъ Русскимъ и екатеринославскимъ помѣщикомъ.

[2]) Повѣсть *Мичманъ Поцѣлуевъ* писана въ тридцатыхъ годахъ, и ссылка на давнопрошедшее время имѣетъ значеніе классической медовой лепешки, которую ветупавшіе въ Плутоново царство кидали Церберу, то-есть цензурному комитету. Въ тридцатыхъ годахъ въ Морскомъ корпусѣ учился мой двоюродный братъ Николай Жилинъ, лѣтъ черезъ пять исключенный за малоуспѣшность. Когда мой дядя бралъ неудавшагося сынка изъ корпуса, съ него истребовали 17 рублей за розги, употребленныя начальствомъ на образованіе его дѣтища. Изъ сего явствуетъ, что въ тридцатыхъ годахъ, когда Даль писалъ *Поцѣлуева*, въ Морскомъ корпусѣ пороли чуть ли не здоровѣй прежняго, но такъ какъ барабанщики въ то время уже вовсе не могли снабжать корпусъ необходимыми педагогическими пособіями, къ тому же и окрестности Петербурга обѣднѣли лѣсомъ, то, чтобы казенное заведеніе не понесло убытковъ, стали *пороть* кадетовъ на родительскій счетъ.

каждаго, кто попадался въ такъ-называемой шалости, то-есть, кого заставали за какимъ бы то ни было занятіемъ, кромѣ учебныхъ тетрадей; а кто не попадался, того оставляли въ покоѣ, разсуждая весьма основательно, что нельзя же пороть всѣхъ, поголовно; дежурный барабанщикъ, и тотъ уже не успѣвалъ припасать розогъ.

«Но Поцѣлуевъ по крайней мѣрѣ обогатилъ въ корпусѣ знаніе русскаго языка, и вотъ вамъ цѣлый списокъ новыхъ словъ, принятыхъ и понятныхъ въ морскомъ корпусѣ; читайте и отгадывайте: бадяга, бадяжка и т. д. [1]) Поцѣлуевъ кромѣ того научился безпрекословно повиноваться всякому *старику*, то-есть старому кадету, въ широкихъ, собственныхъ брюкахъ, въ затяжкѣ, въ портупейкѣ или ременномъ поясочкѣ съ мѣднымъ наборомъ и левиками. Въ классахъ было много кадетовъ, и каждымъ заниматься учителямъ было недосужно; поэтому они требовали, чтобы кадеты по крайней мѣрѣ сидѣли тихо, не шумѣли и не кричали; и смирный по неволѣ считался прилежнымъ.

«Итакъ собственно кадетская жизнь оставила въ Поцѣлуевѣ немного поэтическихъ воспоминаній; но какъ онъ былъ за то счастливъ и доволенъ, когда *вышелъ* въ гардемарины и *пошелъ* на плоскодонномъ фрегатѣ до Красной-Горки! Тяжеленько мальчику сидѣть изъ году въ годъ за рѣшеткой—немилуемая участь всѣхъ тѣхъ, у кого нѣтъ родныхъ или сострадательныхъ знакомыхъ въ столицѣ. И какъ отрадно за то подышать воздухомъ на свободѣ, быть гребцомъ, марсовымъ, понимать и слушать команду вахтеннаго и чувствовать себя полезнымъ и нужнымъ на своемъ мѣстѣ—отдать

---

1) Затѣмъ слѣдуютъ 34 слова кадетскаго жаргона, перечисленныя во время сочиненія повѣсти не по записи, а по памяти, какъ сказывалъ Владиміръ Ивановичъ. Записи начинаются съ Зимогорскаго Яма, въ мартѣ 1819 года, какъ будетъ сказано ниже.

брамъ-фалъ,взять кливеръ на гитовы, по командѣ, или даже спустить за-словомъ флагъ или гюйсъ, объѣдаться изюмомъ, орѣхами, пряниками, всегдашнею морскою провизіей гардемариновъ, ходить въ рабочей, измаранной смолою рубахѣ, подпоясавшись портупейкой, въ фуражкѣ на ремешкѣ или цѣпочкѣ, чтобъ ее не сорвало вѣтромъ; купаться, кататься на гребномъ суднѣ, не ходить цѣлый мѣсяцъ въ классы и двигать руки и ноги на свободѣ... О! это знаетъ только тотъ, кто это испыталъ!

«Но послѣ одного раздольнаго и разгульнаго мѣсяца слѣдуетъ одиннадцать однообразныхъ, затворническихъ Малодушіе опять беретъ верхъ. И засыпая и просыпаясь, трехъ-кампанецъ досчитывается уже по пальцамъ дня или по крайней мѣрѣ мѣсяца выпуска. Легко сказать, вольный казакъ-офицеръ, самъ себѣ господинъ, въ эполетахъ, съ саблей, никто не смѣетъ высѣчь — легко сказать, а воля ваша, голова закружится отъ этого внезапнаго перехода. Право, не мудрено что многіе въ неистовой, необузданной радости своей, кидаются въ крайности и распоряжаются, какъ новые неопытные хозяева свободою своею довольно дурно.»

Въ морскомъ корпусѣ Владиміръ Ивановичъ пробылъ до 17-ти лѣтняго возраста. Понятно, что при той методѣ воспитанія, какою руководились Горковенко и его помощники, нельзя было ожидать, чтобы будущій составитель монументальнаго *Словаря живаго великорусскаго языка* вынесъ изъ корпуса какія-либо полезныя свѣдѣнія по части русскаго языкознанія. Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ считать важнымъ пріобрѣтеніемъ знаніе словъ кадетскаго жаргона. За то онъ вынесъ изъ корпуса другое, имѣвшее свое вліяніе на предстоявшія впослѣдствіи ему занятія въ разработкѣ русскаго языка. По словамъ В. И. Даля, ему, еще ребенку, всегда казалось страннымъ, отчего это люди, полу-

чившіе образованіе, говорятъ по-русски не такъ, какъ говорятъ простолюдины. Еще болѣе ему странно было то, что рѣчь простолюдиновъ съ ея своеобразными оборотами всегда почти отличалась краткостью, сжатостью, ясностью, опредѣлительностью и въ ней было гораздо больше жизни, чѣмъ въ языкѣ книжномъ и въ языкѣ, которымъ говорятъ образованные люди. И онъ полюбилъ народную рѣчь можно сказать еще съ младенчества. «Еще въ корпусѣ, говоритъ онъ, полусознательно замѣчалъ я, что та русская грамматика, по которой учили насъ съ помощію розогъ и серебряной табатерки, ни больше ни меньше, какъ вздоръ на вздорѣ, чепуха на чепухѣ. Конечно, я тогда не могъ еще понимать, что русской грамматики и до сихъ поръ не бывало, что та чепуха которую зовутъ «русскою грамматикой» составлена на чужой ладъ, сообразно со всѣми Петровскими преобразованіями: неизученный, неизслѣдованный въ его законахъ живой языкъ взяли да и втиснули въ латинскія рамки, склеенныя нѣмецкимъ клеемъ».

Это убѣжденіе, рядомъ съ убѣжденіемъ, что богатый и сильный языкъ нашъ почти два вѣка портили и до сихъ поръ не перестаютъ портить внесеніемъ въ него безъ всякой надобности иноязычныхъ словъ, постоянно носилъ покойный Даль до самой кончины.

Въ *Напутномъ Словѣ* къ *Словарю* онъ сказалъ:

«Съ грамматикой я искони былъ въ какомъ-то разладѣ, не умѣя примѣнить ее къ нашему языку и чуждаясь ея не столько по разсудку сколько по какому-то темному чувству опасенія, чтобъ она не сбила съ толку, не ошколярила, не стѣснила свободы пониманія, не обузила бы взгляда. Недовѣрчивость эта была основана на томъ, что я всюду встрѣчалъ въ русской грамматикѣ латинскую и нѣмецкую, а русской не находилъ.»

Таково было убѣжденіе Даля о русской грамматикѣ. Оно не оставляло его съ ранней молодости до кончины. Когда подобныя рѣчи говаривалъ Даль, будучи мичманомъ или военнымъ лѣкаремъ, на нихъ можно было не обращать вниманія, но когда слова эти произнесены такимъ знатокомъ русскаго языка, какъ Даль, на склонѣ дней его, послѣ 50-ти-лѣтнихъ почти трудовъ надъ *Словаремъ живаго великорусскаго языка*, для составленія котораго потребовалась бы цѣлая академія и цѣлое столѣтіе, надъ сказаннымъ стоитъ призадуматься. У насъ была Россійская Академія, есть теперь Второе Отдѣленіе Академіи Наукъ, у насъ во всѣхъ университетахъ и равныхъ имъ заведеніяхъ существуютъ каѳедры русскаго языка и словесности, во всѣхъ училищахъ, начиная съ гимназій и кончая сельскими школами учатъ русскому языку. А есть ли у насъ русская грамматика? И можно ли въ самомъ дѣлѣ назвать русскою грамматикой втиснутую какъ въ тюремныя колодки, по выраженію Даля, въ латинскія рамки, склеенныя нѣмецкимъ клеемъ, нашу своеобычную, своеобразную, развившуюся по собственнымъ, невѣдомымъ чужеземцу законамъ, крѣпкую, сильную, могучую русскую рѣчь?

Но пусть продолжаетъ самъ почившій, послѣ многихъ и долгихъ трудовъ, незабвенный нашъ труженикъ, инородецъ по крови, но по духу такой русскій, какихъ дай Богъ побольше въ средѣ прямыхъ и кровныхъ сыновъ Россіи.

«Мы (то-есть русское образованное общество), говоритъ онъ въ томъ же *Напутномъ словѣ* къ *Словарю*, теперь только начинаемъ догадываться, что насъ завели въ трущобу, что надо выбраться изъ нея по добру по здорову и проложить себѣ иной путь. Все, что сдѣлано было доселѣ, со временъ Петровскихъ, въ духѣ искаженія языка, все это, какъ неудачная прививка, какъ

прищепа разнороднаго сѣмени, должно усохнуть и отвалиться, давъ просторъ дичку, коему надо расти на своемъ корню, на своихъ сокахъ и сдобриться холей и уходомъ, а не насадкой сверху. Если и говорится, что голова хвоста не ждетъ, то наша голова или наши головы умчались такъ далеко куда-то въ бокъ, что едва ли не оторвались отъ туловища; а коли худо плечамъ безъ головы, то не корыстно же и головѣ безъ тула. Примѣняя это къ нашему языку, сдается будто головѣ этой приходится либо оторваться вовсе и отвалиться, либо опомниться и воротиться. Говоря просто, мы увѣрены, что русской рѣчи предстоитъ одно изъ двухъ: либо испошлѣть до нельзя, либо образумясь своротить на иной путь, захвативъ притомъ съ собою всѣ покинутые въ торопяхъ запасы. Взгляните на Державина, на Карамзина, на Крылова, на Жуковскаго, Пушкина и на нѣкоторыхъ нынѣшнихъ даровитыхъ писателей, не ясно ли, что они избѣгали чужерѣчій, что старались каждый по своему писать чистымъ русскимъ языкомъ? А какъ Пушкинъ цѣнилъ народную рѣчь нашу, съ какимъ жаромъ и усладою онъ къ ней прислушивался, какъ одно только кипучее нетерпѣніе заставляло его въ то же время прерывать созерцанія свои шумнымъ взрывомъ одобреній и острыхъ замѣчаній и сравненій. Этому я не разъ былъ свидѣтелемъ... Пришла пора подорожить народнымъ языкомъ и выработать изъ него языкъ образованный. Народный языкъ былъ доселѣ въ небреженіи, только въ самое послѣднее время стали на него оглядываться, и то какъ будто изъ одной снисходительности и любознательности. Одни воображали, что могутъ сами составить языкъ; другіе, вовсе не заботясь объ изученіи своего языка, брали готовыя слова со всѣхъ языковъ, гдѣ и какъ попало, да переводили дословно чужіе обороты рѣчи, безсмысленные на нашемъ языкѣ, понятные только тому, кто читаетъ

нерусскою думою своею между строкъ, переводя читаемое мысленно на другой языкъ. Знаю, что за мнѣніе это составителю *Словаря* не сдобровать. Какъ смѣть говорить, что языкъ, коимъ пишутъ оскорбленные такимъ приговоромъ писатели,—языкъ не русскій? Да развѣ можно писать мужицкою рѣчью Далева *Словаря*, отъ котораго издали несетъ дегтемъ и сивухой или по крайности квасомъ, кислой овчиной и банными вѣниками? Нѣтъ, языкомъ грубымъ и необразованнымъ писать нельзя, это доказали всѣ рѣшавшіеся на такую попытку; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы должно было писать такимъ языкомъ, какой мы себѣ сочинили, распахнувъ ворота настежъ на западъ, надѣвъ фракъ и заговоривъ на всѣ лады кромѣ своего, а изъ этого слѣдуетъ только, что у насъ нѣтъ еще достаточно обработаннаго языка, и что онъ долженъ выработаться изъ языка народнаго. Другаго равнаго ему источника нѣтъ. Если же мы въ чаду обаянія сами отсѣчемъ себѣ этотъ источникъ, насъ постигнетъ засуха, и мы вынуждены будемъ растить и питать свой родной языкъ чужими соками, какъ дѣлаютъ растенія чужеядныя. Пусть же всякъ своимъ умомъ разсудитъ, что изъ этого выйдетъ... мы отдѣлимся вовсе отъ народа, разорвемъ послѣднюю съ нимъ связь, мы испошлѣемъ еще болѣе въ рѣчи своей, убьемъ и погубимъ послѣднія нравственныя силы свои въ этой упорной борьбѣ съ природой и вѣчно будемъ тянуться за чужимъ, потому что у насъ не станетъ ничего своего, ни даже своей самостоятельной рѣчи, своего роднаго слова. Не трудно подобрать нѣсколько пошлыхъ рѣчей или поставить слово въ такой связи и положеніи, что оно покажется смѣшнымъ или пошлымъ, и спросить, отряхивая бѣлыя перчатки, этому ли намъ учиться у народа? Но не гаерствуя, никакъ нельзя оспаривать истины, что живой народный языкъ, сберегшій въ жизненной свѣжести

духъ, который придаетъ языку стойкость, силу, ясность, цѣлость и красоту, долженъ послужить источникомъ и сокровищницей для развитія образованной, разумной русской рѣчи, взамѣнъ нынѣшняго языка нашего, каженника... Что выйдетъ изъ рѣчи нашей, если мы пойдемъ зря и безъ оглядки этимъ путемъ? Не понимая ни русской рѣчи, ни другъ друга, станемъ людьми безъ рѣчей, безсловесными, или же поневолѣ будемъ объясняться по-французски».

Рѣзкія, но правдивыя, суровой истины преисполненныя рѣчи! Въ комъ не замерло народное русское чувство, въ комъ не измельчала и не опошлилась до конца душа русская, тотъ призадумается надъ этими предсмертными словами Даля.

II.

Въ концѣ царствованія императора Александра I русскій флотъ былъ въ упадкѣ. Наши корабли совершали плаваніе только по «Маркизовой лужѣ», какъ называли тогдашніе моряки Финскій заливъ, по имени морскаго министра маркиза де-Траверсе, котораго признавали главнымъ виновникомъ паденія того учрежденія, которое было любимымъ дѣтищемъ Петра Великаго. Далю однако посчастливилось: еще будучи гардемариномъ, сходилъ онъ не только до Красной Горки, какъ упоминаетъ въ своемъ *Мичманѣ Поцѣлуевѣ*, но и въ Копенгагенъ. Тамъ съ прочими русскими офицерами и гардемаринами, онъ былъ удостоенъ приглашенія къ обѣденному столу Датскаго короля. Не стану передавать разказовъ Даля о томъ, какъ онъ провелъ нѣсколько часовъ во дворцѣ королей своихъ дѣдовъ; упомяну о другомъ, болѣе для насъ важномъ, разказѣ его о пребываніи въ Даніи. «Когда я плылъ къ берегамъ Даніи,

говаривалъ онъ, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моихъ предковъ, *мое* отечество. Ступивъ на берегъ Даніи, я на первыхъ же порахъ окончательно убѣдился, что отечество мое Россія, что нѣтъ у меня ничего общаго съ отчизною моихъ предковъ. Нѣмцевъ же я всегда считалъ народомъ для себя чуждымъ»[1]).

По свидѣтельству товарища Даля по Морскому Корпусу, Д. И. Завалишина, Владиміръ Ивановичъ еще будучи кадетомъ занимался литературой. Онъ писалъ стихи, и тогда уже въ своихъ сочиненіяхъ старался избѣгать иностранныхъ словъ и несвойственныхъ русской рѣчи выраженій и оборотовъ. Въ корпусѣ лучшіе гардемарины задавали другъ другу разсужденія по разнымъ предметамъ[2]). Марта 2-го 1819 года В. И. Даль выпущенъ изъ Морскаго Корпуса мичманомъ въ Черноморскій флотъ, двѣнадцатымъ по старшинству изъ 86. Чрезъ нѣсколько дней онъ оставилъ Петербургъ. Ему было тогда 17 лѣтъ и четыре мѣсяца.

Морознымъ вечеромъ, въ мартѣ 1819 года, по дорогѣ изъ Петербурга въ Москву, тогда еще не только не желѣзной, но и не каменной, на царѣ почтовыхъ

---

1) В. И. Даль произведенъ въ гардемарины въ 1816 году, то-есть пятнадцати лѣтъ отъ роду. Чинъ гардемарина считался въ то время офицерскимъ. Въ Копенгагенъ ходило двѣнадцать гардемариновъ, въ томъ числѣ Даль. Бутеневъ, Лихонинъ, убитый въ Турецкую войну, декабристъ Д. И. Завалишинъ, П. М. Новосильскій, въ послѣдствіи директоръ департамента иностранныхъ исповѣданій, а потомъ цензоръ, Н. И. Синицынъ, потомъ директоръ Ришельевскаго лицея, П. С. Нахимовъ, герой Синопа и Севастополя. Гувернеромъ при гардемаринахъ въ этой морской компаніи былъ капитанъ-лейтенантъ князь С. А. Ширинскій-Шихматовъ (въ послѣдствіи аѳонскій инокъ Аникита). Онъ очень любилъ Даля и высказалъ сожалѣніе, что онъ принадлежалъ къ лютеранскому закону. «Хорошій ты человѣкъ, другъ мой Даль, жаль только что Нѣмецъ!» говаривалъ онъ ему. Во время плаванія къ Датскимъ берегамъ гардемарины обязаны были вести записки. Даль очень жалѣлъ, что его записки не сохранились.

2) *Московск. Вѣдом.* 1872, № 267. «Замѣтки по поводу некролога В. И. Даля». Д. И. Завалишина.

лошадей, ѣхалъ молоденькій мичманъ. Мичманская одежда, съ иголочки, плохо его грѣла. Молоденькій мичманъ жался въ саняхъ. Ямщикъ изъ Зимогорскаго Яма (дѣло было въ Новгородской губерніи) поглядѣлъ на небо и въ утѣшеніе продрогшему до костей моряку указалъ на пасмурнѣвшее небо—вѣрный признакъ перемѣны къ теплу.

— Замолаживаетъ!—сказалъ онъ.

По-русски сказано, а мичману слово ямщика не вразумѣлось.

— Какъ замолаживаетъ? спросилъ онъ.

Ямщикъ объяснилъ значеніе незнакомаго мичману слова. А тотъ, несмотря на морозъ, выхватываетъ изъ кармана записную книжку и окоченѣвшими отъ холода руками пишетъ:

«Замолаживать—иначе пасмурнѣть — въ Новгородской губерніи значитъ заволакиваться тучками, говоря о небѣ, клониться къ ненастью»...

Эти строки, написанныя на морозѣ въ 1819 году (онѣ сохранялись у Даля), были зародышемъ того колоссальнаго труда, который ученому міру извѣстенъ подъ названіемъ *Толковаго словаря живаго великорусскаго языка*.

Съ тѣхъ поръ съ каждымъ днемъ книжка пополнялась. Записывались областныя слова, особенные обороты народной рѣчи, пословицы, поговорки, прибаутки. Лѣтъ черезъ десять книжка превратилась въ нѣсколько толстыхъ увѣсистыхъ тетрадей, исписанныхъ мелкимъ, бисернымъ почеркомъ Даля.

Въ Черноморскомъ флотѣ, куда Владиміръ Ивановичъ назначенъ былъ на службу по выпускѣ изъ Морскаго Корпуса, онъ пробылъ не больше трехъ лѣтъ. Здѣсь постигла его невзгода, имѣвшая вліяніе на дальнѣйшее поприще службы. Живя въ Николаевѣ, онъ хотя по собственному сознанію, высказанному въ авто-

біографіи, не бралъ книги въ руки, а больше шатался съ ружьемъ по степи, продолжалъ однако тщательно собирать народныя слова, записывать пѣсни, сказки, пословицы, и за то прослылъ въ своемъ кружкѣ «сочинителемъ». Даль, какъ упоминаетъ онъ въ *Мичманѣ Поцѣлуевѣ*, попписывалъ и стихи въ Николаевѣ. Случилось что про одну еврейку, пользовавшуюся особеннымъ покровительствомъ тогдашняго командира Черноморскаго флота вице-адмирала Грейга, написано было хоть не очень складное, но мѣтко попавшее въ цѣль стихотвореніе. Горячо вступившійся за милую дщерь Израиля посѣдѣлый адмиралъ захотѣлъ во что бы ни стало узнать имя дерзкаго, что осмѣлился пошутить надъ усладою позднихъ дней его... Кому же написать стихи?.. Разумѣется «сочинителю». Дѣло кончилось тѣмъ, что мичманъ Даль волей-неволей долженъ былъ оставить Черноморскій флотъ и перейти на службу въ Балтійскій. Съ 1823 года онъ поселился въ Кронштадтѣ.

Года черезъ полтора Владиміръ Ивановичъ совсѣмъ оставилъ морскую службу. Онъ не видѣлъ въ ней ничего для себя привлекательнаго, — въ такомъ упадкѣ была она въ то печальное для русскаго флота время. Кромѣ того, по словамъ Д. И. Завалишина, во флотѣ совершались страшныя злоупотребленія, особенно по хозяйственному управленію, что въ послѣдствіи, какъ извѣстно, было раскрыто формальнымъ слѣдствіемъ. Въ то время надо было имѣть особенное призваніе къ морской службѣ, чтобъ оставаться въ ней не по необходимости. Къ тому же эти самыя злоупотребленія, избѣжать столкновенія съ которыми было невозможно, требовали или рѣшимости на отважную и упорную борьбу съ ними, къ чему Даль, по его собственнымъ словамъ, не имѣлъ ни средствъ, ни расположенія, или пассивнаго подчиненія и уживчивости съ нимъ, къ чему

Даль былъ неспособенъ [1]) Напрасны были попытки Даля перейти въ инженеры, въ артиллеристы, даже просто въ армейскіе офицеры. Онъ вынужденъ былъ подать въ отставку и, снявъ мичманскій мундиръ, отправился въ Дерптъ, гдѣ поселилась овдовѣвшая мать его для воспитанія младшаго своего сына. Здѣсь Владиміръ Ивановичъ, 20-го января 1826 года, поступилъ въ студенты медицинскаго факультета. Подъ особеннымъ руководствомъ профессора хирургіи Мойера, онъ слушалъ курсъ врачебныхъ наукъ, вмѣстѣ съ Пироговымъ и Иноземцевымъ, находившимися тогда въ профессорскомъ институтѣ, учрежденномъ при Дерптскомъ университетѣ.

Даль не кончилъ еще полнаго курса врачебныхъ наукъ, какъ въ 1828 году вспыхнула Турецкая война. Въ полковыхъ врачахъ тогда крайне нуждались, ибо за Дунаемъ наши войска встрѣчены были двумя врагами—Турками и чумою. Въ 1828 году сдѣлано было распоряженіе всѣхъ казеннокоштныхъ университетскихъ студентовъ, годныхъ къ военно-медицинской службѣ, немедленно выслать въ дѣйствующую армію. Для Даля, какъ получившаго во время неполнаго курса необычайно обширныя познанія, сдѣлано было исключеніе. Ему дозволено было держать экзаменъ на степень доктора медицины; онъ явился на экзаменъ, и съ честію выдержалъ экзаменъ на доктора не только медицины, но и хирургіи. Марта 29-го 1829 года онъ поступилъ въ военное вѣдомство и зачисленъ во 2-ю дѣйствующую армію.

Прибывши въ армію, Владиміръ Ивановичъ назначенъ былъ въ главную квартиру ординаторомъ при подвижномъ госпиталѣ и постоянно находился на глазахъ у главнокомандующаго графа Дибича-Забалкан-

[1]) *Московскія Вѣдомости* 1872, № 267. Статья Д. И. Завалишина.

скаго. Въ это время запасъ его для *Словаря* значительно увеличился. «Живо хватая на лету родные рѣчи, слова и обороты, говоритъ Даль въ предисловіи къ *Словарю*, когда они срывались съ языка въ простой бесѣдѣ, гдѣ никто не чаялъ соглядатая и лазутчика, этотъ записывалъ ихъ. И вотъ записки выросли до такого объема, что при бродячей жизни стали угрожать требованіемъ для себя особой подводы». Въ 1829 году, у Даля накопилось столько записокъ, что для имущества его потребовался вьючный верблюдъ. И вдругъ, перехода за два до Адріанополя, въ военной суматохѣ верблюдъ пропалъ. «Я осиротѣлъ, пишетъ Даль, съ утратою своихъ записокъ, о чемоданахъ съ одежей мы мало заботились. Къ счастью, казаки отбили гдѣ-то верблюда и черезъ недѣлю привели его въ Адріанополь» [1]). Такимъ образомъ начало русскаго *Словаря* было избавлено отъ турецкаго плѣненія.

Даль часто разказывалъ, какъ обогащалъ онъ запасы свои областными словами и мѣстными оборотами рѣчи. «Нигдѣ это не было такъ удобно какъ въ походахъ», говаривалъ онъ. «Бывало на дневкѣ гдѣ-нибудь соберешь вокругъ себя солдатъ изъ разныхъ мѣстъ, да и начнешь разспрашивать, какъ такой-то предметъ въ той губерніи зовется, какъ въ другой, въ третьей; взглянешь въ книжку, а тамъ ужъ цѣлая вереница областныхъ реченій». Преимущественно въ Турецкомъ да Польскомъ походахъ, по словамъ Владиміра Ивановича, изучилъ онъ нашъ языкъ со всѣми его говорами.

Чтобы показать до какой степени Даль изучилъ мѣстные говоры, достаточно разказать слѣдующее: Владиміръ Ивановичъ не любилъ бывать въ большихъ обществахъ, на балахъ, вечерахъ и обѣдахъ, но находясь на службѣ иногда долженъ былъ являться на

---

1) *Толковый словарь живаго великорусскаго языка*, т. I, стр. 3.

офиціальныхъ обѣдахъ и т. п. Однажды онъ былъ на такомъ обѣдѣ въ загородномъ домѣ. Пріѣхавъ по нѣкоторому недоразумѣнію въ приглашеніи на дачу рано, онъ засталъ хозяевъ еще въ суетѣ и хлопотахъ. Дѣло было лѣтомъ. Чтобы не мѣшать хозяевамъ онъ вышелъ въ палисадникъ, а тутъ за рѣшетчатымъ забором собралось нѣсколько нищихъ и сборщиковъ на церковное строенье. Впереди всѣхъ стоялъ бѣлокурый, чистотѣлый монахъ, съ книжкою въ черномъ чахлѣ съ нашитымъ желтымъ крестомъ. Къ нему обратился Даль.

— Какого, батюшка, монастыря?

— Соловецкаго, родненькій,—отвѣчалъ монахъ.

— Изъ Ярославской губерніи?—сказалъ Даль, зная что «родимый», «родненькій» одно изъ любимыхъ словъ ярославскаго простолюдина.

Монахъ смутился и поникшимъ голосомъ отвѣтилъ:

— Нѣту-ти, родненькій, тамо-ди въ Соловецкомъ живу.

— Да еще изъ Ростовскаго уѣзда, сказалъ Владиміръ Ивановичъ.

Монахъ повалился въ ноги...

— Не погубите!..

Оказалось что это былъ бѣглый солдатъ, отданный въ рекруты изъ Ростовскаго уѣзда и скрывавшійся подъ видомъ соловецкаго монаха.

Во время десятилѣтняго пребыванія въ Нижегородской губерніи В. И. Даль собралъ множество матеріаловъ для географическаго указанія распространенія разныхъ говоровъ. Нижегородская губернія въ этомъ отношеніи представляетъ замѣчательное разнообразіе. Въ ней, какъ впрочемъ и вездѣ, по говорамъ можно добраться до историческаго такъ-сказать наслоенія народностей, то-есть можно замѣтить, гдѣ остались первобытные русскіе насельники, гдѣ поселились Новго-

родцы, Сѣверяне, Бѣлоруссы, и пр., гдѣ живетъ русское нынѣ племя, бывшее прежде въ однихъ мѣстахъ Мордвою, въ другихъ Горною Черемисою, въ третьихъ Черемисою Нагорною. Когда я былъ начальствующимъ статистическою экспедиціей въ Нижегородской губерніи, какъ членовъ экспедиціи, пріѣхавшихъ со мной изъ Петербурга, такъ и губернскихъ чиновниковъ, находившихся въ личномъ моемъ распоряженіи, я познакомилъ съ Владиміромъ Ивановичемъ, и они въ его домѣ встрѣчили самый радушный пріемъ. Въ 1852 и 1853 годахъ мы объѣхали всѣ 3,700 населенныхъ мѣстностей губерніи, собирая свѣдѣнія по программѣ, составленной мною и Н. А. Милютинымъ, подъ главнымъ руководствомъ Надеждина. И меня, и каждаго изъ членовъ предъ каждою поѣздкой Владиміръ Ивановичъ просилъ записывать въ каждой деревнѣ говоры. «А главное, говаривалъ онъ, оканье, аканье, цоканье, чваканье» и т. д. Изъ этого у него накопился значительный матеріалъ, собранный уже послѣ напечатанія замѣчательной статьи Даля *О нарѣчіяхъ русскаго языка*[1]). Въ нѣсколькихъ селеніяхъ Лукояновскаго уѣзда, членомъ экспедиціи Н. И. Зайцевскимъ замѣчено было дзяканье, господство послѣ *а* звука *у*, замѣняющаго *о*, *е* и даже *л*, произношеніе предлога *съ* какъ *зъ*, обращеніе двугласныхъ (ѣ, я, ю) въ твердыя гласныя (а, у) и измѣненіе буквъ *г*, *к*, въ косвенныхъ падежахъ на *з* и *и*[2]).

— Это Бѣлоруссы. Это таже Мензелинская шляхта,

---

1) *Вѣстникъ Императорскаго Географическаго Общества* 1852 года, книжка 5. Перепечатана безъ прибавленій въ предисловіи къ *Толковому Словарю*.

2) Дзяканье: *дзядя* (дядя), *дзануть* (тянуть) и т. п. Господство *у*: *вáукъ* (волкъ) и пр. *Трабухи* вмѣсто требуха, *кручокъ* вмѣсто крючокъ. *Ёнъ лѣцъ* — онъ лжетъ. *У сороци на хвистѣ* — у сороки на хвостѣ.

В. И. Даль, съ портрета кисти Перова.

сказалъ Владиміръ Ивановичъ, и просилъ меня порыться въ архивахъ.

Архивы были тогда у меня подъ рукой. Поискали и нашли что въ XVII столѣтіи, при царѣ Алексѣ Михайловичѣ, въ нынѣшнемъ Лукояновскомъ уѣздѣ, равно какъ въ Мензелинскѣ и другихъ мѣстахъ, была поселена *Литва*, то-есть, собственно говоря Бѣлоруссы. Тутъ объяснилось и то, что дзякающихъ Лукояновцевъ окрестные жители зовутъ «панами», а иногда «панскими».

III.

Только-что воротился Даль съ богатымъ запасомъ *Словаря* изъ турецкаго похода, какъ привелось ему идти въ новый походъ, противъ возмутившихся поляковъ. Онъ былъ дивизіоннымъ врачомъ въ 3-мъ пѣхотномъ корпусѣ, находившемся подъ командой генералъ-адъютанта (въ послѣдствіи графа) Ридигера. Въ іюлѣ 1831 года, когда князь Паскевичъ уже обложилъ Варшаву, Ридигеръ находился въ значительномъ отъ нея разстояніи, на правомъ берегу Вислы, и спѣшилъ прикрыть главную нашу армію съ тылу и съ боку. Польскій генералъ Ромарино былъ предъ тѣмъ отправленъ изъ Варшавы съ двѣнадцати-тысячнымъ войскомъ для истребленія русскаго корпуса барона Розена, но, не успѣвъ въ томъ, былъ преслѣдуемъ самъ Розеномъ и наступалъ на Ридигера. Легкіе польскіе отряды, подъ командой Завадскаго и другихъ, то-и-дѣло безпокоили нашъ корпусъ. Ридигеръ подходитъ къ правому берегу Вислы у мѣстечка Юзефова,—моста нѣтъ: поляки предъ тѣмъ сожгли его. У Ридигера ни одного инженера. Опасность неминучая. Даль, расположившій въ то время своихъ больныхъ и раненыхъ въ опустѣломъ винокуренномъ заводѣ, сто-

явшемъ на берегу рѣки подлѣ Юзефова, увидѣлъ неподалеку пустыя бочки и предложилъ генералу устроить мостъ и перевести отрядъ на противоположный берегъ. Ридигеръ согласился. Надо было прежде всего устроить на правомъ берегу мостовое укрѣпленіе и потомъ занять лѣвый берегъ, находившійся въ рукахъ поляковъ. Іюля 17-го, Даль лично управлялъ десантомъ при занятіи непріятельскаго берега Вислы противъ мѣстечка Юзефова. Затѣмъ приступилъ онъ къ постройкѣ моста. Понтоновъ не было: онъ употребилъ бочки, плоты, лодки и паромы, и навелъ необыкновенный мостъ сначала у Юзефова, а потомъ въ другой разъ у мѣстечка Казимержа. [1]) Наше войско перешло черезъ эти мосты. Когда послѣдніе русскіе солдаты вступали на тотъ берегъ Вислы, отрядъ Завадскаго внезапно напалъ на мостовыя укрѣпленія. Даль съ отборною командой 2-го сентября былъ оставленъ Ридигеромъ для уничтоженія моста въ слѣдъ за отступающими нашими войсками... Завадскій подошелъ къ мосту, и поляки вступили на него. Впереди шло нѣсколько офицеровъ, весело разговаривая. Даль подошелъ къ нимъ и объявилъ, что больные и раненые съ врачами и лазаретною прислугой остались въ винокуренномъ заводѣ, но что онъ вполнѣ увѣренъ въ ихъ безопасности, потому что война идетъ съ христіанами, съ людьми просвѣщенными. Офицеры обнадеживаютъ Даля въ безопасности больныхъ, а сами подвигаются впередъ, весело разговаривая съ русскимъ лѣкаремъ. За ними вступаютъ на мостъ передовые люди отряда. Подходя къ серединѣ моста, Даль ускорилъ шаги, прыгнулъ на одну бочку, гдѣ заранѣе

[1]) Описаніе этого моста съ чертежами было впослѣдствіи напечатано особою брошюрой въ Петербургѣ, въ типографіи Греча. Она теперь составляетъ библіографическую рѣдкость. Брошюра была переведена на французскій языкъ и напечатана въ Парижѣ.

былъ припасенъ остро наточенный топоръ Разрубивъ нѣсколькими ударами топора главные узлы канатовъ, связывавшихъ постройку, онъ бросился въ воду. Бочки, лодки, паромы понесло внизъ по Вислѣ, мостъ расплылся. Подъ выстрѣлами поляковъ Даль доплылъ до берега и былъ встрѣченъ восторженными кликами нашего войска. Гарнизонъ мостоваго укрѣпленія, наша артиллерія и вагенбургъ были спасены отъ неминуемой гибели, а польскому корпусу Ромарино отрѣзана дорога въ Краковское и Сендомирское воеводство, куда онъ стремился по взятіи русскими Варшавы.

«Когда происходили мостовыя работы генералъ Владиміръ Ивановичъ, мы 26 августа слышали сильную канонаду. Паши брали Варшаву. Мнѣ въ тотъ день было не по себѣ, тоска какая-то напала... То было предчувствіе. Однимъ изъ слышанныхъ нами выстрѣловъ былъ смертельно пораженъ любимый братъ мой Левъ, служившій въ артиллеріи.»

Въ формулярный списокъ Владиміра Ивановича Даля вписано слѣдующее засвидѣтельствованіе генералъ-адъютанта Ридигера:

«По совершенному недостатку при корпусѣ генералъ-адъютанта Ридигера инженерныхъ офицеровъ, онъ (Даль) имѣлъ отъ него (Ридигера) порученіе завѣдывать построеніемъ черезъ рѣку Вислу моста на плотахъ, лодкахъ, паромахъ и бочкахъ. Іюля 17-го (1831 года) лично управлялъ десантомъ при занятіи непріятельскаго берега Вислы противъ мѣстечка Юзефова; находился при спускѣ и наведеніи моста вновь при мѣстечкѣ Казимержѣ и при внезапномъ нападеніи отряда Завадскаго на мостовыя укрѣпленія. Сентября 2-го дня былъ оставленъ съ отборною командою для уничтоженія моста вслѣдъ за отступающими войсками нашими, что и успѣлъ исполнить благополучно, несмотря на то что былъ окруженъ непріятелемъ,

вступавшимъ уже на самый мостъ, и симъ самымъ спасъ гарнизонъ мостоваго укрѣпленія, равно артиллерію и вагенбургъ, отъ неминуемой гибели, и отрѣзалъ польскому генералу Ромарино, преслѣдуемому генераломъ барономъ Розеномъ, дорогу и убѣжище въ Краковское и Сандомирское воеводства.»

Что же получилъ въ награду нашъ инженеръ-самоучка за такой подвигъ, за спасеніе войска? Строгій выговоръ начальства за то, что взявшись не за свое дѣло, оставилъ постъ при лазаретѣ и покинулъ находившихся на его попеченіи больныхъ и раненыхъ въ рукахъ непріятеля. Этимъ, по словамъ покойнаго Владиміра Ивановича, онъ былъ обязанъ баронету Вилье, недоброжелательство котораго къ даровитымъ подчиненнымъ такъ ярко очерчено въ запискахъ лейбъ-медика Тарасова, недавно напечатанныхъ. [1]) Въ послѣдствіи, когда императоръ Николай Павловичъ изъ донесенія главнокомандующаго князя Паскевича, основаннаго на рапортѣ генерала Ридигера, узналъ о подвигѣ Даля, онъ наградилъ его Владимірскимъ крестомъ съ бантомъ.

По окончаніи польской компаніи, Владиміръ Ивановичъ поступилъ ординаторомъ въ Петербургскій военно-сухопутный госпиталь. Здѣсь онъ трудился неутомимо и вскорѣ пріобрѣлъ извѣстность замѣчательнаго хирурга, особенно же окулиста. Онъ сдѣлалъ на своемъ вѣку болѣе сорока однихъ операцій снятія катаракты, и всѣ вполнѣ успѣшно. Замѣчательно, что у него лѣвая рука была развита настолько же, какъ и правая. Онъ могъ лѣвою рукой и писать, и дѣлать все, что угодно, какъ правою. Такая счастливая способность особенно пригодна была для него, какъ оператора. Самые знаменитые въ Петербургѣ

---

1) *Русская Старина*, издаваемая г. Семевскимъ, 1872.

операторы приглашали Даля въ тѣхъ случаяхъ, когда операцію можно было сдѣлать ловчѣе и удобнѣе лѣвою рукой.

Даль дѣлался уже медицинскою знаменитостью Петербурга, и хотя былъ вполнѣ русскимъ, но благодаря нерусскому прозванію, пользовался сочувствіемъ и доброжелательствомъ врачей нѣмцевъ, владычествовавшихъ тогда въ петербургской медицинѣ и ревниво охранявшихъ свою практику и свои доходы отъ врачей русскаго происхожденія. Въ это самое время проникло въ Россію ученіе Ганемана, и въ Петербургѣ появилось нѣсколько гомеопатовъ. Аллопаты встревожились и осыпали Даля почетомъ и благодарностями, когда онъ смѣло выступилъ противъ Ганемановой системы, и въ блистательныхъ статьяхъ опровергалъ ее.

Въ это время В. И. Даль вступилъ уже въ дружескія отношенія ко многимъ изъ лучшихъ писателей того времени; въ томъ числѣ къ Алексѣю Алексѣевичу Перовскому, попечителю Харьковскаго учебнаго округа, автору романа *Монастырка*, повѣстей *Черная курица*, *Двойникъ* и др., извѣстному въ литературѣ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Перовскій былъ поклонникъ гомеопатіи и сказалъ однажды Далю: «чѣмъ спорить теоретически, отчего не испытать вамъ гомеопатическаго способа лѣченія на практикѣ?» Даль послѣдовалъ его совѣту, и вскорѣ сдѣлавшись горячимъ приверженцемъ гомеопатіи выступилъ съ новыми статьями въ ея защиту. Необычайная тревога поднялась въ медицинскомъ лагерѣ. Далю невозможно стало оставаться на службѣ, тѣмъ болѣе, что совѣсть уже не дозволяла ему заниматься дѣломъ, въ которое онъ больше не вѣрилъ,—и притомъ какимъ еще дѣломъ, отъ котораго зависитъ жизнь многихъ людей? Несмотря на то, что не было

у него никакого состоянія, онъ вышелъ въ отставку и совершенно оставилъ медицинскую практику, кромѣ хирургической. Были и другія обстоятельства, заставившія прямодушнаго и правдиваго Даля покинуть военно-медицинскую службу, какъ разсказываетъ однокашникъ и близкій къ нему человѣкъ, декабристъ Д. И. Завалишинъ: [1])

«Злоупотребленія и непріятности, отъ которыхъ онъ отчасти бѣжалъ изъ флота, встрѣтили Даля и въ медицинской карьерѣ. Изъ множества разсказанныхъ имъ мнѣ случаевъ, приведу одинъ очень характеристическій, чтобы показать до какой степени даже невольно приходилось ему вступать въ столкновенія съ медицинскимъ своимъ начальствомъ. Начальство это требовало, напримѣръ, чтобы мѣсячныя вѣдомости о больныхъ въ лазаретахъ и при полкахъ доставлялись ему непремѣнно къ первому числу слѣдующаго мѣсяца. Соображаясь съ этимъ, Даль, когда ему пришлось въ первый разъ отправлять рапорты, закончилъ вѣдомости больныхъ 25-мъ числомъ. Для составленія бумагъ начальнику, при тогдашнихъ средствахъ сообщенія, и для собранія свѣдѣній, нужно было не менѣе четырехъ или пяти дней. Даль получилъ за свои первыя вѣдомости строгое замѣчаніе и приказаніе доводить ихъ непремѣнно до 1-го числа. Въ слѣдующій разъ онъ такъ и сдѣлалъ; но естественно, что къ начальству бумаги могли дойти не ранѣе 4-го или 5-го числа. Тогда онъ получилъ строжайшій выговоръ, съ приказаніемъ доставлять вѣдомости непремѣнно къ 1-му числу. На это онъ въ рапортѣ объяснилъ несовмѣстимость этихъ требованій, изъ которыхъ одно непремѣнно исключаетъ возможность исполнить другое. За этимъ объясненіемъ по-

---

[1]) *Московскія Вѣдомости* 1872 года № 267.

слѣдовалъ выговоръ еще строже съ угрозами и съ вопросомъ, какъ онъ смѣетъ не подчиняться тому правилу, которое исполняется всѣми другими? Даль отвѣчалъ, что ему неизвѣстно, имѣютъ ли другіе даръ знать напередъ за пять дней, сколько у нихъ будетъ больныхъ и какими болѣзнями, но что онъ такого дара не имѣетъ, и потому составляя вѣдомости до 1-го числа онъ можетъ лишь сдавать пакеты ночью въ канцелярію для отправки, какъ только успѣетъ подвести итоги; если же будутъ давать ему несовмѣстимыя приказанія и за невозможность исполнить присылать выговоры, то онъ перенесетъ дѣло на апелляцію къ высшему начальству. Только послѣ этого его оставили въ покоѣ, но по службѣ доказали, что случая этого не забыли. Все это возмущало, конечно, правдивость молодаго Даля. Впослѣдствіи, впрочемъ, Даль видѣлъ, какъ онъ разсказывалъ, что даже высшіе администраторы, и притомъ имѣвшіе еще репутацію добросовѣстныхъ, произвольно составляли вѣдомости такъ, какъ имъ было нужно, безъ всякаго уваженія къ системѣ.

IV.

Еще въ Дерптѣ познакомился Даль съ Жуковскимъ. [1]) Въ Петербургѣ это знакомство перешло въ тѣсную дружбу. Дружба съ Жуковскимъ сдѣлала Даля другомъ Пушкина, сблизила его съ Воейковымъ,

---

[1]) Въ то время когда В. И. Даль учился въ Дерптскомъ университетѣ, тамъ преподавалъ русскую словесность А. Ѳ. Воейковъ (авторъ *Дома Сумашедшихъ*, потомъ редакторъ *Литературныхъ прибавленій къ Русскому Инвалиду*), женатый на сестрѣ Жуковскаго Александрѣ Андреевнѣ. Жуковскій жилъ вмѣстѣ съ сестрой въ Дерптѣ до самаго того времени какъ былъ назначенъ воспитателемъ царствующаго нынѣ Государя Императора.

Языковымъ, Анною Зонтагъ (рожденная Юшкова) Дельвигомъ, Крыловымъ, Гоголемъ, кн. Одоевскимъ, съ братьями Перовскими. Въ 1830 году, вскорѣ по возвращеніи изъ турецкаго похода, В. И. Даль напечаталъ первую свою литературную «попытку» въ *Московскомъ Телеграфѣ* Полеваго. [1]) Возвратясь изъ Польши и распростясь съ медициной, онъ совершенно выступилъ на литературное общество. Началъ онъ русскими сказками. «Не сказки сами по себѣ были мнѣ важны, писалъ онъ впослѣдствіи, а русское слово, которое у насъ въ такомъ загонѣ, что ему нельзя было показаться въ люди безъ особаго предлога и повода—сказка послужила предлогомъ. Я задалъ себѣ задачу познакомить замляковъ своихъ сколько-нибудь съ народнымъ языкомъ и говоромъ, которому открывался такой вольный разгулъ и широкій просторъ въ народной сказкѣ». Предупреждая мысль, будто онъ ставитъ свои сказки въ примѣръ слога и языка, Даль прибавляетъ: «Сказочникъ хотѣлъ только на первый случай показать небольшой образчикъ—и право не съ казоваго конца—образчикъ *запасовъ*, о которыхъ мы мало или вовсе не заботимся, между тѣмъ *какъ рано или поздно безъ нихъ не обойтись*.» [2])

Таковъ же былъ взглядъ Даля и на всѣ его повѣсти и разсказы. Въ нихъ имѣлъ онъ въ добавокъ цѣлію изобразить черты народнаго быта въ неподдѣльномъ его видѣ. Не забудемъ, что до разсказовъ Даля русскій простолюдинъ выводился или въ видѣ *пейзана*, чуть не съ розовымъ вѣночномъ на головѣ, какъ у Карамзина и его подражателей, или въ грязномъ каррикатурномъ видѣ, какъ у Булгарина. Въ то

---

[1]) См. предисловіе ко 2-му тому *Сочиненій Владиміра Даля*. —Петербургъ 1861.

[2]) *Полтора слова о нынѣшнемъ русскомъ языкѣ*, статья В. И. Даля, напечатанная въ *Москвитянинѣ* 1842, часть 1, стр. 549 и 550.

время не было еще ни *Мертвыхъ Душъ* Гоголя, ни *Записокъ Охотника* Тургенева.

Цѣль — показать образчикъ запасовъ народнаго языка — которую Даль постоянно преслѣдовалъ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, иногда вредитъ имъ въ художественномъ отношеніи. Нанизывая слово за́ словомъ изъ народнаго языка, пословицу за пословицей, поговорку за поговоркой, Даль не заботится, что это идетъ прямо въ ущербъ художественности произведенія. Но онъ никогда и не считалъ себя художникомъ. «Это не моихъ рукъ дѣло, говаривалъ онъ въ откровенныхъ бесѣдахъ, иное дѣло выкопать золото изъ скрытыхъ рудниковъ народнаго языка и быта, и выставить его міру на показъ; иное дѣло передѣлать выкопанную руду въ изящныя издѣлія. На это найдутся люди и кромѣ меня. Всякому свое.»

И дѣйствительно, золотою рудой, да еще въ видѣ самыхъ крупныхъ самородковъ, должно считать *Словарь* Даля, его разсказы, его повѣсти, сказки собранныя имъ, пѣсни, пословицы, поговорки, прибаутки, повѣрья и т. п. У каждаго русскаго писателя, если хочетъ онъ писать чистымъ и притомъ живымъ русскимъ языкомъ, труды Даля должны быть настольными книгами.

Первыя сказки, въ числѣ пяти, Даль издалъ въ 1833 ;у, назвавъ себя *Казакомъ Луганскимъ*, потому что дился въ казачьей землѣ, въ мѣстечкѣ Луганѣ. [1])

---

1) *Русскія сказки. Первый пятокъ.* Казака Луганскаго. Нынѣ чрезвычайная библіографическая рѣдкость. Въ этомъ первомъ пяткѣ заключаются слѣдующія сказки: 1) *О Иванѣ молодомъ сержантѣ, удалой головѣ, безъ роду, безъ племени, спроста безъ прозвища.* Посвящена «милымъ сестрамъ моимъ Павлѣ и Александрѣ»; 2) *О Шемякиномъ судѣ и воеводствѣ и о прочемъ, была когда-то быль, а нынѣ сказка будничная.* Посвящена Карлу Христофоровичу Кнорре; 3) *О*

Онѣ встрѣчены были съ восторгомъ всѣми лучшими писателями того времени; особенно Пушкинъ былъ отъ нихъ въ восхищеніи. Подъ вліяніемъ перваго пятка сказокъ Казака Луганскаго, онъ написалъ лучшую свою сказку—*О рыбакѣ и золотой рыбкѣ*, и подарилъ Владиміру Ивановичу ее въ рукописи съ надписью: «Твоя отъ твоихъ! Сказочнику казаку Луганскому, сказочникъ Александръ Пушкинъ».

Иначе взглянули на только-что выступившаго на литературное поприще Казака Луганскаго другаго разряда писатели. Булгаринъ нашелъ ихъ грязными, неприличными, и свое усердіе о приличіяхъ простеръ за приличную черту. Въ одной изъ Далевскихъ сказокъ нѣкоторыя выраженія были перетолкованы въ дурную сторону. [1]) Раннимъ утромъ, когда Даль об-

---

Ровольдѣ и Молучанѣ царевичахъ, равно и о третьемъ единоутробномъ ихъ братѣ, о славныхъ подвигахъ и дѣяніяхъ ихъ и о новомъ княжествѣ и княженіи. Посвящена Катенькѣ Мойеръ и Машенькѣ Зонтагъ; 4) *Повинка-диковинка или невиданное чудо, несмысленное диво.* Посвящена И. Языкову и всѣмъ товарищамъ нашимъ профессорскаго института при Дерптскомъ университетѣ; 5) *О похожденіяхъ чорта-послушника, Сидора Поликарповича, на морѣ и на сушѣ, о неудачныхъ соблазнительныхъ попыткахъ его и объ окончательной пристройкѣ его по части письменной.* Посвящена однокашникамъ моимъ Павлу Михайловичу Новоспльскому и Николаю Ивановичу Сипицыну. Первый пятокъ *Сказокъ* Даля перепечатанъ въ VIII томѣ *Собранія* его сочиненій 1861 года. Кнорре, которому посвящена вторая сказка, пріятель Даля, былъ астрономомъ при обсерваторіи въ Николаевѣ. Катенька Мойеръ - дочь дерптскаго профессора-хирурга, Іоганна Христіана Мойера, у котораго учился Владиміръ Ивановичъ. Машенька Зонтагъ—дочь извѣстной писательницы для дѣтей Анны Зонтагъ, урожденной Юшковой, родственницы Жуковскаго, жившей въ Дерптѣ, когда тамъ учился Даль. П. И. Языковъ—извѣстный поэтъ. Новосильскій былъ въ послѣдствіи директоромъ департамента духовныхъ дѣлъ, директоромъ хозяйственнаго отдѣленія Святѣйшаго Синода, а подъ конецъ жизни цензоромъ Петербургскаго цензурнаго комитета. Н. И. Сипицынъ былъ въ послѣдствіи директоромъ Ришельевскаго лицея въ Одессѣ.

[1]) *Сочиненія Владиміра Даля* изд. 1861, т. VIII, стр. 4 и 5: «Въ нѣкоторомъ царствѣ за тридесятымъ государствомъ, жилъ былъ царь Дадонъ, Золотой Кошель. У этого царя было великое множество под-

ходилъ палаты больныхъ, явились въ военно-сухопутный госпиталь жандармы, взяли его и отвезли къ статсъ-секретарю А. Н. Мордвинову, управлявшему тогда третьимъ отдѣленіемъ собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи. Тотъ встрѣтилъ его самыми обидными, самыми оскорбительными площадными словами, оборвалъ что́ называется, и посадилъ подъ арестъ, объявивъ, что это дѣлаетъ онъ по Высочайшему повелѣнію. Даль и самъ не зналъ, какъ объ этомъ провѣдали Жуковскій, бывшій уже тогда воспитателемъ Государя Наслѣдника, и находившійся тогда въ Петербургѣ дерптскій профессоръ Парротъ, близкій человѣкъ къ императору Александру I и уважаемый императоромъ Николаемъ Павловичемъ. Онъ полюбилъ Даля, когда еще тотъ былъ дерптскимъ студентомъ. И Жуковскій и Парротъ ходатайствовали предъ государемъ о Далѣ. Жуковскій объяснилъ, что слова сказки, навлекшія бѣду на автора, выражаютъ

властныхъ князей: князь Панкратій, князь Климъ, князь Кондратій, князь Трофимъ, князь Игнатій, князь Евдокимъ, много другихъ такихъ же и сверхъ того правдолюбивые, сердобольные министры; фельдмаршалъ Кашинъ, генералъ Дюжинъ, губернаторъ графъ Чихирь-Пяташная-Голова, да строеваго боеваго войска Иванъ молодой сержантъ, удалая голова, безъ роду-племени, спроста безъ прозвища... Царь этотъ царствовалъ, какъ медвѣдь въ лѣсу: дуги гнетъ, гнетъ не паритъ, переломитъ не тужитъ. Онъ послушалъ правдолюбивыхъ и сердобольныхъ своихъ совѣтниковъ, приказалъ немедленно отобрать отъ Ивана молодаго сержанта удалой головы, безъ роду безъ племени, спроста безъ прозвища—всѣ документы царскіе, чины, ордена, злато-чеканныя медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него болѣе вельможи, бояре царскіе, стали клеветать, обносить, оговаривать...» Указано было еще на то, что въ сказкѣ *О похожденіяхъ чорта послушника Сидора Поликарповича*, во-первыхъ чортъ названъ именемъ православнаго христіанина, а во-вторыхъ, что военная и морская служба оказалась для самого чорта столь тягостною, что онъ бѣжалъ. Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ. По указанію Булгарина, говаривалъ В. И. Даль, обидѣлись Пяташныя Головы, сбидѣлись и алтынныя, оскорбились и такія головы, которымъ цѣна была цѣлая гривна безъ вычета.

вовсе не то, что о нихъ доложили. Вечеромъ того же дня Даля освободили изъ-подъ ареста, и статсъ-секретарь Мордвиновъ разсыпался предъ нимъ въ самыхъ изысканныхъ любезностяхъ. «Это, какъ всегда говаривалъ Даль, больше всего поразило меня въ тотъ черный день». Любезный статсъ-секретарь на прощанье подалъ освобожденному арестанту руку. Не отвѣчая ни слова на любезности, Даль руки не подалъ, отвернулся и ушелъ. Это ему не сошло даромъ.

Черезъ нѣсколько времени между кантонистами въ разныхъ городахъ развилось египетское воспаленіе глазъ. Послѣдовало Высочайшее повелѣніе командировать лучшаго окулиста для обзора госпиталей въ военно-сиротскихъ отдѣленіяхъ. Выборъ палъ на Даля. Командировка эта на долгое время отвлекла бы его отъ практики, имъ еще не покинутой и не представляла въ будущемъ ничего пріятнаго. Къ тому же Владиміръ Ивановичъ въ то время собирался жениться. [1]) Но нечего дѣлать—служба. Долженъ былъ покориться участи, устроенной баронетомъ Вилье и Мордвиновымъ, сталъ собираться въ путь. Вдругъ нежданная перемѣна. Вмѣсто Даля послали другаго. Въ послѣдствіи лейбъ-медикъ Арендъ сказывалъ Владиміру Ивановичу, что когда столь доброжелательный

---

[2]) На дѣвицѣ Юліи Андре. Отъ нея Владиміръ Ивановичъ имѣлъ сына Льва Владиміровича (род. 1834 въ Оренбургѣ, теперь одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ архитекторовъ и при томъ археологъ) и дочь Юлію Владиміровну (скончалась въ Римѣ 1863 года, двадцати четырехъ лѣтъ отъ роду). Оба лютеранскаго закона. Во второй разъ Владиміръ Ивановичъ женился въ Оренбургѣ на Екатеринѣ Львовнѣ Соколовой (скончалась въ Москвѣ 9-го февраля 1872 года), дочери помѣщика Бирскаго уѣзда, Уфимской (тогда Оренбурской) губерніи. Отъ нея Владиміръ Ивановичъ имѣлъ трехъ дочерей—Марью, Ольгу и Екатерину. Средняя замужемъ за нижегородскимъ помѣщикомъ П. А. Демидовымъ (служитъ товарищемъ прокурора Московскаго окружнаго суда), старшая и младшая—дѣвицы.

къ нему баронетъ Вилье доложилъ о назначеніи въ командировку Даля, императоръ Николай сказалъ ему: «Даля нельзя, назначить другаго, а то онъ можетъ подумать, что его усылаютъ за сказки». Владиміръ Ивановичъ всегда съ чувствомъ умиленія разказывалъ о такомъ тонкомъ и деликатномъ отзывѣ императора Николая Павловича, ярко обрисовывающемъ прекрасную его душу.

Происшествіе съ первыми сказками Даля имѣло впрочемъ вліяніе на судьбу его. Оно отвлекло Владиміра Ивановича отъ готовившейся ему педагогической дѣятельности въ томъ самомъ университетѣ, гдѣ самъ онъ получилъ образованіе. Въ то время, въ Дерптѣ, по выходѣ Воейкова, не было профессора русскаго языка и словесности. Парротъ, состоявшій тогда, кажется ректоромъ университета, былъ въ Петербургѣ, и на праздную каѳедру приглашалъ Даля, уже получившаго извѣстность знатока русскаго языка. Даль съ охотой согласился на такое предложеніе тѣмъ болѣе, что въ то время начиналъ уже входить въ разладъ съ медициной. Но встрѣтилось препятствіе. Хотя Владиміръ Ивановичъ и былъ докторомъ, но не того факультета; по филологическому онъ не имѣлъ не только ученой степени, но и званія дѣйствительнаго студента. По совѣщаніи настойчиваго Паррота съ княземъ Ливеномъ, тогдашнимъ министромъ народнаго просвѣщенія, дѣло однако улаживалось. Вмѣсто экзамена на ученую степень филологическаго факультета, Даль долженъ былъ представить свои *Русскія сказки* и кромѣ того прочитать двѣ пробныя лекціи въ Петербургскомъ университетѣ. Все было готово, какъ вдругъ разразилась надъ кандидатомъ въ профессоры буря изъ-за тѣхъ самыхъ сказокъ, которыя онъ долженъ былъ представить. Хотя дѣло, какъ мы видѣли, и обошлось благополучно, но князь Ливенъ признавалъ неудобнымъ, чтобы Далемъ представлено было то самое сочиненіе, изъ-за

котораго вышла непріятная исторія, произведшая переполохъ и въ одобрившемъ книгу цензурномъ комитетѣ, находившемся въ его вѣдомствѣ. Пошли переговоры. Парротъ между тѣмъ уѣхалъ въ Дерптъ. Дѣло тѣмъ и кончилось.

Въ 1833 году Даль оставилъ медицинскую практику и службу въ военно-медицинскомъ вѣдомствѣ. Братъ его друга, Антона Погорѣльскаго, главный начальникъ Оренбургскаго края, В. А. Перовскій, пригласилъ его къ себѣ на службу, и Владиміръ Ивановичъ, оставивъ Петербургъ, отправился на берега Урала.

V.

Самыми близкими людьми къ Далю, до отъѣзда его въ Оренбургъ и послѣ того, были Жуковскій, Пушкинъ и князь Одоевскій. Въ концѣ 1836 года, онъ съ В. А. Перовскимъ пріѣхалъ въ Петербургъ, и черезъ мѣсяцъ схоронилъ одного изъ этихъ друзей.

Въ то время, когда все было поражено преждевременною и столь печальною гибелью Пушкина, когда всѣ знавшіе и не знавшіе его лично, самые даже иностранцы толпились въ передней умиравшаго и по набережной Мойки, узнавать о ходѣ болѣзни, Даль всѣ трое сутокъ мученій Пушкина ни на минуту не оставлялъ его страдальческаго ложа. Послѣднія слова князя русскихъ писателей были обращены къ Далю... Даль принялъ послѣдній вздохъ дорогаго всей Россіи человѣка... Даль закрылъ померкшія очи закатившагося солнца русской поэзіи.

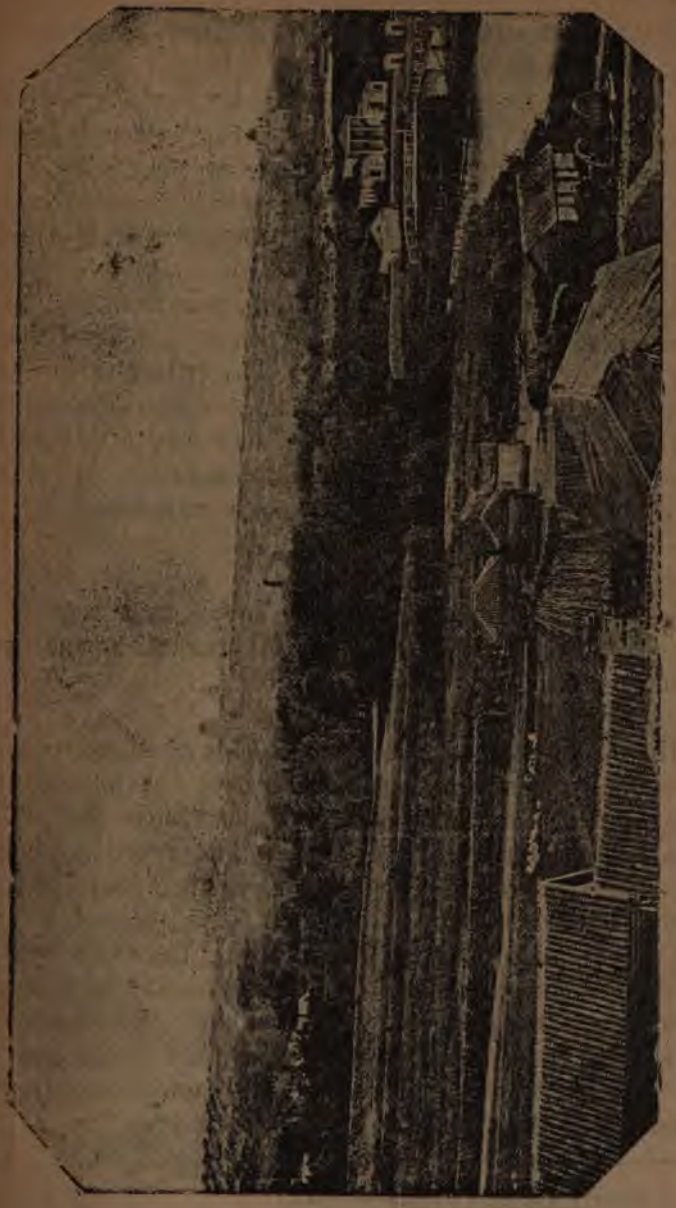
Извѣстно, что Пушкинъ былъ нѣсколько суевѣренъ. Онъ носилъ на большомъ пальцѣ перстень съ изумрудомъ, называя его своимъ талисманомъ, и никогда не скидалъ его, говоря друзьямъ, что если онъ сниметъ этотъ перстень хоть на минуту, божественный даръ

поэзіи его покинетъ... Когда Пушкинъ узналъ, что нѣтъ надежды, что должно ему умереть, онъ скинулъ перстень и надѣлъ его на руку Даля. Этотъ перстень Владиміръ Ивановичъ носилъ до смерти на той рукѣ, которая написала *Словарь живаго великорусскаго языка*... Не задолго до смерти, Пушкинъ услыхалъ отъ Даля, что шкурка, которую ежегодно сбрасываютъ съ себя змѣи, называется по-русски *выползина*. Ему очень понравилось это слово, и нашъ великій поэтъ среди шутокъ, съ грустью сказалъ Далю: «Да, вотъ мы пишемъ, зовемся тоже писателями, а половины русскихъ словъ не знаемъ!.. Какіе мы писатели? Горе, а не писатели! За то по-французски такъ насъ взять — мастера́». На другой день Пушкинъ пришелъ къ Далю въ новомъ сюртукѣ. «Какова выползина!» сказалъ онъ смѣясь своимъ веселымъ, звонкимъ, искреннимъ смѣхомъ. «Ну изъ этой выползины я не скоро выползу. Въ этой выползинѣ я такое напишу, что и ты не оха́ешь, не отыщешь ни одной французятины»[1]). Что въ эти минуты занимало мысли великаго поэта, это скрыла отъ насъ тайна смерти: черезъ нѣсколько дней Пушкина не стало. Случилось же такъ, что Пушкинъ былъ раненъ въ этомъ самомъ сюртукѣ. И когда въ предсмертной борьбѣ отдалъ онъ Далю свой талисманъ, дрожащимъ, прерывающимся голосомъ примолвилъ: «Выползину тоже возьми себѣ». Этотъ сюртукъ съ дырою отъ пули на правой полѣ долго хранился у Даля. Онъ передалъ его М. П. Погодину, у котораго онъ долго хранился подъ бюстомъ Пушкина[2]).

---

[1]) Такъ называлъ онъ галицизмы и чужерѣчія, вводимыя въ русскій языкъ.

[2]) Я слышалъ отъ М. П. Погодина предположеніе его: когда будетъ воздвигнутъ въ Москвѣ памятникъ Пушкину, внизу его, въ приличномъ вмѣстилищѣ, положить этотъ сюртукъ, какъ реликвію великаго поэта, на память грядущимъ поколѣніямъ русскихъ людей.



Городъ Луганскъ, гдѣ родился В. И. Даль.

Приведемъ слова Жуковскаго о Далѣ при умиравшемъ Пушкинѣ.

— Худо, братъ, мнѣ,—сказалъ Пушкинъ съ улыбкою вошедшему Далю. Но Даль, дѣйствительно имѣвшій болѣе другихъ надежды, отвѣчалъ ему:

— Мы всѣ надѣемся, не отчаивайся и ты.

— Нѣтъ, возразилъ онъ, здѣсь не житье; я умру, да видно такъ и надо.

Въ это время пульсъ его былъ ровнѣе и тверже, началъ показываться небольшой общій жаръ. Поставили піявки[3]), пульсъ сталъ ровнѣе, рѣже и гораздо легче. Я ухватился, говорилъ Даль, какъ за соломинку, робкимъ голосомъ провозгласилъ надежду и обманулъ было и себя и другихъ. Пушкинъ, замѣтивъ, что Даль былъ пободрѣе, взялъ его за руку и спросилъ:

— Никого тутъ нѣтъ?

— Никого.

— Даль, скажи мнѣ правду, скоро ли я умру?

— Мы за тебя надѣемся, Пушкинъ, право надѣемся.

— Ну спасибо,—отвѣчалъ онъ.

Но повидимому только однажды и обольстился онъ утѣшеніемъ надежды; ни прежде, ни послѣ этой минуты онъ ей не вѣрилъ. Почти всю ночь (на 29-е число; эту ночь всю Даль просидѣлъ у его постели) онъ продержалъ Даля за руку, часто бралъ по ложечкѣ воды или по крупинкѣ льда въ ротъ и всегда все дѣлая самъ: снималъ стаканъ съ ближней полки, теръ себѣ виски льдомъ, самъ накладывалъ на животъ припарки, самъ ихъ перемѣнялъ и пр. Онъ мучился менѣе отъ боли, нежели отъ чрезмѣрной тоски.

— Ахъ, какая тоска!—иногда восклицалъ онъ, закидывая руки на голову:—сердце изнываетъ.

---

[3]) Ставилъ ихъ Даль своими руками.

Тогда просилъ онъ, чтобы подняли его или поворотили на бокъ или поправили ему подушку и не давалъ кончить этого, останавливая обыкновенно словами:

— Ну, такъ, такъ, хорошо; вотъ и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо! — или: — Постой — не надо — потяни меня только за руку; ну вотъ и хорошо и прекрасно. — Все это точныя его выраженія.

Вообще, говоритъ Даль, въ обращеніи со мной онъ былъ повадливъ и послушенъ, какъ ребенокъ, и дѣлалъ все, чего я хотѣлъ. Однажды онъ спросилъ у Даля.

— Кто у жены моей?

Даль отвѣчалъ:

— Много добрыхъ людей принимаютъ въ тебѣ участіе, зала и передняя полны съ утра до вечера...

— Ну спасибо, отвѣчалъ онъ, однакоже поди, скажи женѣ, что все слава Богу легко; а то ей тамъ пожалуй наговорятъ...

Послалъ Даля ободрить жену надеждою, Пушкинъ самъ не имѣлъ никакой. Однажды спросилъ онъ который часъ, и на отвѣтъ Даля продолжалъ прерывающимся голосомъ:

— Долго ли... мнѣ... такъ мучиться?.. Пожалуйста... поскорѣй...

— Терпѣть надо, другъ, дѣлать нечего, — сказалъ ему Даль, — но не стыдись боли своей, стонай, тебѣ будетъ легче.

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ прерывчиво, — нѣтъ... не надо... стонать... жена услышитъ... смѣшно же... чтобъ этотъ... вздоръ меня... пересилилъ... не хочу...

Мысли его были свѣтлы; изрѣдка только полудремотное забытье отуманивало ихъ. Разъ онъ подалъ руку Далю и пожимая ее проговорилъ:

— Ну подымай же меня, пойдемъ, да выше, выше.. ну пойдемъ!

Но очнувшись онъ сказалъ:

— Мнѣ было пригрезилось, что я съ тобой лѣзу вверхъ по этимъ книгамъ и полкамъ, высоко... и голова закружилась.

Немного погодя онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать Далеву руку и, поднявъ ее, сказалъ:

— Ну пойдемъ же пожалуйста, да вмѣстѣ.

Даль по просьбѣ его взялъ его подъ мышки и приподнялъ повыше. И вдругъ какъ будто проснувшись, онъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ:

— Кончена жизнь.

Даль, не разслышавъ, отвѣчалъ:

— Да, конечно, мы тебя поворотили.

— *Жизнь* кончена,—повторилъ онъ внятно и положительно.—Тяжело дышать, давитъ.

Это были послѣднія слова Пушкина. Всѣ надъ нимъ молчали. Минуты черезъ двѣ я (Жуковскій) спросилъ:

— Что онъ?

— Кончено,—отвѣчалъ Даль[1])

VI.

Къ восьми годамъ (съ 1833 по 1841) пребыванія Владиміра Ивановича въ Оренбургскомъ краѣ относится большая часть его повѣстей и разсказовъ. Къ этому же періоду времени должно отнести и главнѣйшее пополненіе запасовъ его для словаря, и собраніе народныхъ сказокъ, пословицъ и пѣсенъ. Послѣ *Пер-*

---

1) *Собраніе сочиненій* Жуковскаго, т. VI, стр. 356—361. *Послѣднія минуты Пушкина.*

ваго Пятка казакъ Луганскій продолжалъ свои сказки. Лучшіе того времени журналы дорожили честью украшать свои страницы произведеніями Даля. Съ 1834 по 1839 годъ, его сказки являются въ *Библіотекѣ для чтенія* Сенковскаго [1]). На ряду со сказками, началъ онъ писать и повѣсти изъ русскаго быта. Лучшими изъ нихъ были: *Бѣдовикъ*, *Колбасники* и *Бородачи* и *Павелъ Алексѣевичъ Игривый*, напечатанныя въ *Отечественныхъ Запискахъ*, которыя начались (въ 1839 году) первою изъ названныхъ повѣстей казака Луганскаго [2]). Живя въ Оренбургѣ Владиміръ Ивановичъ совершенно изучилъ бытъ Киргизовъ и Уральскихъ казаковъ и написалъ расказы *Бикей и Мауляна* [3]), *Майна*, *Башкирская русалка*. Сюда же пожалуй можно отнести и восточную сказку *Бараны*, напечатанную

---

1) Сказки Казака Луганскаго, явившіяся въ тридцатыхъ и отчасти въ сороковыхъ годахъ, были слѣдующія: 1) *Сказка про Жида воровато, про Цыгана бородатаго.* 2) *Сказка про Емелю-дурачка.* 3) *Сказка про Ивана-Лапотника.* 4) *Сказка о Егорьѣ Храбромъ и о волкѣ.* 5) *Сказка о ворѣ и бурой коровѣ.* 6) *Сказка о Строевой дочери и о коровушкѣ буренушкѣ.* 7) *Сказка о прекрасной царевнѣ Милонѣѣ Блоручкѣ.* 8) *Сказка о нуждѣ, о счастіи и о правдѣ.* 9) *Сказка о бѣдномъ Кузьмѣ—безталанной головѣ и о перемстчикѣ Будунтаѣ.* 10) *Сказка о Лисѣ Патрикѣевнѣ.* 11) *Сказка о купцѣ съ купчихой и выкраденномъ у нихъ сынѣ.* 12) *Илья Муромецъ, сказка Руси богатырской.* 13) *Какъ себѣ живутъ Василь Васильичъ съ Марьей Васильевной.* 14) *Карай царевичъ и Булатъ молодецъ.* 15) *Кладъ, русская сказка.* 16) *Вѣдьма, украинская сказка.*

2) Кромѣ трехъ названныхъ повѣстей изъ русскаго быта, Владиміръ Ивановичъ Даль написалъ еще: 1) *Савелій Грабъ или Двойникъ.* 2) *Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ.* 3) *Мичманъ Поцѣлуевъ или живучи оглядывайся.* 4) *Гофманская капля* (нѣчто въ родѣ фантастическихъ разсказовъ Гофмана—неудачная). 5) *Отецъ съ сыномъ—старая погудка на новый ладъ.* 6) *Небывалое въ былому или былое въ небывалому.* 7) *Отставной.* 8) *Расплохъ.* 9) *Хмель, сонъ и явь* (напечатана въ *Москвитянинѣ*).

3) Она переведена на французскій языкъ и напечатана въ 1845 году въ Парижѣ подъ заглавіемъ *Bikey et Maolina ou les Kirghiz-Kaissaks.* Par Dhale, Traduit du russe par Folermey.

въ *Москвитянинѣ* сороковыхъ годовъ и надѣлавшую въ свое время много говора и даже переполоху между окружными начальниками и другими губернскими чиновниками вѣдомства Государственныхъ Имуществъ. Въ иллюстрированномъ сборникѣ А. П. Башуцкаго, издававшемся въ началѣ сороковыхъ годовъ подъ заглавіемъ *Наши*, В. И. Даль помѣстилъ очерки: *Уральскій казакъ*, *Чухонцы въ Питерѣ*, *Петербургскій дворникъ*, *Деньщикъ* и *Находчивое поколѣніе*. Странствованіе Даля по западному краю и южной Россіи и знакомство съ бытомъ тамошняго народа дали ему возможность написать разсказы: *Цыганка*, *Болгарка*, *Подолянка*; зоологъ и охотникъ на перо и на шерсть [1]), онъ изучалъ и нравы животныхъ. Его статьи *Медвѣдь* и *Волкъ*, напечатанныя въ сороковыхъ годахъ въ петербургскихъ иллюстрированныхъ изданіяхъ, представляютъ въ высшей степени замѣчательные разсказы о нравахъ и бытѣ этихъ животныхъ [2]). Относительно естественной исторіи Владиміръ Ивановичъ не ограничился этими по истинѣ мастерскими, но теперь къ сожалѣнію совершенно забытыми, затерявшимися въ старыхъ газетахъ, статьями; по вызову главнаго начальства надъ военно-учебными заведеніями, онъ написалъ превосходные учебники *Ботаники* и *Зоологіи*. Они высоко цѣнились и естествоиспытателями и педагогами; но когда въ нашихъ гимназіяхъ ввели преподаваніе естественной исторіи, учебники Даля почему-то обошли, предпочитая имъ жалкія руководства, которыми неумѣлые педагоги набивали мальчикамъ головы. Что изданія Владиміра Ивановича Даля по части естественной исторіи, были труды серьезные, довольно

---

1) Охотничьи выраженія—охота на птицъ и на звѣря.

2) Въ *Собраніи сочиненій Даля*, С.-Петербургъ 1861, этихъ статей нѣтъ.

сказать, что онъ былъ избранъ Академіею Наукъ въ члены-корреспонденты по первому, то-есть, физико-математическому ея отдѣленію.

Разнообразная дѣятельность Казака Луганскаго этимъ не ограничилась. Возникъ въ тридцатыхъ годахъ вопросъ о томъ, что̀ читать грамотному русскому человѣку низшихъ слоевъ общества. Даль написалъ *Солдатскіе досуги* (пятьдесятъ два разсказа и нѣсколько загадокъ). Эти *Досуги* не были похожи на искуственныя въ высшей степени, на каждомъ словѣ звучавшіе фальшивою нотой, тогдашніе разсказы генерала Скобелева, знавшаго фронтоваго солдата, но не вѣдавшаго русскаго человѣка, и притомъ не имѣвшаго ни малѣйшаго образованія, чѣмъ однако не стыдился хвастаться до цинизма. *Солдатскіе досуги* Даля не похожи были и на позднѣйшія книжки для народнаго чтенія, которыя писались и пишутся неумѣлыми руками либо изъ-за однихъ денегъ, либо съ предвзятыми тенденціями. Вскорѣ послѣ того, какъ было учреждено Министерство Государственныхъ Имуществъ, просвѣщенный министръ, хотя и съ образованіемъ на французскій ладъ, графъ П. Д. Киселевъ, сознавалъ, что мало того, чтобы выучить крестьянина грамотѣ, надо дать ему полезное и сообразное съ его понятіями чтеніе. Онъ поручилъ служившимъ при немъ князю В. Ѳ. Одоевскому и А. П. Заблоцкому-Десятовскому составить *Сельское чтеніе*. Статьи Даля: «*Не положивъ, не ищи*», «*Что знаешь, о томъ не спрашивай*», притчи: *О дьятелѣ*, *О дубовой бочкѣ*, *Ось и чека* и пр., были лучшими украшеніями *Сельскаго чтенія*. Впослѣдствіи, уже въ пятидесятыхъ годахъ, когда Владиміръ Ивановичъ Даль находился на полупокоѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, великій князь генералъ-адмиралъ Константинъ Николаевичъ обратился къ Далю съ приглашеніемъ написать книжку для чтенія матро-

совъ. Бывшій мичманъ Черноморскаго флота, въ 1851 году, написалъ *Матросскіе досуги*, состоящіе изъ ста одиннадцати статей. И доселѣ нѣтъ въ нашей литературѣ ничего лучшаго, ничего пригоднѣе для народнаго чтенія, какъ *Солдатскіе и матросскіе досуги* и статьи *Сельскаго чтенія*, написанныя первѣйшимъ знатокомъ русскаго простонароднаго быта, Казакомъ Луганскимъ. А между тѣмъ о нихъ и помину нѣтъ.

На все былъ мастеръ Казакъ Луганскій. Пріятель его, художникъ Сапожниковъ, около 1840 года нарисовалъ десятка три каррикатуръ изъ быта петербургскихъ нѣмцевъ. Даль написалъ къ нимъ текстъ, подъ названіемъ: *Похожденія Віоль д'Амура*, напечатанный вмѣстѣ съ альбомомъ рисунковъ въ *Библіотекѣ для Чтенія*. [1]) Казалось бы, что тутъ писать, чѣмъ себя выставить? Но Казакъ Луганскій, говоримъ, на все былъ мастеръ. Конечно, его *Віоль д'Амуръ* не художественное произведеніе; но сколько и въ немъ веселаго юмора, такъ свойственнаго всѣмъ Далевымъ разсказамъ, сколько подмѣчено характерныхъ чертъ, сколько задушевности, правды!

Написалъ Казакъ Луганскій и драматическое произведеніе, *Ночь на распутіи или утро вечера мудренье*. Эта «старая бывальщина въ лицахъ» написана В. И. Далемъ по настояніямъ Пушкина. Содержаніе ея фантастическое. Тутъ, кромѣ удѣльнаго князя Вышеслава, его дочери Зори и ея жениховъ, дѣйствуютъ Домовой, Водяной, Лѣшій, Оборотень, Русалки, и всѣ они дѣйствуютъ вполнѣ по-русски, то-есть вполнѣ сообразно съ представленіями о нихъ созданными русскимъ народомъ. Въ художественномъ отношеніи *Ночь на распутіи* слаба, но она замѣчательна, какъ опытъ выставить на сцену русскій сказочный міръ. Даль разска-

[1]) Въ *Собраніи сочиненій Владиміра Даля* изд. 1861, его нѣтъ.

зывалъ, что Глинка не разъ ему говаривалъ, что послѣ *Руслана и Людмилы* онъ непремѣнно примется за *Ночь на распутіи*. И какое бы въ самомъ дѣлѣ прекрасное либретто для русской оперы, можно было сдѣлать изъ этой «старой бывальщины»! Въ пятидесятыхъ годахъ, *Ночь на распутіи* была поставлена на сцѣнѣ Александринскаго театра въ Петербургѣ. Поставлена она была въ лѣтніе мѣсяцы, разучена плохо, сыграна еще хуже, начинавшими и провинціальными актерами. Къ довершенію всего театральная дирекція сдѣлала изъ *Ночи на распутіи*, нѣчто въ родѣ балаганнаго представленія, подобно Берговскимъ на Адмиралтейской площади во время Масленицы или Святой недѣли. Сцены русалокъ на озерѣ; превращеніе оборотня въ зайца, въ полетушу, въ сороку; наводненіе покоевъ княжнаго родича Весны водою, текущею изъ волосъ похищенной русалки Порѣзвуши; Лѣшій идущій въ лѣсу вровень съ деревьями, а полемъ вровень съ травою; круженіе утопленниковъ и утопленницъ въ воздухѣ надъ озеромъ; Водяной съ русалками затопляющіе лѣсъ и пр.,—все это дирекція могла бы, еслибы захотѣла, поставить великолѣпно, но она поставила въ такой степени безобразно, что глядя на сцену, не вѣрилось, что сидишь въ Императорскомъ театрѣ, а не въ ярмарочномъ балаганѣ странствующихъ фокусниковъ. Театральная дирекція, ухлопавшая около того времени тысячъ сто на постановку безобразной оперы Верди *Сила судьбы*, едва ли пять рублей израсходовала на постановку *Ночи на распутіи*. Піеса разумѣется пала. Если къ тому прибавить, что *Ночь на распутіи* была поставлена на сцену не только безъ согласія автора, живнаго тогда въ Нижнемъ, но даже вопреки его желанію, то можно

---

[1]) Издавія канцлера графа Н. П. Румянцева.

впрочемъ, степени составить надле-
о степени добросовѣстности и ува-
отечественнымъ писателямъ тогдашней ди-
петербургскихъ театровъ, не говоря уже о
манія ею русскихъ драматическихъ про-
извѣстія о постановкѣ своей *Ночи на рас-*
изданія автора, В. И. Даль хотѣлъ было
но какъ и кому? Притомъ же дѣло
піесу въ балаганный костюмъ, ди-
успѣла, какъ говорится, ухлопать
было-быть непоправное. Авторъ порош-
старался забыть объ этомъ.

у Даля вполнѣ созрѣла мысль о со-
Толкового словаря живаго великорусскаго языка. Тамъ же
за изученіе древнихъ памятниковъ
Онъ сблизился съ инспекторомъ
Оренбургскаго Неплюевскаго военнаго учи-
Никифоровичемъ Дьяконовымъ, о
поминаетъ въ *Напутномъ Словѣ*
Одинъ только Дьяконовъ оказы-
въ Оренбургѣ, по словамъ самого Даля,
сочувствіе къ трудамъ его. Когда,
послѣ того, я въ Нижнемъ-Новго-
часто бывалъ у Даля, и мы цѣлые
съ нимъ надъ *Актами* археогра-
надъ *Лѣтописями и Житіями*
въ нихъ по врехамъ старинныя
остаткамъ, сохранившимися по
русской земли, онъ бывало часто
Александръ Никифо-
въ Оренбургѣ ходилъ ко мнѣ съ
Пословицами русской сло-
также мы цѣлые вечера
съ пасѣчникомъ. Изученіе
утвердило тогда во мнѣ на-

мѣреніе составить *Словарь*, а то право не разъ приходило на умъ бросить всѣ запасы для него, какъ ни на что негодный хламъ. Дьконовъ поддержалъ меня. Если будетъ когда-нибудь словарь, такъ спасибо вамъ съ покойнымъ Александромъ Никифоровичемъ».

Объ этомъ В. И. Даль въ *Напутномъ Словѣ* къ своему *Словарю* такъ засвидѣтельствовалъ: «Помощниковъ въ отдѣлкѣ словаря найти очень трудно и, правду сказать, этого нельзя и требовать; надо отдать безмездно цѣлые годы жизни своей, работая не на себя, какъ батракъ. Такихъ помощниковъ или сотрудниковъ у меня и не было; мало того, по службѣ и жизни вдали отъ столицъ, даже почти не было людей, съ которыми бы можно было отвести душу и посовѣтоваться въ этомъ дѣлѣ. Въ семъ отношеніи нельзя не помянуть мнѣ однако двухъ дружески ко мнѣ расположенныхъ людей, въ коихъ я находилъ умное и дѣльное сочувствіе къ своему труду: А. Н. Дьяконова, уже покойника, инспектора корпуса въ Оренбургѣ, и П. И. Мельникова въ Нижнемъ»[1]).

Въ восемь лѣтъ жизни въ Оренбургскомъ краѣ Владиміръ Ивановичъ изъѣздилъ его весь изъ конца въ конецъ, вдоль и поперекъ. Онъ не разъ ѣзжалъ съ В. А. Перовскимъ по обѣимъ сторонамъ Урала. Онъ сопровождалъ царствовавшаго тогда Государя Императора, обозрѣвавшаго въ 1837 году Оренбургскій край. Онъ сдѣлалъ извѣстный Хивинскій походъ 1839—1840 годовъ и оставилъ вѣрное изображеніе его въ любопытныхъ письмахъ къ роднымъ и знакомымъ, напечатанныхъ лѣтъ шесть тому назадъ въ *Русскомъ Архивѣ*. Даль былъ всегда скроменъ и до крайности остороженъ. Ни однимъ словомъ не упомянулъ онъ въ этихъ письмахъ, ничѣмъ не выдалъ настоящаго виновника

---

[1]) *Толковый словарь живаго великорусскаго языка*. Томъ I, стр. XIV.

неудачи тогдашняго похода въ Хиву, но всегда и всѣмъ говаривалъ впослѣдствіи, что виновникомъ неудачи былъ командиръ кавалеріи, злобный на Россію полякъ, генералъ Ціолковскій. Воспользовавшись прямодушіемъ Перовскаго, онъ своими распоряженіями умышленно погубилъ въ снѣжной степи всѣхъ до единаго 12,000 верблюдовъ.

VII.

Послѣ Хивинскаго похода В. А. Перовскій рѣшился оставить Оренбургское генералъ-губернаторство, но заботясь о драгоцѣнномъ для себя и для службы человѣкѣ, какъ называлъ онъ Владиміра Ивановича, заблаговременно постарался его пристроить въ Петербургѣ. Братъ его Левъ Алексѣевичъ Перовскій былъ тогда товарищемъ министра удѣловъ, и Василій Алексѣевичъ просилъ его взять къ себѣ Даля. Вскорѣ по переводѣ Даля въ министерство Удѣловъ, Левъ Алексѣевичъ Перовскій, назначенъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, съ оставленіемъ за нимъ и должности товарища министра удѣловъ. Владиміръ Ивановичъ, считаясь на службѣ по удѣльному вѣдомству, съ сентября 1841 года, сдѣлался ближайшимъ сотрудникомъ и правою рукою новаго министра внутреннихъ дѣлъ, то-есть, съ самаго вступленія его въ управленіе этимъ министерствомъ, ознаменованнаго на страницахъ нашей исторіи неустанною и въ полномъ смыслѣ слова просвѣщенною дѣятельностію. Когда Перовскій получилъ графское достоинство, на гербѣ новаго графа былъ написанъ девизъ придуманный Далемъ: *Не слыть а быть*. Это—вѣрный девизъ. Онъ вполнѣ характеризуетъ министра Перовскаго.

Всякій, кто зналъ министерство внутреннихъ дѣлъ во времена Перовскаго, вполнѣ согласится, что онъ

имѣлъ рѣдкую способность выбирать людей. Въ его время, на низшія даже должности въ министерствѣ опредѣляемы были иначе, какъ кончившіе курсъ въ университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ то время, какъ въ другихъ вѣдомствахъ, недоброжелательно смотрѣли на чиновниковъ, кромѣ службы занимавшихся наукою и литературой, когда за повѣсти отправляли на службу въ Вятку[1]), а иной разъ и подальше, Перовскій любилъ окружать себя пишущими людьми, сознавалъ и открыто высказывалъ, что каждому истинно просвѣщенному министру такъ поступать необходимо. Безъ просьбъ, безъ ходатайствъ, переводилъ онъ молодыхъ людей, заявившихъ чѣмъ-нибудь себя въ наукѣ или литературѣ изъ губерній въ министерство, назначая ихъ на мѣста, которыхъ тщетно добивались кандидаты съ сильными протекціями. Онъ ходатайствовалъ предъ Государемъ о возвращеніи ученыхъ людей изъ ссылокъ и приближалъ ихъ къ себѣ, какъ напримѣръ профессора Московскаго университета Н. И. Надеждина, сосланнаго въ Устьсысольскъ за напечатаніе въ *Телескопѣ* писемъ Чадаева. Были примѣры, что канцелярскіе департаментскіе чиновники, посланные въ долгую командировку туда, гдѣ есть университеты, чтобъ обратить на себя вниманіе Перовскаго, возвращались въ Петербургъ съ дипломами на ученыя степени, другіе выдерживали кандидатскіе экзамены въ Петербургскомъ университетѣ. На суммы министерства Перовскій производилъ археологическія изысканія въ Крыму, въ новороссійскихъ губерніяхъ, въ развалинахъ Сарая, отыскивалъ мѣсто погребенія князя Пожарскаго, торговаго пути по Россіи въ доисторическую эпоху и пр. Кромѣ Надеждина, котораго приблизилъ къ себѣ съ самаго начала своего мини-

[1]) Салтыковъ, извѣстный подъ псевдонимомъ Щедрина.

стерства, онъ пригласилъ на службу профессоровъ Московскаго университета: П. Г. Рѣдкина и А. И. Чивилева. При Перовскомъ служили графъ Д. Н. Толстой, В. В. Скрипицынъ, докторъ Рафаловичъ, Н. А. Жеребцовъ, баронъ А. Ѳ. Штакельбергъ, И. П. Липранди. Въ числѣ молодыхъ людей, служившихъ при Перовскомъ, были археологи—графъ А. С. Уваровъ, И. П. Сахаровъ, князь А. А. Сибирскій, этнографъ А. В. Терещенко, статистикъ А. И. Артемьевъ, оріенталисты П. С. Савельевъ, В. В. Григорьевъ, литераторы—графъ Сологубъ и только еще начинавшіе тогда—И. С. Тургеневъ, И. С. Аксаковъ, Ю. Ѳ. Самаринъ, графъ А. К. Толстой, М. Н. Лонгиновъ и другіе. При немъ же находились А. В. Головнинъ и графъ Д. А. Толстой, бывшій и настоящій министры народнаго просвѣщенія, Я. В. Ханыковъ, Н. А. Милютинъ, П. А. Валуевъ, графъ А. К. Сиверсъ, А. К. Гирсъ, К. К. Гротъ, графъ Ю. И. Стейнбокъ, графъ Э. К. Чапскій и многіе другіе [1]). Но ближе всѣхъ стоялъ къ министру Владиміръ Ивановичъ Даль. Въ этомъ человѣкѣ Левъ Алексѣевичъ Перовскій нашелъ не только неутомимаго сотрудника, посвященнаго имъ во всѣ тайны государственной дѣятельности, но и преданнаго друга. Когда впослѣдствіи Даль удалился изъ Петербурга, графъ Перовскій, вполнѣ чувствуя столь важную потерю, писалъ ему однажды въ Нижній: «Послѣ васъ я безъ рукъ».

Даль и Надеждинъ вели самыя важныя дѣла въ министерствѣ подъ личнымъ руководствомъ самого министра, вели ихъ весьма нерѣдко помимо подлежа-

[1]) Благодаря дружескому расположенію Даля я самъ былъ взятъ графомъ Перовскимъ въ министерство изъ провинціальныхъ (нижегородскихъ) губернаторскихъ чиновниковъ, не бывши до того въ Петербургѣ, не просивши и не искавши мѣста, казалось бы, по прежнему и по нынѣшнему, невозможнаго для незнаемаго провинціала безъ сильныхъ протекцій... Также взятъ былъ Перовскимъ изъ Казани извѣстный статистикъ нашъ А. И. Артемьевъ и другіе.

щихъ департаментовъ. Мнѣ самому, предъ отъѣздомъ въ одну командировку, случилось выслушать такое приказаніе графа Перовскаго: «о прямой цѣли порученія никому ни слова не говорите кромѣ Даля, Надеждина и Милютина». Было бы слишкомъ долго перечислять всѣ работы, исполненныя Владиміромъ Ивановичемъ, когда онъ находился при графѣ Перовскомъ. Упомяну о главнѣйшихъ. Онъ составилъ дѣйствующій до нынѣ уставъ губернскихъ правленій, принималъ дѣятельное участіе въ дѣлахъ по устройству бѣдныхъ дворянъ, и объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ, составлялъ карантинныя правила[1]), по поводу возник-

1) Правила эти были гораздо облегчительнѣе прежнихъ, и облегченія сдѣланы по вліянію Даля. Онъ не вѣрилъ въ прилипчивость чумы, вслѣдствіе прикосновенія здороваго человѣка къ какой-либо вещи, принадлежавшей зачумленному. Онъ разсказывалъ много случаевъ, замѣченныхъ имъ во время наблюденій надъ чумою въ Турецкую кампанію 1829 года. Между прочимъ онъ сообщалъ слѣдующее: Только-что наши войска перешли Балканскія горы, въ главную квартиру графа Дибича пріѣхалъ курьеромъ одинъ офицеръ, кажется, съ береговъ Дуная. Въ главной квартирѣ чумы тогда еще не было, но въ тѣхъ мѣстностяхъ, откуда пріѣхалъ офицеръ, она уже развилась въ сильной степени, хотя объ этомъ не было еще извѣстно Дибичу и бывшему при немъ штабу. Курьеръ пріѣхалъ раннимъ утромъ; свѣдѣнія, привезенныя имъ, настолько были важны, что фельдмаршала разбудили, и онъ принялъ курьера въ своей палаткѣ. Пошли объясненія; Дибичъ разложилъ карту на своей постели и разсуждалъ съ прибывшимъ. Этотъ придерживалъ карту, и своими потными и запыленными руками оставилъ слѣды на подушкѣ фельдмаршала, который отпустивъ курьера, легъ спать. Курьеръ нѣсколько времени ходилъ по лагерю, раздавая штабнымъ офицерамъ привезенныя письма, пилъ съ ними чай и, наконецъ, въ одной палаткѣ легъ отдохнуть. Онъ не вставалъ болѣе: оказалось, что онъ пріѣхалъ уже зачумленный; на другой или третій день его не стало. Ни фельдмаршалъ, ни кто-либо изъ штабныхъ офицеровъ не заболѣлъ чумою, а черезъ нѣсколько дней по смерти курьера, вдругъ появилась она между солдатами въ той части лагеря, гдѣ не былъ курьеръ, привезшій, какъ думали тогда, чуму въ главную квартиру. Когда В. И. Даль находился при графѣ Л. А. Перовскомъ, по его представленію отправленъ былъ въ Константинополь, въ Сирію и Египетъ докторъ Рафаловичъ для изслѣдованія чумы на мѣстахъ сильнѣйшаго ея развитія. Его наблюденія были приняты къ соображенію при составленіи новыхъ карантинныхъ правилъ.

шихъ въ западныхъ губерніяхъ дѣлъ написалъ изслѣдованіе объ употребленіи Евреями христіанской крови. Это изслѣдованіе было напечатано въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ [1]). Подъ редакціей Даля составлялись ежегодные всеподданнѣйшіе отчеты по министерству, всеподданнѣйшіе доклады и всѣ записки, предназначаемыя для внесенія въ Государственный Совѣтъ и Комитетъ Министровъ. Въ 1844 году онъ написалъ по порученію графа Перовскаго чрезвычайно любопытную записку о законодательствѣ, о скопцахъ [2]), а вслѣдъ затѣмъ изслѣдованіе о скопческой ереси. Изъ печатныхъ экземпляровъ послѣдняго изъ названныхъ трудовъ уцѣлѣлъ единственный экземпляръ, подаренный Далемъ въ Чертковскую библіотеку. Когда это изслѣдованіе, написанное по Высочайшему повелѣнію, представлено было графомъ Перовскимъ государю, онъ былъ очень доволенъ и спросилъ объ имени автора.

---

[1]) Чрезвычайно рѣдкая книга. Одинъ экземпляръ ея находится въ Чертковской библіотекѣ, находящейся нынѣ при Московскомъ музеѣ. Книги этой было напечатано до ста экземпляровъ. Оставшіеся отъ разсылки разнымъ правительственнымъ лицамъ экземпляры ея находились у графа Л. А Перовскаго, когда онъ, оставя Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, управлялъ Министерствомъ Удѣловъ, равно какъ и экземпляры напечатанныхъ въ ограниченномъ числѣ книгъ Ю. Ѳ. Самарина: *Общественное хозяйство города Риги* и Н. И. Надеждина: *Изслѣдованіе о скопческой ереси*. Графъ Перовскій скончался въ концѣ 1856 года. Въ то время говорили, и кажется правдоподобно, что одинъ незначительный и притомъ совершенно бездарный и не свѣдущій чиновникъ, состоявшій при графѣ Л. А. Перовскомъ, для переписки неважныхъ по содержанію бумагъ, «мня службу приносити», поусердствовалъ. Онъ сжегъ всѣ эти экземпляры, хотя впрочемъ не былъ ни евреемъ, ни рижскимъ бюргеромъ, ни даже скопцомъ. Поусердствовалъ онъ на доблестномъ поприщѣ сожженія книгъ единственно изъ любви къ столь благородному исскуству.

[2]) Она напечатана (первая половина ея) въ IV книжкѣ *Чтеній въ Обществѣ Исторіи и Древностей* 1872 года, въ печатаемыхъ тамъ *Матеріалахъ для исторіи хлыстовской и скопческой ересей*, собранныхъ мною. Въ мое собраніе бумагъ о расколѣ вошли, между прочимъ, переданныя мнѣ покойнымъ В. И. Далемъ его бумаги по этому предмету, равно какъ и бумаги Н. И. Надеждина.

Когда же Перовскій назвалъ Даля, императоръ Николай Павловичъ поспѣшилъ освѣдомиться, какого онъ исповѣданія. Владиміръ Ивановичъ былъ лютераниномъ, и государь призналъ неудобнымъ разсылать высшимъ духовнымъ и гражданскимъ лицамъ книгу, по вѣроисповѣдному предмету написанную иновѣрцемъ. Написать новое изслѣдованіе поручено было Надеждину, который въ свой трудъ внесъ всю работу Даля.

В. И. Даль, служа при графѣ А. А. Перовскомъ, имѣлъ казенную квартиру въ томъ же домѣ у Александринскаго театра, гдѣ жилъ и самъ министръ. Всѣ знали, что̀ значитъ Даль для министра, и потому было неудивительно, что губернаторы и другія важныя лица, служившія по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, всѣ искатели мѣстъ и наградъ, взбирались по девяноста ступенямъ въ квартиру Владиміра Ивановича; но онъ всегда былъ для нихъ невидимкой. За то всякій знатный ли незнатный ли, всякій совершенно даже безвѣстный человѣкъ, если приносилъ Казаку Луганскому нѣсколько областныхъ словъ или нѣсколько пословицъ или поговорокъ, съ самымъ теплымъ участіемъ былъ принимаемъ въ его семействѣ. Но ему тамъ и заикнуться не давали о службѣ или дѣлахъ. По четвергамъ собирался у Владиміра Ивановича кружокъ близкихъ людей: тутъ бывали академики, профессора, литераторы, художники, музыканты, морики, артиллеристы, военные инженеры, офицеры генеральнаго штаба, все люди мысли, слова и искусства. Здѣсь-то, на этихъ четвергахъ, зародилась и выработалась мысль объ учрежденіи Русскаго Географическаго Общества, которое бы находилось въ вѣдѣніи министра внутреннихъ дѣлъ. Въ 1845 году графъ Перовскій исходатайствовалъ Высочайшее соизволеніе на учрежденіе этого Общества, самаго дѣятельнаго изъ всѣхъ русскихъ ученыхъ обществъ, сдѣлавшаго такъ много

въ 27 лѣтъ своего существованія. Имя Владиміра Ивановича значится въ числѣ именъ его учредителей.

И въ Оренбургѣ при В. А. Перовскомъ, и въ Петербургѣ при графѣ Л. А. Перовскомъ, В. И. Даль успѣвалъ удѣлять время на веденіе записокъ обо всемъ, что происходило вокругъ него, обо всѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ онъ принималъ участіе, какъ секретарь и какъ довѣренное лицо обоихъ Перовскихъ. Какой драгоцѣнный матеріалъ для исторіи! Но ему не суждено было уцѣлѣть. Уже болѣе полутора стопъ бумаги исписано было бисернымъ почеркомъ Даля. Вслѣдъ за описаніемъ Оренбургскаго края и любопытнымъ сказаніемъ о бытѣ уральскихъ казаковъ, отбываніи ими службы, рыболовствѣ и отношеніяхъ къ Киргизамъ, въ запискахъ Даля подробно описана была Киргизская степь, помѣщено было множество разсказовъ вышедшихъ изъ Хивы русскихъ плѣнниковъ [1]), а равно и торговцевъ, посѣщавшихъ Бухару, Ташкентъ и Коканъ; разсказывалось объ экономическомъ устройствѣ Башкиръ, описанъ каждый кантонъ башкирскій. Тутъ же находилось описаніе добыванія соли на Илецкой защитѣ, золотыхъ пріисковъ около Златоуста, рыбныхъ лововъ въ Уралѣ, Эмбѣ и на Каспійскомъ морѣ; записаны всѣ происшествія, (1834—1841) случившіяся въ Оренбургскомъ краѣ, всѣ сношенія В. А. Перовскаго съ среднеазіятскими независимыми владѣтелями и въ заключеніе былъ подробно описанъ Хивинскій походъ 1839—1840 годовъ. За время съ 1842 по 1848 годъ описаны всѣ замѣчательныя происшествія въ Имперіи не только по оффиціальнымъ донесеніямъ, но и по другимъ источникамъ, тогда весьма

---

[1]) Изъ нихъ уцѣлѣли записанныя въ особыя тетрадки два разсказа: 1) плѣнника Ѳедора Ѳедоровича Грушина и 2) вышедшихъ изъ Хивы плѣнниковъ объ осадѣ Персіянами въ 1837 и 1838 годахъ крѣпости Герата. Оба помѣщены во второмъ томѣ *Собранія сочиненій В. Даля* изданія 1861 года.

доступнымъ Далю. Разсказано о всѣхъ важнѣйшихъ дѣлахъ, производившихся въ высшихъ государственныхъ учрежденіяхъ, причемъ набросана была мастерская и правдивая характеристика почти всѣхъ тогдашнихъ государственныхъ дѣятелей и вообще людей въ какомъ-либо отношеніи замѣчательныхъ. Тутъ были описаны дѣла по католицизму, сношенія Россіи съ Римскимъ дворомъ, назначеніе въ епископы-номинаты минскаго архидіакона Павла Равы и каноника Гинтило, реформы въ хозяйствѣ латинскихъ монастырей, дѣйствія графа Блудова въ Римѣ, возведеніе на армянскій патріаршій престолъ католикоса Нерсеса, еврейскія дѣла, дѣло эмиссара Канарскаго въ западныхъ губерніяхъ, дѣло о расхищеніи денегъ въ Комитетѣ о раненыхъ Политковскимъ и въ Петербургской управѣ благочинія Клевенскимъ, о контрабандистахъ въ Петербургѣ, объ остзейскихъ дѣлахъ при баронѣ Паленѣ, Головинѣ и князѣ Суворовѣ, о пожарахъ и поджогахъ 1842 года, объ убійствахъ Кроткова и другихъ помѣщиковъ Симбирской губерніи крестьянами, о лжеимператорахъ Константинахъ, появлявшихся въ восточной части европейской Россіи и пр. При описаніи хода дѣлъ въ высшихъ правительственныхъ учрежденіяхъ указано было на всѣ закулисныя интриги и описаны вліянія разныхъ частныхъ лицъ обоего пола. Словомъ, это была самая полная и притомъ совершенно правдивая лѣтопись за цѣлыя пятнадцать лѣтъ (1833—1848). Тутъ же были описаны и дѣла литературныя, дѣйствія нѣкоторыхъ ученыхъ обществъ, все что̀ дѣлалось въ Академіи Художествъ, въ театральной дирекціи и пр.

Въ 1848 году, графъ Перовскій, находившійся тогда въ сильной борьбѣ съ графами Орловымъ и Нессельроде, сказалъ однажды Далю: «До меня дошли слухи, которые могутъ быть истолкованы въ дурную сторону... Что̀ у васъ за собранія по четвергамъ и какія

записки вы пишете?» Владиміръ Ивановичъ съ полною откровенностію разсказалъ все графу Перовскому, которому записки были вполнѣ извѣстны; онъ всѣ ихъ читалъ и даже многое сообщалъ Далю для ихъ дополненій. Министръ удовольствовался объясненіемъ, и сказалъ: «Надобно быть осторожнѣе». Съ того дня четверги прекратились, а драгоцѣнныя записки погибли въ каминѣ. Впослѣдствіи Даль часто жалѣлъ объ утратѣ этихъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ для нашей исторіи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, но всегда прибавлялъ: «Въ то тяжелое время поступить иначе мнѣ было нельзя, я долженъ былъ беречь не себя, а министра; у него тогда было много враговъ, стремившихся устранить его отъ государственной дѣятельности. Попадись тогда мои записки въ недобрыя руки, ихъ непремѣнно сдѣлали бы пунктомъ обвиненія Льва Алексѣевича».

Послѣ того утомленный служебными трудами и частыми безсонными ночами, В. И. Даль сталъ просить графа Перовскаго дать ему мѣсто управляющаго одной изъ удѣльныхъ конторъ. Перовскій и слышать не хотѣлъ объ удаленіи изъ Петербурга неутомимаго своего сотрудника и самаго преданнаго друга. Владиміръ Ивановичъ жаловался на разстройство здоровья, Перовскій отпустилъ его на цѣлое лѣто въ южныя губерніи для отдыха. Во время этого отдыха, если только можно назвать его отдыхомъ, запасы для *Словаря* еще значительно пополнились; но здоровье Даля, прежде крѣпкое, а въ Петербургѣ сильно пошатнувшееся, не поправилось. Неотступныя просьбы Даля и ходатайство В. А. Перовскаго склонили наконецъ министра на самую тяжелую, какъ выразился онъ, жертву: въ 1849 году Владиміръ Ивановичъ получилъ мѣсто удѣльнаго управляющаго въ Нижнемъ Новгородѣ.

Отношенія уѣхавшаго въ Нижній Даля къ Перов-

скому ни мало не измѣнились. Онъ былъ въ постоянной съ нимъ перепискѣ. Министръ иногда отвѣчалъ ему самъ, и кромѣ того раза по два въ мѣсяцъ П. Г. Рѣдкинъ передавалъ ему отвѣты графа, или спрашивалъ отъ его имени мнѣній по разнымъ дѣламъ, часто вовсе не относящимся до удѣльнаго управленія. Эта переписка была мнѣ извѣстна. По указанію Владиміра Ивановича я посланъ былъ графомъ Перовскимъ въ Нижегородскую губернію для ревизіи городскаго хозяйства, а потомъ и въ качествѣ начальствующаго статистическою экспедиціей, а также для изслѣдованій современнаго состоянія раскола и для производства нѣкоторыхъ слѣдственныхъ дѣлъ по особенно важнымъ случаямъ. Министромъ мнѣ было приказано во всѣхъ дѣйствіяхъ руководиться совѣтами и указаніями Даля, что впрочемъ должно было оставаться секретомъ для мѣстной администраціи. Поэтому Владиміръ Ивановичъ не таилъ отъ меня переписки съ министромъ, а впослѣдствіи даже ввелъ меня самого въ личную съ нимъ переписку, помимо оффиціальныхъ донесеній и рапортовъ. И я могу свидѣтельствовать, что графъ Левъ Алексѣевичъ постоянно выражалъ сердечную скорбь свою о томъ, что лишился въ Далѣ самаго дѣльнаго чиновника въ министерствѣ и самаго преданнаго ему человѣка. «Такихъ сотрудниковъ какъ вы, до васъ у меня не было, да и не будетъ», писалъ онъ однажды Далю.

XIII

Частые объѣзды удѣльныхъ имѣній, разбросанныхъ по всей губерніи, поправили нѣсколько разстроенное долговременною сидячею жизнію здоровье Владиміра Ивановича и значительно увеличили его запасы для *Словаря*. Мнѣ нерѣдко доводилось бывать

въ разныхъ селеніяхъ, при разгорахъ его съ крестьянами объ ихъ бытѣ, хозяйствѣ и т. п. Было чему и было у кого поучиться, какъ надо говорить съ русскимъ простолюдиномъ! И какъ любилъ народъ ласковаго, всегда справедливаго, а въ случаѣ надобности и строгаго управляющаго! Его слова для крестьянъ были закономъ не ради страха, но ради любви и довѣрія. Крестьяне вѣрить не хотѣли, чтобы Даль былъ не природный русскій человѣкъ. «Онъ ровно въ деревнѣ взросъ, на палатяхъ вскормлёнъ, на печи вспоёнъ», говаривали они про него. И какъ онъ хорошо себя чувствовалъ, какъ доволенъ былъ, когда находился среди добраго и толковаго нашего народа! «И до всякаго-то, братцы, до крестьянскаго дѣла какой онъ дотóчный», говаривали про своего управляющаго крестьяне. «Тамъ борону починилъ, да такъ, что нашему брату и не вздумать, тамъ научилъ какъ сдѣлать, чтобы съ оконъ зимой не текло, да угару въ избѣ не было, тамъ лошадь крупинками своими вылѣчилъ, а лошадь такая ужь была, что хоть въ оврагъ тащи». Эти крупинки (гомеопатическія) были всегда съ Далемъ; разъѣзжая по деревнямъ, онъ лѣчилъ и людей, и скотину. Бывало пріѣдетъ въ удѣльный приказъ, крестьяне ужь въ сборѣ, дожидаются управляющаго, а среди ихъ больные, старики, женщины, дѣти. Прежде, чѣмъ толковать о дѣлахъ, Владиміръ Ивановичъ обойдетъ больныхъ, кому сдѣлаетъ операцію, (особенно много дѣлалъ онъ глазныхъ операцій), кому дастъ врачебный совѣтъ, кому вслитъ тутъ же при себѣ проглотить гомеопатическія крупинки. Будучи ревностнымъ поборникомъ гомеопатіи, онъ исходатайствовалъ у графа Перовскаго разрѣшеніе устроить въ Нижнемъ-Новгородѣ удѣльную гомеопатическую больницу и построить для нея обширный каменный домъ. Она существовала до

оставленія Далемъ должности нижегородскаго удѣльнаго управляющаго въ 1859 году.

Въ Нижнемъ свободнаго времени у него было гораздо больше, чѣмъ въ Петербургѣ. Здѣсь онъ, по желанію великаго князя Константина Николаевича, написалъ свои *Матросскіе досуги*. Эта книга вмѣстѣ съ его же *Солдатскими досугами* составляетъ, какъ уже сказано, лучшее собраніе статей для народнаго чтенія. Никто лучше Даля не писалъ для народа, а между тѣмъ его *Досуги* забыты.... А какъ бы они были пригодны теперь, когда грамотность стала, благодаря Бога, распространяться въ низшихъ слояхъ народа! Здѣсь же, въ Нижнемъ, Даль возвратился къ прежней своей литературной дѣятельности. Онъ писалъ очерки русской жизни и печаталъ ихъ въ Отечественныхъ запискахъ. Такихъ очерковъ написалъ онъ ровно сто. Они занимаютъ два тома собранія его сочиненій, изданныхъ въ 1861 году. Въ предисловіи къ нимъ, или по выраженію его, въ *Напутномъ словѣ*, онъ говоритъ: «Тридцать лѣтъ тому (*Московскій Телеграфъ* 1830 года), какъ показались первыя попытки писателя, который не цѣнитъ высоко сочиненій своихъ, но полагаетъ, что они могутъ быть полезны по направленію своему и по языку, особенно позднѣйшія. Такое направленіе высказалось было въ немъ въ самомъ началѣ (*Сказки* 1833), но постороннія обстоятельства пригнели его, [1]) а общій вкусъ тогдашней письменности требовалъ *повѣстей*. По сему двоякому поводу, свойственное этому писателю стремленіе обнаружилось снова уже гораздо позже, подъ конецъ дѣятельности его, въ очеркахъ и мелкихъ разсказахъ,

---

[1]) Рѣчь идетъ о послѣдствіяхъ напечатанія *Перваго Пятка* Русскихъ сказокъ, то-есть о томъ, какъ В. И. Даль имѣлъ случай познакомиться со статсъ-секретаремъ Мордвиновымъ.

которые А. А. Краевскій назвалъ *Картинами русскаго быта*. За всѣмъ тѣмъ въ изданіи этомъ собрано все, что было напечатано, кромѣ газетныхъ статеекъ и одной выкинутой повѣстушки. [2]) Сочинитель самъ многимъ весьма недоволенъ и не охотно сталъ бы перечитывать теперь все, что на вѣку своемъ написалъ; но въ поправки и передѣлки онъ не пускался: имъ не было бы конца».

Съ самаго пріѣзда въ Нижній, В. И. Даль сталъ приводить въ порядокъ собранныя имъ, въ количествѣ 37 тысячъ, русскія пословицы До тѣхъ поръ, всѣ выходившія въ свѣтъ, русскія пословицы (каждое собраніе въ пять, или шесть разъ меньше Далевскаго) были располагаемы по алфавиту. «Но азбучный сборникъ, какъ справедливо возразилъ Даль, можетъ служить развѣ для одной забавы: чтобы, заглянувъ въ него, поискать, есть ли тамъ пословица, которая мнѣ взбрела на умъ, или она пропущена». В. И. Даль призналъ необходимымъ расположить свой запасъ пословицъ по ихъ смыслу. Онъ работалъ такъ: всѣ собранныя пословицы были у него переписаны въ двухъ экземплярахъ на одной сторонѣ листа, другая оставалась чистою. Разрѣзавъ ихъ на *„ремешки“*, онъ, одинъ экземпляръ этихъ ремешковъ подклеивалъ въ одну изъ ста восьмидесяти тетрадей, озаглавленныхъ названіемъ не предположенныхъ, а явившихся сами собой во время работы разрядовъ: Богъ, Вѣра, Грѣхъ, Изувѣрство, Расколъ, Ханжество, Судьба, Терпѣніе и т. д. Затѣмъ разбирался каждый разрядъ. Пословицы подбирались по ихъ послѣдовательности и связи, по ихъ значенію. Другой экземпляръ *ремешковъ* подклеивался въ другую тетрадь, алфавитную, по первымъ буквамъ, не перваго, но

---

[2]) *Похожденія Віоль д'Амура.*

главнаго слова. Такимъ образомъ, составлялись примѣры, столь обильно разсыпанные по страницамъ *Толковаго Словаря*. За этою работой, которую мы шутя прозвали работой по *„ремешковой системѣ“*, Даль просиживалъ каждый вечеръ часа по три, по четыре. Для него это было работой механическою. Бывало рѣжетъ и подклеиваетъ ремешки, а самъ разсказываетъ бывальщину, да такъ разсказываетъ, что только слушай, да записывай. Но лишь только ударитъ 11 часовъ, Даль затушитъ стоявшія бывало предъ нимъ свѣчи, встанетъ и, пожелавъ гостямъ доброй ночи, скажетъ: «Одиннадцать часовъ, спать пора». Вообще, въ распредѣленіи времени, онъ былъ до крайности точенъ. Такъ повелось у него смолоду и кончилось со смертью. Когда въ 1853 году началась Крымская война, онъ половину послѣобѣденнаго времени удѣлилъ на другое дѣло—на щипанье корпіи для раненыхъ. Впослѣдствіи, здѣсь, въ Москвѣ, когда онъ кончилъ свой знаменитый *Словарь*, его, каждый вечеръ, можно было видѣть за письменнымъ столомъ, на которомъ онъ щипалъ корпію. Кажется, не одинъ десятокъ пудовъ ея отправлено было В. И. Далемъ въ военное вѣдомство, въ продолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ.

У *Сборника Пословицъ* до напечатанія ихъ въ 1862 году была своя исторія, исторія мытарствъ и похожденій. Въ предисловіи къ *Сборнику*, Даль говоритъ:

«Сборнику моему суждено было пройти много мытарствъ задолго до печати, и притомъ безъ малѣйшаго искательства съ моей стороны, а по просвѣщенному участію и настоянію особы, на которую не смѣю и намекнуть, не зная будетъ ли это угодно. Но люди, и притомъ люди ученые по званію, признали изданіе Сборника вреднымъ, даже опаснымъ... Нашли, что сборникъ этотъ небезопасенъ, посягая на развращеніе

нравовъ... *Это куль муки и щепоть мышьяку*, [1]) сказали они. Домогаясь напечатать *памятники народныхъ глупостей*, г. Даль домогался дать имъ печатный авторитетъ. Къ опаснымъ для нравственности отнесены пословицы: «Благословясь не грѣхъ», «Середа да пятница хозяину въ домѣ не укащица». Находили непозволительнымъ сближеніе сподрядъ пословицъ или поговорокъ: «У него руки долги» (то-есть власти много) и «У него руки длинны» (то-есть воръ).

Дополню неясныя слова Даля. Дѣло было на моихъ глазахъ.

Одна изъ Высочайшихъ особъ пожелала видѣть *Сборникъ Пословицъ*, и получивъ его въ рукописи, признала полезнымъ его напечатать, но предварительно препроводила его въ Академію Наукъ, въ которой В. И. Даль былъ членомъ-корреспондентомъ. [2]) Въ Академіи поручили разборъ *Сборника* академику протоіерею Кочетову; онъ-то и нашелъ щепоть мышьяку въ Далевыхъ *Пословицахъ*. Даль отказался отъ печатанія пословицъ. Онъ писалъ въ Академію: «Не знаю, въ какой мѣрѣ Сборникъ мой богъ бы быть вреденъ или опасенъ для другихъ, но убѣждаюсь, что онъ бы могъ сдѣлаться небезопаснымъ для меня Если же, впрочемъ, онъ могъ побудить столь почтенное лицо, члена высшаго ученаго братства, *къ сочиненію уголовной повловицы, то очевидно развращаетъ нравы*... Остается положить его на костеръ и сжечь.

---

1) Такой пословицы въ народѣ нѣтъ. Эта «уголовная», по выраженію Даля, пословица сочинена покойнымъ академикомъ протоіереемъ Кочетовымъ.

2) Вскорѣ послѣ того какъ Россійская Академія была присоединена къ Академіи Наукъ въ видѣ втораго ея отдѣленія, Даля, бывшаго членомъ корреспондентомъ по первому, то-есть, по физико-математическому отдѣленію, не спросясь его, перевели во второе. Это очень оскорбило его.

Я же прошу позабыть, что Сборникъ былъ представленъ, тѣмъ болѣе, что это сдѣлано не мною.

Лишь черезъ девять лѣтъ послѣ того, *Пословицы* Даля нашли мѣсто въ *Чтеніяхъ Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ*. Лишь въ 1862 году появилась эта книга, столь необходимая и для филолога, и для этнографа, и для всякаго литератора, который желаетъ писать не по-французски, а по-русски.

Графъ Перовскій, управлявшій удѣлами, скончался въ концѣ 1856 года. Со смертью его, служебныя отношенія Даля неминуемо должны были измѣниться. Въ Нижнемъ, въ то время, занималъ мѣсто губернатора, бывшій декабристъ, основатель «Союза Благоденствія», А. Н. Муравьевъ, человѣкъ вполнѣ достойный, но къ сожалѣнію находившійся подъ вліяніемъ окружавшихъ его многочисленныхъ родственниковъ. Сначала, онъ жилъ съ Далемъ, что-называется, душа въ душу. Оба высоко-нравственные, оба высоко-образованные люди, связаны были, сверхъ того, вѣрою въ ученіе Сведенборга. Но, впослѣдствіи, между этими друзьями, вслѣдствіе навѣтовъ и бабьихъ сплетенъ, пробѣжала черная кошка. Произошло столкновеніе. Даль забылъ, что не всякій министръ есть Перовскій, написалъ къ его преемнику такое-же откровенное письмо, какія привыкъ писать къ графу Льву Алексѣевичу. Преемникомъ графа Перовскаго былъ родной братъ нижегородскаго губернатора. Владиміръ Ивановичъ получилъ отъ него замѣчаніе, (первое, послѣ постройки моста черезъ Вислу) и подалъ въ отставку

IX

Послѣ десятилѣтняго пребыванія въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ самомъ концѣ 1859 года, Владиміръ Ива-

новичъ, переѣхавъ въ Москву, поселился на Прѣснѣ, въ домѣ, имъ купленномъ у г. Иваненка, а построенномъ историографомъ княземъ Щербатовымъ. Въ этомъ домѣ написана была *Исторія Россійскаго Государства*, въ этомъ домѣ, (въ нашествіе Наполеона, поплатившемся паркетомъ въ гостиной, гдѣ какой-то французскій генералъ, не умѣя топить наши печи, разводилъ костры), кончены были работы по *Толковому Словарю*. Изъ Нижняго, В. И. Даль привезъ *Словарь* окончательно обработанный до буквы П. Въ Москвѣ недуги Даля усилились, а онъ работалъ, работалъ неутомимо, иногда до обмороковъ. Онъ часто бывало говаривалъ: «Ахъ, дожить бы до конца *Словаря*! Спустить бы корабль на воду, отдать бы Богу на руки!»

Желаніе его исполнилось, онъ дожилъ до свершенія своего великаго труда.

Но какая неустанная работа потребовалась для изданія этого *Словаря*. Онъ напечатанъ шестью разными наборами не въ абзацахъ, а въ строку. Кто хоть нѣсколько знакомъ съ типографскимъ дѣломъ, тотъ пойметъ, какой трудъ, какое вниманіе надо было употребить для повѣрки такого набора. Даль держалъ *до четырнадцати корректуръ* трехсотъ тридцати листовъ своего труда: въ словарѣ малѣйшая опечатка не должна имѣть мѣста.... Въ *Напутномъ Словѣ* къ *Словарю* В. И. Даль говоритъ: «Выборъ, а затѣмъ частью и отливка шести разныхъ наборовъ, и другія пріуготовленія печатни, скрали почти полгода; правка такой книги, какъ *Словарь*, тяжела и мѣшкотна, а тѣмъ болѣе для одной пары старыхъ глазъ; вотъ причины медленности выхода *Словаря*; но что зависитъ отъ составителя, то, конечно, одна только смерть, или болѣзненное одряхлѣніе, могли бы остановить начатое».

Корректуру перваго листа *Словаря* В. И. Даль послалъ, въ 1863 году, на показъ, между прочимъ, покойному Гречу, прося у него, какъ у опытнаго лингвиста, совѣтовъ. «Когда я первый правочный листъ *Словаря* выслалъ П. И. Гречу, говоритъ Владиміръ Ивановичъ въ *Напутномъ Словѣ*, чтобъ онъ, сообща со мною, порадовался началу успѣха завѣтнаго труда, то этотъ семидесятипятилѣтній дѣлатель, не смотря на вражду мою съ граматикой, настоялъ на высылкѣ къ нему по почтѣ (въ Петербургъ) каждаго правочнаго листа, возвращая его съ поправками и замѣтками своими ко мнѣ, въ Москву; а когда я отговаривался, совѣстясь затруднять его такимъ нескончаемымъ трудомъ, то онъ отвѣчалъ: «Дайте мнѣ умереть за этою работой!» Замѣтки этого заслуженнаго уставщика русской грамоты были мнѣ крайне полезны, охранивъ меня отъ многихъ промаховъ; и если они не всѣ безусловно мною приняты, то это уже сдѣлано сознательно, или по необходимости, чтобы не нарушить цѣлости принятыхъ однажды, право или неправо, основаній».

Первое сочувствіе знаменитый трудъ Даля встрѣтилъ въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности, учрежденной при Московскомъ университетѣ. Безспорная заслуга Общества!

О сочувствіи этомъ Владиміръ Ивановичъ такъ разсказываетъ:

«Составитель обязанъ объявить, по какому случаю *Словарь* его, вовсе неожиданно, поступилъ въ печать. По прибытіи его въ Москву, зимою на 1860 годъ, Общество Любителей Русской Словесности, почтившее его, уже до сего, званіемъ члена своего, пожелало узнать ближе, въ какомъ видѣ обрабатывается *Словарь*, и что именно уже сдѣлано. Отчетъ въ этомъ отдалъ онъ запискою, читанною въ засѣданіяхъ Обще-

ства 1860 года (въ частномъ засѣданіи 25-го февраля и въ публичномъ 6-го марта). [1]) Горячо и настойчиво отозвалось на это все Общество, подъ предсѣдательствомъ покойнаго А. С. Хомякова, и тотчасъ же предложено было, не откладывая дѣла, найти средства для изданія *Словаря*.

«Дѣло составителя было при семъ заявить о всѣхъ затрудненіяхъ и неудобствахъ, какія онъ могъ предвидѣть, давно уже самъ обсуждая это дѣло: *Словарь* доведенъ еще только до половины, и едва ли, прежде восьми, или десяти лѣтъ, можетъ быть оконченъ; собирателю подъ шестьдесятъ лѣтъ; изданіе станетъ дорого, а между тѣмъ, вѣроятно, не окупится; кому нуженъ неоконченный *Словарь?*

«Но нашлось нѣсколько сильныхъ и горячихъ голосовъ, и первымъ изъ нихъ былъ голосъ М. П. Погодина, устранившій всѣ возраженія этимъ тѣмъ, что если видѣть всюду однѣ помѣхи и препоны, то ничего сдѣлать нельзя, ихъ найдется еще много впереди, несмотря ни на какую предусмотрительность нашу, а печатать *Словарь* надо, не дожидаясь конца его, и притомъ не упуская времени. Самая печать неминуемо должна продлиться нѣсколько лѣтъ, а потому будетъ еще время подумать объ остальномъ, лишь бы дѣло пущено было въ ходъ.

«Тогда поднялся еще одинъ голосъ А. И. Кошелева, съ другимъ вопросомъ: чего станетъ изданіе готовой половины *Словаря?* И по отвѣту, что безъ 3.000 руб., нельзя приступить къ изданію, даже разсчитывая на нѣкоторую помощь отъ выручки, деньги эти были, такъ-сказать, положены на столъ.» [2])

---

[1]) *Записка о Русскомъ Словарѣ* напечатана въ первой книжкѣ *Русской Бесѣды* на 1860 годъ и потомъ перепечатана въ предисловіи къ *Толковому Словарю живаго великорусскаго языка*, стр. XVI—XXIV.

[2]) *Толковый Словарь живаго великорусскаго языка*, т. I, стр. XIV.

Бывшій, въ то время, министромъ народнаго просвѣщенія статсъ-секретарь А. В Головнинъ, въ сороковыхъ годахъ служившій при графѣ Перовскомъ, подъ непосредственнымъ начальствомъ В. И. Даля, [1]) еще въ 1862 году докладывалъ Государю Императору о напечатанныхъ *Пословицахъ Русскаго народа* и о составленіи Далемъ первой половины *Толковаго Словаря*. Державный покровитель наукъ, въ день празднованія тысячелѣтія Россіи, послалъ составителю этого *Словаря*, собирателю *Пословицъ* и знаменитому русскому писателю Владиміру Далю, аннинскую ленту при Высочайшей грамотѣ, въ которой изложены заслуги «знаменитаго писателя» на поприщѣ отечественной словесности. Въ 1864 году, министръ представилъ Государю Императору первый томъ *Толковаго Словаря* (буквы А—З). Его Величеству угодно было даровать своему народу *Словарь* его живаго языка. Всѣ издержки, по изданію *Толковаго Словаря* Даля, Государь принялъ на свой счетъ. Такимъ образомъ, если мы имѣемъ теперь *Словарь*, смотря на который, едва вѣрится, чтобъ это былъ трудъ одного человѣка, *Словарь*, подобнаго которому нѣтъ на другихъ языкахъ, [2]) то этимъ мы всецѣло обязаны народолюбивому и народомъ любимому Царю нашему, воспитаннику Далева друга, незабвеннаго Жуковскаго, отъ котораго Онъ научился любить и уважать отечественную литературу и родное слово. [3])

---

[1]) Онъ былъ секретаремъ особенной канцелярія министра, а Даль управлялъ ею.

[2]) Говорится въ томъ смыслѣ, что на другихъ языкахъ нѣтъ такого словаря, въ которомъ бы собраны были всѣ областныя реченія, а пр. мѣры были бы заимствованы не изъ искуственной литературы, а *изъ устъ самого народа, творца своего языка*, то-есть изъ пословицъ, пѣсенъ, сказокъ, поговорокъ и т. п.

[3]) Три тысячи рублей, первоначально данныя на изданіе *Словаря*, были возвращены В. И. Далемъ А. И. Кошелеву, который не пожс-

Четыре огромные тома in 4-to въ 330 листовъ, плодъ неустанныхъ 47-лѣтнихъ трудовъ, въ 1867 году явились предъ русскою публикой. Какъ бы загремѣло имя Даля, еслибъ это былъ словарь французскій, нѣмецкій, англійскій! А у насъ хоть бы одно слово въ какомъ-нибудь журналѣ [1]). Ни одинъ университетъ не выразилъ своего уваженія къ монументальному труду Даля возведеніемъ его на степень доктора русской словесности, между тѣмъ какъ дипломы на докторскую степень раздавались зря. Ни одинъ университетъ не почтилъ составителя *Толковаго Словаря* званіемъ почетнаго члена или хотя простымъ привѣтомъ неутомимому труженику, окончившему столь великое дѣло!... Я не зналъ человѣка скромнѣе и нечестолюбивѣе Даля, но и его удивило такое равнодушіе. Впрочемъ я ошибся: одинъ университетъ, въ Россіи находящійся, съ должнымъ уваженіемъ отнесся къ труду Даля. Это университетъ нѣмецкій, существующій въ исконномъ русскомъ городѣ Юрьевѣ, нынѣ Дерптомъ именуемомъ. Оттуда прислали Далю за *русскій Словарь* латинскій дипломъ и нѣмецкую премію [2]).

лалъ взять ихъ обратно, но предоставилъ въ распоряженіе Общества Любителей Россійской Словесности для изданія русскихъ пѣсенъ, собранныхъ покойнымъ Кирѣевскимъ. Въ собраніе это вошли и пѣсни, собранныя В. И. Далемъ. До сихъ поръ издано девять выпусковъ пѣсенъ подъ редакціей Секретаря Общества П. А. Безсонова.

[1]) Это очень понятно. Чтобы дѣльно писать о Далевомъ словарѣ надо много знать, надо знать, кромѣ того, нашъ народъ и его живую рѣчь во всѣхъ ея изгибахъ. Какъ бы ни велико было у взявшагося писать знаніе русской грамматики и книжнаго языка, этого недостаточно. Даль говоритъ прямо, что русской грамматики покамѣсть еще нѣтъ, а книжный языкъ, особенно языкъ писателей послѣдняго времени, онъ отвергаетъ. Вотъ сказать, что въ *Словарь* помѣщены слова, составленныя самимъ Далемъ, выдуманныя имъ, какъ сдѣлалъ это г. Пыпинъ, это намъ съ руки.

[2]) Она учреждена вдовою нѣмкою (забылъ фамилію) и назначена для наградъ за знаменитые успѣхи въ области языкознанія.

Честь и слава россійскимъ университетамъ! А кажется въ нихъ сидѣли тогда не одни гг. Пыпины.

Когда *Толковый Словарь* былъ конченъ печатаніемъ, ординарный академикъ М. П. Погодинъ писалъ въ Академію:

«*Словарь* Даля конченъ. Теперь русская Академія Наукъ безъ Даля немыслима. Но вакантныхъ мѣстъ ординарнаго академика нѣтъ. Предлагаю: всѣмъ намъ, академикамъ, бросить жеребій кому выйти изъ Академіи вонъ, и упразднившееся мѣсто предоставить Далю. Выбывшій займетъ первую какая откроется вакансію».

Академія Наукъ единогласно избрала Владиміра Ивановича въ свои почетные члены. Затѣмъ она присудила *Толковому Словарю* Ломоносовскую премію. Разборъ *Словаря* составленъ ординарнымъ академикомъ Я. К. Гротомъ. Кромѣ того академикомъ Л. И. Шренкомъ составлена была записка о зоологическихъ названіяхъ въ *Толковомъ Словарѣ*, а академикомъ Ф. И. Рупрехтомъ о ботаническихъ названіяхъ. Я. К. Гротъ составилъ также дополненія къ *Словарю* Даля [1]). Владиміръ Ивановичъ съ благодарностью воспользовался замѣчаніями названныхъ академиковъ. По изданіи *Словаря*, къ нему стали поступать изъ разныхъ мѣстъ много дополненій, особенно отъ г. Микуцкаго изъ Варшавы. Все это, всѣ присылаемыя и самимъ замѣчаемыя въ сочиненіяхъ разныхъ писателей слова, В. И. Даль вписывалъ въ печатный экземпляръ *Словаря*. Дополненія находятся у его наслѣдниковъ. Покойный соби-

---

[1]) Разборъ Я. К. Грота и записки его, Л. И. Шренка и Ф. И. Рупрехта напечатаны въ *Собраніи статей, читанныхъ въ отдѣленіи Русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ*, томъ VII, 1870 года.

рался издать ихъ особо [1]). Теперь осталось въ продажѣ весьма немного экземпляровъ *Толковаго Словаря*, [2]) и если во второе изданіе его будутъ включены приготовленныя составителемъ дополненія, то онъ будетъ почти въ полтора раза обширнѣе.

Въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности Даль былъ предложенъ въ почетные члены предсѣдателемъ А. И. Кошелевымъ, дѣйствительными членами, княземъ В. Ѳ. Одоевскимъ и Мельниковымъ, и секретаремъ П. К. Щебальскимъ. Предъ засѣданіемъ, въ которомъ должна была производиться баллотировка, предложеніе лежало на столѣ. Всѣ члены Общества до единаго присоединили свои подписи къ предложенію названныхъ четырехъ членовъ. Баллотировки произвести было нельзя, ибо всѣ избиратели предложили Владиміра Ивановича въ почетные члены. Черезъ нѣсколько дней, когда изготовленъ былъ дипломъ, депутація, состоявшая изъ предсѣдателя Общества и многихъ членовъ, отправилась въ домъ Даля съ просьбой: «сдѣлать Обществу высокую честь — принять званіе почетнаго его члена».

Императорское Русское Географическое Общество, мысль о которомъ возникла въ сороковыхъ годахъ на Далевыхъ вечерахъ, увѣнчало трудъ его Константиновскою золотою медалью. Разборы были, по порученію этнографическаго отдѣленія Общества, написаны ординарнымъ академикомъ И. И. Срезневскимъ и членомъ общества П. И. Савваитовымъ. Кромѣ того на-

---

1) Часть ихъ помѣщаема была при *Словарѣ* въ видѣ дополненій. Эти дополненія печатались на одной сторонѣ листа въ видахъ приспособленія ихъ къ работѣ по «ремешковой системѣ». Ремешки эти можно подклеивать и въ самый *Словарь* на надлежащихъ мѣстахъ.

2) Не болѣе 150 изъ 1.500. Замѣчательно, что много экземпляровъ *Толковаго Словаря* выписано отъ иностранныхъ книгопродавцевъ за границу.

писалъ разборъ еще членъ Общества г. Пыпинъ. По поводу сего послѣдняго разбора В. И. Даль напечаталъ въ концѣ IV тома своего *Словаря* слѣдующій *Отвѣтъ на приговоръ*:

«Этнографическое Отдѣленіе Русскаго Географическаго Общества, удостоивая *Толковый Словарь* мой Константиновской золотой медали, говоритъ по сему поводу: «Вполнѣ соглашаясь съ оцѣнкой сдѣланной «труду г. Даля гг. Срезневскимъ и Савваитовымъ, «Отдѣленіе признало его заслуживающимъ Константи«новскую медаль. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду «рецензію на *Толковый Словарь* г. Пыпина, хотя и «разсматривающаго его со стороны чисто филологи«ческой, члены Отдѣленія почли долгомъ заявить и съ «своей стороны, что было бы весьма желательно, чтобы «такія слова (то-есть слова не общеупотребительныя «въ языкѣ и какъ бы вновь составленныя), какъ ука«занныя г. Пыпинымъ и подобныя имъ, были вносимы «въ *Словарь* не иначе, какъ съ оговоркою, *гдѣ именно «и кѣмъ они сообщены составителю*, черезъ что самое, «по ихъ мнѣнію, устранится отъ этого важнаго и не«обходимаго для всѣхъ изданія, возможное въ против«номъ случаѣ, нареканіе на г. Даля, что онъ помѣ«щаетъ въ *Словарь* народнаго языка слова и рѣчи, про«тивныя его духу и слѣдовательно повидимому вы«мышленныя, или по крайней мѣрѣ весьма сомнитель«наго свойства.» Такъ какъ я уже много лѣтъ за недосугомъ ничего не читаю, отдавъ всѣ силы свои, все время, и всѣ глаза *Словарю*, то я не видалъ и не слышалъ даже ничего объ этомъ приговорѣ столь уважаемаго ученаго Общества, ниже о разборѣ г. Пыпина. Все это дошло до меня только нынѣ, черезъ пять лѣтъ, иначе я бы тогда же счелъ долгомъ объясниться. Мнѣ извѣстенъ былъ досель одинъ только темный и безыменный намекъ въ томъ же духѣ, сдѣ-

ланный однимъ изъ гг. академиковъ [1]). Я тогда же писалъ къ нему, просилъ прямыхъ указаній и объясненій, но просилъ безуспѣшно; объясненій ни моихъ, ни своихъ, повидимому, не желали; а такъ какъ намекъ былъ очень темный и могъ относиться даже и не ко мнѣ, то я и не могъ настаивать на объясненіи. Требованіе Отдѣленія кажется простое и правое: укажи, гдѣ ты взялъ слова эти, мы ихъ не знаемъ, не слыхали, въ *Академическомъ Словарѣ* ихъ нѣтъ; но задача трудна и даже неисполнима. Предвидя такое требованіе, я уже говорилъ о немъ въ *Напутномъ Словѣ* своемъ къ *Словарю*. Если словарь набирается только изъ книгъ, то конечно на нихъ можно сослаться; будетъ побольше труда, ссылки займутъ много мѣста, но исполнить это можно. Если составляется словарь обработаннаго, вполнѣ устоявшагося языка, то въ этомъ указаніи почти нѣтъ надобности; составитель новаго французскаго или нѣмецкаго словаря едва ли найдетъ много такихъ словъ, коихъ бы не было ни въ одномъ изъ вышедшихъ уже словарей; языкъ давно перепотрошенъ на всѣ лады и каждое слово его перебрано и перещупано въ пальцахъ А что дѣлать русскому словарнику, который одинъ, своею душой, собралъ гораздо за 80.000 словъ, коихъ нѣтъ доселѣ ни въ одномъ словарѣ, откуда они вытѣснены условными, письменными реченіями, частью плохо придуманными, частью взятыми изъ помянутыхъ готовыхъ нѣмецкихъ и французскихъ словарей? Скажутъ: и у 80.000 словъ можно сдѣлать отмѣтки; но спрашиваю, на что и на кого ссылаться? Этнографическое Отдѣленіе говоритъ: «Вносить съ оговоркою, гдѣ именно и кѣмъ слова составителю сообщены». Академія могла бы это сдѣлать при изданіи *Областнаго Словаря*, потому

[1]) Покойнымъ академикомъ Коркуновымъ, редактировавшимъ *Областной Словарь Академіи Наукъ*.

что ей сообщались слова за подписью собирателей, а я-то, самъ собиратель, то-есть, подбиравшій крохи эти случайно и сорокъ лѣтъ сряду, на кого я сошлюсь? Или мнѣ выставить при каждомъ словѣ: *слышано въ городѣ Ирбити, отъ купца Пряничникова*, или *въ деревнѣ Поповой, Семеновскаго уѣзда, Нижегородской губерніи, отъ крестьянки Макаровой?* Вѣдь краткое указаніе на губернію, коли слово мѣстное, у меня есть; множество словъ, искаженныхъ *Областнымъ Словаремъ*, указаны, либо исправлены мною, знакъ сомнѣнія (?) выставленъ при каждомъ подозрѣваемомъ мною словѣ— не знаю, что я могъ сдѣлать болѣе? Записывая чуть ли не съ 1819 года всякое новое для меня слово, гдѣ бы оно мнѣ ни попадалось, могъ ли я предвидѣть подобное требованіе и могъ ли его исполнить? Развѣ я ходилъ по слова, какъ по грибы, набралъ кузовъ, принесъ домой и пожалуй подписалъ: «изъ такого-то бора»? Кто занимался этимъ дѣломъ, тотъ понимаетъ что на заказъ словъ не наберешь, а хватаешь ихъ на лету, въ бесѣдѣ, когда они безо всякаго раздумья бываютъ сказаны. Люди близкіе со мною не разъ останавливали меня, среди жаркой бесѣды, вопросомъ: «Что́ вы записываете?» А я записываю сказанное вами слово, котораго нѣтъ ни въ одномъ словарѣ. Никто изъ собесѣдниковъ не можетъ вспомнить этого слова, никто ничего подобнаго не слышалъ, и даже самъ сказавшій его, первый же и отрекается; а когда я затѣмъ покажу что́ записалъ: *горонить, замолаживать* или *увый*, или что-нибудь подобное, то оказывается что одинъ не дослышалъ слова этого, другой спрашиваетъ при семъ случаѣ, что́ оно значитъ, а третій дивится: чего тутъ записывать? слово обиходное, всякому извѣстное!.. Что́ же я отмѣчу при такомъ словѣ — а ихъ тысячи — чье имя или свидѣтельство подъ нимъ выставлю? Имя этого собесѣдника? Но онъ никому изъ ученыхъ не извѣстенъ;

Николаевыхъ и Ведерниковыхъ на Руси много, да наконецъ, и онъ могъ придумать слово это, также какъ я; воля ваша, опричь случаевъ, гдѣ слово относится къ весьма ограниченной мѣстности или къ какому-нибудь ремеслу, промыслу, трудно дѣлать удостовѣренія или ручательство. Кромѣ нравственной поруки, другой нѣтъ; можно бы развѣ только пожелать, чтобы прежде подобнаго нареканія, сами судьи ознакомились поближе съ живымъ, не книжнымъ языкомъ, и, можетъ-быть, многія сомнѣнія тогда бы сами собой исчезли. Я говорю прямо и по совѣсти, что *Словарь* мой не заслужилъ на почвѣ этнографіи той высшей награды, которой онъ былъ удостоенъ, это мое искреннее убѣжденіе, потому что въ народописательномъ отношеніи въ немъ нѣтъ ничего полнаго, связнаго и цѣльнаго; но подобное заподо́зрѣнье, въ общихъ словахъ, заподо́зрѣнье ученымъ обществомъ, лишаетъ его въ глазахъ современниковъ даже и язычнаго достоинства: коли словарю нельзя вѣрить, коли онъ набитъ офеньскими, то-есть придуманными словами вмѣсто природныхъ, то какой же это словарь? Множество такихъ офеньскихъ, либо сочиненныхъ или искаженныхъ словъ, я не принялъ изъ академическаго *Областнаго Словаря*, большое число ихъ исправилъ или отмѣтилъ ихъ офеньскими, или ставилъ при нихъ знакъ сомнѣнія,—и за тѣмъ буду самъ придумывать свои слова?

«Но я знаю что потомство разсудитъ иначе и назоветъ нареканіе это, печатно высказанное, напраслиной. Русскій языкъ станетъ современемъ болѣе доступнымъ для образованныхъ сословій, пишущіе люди сроднятся съ нимъ и конечно не найдутъ въ *Словарѣ* моемъ того, что́ имъ предсказали современники. Я впрочемъ никогда и нигдѣ не ободрялъ безусловно всего безъ различія, что́ обязанъ былъ включить въ *Словарь*: выборъ предоставленъ писателю

«Возьмемъ другой примѣръ: по живому составу нашего языка или по свойству словообразованья его, каждый глаголъ самъ собою даетъ отъ себя цѣлое гнѣздо производныхъ, даетъ существительныя, прилагательныя, нарѣчія и пр. Изъ этихъ словъ, какъ я указалъ примѣрами въ передовой статьѣ своей (къ *Словарю*), и половины нѣтъ въ прочихъ словаряхъ; я старался пополнить пропуски эти,—но на что́ я пошлюсь, еслибы потребовали у меня отчета, откуда я взялъ такое-то слово? Я не могу указать ни на что кромѣ самой природы духа нашего языка, могу лишь сослаться на міръ, на всю Русь; но не знаю было ли оно въ печати, не знаю гдѣ, и кѣмъ, и когда оно говорилось. Коли есть глаголъ *пособлять*, *пособить* то есть и *посабливать*, хотя бы его въ книгахъ нашихъ и не было, и есть, *посабливанье*, *пособленье*, *пособъ* и *пособка* и пр. На кого же я сошлюсь что слова эти есть, что я ихъ не придумалъ? На русское ухо — больше ни на кого.

«Все это я писалъ, не видавъ разбора (г. Пыпина), на который Этнографическое Отдѣленіе ссылается; разспросы мои, наконецъ, объяснили мнѣ что разборъ этотъ никогда не былъ напечатанъ, и я съ великимъ трудомъ добылъ свѣдѣніе о томъ на какія именно слова моего *Словаря* разборщикъ ссылается. Онъ приводитъ ихъ всего только *три*, говоря: «гармонію онъ (Даль) переводитъ: *согласъ*, гимнастику—*ловкосиліе*, автоматъ—*живуля*», и при послѣднемъ словѣ ставитъ два знака удивленія. Основываясь на этихъ трехъ словахъ разборщикъ (г. Пыпинъ) говоритъ: «рядомъ со словами общественными, словами областными, онъ (Даль) ставитъ *часто*, ничѣмъ ихъ не обозначая, слова собственнаго сочиненія».

«Еслибы до времени открыто было въ *Словарѣ* моемъ не болѣе этихъ трехъ словъ моего сочиненія, то не лишку ли сказано, что составитель дѣлаетъ это

часто? Но первое изъ нихъ, *согласъ*, конечно, не моего сочиненія; можетъ-быть оно не печаталось доселѣ, писалось однако же, а еще чаще говорилось: *по общему согласу нашему*, пишутъ въ мірскихъ приговорахъ; согласіе или *согласъ*—у старообрядцевъ кругъ, секта; *ихъ согласъ не беретъ*, говорится въ народѣ же не рѣдко, и потому это слово не мое изобрѣтенье; меня можно обвинить развѣ только въ томъ, что я его поставилъ какъ толкованіе въ числѣ тринадцати другихъ словъ, что я предложилъ слово это въ такомъ значеньи, въ какомъ оно можетъ-быть доселѣ не принималось; но посему-то рядомъ съ нимъ и поставлено еще двѣнадцать другихъ словъ; кромѣ того слóва *согласъ*, въ значеніи *гармоніи*, въ красной строкѣ, на своемъ мѣстѣ, подъ буквою *с*—нѣтъ, а оно объяснено такъ какъ *согласіе* и *согласность*. Второе слово, *живуля*, также сочинено не мною, оно есть въ народѣ, и на сей разъ я могу сослаться на загадку, какъ сдѣлано и въ *Словарѣ* моемъ. Или я самъ сочинилъ и загадку эту? Что же мнѣ отвѣчать на такое обвиненіе? Я могу только просить обвинителя моего подумать о томъ, что онъ дѣлаетъ, и притомъ напередъ подумать, а потомъ сказать. *Живуля* въ народѣ нѣчто полуживое или по движеніямъ своимъ подобное живому. *Сидитъ живая живулечка на живомъ стуличкѣ, теребитъ живое мясцо* (младенецъ). Этого мало: слово это не только не выдумано мною, оно даже въ самомъ значеніи своемъ какъ *автоматъ* взято изъ устъ народа. Мужикъ разсказывалъ, что видѣлъ *живуль*, въ томъ числѣ и Наполеона [1]); другой спросилъ, ходятъ ли они, и на отрицательный отвѣтъ продолжалъ: «такъ это не *живули*, а болваны, а я такъ видѣлъ *живулю*, куклу, четверти въ три, и бѣгаетъ она сама, одна на кругахъ». Вотъ

1) Въ ярмарочномъ балаганѣ съ восковыми фигурами.

откуда я взялъ значенье этого слова, и за всѣмъ тѣмъ при переводѣ его словомъ *автоматъ* поставилъ еще вопросительный знакъ (см. *живой*). Наконецъ, третій примѣръ: *ловкосиліе*, правда, слово моего сочиненья, но и его нѣтъ на своемъ мѣстѣ подъ буквою *л*, а оно поставлено только *какъ объяснительное* при словѣ *гимнастика* и притомъ также съ вопросительнымъ знакомъ. Итакъ, изъ числа трехъ словъ или примѣровъ на коихъ основанъ крайне тяжкій приговоръ, одно слово можетъ служить къ обвиненію, но и это слово вставлено только ради объясненія, набрано тѣми же буквами, какъ всѣ толкованія, и притомъ съ вопросительнымъ знакомъ. Правда ли, послѣ этого, что «*онъ* (Даль) *ставитъ часто, ничьмъ ихъ не обозначая, слова собственнаго сочиненія?*»

«Утверждаю что во всемъ *Словарѣ* моемъ нѣтъ ни одного выдуманнаго мною слова, то-есть нѣтъ въ красной строкѣ, какъ слова объясняемаго; въ толкованіяхъ могутъ попадаться, хотя весьма рѣдко, слова не бывшія доселѣ въ обиходѣ; спрашиваю еще разъ не за себя, а за самое дѣло, можно ли послѣ сего такъ о немъ отозваться, какъ это случилось въ помянутомъ разборѣ (г. Пыпина)? Вѣдь о такомъ трудѣ говорить на махъ нельзя; вѣдь найдутся же люди, не теперь, такъ современемъ, кои сами вникнутъ въ дѣло и разберутъ его по совѣсти! А покуда это еще не сдѣлано, я самъ знаю за *Словаремъ* своимъ болѣе недостатковъ чѣмъ кто-либо; но порока, который добрые люди хотятъ навязать ему, въ немъ нѣтъ.

«Если трудъ цѣлой жизни человѣка поносится однимъ легкомысленно кинутымъ словомъ, то на это и отвѣчать было бы нечего; но если слово это содержитъ въ себѣ прямое обвиненіе, то на него отвѣчать должно, и отвѣчать не ради личности своей, а ради дѣла. Чая въ противникѣ своемъ (г. Пыпинѣ), *честнаго человѣка*, я увѣренъ, что онъ за симъ сдѣлаетъ одно изъ двухъ:

либо докажетъ не однимъ и даже не тремя примѣрами что *«Даль ставитъ часто, ничѣмъ ихъ не обозначая, слова своего сочиненья»*, либо объявитъ, что онъ ошибся и что беретъ слово свое назадъ».

Это было напечатано въ январѣ 1867 года, съ тѣхъ поръ до кончины Даля протекло безъ малаго шесть лѣтъ. *Честный человѣкъ*, какъ назвалъ Даль г. Пыпина, и не доказалъ, и не сказалъ, что онъ ошибся... Знаменіе времени!

Здѣсь нарочно приведено длинное объясненіе В. И. Даля, чтобы показать насколько основательно сужденіе г. Пыпина, послужившее однако источникомъ мнѣній и сплетень въ нѣкоторыхъ кружкахъ о томъ, будто Даль сочинялъ слова, искони находящіяся въ устахъ народа, но невѣдомыя нѣкоторымъ петербургскимъ фельетонистамъ, которые страждутъ ничѣмъ неизлѣчимымъ недугомъ самомнѣнія и внутренней пустоты.

Кончивъ печатаніе *Словаря*, Владиміръ Ивановичъ отдохнулъ отъ трудовъ. Онъ сдѣлалъ все: *Словарь* и *Пословицы* изданы, пѣсни переданы въ Общество Любителей Россійской Словесности для печатанія ихъ вмѣстѣ съ пѣснями Кирѣевскаго, сказки отданы для напечатанія покойному А. Н. Аѳанасьеву, разныя записки и служебныя бумаги О. М. Бодянскому, который помѣщалъ и помѣщаетъ ихъ въ *Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древностей*, и П. И. Бартеневу для *Русскаго Архива*, нѣкоторыя бумаги—М. П. Погодину; большое собраніе записокъ относящихся до раскола—мнѣ. Раздавъ такимъ образомъ свои запасы, В. И. Даль говаривалъ, что онъ теперь спокоенъ, будучи увѣренъ что все собранное имъ въ теченіе полустолѣтія рано или поздно увидитъ свѣтъ Божій.

Казалось бы, съ окончаніемъ долговременныхъ и тяжелыхъ трудовъ, здоровье Владиміра Ивановича должно было если не возстановиться, то хоть попра

виться. Вышло наоборотъ. Ему некуда было дѣвать часовъ отведенныхъ для занятій *Словаремъ*. Щипанье корпіи, разумѣется не могло удовлетворить трудолюбца... Долговременная привычка къ постоянному труду, вдругъ прекратившемуся, вредно повліяла на здоровье великаго трудолюбца. Самъ онъ сознавалъ это и, сознавая, сталъ опять писать *Картины русскаго быта* для *Русскаго Вѣстника* [1]), и *Бытописаніе* для народнаго чтенія.

Бытописаніе—это Моисеево Пятикнижіе изложенное примѣнительно къ понятіямъ русскаго простонародья. Трудъ замѣчательный по своей ясности, простотѣ и доступности пониманію малосвѣдущихъ людей [2]). Особенно замѣчательны въ немъ нравственныя толкованія разныхъ мѣстъ Св. Писанія, примѣненныя къ быту и обычаямъ нашей сельщины-деревенщины. Нѣкоторыя изъ нихъ отличаются не только чрезвычайною ясностью, но и такими примѣненіями къ жизни которыя ускользали отъ вниманія современныхъ церковныхъ учителей. Для примѣра приведу слѣдующее. Говоря о Синайскомъ законодательствѣ, Даль объясняетъ каждую изъ десяти заповѣдей. Объясняя четвертую, онъ говоритъ, что святить установленные праздники должно не гульбой, не пьянствомъ и обжорствомъ, а добрыми дѣлами и помышленіями о Богѣ и будущей жизни. «Но если, прибавляетъ онъ, ты все это исполнишь, то исполнилъ ты только половину Божіей заповѣди, другая за тобой. Въ ней сказано:

---

1) *Картины русскаго быта*, напечатанныя въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1867 и 1868 годовъ. Это были послѣднія напечатанныя при жизни В. И. Даля его сочиненія.

2) В. И. Даль имѣлъ также намѣреніе передать Евангеліе на языкѣ простонародья, но въ самыхъ строгихъ выраженіяхъ, и притомъ, разумѣется, буквально. Переведенная, такимъ образомъ, XIII глава Евангелія Матвѣя находится теперь въ рукописи у М. П. Погодина.

«шесть дней дѣлай и сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя». Значитъ каждый день трудись, опохмѣляться въ понедѣльникъ и думать не смѣй, всѣ шесть дней работай, сотвори *всѣ* свои дѣла до единаго, ни какой работы не смѣй оставлять до другой недѣли. Такъ Богъ велѣлъ. Онъ сказалъ не просто «сотвори дѣла», а «сотвори *вся* дѣла».

Бытописаніе Даля прошло много мытарствъ по цензурамъ. Иныхъ смущало то, что вмѣсто непонятной народу «скиніи», у него стоитъ палатка, шатеръ; вмѣсто «брада Аарона» — Ааронова борода; вмѣсто «стана израильскаго» (въ пустынѣ)—еврейскій таборъ. Другіе недоумѣвали можно ли допустить лютеранину поучать православный народъ. Третьи находили несогласія съ хронологіей LXX толковниковъ. Владиміръ Ивановичъ сдѣлалъ всѣ указанныя ему поправки, наконецъ, во всемъ изложеніи не найдено ни малѣйшей неправославной мысли, тѣмъ не менѣе затрудненія не исчезали. Въ Московской духовной цензурѣ рукопись пролежала около двухъ лѣтъ, надъ нею все думали, и возвратили автору, что-называется, безъ отказу, безъ приказу. Въ 1869 году я отвезъ рукопись *Бытописанія* въ Петербургъ. Тамошняя духовная цензура одобрила ее къ напечатанію, но *Бытописаніе* все-таки осталось ненапечатаннымъ, хотя одна особа и бралась его напечатать, еще съ картинами. А какъ бы хорошо было теперь дать пробуждающемуся отъ тьмы невѣжества нашему народу эту книгу, доступную его пониманію! Какъ бы это было полезно! Теперь даже и того препятствія нѣтъ, что написалъ эту книгу иновѣрецъ. За годъ до смерти онъ вступилъ въ лоно православной церкви, которую всегда признавалъ изъ всѣхъ христіанскихъ исповѣданій ближайшею къ ученію Христа Спасителя. А между тѣмъ какъ явныя и тайныя препятствія воздвигаемы были противъ распростране-

нія Далева *Бытописанія* въ народѣ, въ дѣтской даже литературѣ то-и-дѣло появлялись разказы изъ Библіи съ сужденіями далеко не православными, а въ нѣкоторыхъ народныхъ школахъ преподавалось, что источникъ всякой жизни не Богъ, а кислородъ, что міръ не сотворенъ, а самъ собой сдѣлался.... Но эти писатели и учители по всѣмъ актамъ значатся православными, а Даль—лютеранинъ. Изъ сего явствуетъ что ихъ наставленія народу полезны, а Далево *Бытописаніе* вредно. [1])

Что́ же побудило Владиміра Ивановича приложить послѣдніе труды свои къ *Бытописанію?* На это онъ имѣлъ свои причины. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, когда у насъ на Руси повѣяло новымъ духомъ, когда все встрепенулось и какъ бы ожило, много заботъ было положено на распространеніе грамотности въ темной массѣ нашего простонародья. Умножались народныя сельскія училища; по городамъ появлялись небывалыя дотолѣ воскресныя школы; въ полкахъ стали учить солдатъ грамотѣ; открылись школы при церквахъ, на фабрикахъ, въ тюрьмахъ.... В. И. Даль отъ души радовался этому, но зная русскій народъ несравненно лучше и ближе горячившихся санктпетербургскихъ «народниковъ», недоумѣвалъ надъ однимъ — что́ же будетъ читать народъ обучившійся грамотѣ? Готовы ли для него книги? «Нѣтъ спору, говорилъ онъ, что ученье свѣтъ, а неученье тьма, и что грамотѣ учиться всегда пригодится, а когда будетъ больше грамотныхъ, дураковъ поменьше будетъ; однако, прибавлялъ онъ, на одной грамотѣ далеко не уѣдешь, Нужно для народа чтеніе, а гдѣ оно? Не въ тѣхъ ли книжкахъ московскаго издѣлья, что офени по деревнямъ въ коробьяхъ разносятъ, или тѣ, что начали, какъ бли-

---

[1]) Предъ кончиной, В. И. Даль свое *Бытописаніе* передалъ въ рукописи своячениць своей, Натальѣ Львовнѣ Соколовой.

ны **печь** петербургскіе борзописцы? Необходимо заготовить книги, да чтобъ эти книги, хоть бы были и не складны письмомъ, да были бы складны смысломъ.... А безъ нихъ какой прокъ въ грамотѣ? Развѣ что въ кабакахъ фальшивые паспорты писать?» Эти мысли, живя еще въ Нижнемъ, постояно и открыто высказывалъ Владиміръ Ивановичъ и писалъ въ письмахъ къ друзьямъ, а въ 1859 году, не задолго до переѣзда въ Москву, изложилъ ихъ въ одной изъ столичныхъ газетъ. Боже мой! какой гвалтъ подняли тѣ, кого Даль обозвалъ борзописцами! Во всѣхъ газетахъ посыпались на него обвиненія: Даль ретроградъ! Даль гасильникъ просвѣщенія! и т. д. Разные въ то время считавшіеся верхомъ ума и остроумія *Свистки и Гудки* завели такую Katzenmusik предъ Далемъ, что изъ-за нея не слышно было ни одного уманаго слова.... Надъ Далемъ смѣялись самые набольшіе изъ вожаковъ тогдашняго, такъ-названнаго потомъ «нигилистическаго» направленія литературы.... Стало-быть другимъ тутъ умствовать было нечего: признавай всѣ огуломъ Даля невѣждой и гасильникомъ, на томъ и дѣлу конецъ. Не зная новоявленныхъ чудотворцевъ россійской словесности, зная литераторовъ по Пушкину, Жуковскому, Гоголю и другимъ, находившимся съ Далемъ въ дружбѣ и общеніи, не бывавъ десять лѣтъ въ Петербургѣ, онъ предполагалъ, что тамъ все еще обстоитъ попрежнему, то-есть, что въ средѣ пишущихъ «новыхъ людей», какъ во время оно, царятъ и здравый смыслъ, и добросовѣстность, и знаніе. Въ этомъ убѣжденіи онъ и выступилъ съ объясненіемъ гдѣ доказывалъ, что произошло недоразуменіе, что его не поняли, что онъ не противъ народнаго образованія, но противъ грамотности *безъ чтеніе*, что грамотность составляетъ не цѣль, а только средство для достиженія цѣли. За это Даля обругали пуще прежняго. Онъ пересталъ писать.

Между тѣмъ бѣснованіе новоявленныхъ чудотворцевъ бѣдной русской печати шло далѣе и далѣе, и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ... Они сами однако поняли, что одной грамоты мало, что народу ученье нужно. И вотъ одни вздумали знакомить его преимущественно съ естественными науками, а пуще всего съ физіологіей и особенно съ рефлексами мозга; другіе не шутя предлагали учить мальчиковъ въ сельскихъ школахъ политической экономіи. Начали писать книги и книжки для народнаго чтенія. Слава Богу, что онѣ теперь позабыты.... И вприлъ и вкось въ этихъ книжкахъ обо всемъ говорилось въ поученіе народу, обо всемъ кромѣ закона Божія и закона государственнаго. Много говорилось о правахъ, ни слова объ обязанностяхъ. Проскакивали глумленія надо всѣмъ, что свято для народнаго міровоззрѣнія.... Занятый печатаніемъ сначала своихъ *Пословицъ*, а потомъ *Словаря*, Владиміръ Ивановичъ скорбѣлъ душою, приглядываясь къ шабашу Лысой горы, какъ онъ выражался, во всемъ безобразіи разыгравшемуся въ извѣстныхъ приходахъ нашей литературу. Когда же кончилъ онъ многотрудную работу надъ *Словаремъ*, принялъ намѣреніе писать книги для народнаго чтенія. Съ чего же начать? Конечно съ «вѣчной книги» со слова Божія. Кончивъ *Бытописаніе*, намѣревался онъ продолжать трудъ свой, пройти всю Библію. Еще въ 1869 году онъ читалъ мнѣ отрывки изъ *Іисуса Навина*, *Судей и Царствъ*. но затрудненія, встрѣченныя для напечатанія *Бытописанія*, заставляли его положить перо и заняться исключительно щипаньемъ корпіи для раненыхъ.

X.

В. И. Даль всегда, какъ сказано было прежде, признавалъ ближайшею ко Христову ученію церковь

православную. Значительная часть нашихъ бесѣдъ съ Далемъ, въ продолженіе тридцатилѣтней пріязни, посвящаема была историческимъ вопросамъ объ исповѣданіяхъ и различныхъ церковныхъ расколахъ. Еще лѣтъ двадцать пять тому назадъ (какъ теперь помню, это было въ селѣ Чистомъ Полѣ, Семеновскаго уѣзда), онъ въ первый разъ высказалъ мнѣ слѣдующее: «Самая прямая наслѣдница апостоловъ безпорно ваша грековосточная церковь, а наше лютеранство дальше всѣхъ забрело въ дичь и глушь, Эти раскольники (Чистое Поле и его окресныя селенія населены раскольниками) несравненно ближе ко Христу чѣмъ лютеране. Лютеране—головѣры. По ученію Лютера: «вѣруй только во Христа, спасешься ты и весь домъ твой», добрыхъ дѣлъ значитъ не нужно. Эдакъ не одинъ благоразумный въ Евангеліи упоминаемый разбойникъ, но и всякій разбойникъ съ большой дороги въ царство небесное угодитъ, если только вѣруетъ во Христа. Римское католичество въ этомъ отношеніи лучше протестантства, но тамъ другая бѣда, горшая лютеранскаго головѣрія—главенство папы, признаніе смертнаго и страстнаго человѣка намѣстникомъ Сына Божія. Православіе—великое благо для Россіи, несмотря на множество суевѣрій русскаго народа. Но вѣдь всѣ эти суевѣрія ничто иное какъ простодушный лепетъ младенца, еще неразумнаго но имѣющаго въ себѣ ангельскую душу. Сколько я ни знаю нѣтъ добрѣе нашего русскаго народа и нѣтъ его правдивѣе, если только обращаться съ нимъ правдиво... А отчего это? Оттого, что онъ православный.... Повѣрьте мнѣ, что Россія погибнетъ только тогда, когда изсякнетъ въ ней провославіе... Расколы—вздоръ, пустяки; съ распространеніемъ образованія они какъ пыль свѣются съ Русскаго народа. Расколъ недолговѣченъ, устоять ему нельзя; что бы о немъ ни говорили, а онъ все-таки ничто иное какъ

порожденіе невѣжества... Предъ свѣтомъ образованія не устоять ни темному невѣжеству, ни любящему потемки расколу. Суевѣрія тоже пройдутъ современемъ. Да гдѣ же и нѣтъ суевѣрій? У католиковъ ихъ несравненно больше, а развѣ протестантство можетъ похвалиться, что оно совершенно свободно отъ суевѣрій? Но суевѣріе суевѣрію—рознь. Наши русскія суевѣрья имѣютъ характеръ добродушія и простодушія, на Западѣ не то; тамошнія суевѣрія дышатъ зломъ, пахнутъ кровью. У насъ непомѣрное, превышающее церковный законъ почитаніе иконъ, благовѣщенская просфора, разсѣянная вмѣстѣ съ хлѣбными зернами по полю ради урожая, скраденная частица Св. Даровъ положенная въ пчелиный улей, чтобы меду было побольше, а тамъ—испанскія инквизиціи, Варѳоломеевскія ночи, поголовное истребленіе евреевъ, мавровъ, казни протестантовъ!»

Такъ говаривалъ онъ много разъ и впослѣдствіи, и чѣмъ болѣе склонялись дни его тѣмъ чаще. Помню разъ, года четыре тому назадъ, прогуливались мы съ нимъ по полю около Ваганькова кладбища. Оно недалеко отъ Прѣсни, гдѣ жилъ и умеръ Владиміръ Ивановичъ.

— Вотъ и я здѣсь лягу,—сказалъ онъ, указывая на кладбище.

— Да васъ туда не пустятъ,—замѣтилъ я.

— Пустятъ,—отвѣчалъ онъ,—я умру православнымъ по формѣ, хоть съ юности православенъ по вѣрованіямъ.

— Что же мѣшаетъ вамъ, Владиміръ Ивановичъ? сказалъ я.—Вотъ церковь....

— Не время еще,—сказалъ онъ, — много молвы и говора будетъ, а я этого не хочу; придетъ время какъ подойдетъ безглазая, тогда....—И тутъ же поворотилъ на шутку:—Не то каково будетъ моимъ тащить тощу

мой черезо всю Москву на Введенскія горы,[1]) а здѣсь любезное дѣло—близехонько.

Выше было сказано, что В. И. Даль увлекался ученіемъ Сведенборга. Когда я сблизился съ нимъ, а это было еще въ сороковыхъ годахъ, онъ уже былъ увлеченъ сочиненіями шведскаго духовидца. Нравственное ученіе Сведенборга ничѣмъ не противно нравственности христіанской; это одно изъ самыхъ возвышенныхъ нравственныхъ ученій. Но Даль увлекался видѣніями Сведенборга о состояніи человѣческихъ душъ въ вѣчной жизни и его истолкованіями Св. Писанія. Въ Нижнемъ, въ 1852 году, онъ даже переложилъ *Апокалипсисъ* по словарю таинственныхъ словъ указанныхъ Сведенборгомъ. Вышла исторія христіанской церкви послѣ апостоловъ.[2]) Пытливый и нѣсколько мечтательный духъ Владиміра Ивановича занятъ былъ на нѣкоторое время и спиритизмомъ, но это продолжалось недолго. Принявъ православіе, онъ отвергъ Сведенборга и успокоилъ пытливость своего духа въ ученіи и преданіяхъ восточной церкви. «Я всю жизнь искалъ истины и теперь нашелъ ее,» говорилъ онъ, вступивъ въ ограду православія.

---

1) На Введенскихъ горахъ, единственное въ Москвѣ лютеранское кладбище. Оно въ верстахъ въ восьми отъ Пресни.

2) Это переложеніе (въ рукописи) находится у М. П. Погодина. Кстати о Сведенборгѣ. Однажды, еще въ Нижнемъ, мы читали съ В. И. Далемъ *Arcana Coelestia*, именно то мѣсто, гдѣ Сведенборгъ говоритъ, что онъ просилъ Бога дозволить ему заживо испытать все, что испытываетъ человѣкъ при разлученіи души съ тѣломъ, и имѣлъ послѣ того видѣніе. Тогда я, только-что, знакомился еще съ ученіемъ Сведенборга. Упомянутая книга была для меня новостью. Когда мы прочли видѣніе, я съ удивленіемъ сказалъ: «Помилуйте, Владиміръ Ивановичъ, да вѣдь это наша Ѳеодорины мытарства, *Житіе Василія Новаго*, только внѣшнія формы нѣсколько не тѣ, а смыслъ тотъ же самый...» Онъ отвѣчалъ: «Да вѣдь говорилъ же я вамъ, что у Сведенборга ничего нѣтъ противнаго христіанству. А вы вотъ о чемъ подумайте: у католиковъ вмѣсто мытарствъ—чистилище, у протестантовъ нѣтъ чистилища, но

Осенью 1871 года съ Владиміромъ Ивановичемъ случился первый легкій ударъ, и первымъ его дѣломъ было пригласить глубоко уважаемаго имъ священника, отца Преображенскаго, для присоединенія къ нашей церкви и дарованія таинства св. причащенія по православному обряду. Удары повторялись одинъ за другимъ и послѣ каждаго онъ прибѣгалъ къ божественному таинству. сентября 22-го 1872 года онъ скончался.

Итакъ скончалъ онъ жизнь свою въ русской церкви. А былъ ли Даль русскимъ по духу, онъ—Датчанинъ по племени? Всегда, съ ранней молодости.

Лѣтъ пять тому назадъ, въ какомъ-то, не упомню, журналѣ, напечатано было о славянахъ въ Даніи. Тамъ было упомянуто о славянахъ Даляхъ. Надо было видѣть восторгъ Владиміра Ивановича при этомъ извѣстіи!

Около того же времени поднялся въ печати вопросъ о нѣмцахъ прибалтійскаго края. Въ это время дерптскіе друзья Даля требовали отъ него категорическаго отвѣта кто онъ—русскій или нѣмецъ.

Вотъ что писалъ онъ имъ: «Ни прозваніе, ни вѣроисповѣданіе, ни самая кровь предковъ не дѣлаютъ чело-

---

вѣтъ и мытарствъ; православія Сведенборгъ не зналъ, онъ нигдѣ, ни однимъ словомъ о немъ не коснулся, даже въ описаніи страшнаго суда, гдѣ говоритъ обо всѣхъ исповѣданіяхъ христіанскихъ и нехристіанскихъ, о народныхъ вѣрованіяхъ русскаго народа, о *Житіи Василія Новаго*, никакого понятія онъ не имѣлъ, а написалъ то же, или почти то же самое. И во всѣхъ его *арканахъ*, то-есть таинствахъ, меньше всего сообразнаго съ католическими и лютеранскими воззрѣніями, и больше всего съ православными преданіями. А православія, говорю, онъ не зналъ ни русскаго, ни византійскаго, не былъ знакомъ не только съ *Житіемъ Василія Новаго*, но даже и съ важнѣйшими писателями православной церкви, Василіемъ Великимъ, Григоріемъ Богословомъ и другими.»—«Что жъ изо всего этого?» спросилъ я. «А то отвѣчалъ онъ, что въ преданіяхъ вашей вѣры правды гораздо больше, чѣмъ въ воззрѣніяхъ нашей.» Это было сказано въ пору самаго сильнаго увлеченія его сведенборгизмомъ.

вѣка принадлежностью той или другой народности. Духъ, душа человѣка—вотъ гдѣ надо искать принадлежности его къ тому или другому народу. Чѣмъ же можно опредѣлить принадлежность духа? Конечно проявленіемъ духа—мыслію. Кто на какомъ языкѣ думаетъ, тотъ къ тому народу и принадлежитъ. Я думаю по-русски.»

Этимъ отъ души высказаннымъ признаніемъ кончу воспоминанія о дорогомъ моемъ учителѣ и руководителѣ на поприщѣ русской слолесности, о русскомъ великомъ трудолюбцѣ, о русскомъ православномъ человѣкѣ, Владимірѣ Ивановичѣ Далѣ.

Вѣчная да будетъ ему память!

П. МЕЛЬНИКОВЪ.

АВТОБІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
В. И. ДАЛЯ

Прадѣды мои по отцѣ были датчане и отецъ датчанинъ, вызванный Екатериною, изъ нѣмецкаго университета (кажется изъ Іены) въ библіотекари. Онъ былъ богословъ, зналъ древніе и новые языки, даже еврейскій, и въ Петербургѣ съ помощью вельможъ (кажется Ахвердова и другихъ) разсудивъ, что ему нуженъ хлѣбъ, отправился въ Германію, въ университетъ, въ Іену и вышелъ докторомъ медицины.

Послѣ этого онъ женился на Маріи Фрейтагъ, дочери бывшаго на русской службѣ чиновника ломбарда и, вступивъ на службу, назначенъ врачемъ по горному вѣдомству въ Петрозаводскъ. Не знаю по какому поводу, онъ вскорѣ былъ переведенъ въ Петербургъ въ Кирасирскій полкъ, стоявшій въ Гатчинѣ. Отецъ мой былъ горячъ иногда до безумія и съ великимъ княземъ (Павломъ) не ладилъ, а по обязанности являлся

---

1) Продиктовано В. И. Далемъ, въ мартѣ 1872 года. Записка эта хранилась у дочери его, Ольги Владиміровны Демидовой и напечатана была въ *Русскомъ Архивѣ*, 1872

ежедневно къ нему съ рапортомъ. Однажды маіоръ того полка опоздалъ на какой-то смотръ или парадъ. великій князь поскакавъ на него, до того ему выговарилъ, что тотъ, покачавшись на лошади, свалился снопомъ: съ нимъ сдѣлался ударъ. Павелъ Петровичъ бросился къ нему, приказалъ отцу моему нетступно о немъ заботиться и, когда, черезъ нѣсколько дней, маіоръ поправился и могъ лично явиться къ нему, то великій князь, подавъ ему руку, сказалъ: «Sind sie ein Mensch?» Тотъ отвѣчалъ: «Ja, Hochheit». — «So können sie auch verzeihen» [1]).

Я слышалъ отъ матери, что она была во все время послѣ этого въ ужасномъ страхѣ, потому что отецъ мой постоянно держалъ заряженные пистолеты, объявивъ, что если-бы съ нимъ случилось что-нибудь подобное, то онъ клянется застрѣлить напередъ виновнаго, а потомъ и себя.

Оттуда отецъ мой былъ переведенъ по горному же вѣдомству въ Лугань, Екатеринославской губерніи, гдѣ я и родился, послѣ двухъ старшихъ сестеръ, въ 1801 году, 10 ноября. За мною слѣдовали, кромѣ умершихъ въ малолѣтствѣ сестеръ, братья: Карлъ, Левъ и Павелъ. Карлъ былъ морякъ и умеръ въ Николаевѣ; Левъ артиллеристъ—убитъ при взятіи Варшавы въ 1831 году, и товарищи поставили ему памятникъ. Павелъ, не кончивъ курса въ Дерптскомъ университетѣ, умеръ чахоткою въ Римѣ (гдѣ ему племянникъ, Левъ Даль, поставилъ памятникъ уже гораздо позже). Меня съ Карломъ отдали въ морской корпусъ; это было лѣтомъ въ 1814 году $13^1/_2$ годовъ.

Что скажу объ этомъ воспитаніи, о которомъ въ памяти остались однѣ розги, такъ называемыя дежур-

---

1) Вы человѣкъ?—Да, Ваше Высочество.—Ну, стало быть, вы можете и прощать.

ства, гдѣ дневалъ и ночевалъ барабанщикъ со скамейкою, назначенною для этой потѣхи. Трудно только повѣрить, что не было другаго исправительнаго наказанія противъ ошибки, шалости, лѣни, и даже въ случаѣ простой безсмысленной досады любаго изъ числа 25 офицеровъ. Разскажу нѣсколько случаевъ, которыхъ я былъ свидѣтелемъ. По обычнымъ преданіямъ, кадеты сообща устраивали въ огромной обѣденной залѣ въ новый годъ родъ иллюминаціи, ставили раскрашенныя и промасленныя бумажныя, саженныя пирамиды, освѣщенныя огарками внутри. Какого труда и заботъ дѣло это стоило, особенно потому, что оно должно было дѣлаться тайно! Дѣти прятались для того на чердакѣ и въ другихъ малодоступныхъ мѣстахъ, расписывая подъ охраной выставленныхъ махальныхъ бумажные листы вензелями начальниковъ своихъ и наклеивали на лучинныя пирамиды. Объ этомъ, конечно, знали всѣ офицеры, но не менѣе того, какъ всякая безъ изъятія забава или занятіе, кромѣ научнаго были запрещены, то въ 1816 году офицеръ 1-й роты изломалъ въ щепы и изорвалъ въ клочки изготовленныя къ новому году пирамиды. Не безъ слезъ, конечно, изготовлены было взамѣнъ вторыя, по недосугу гораздо меньшія, и впослѣдствіи, на самой иллюминаціи и маскарадѣ, сами офицеры прохаживались по залѣ, любовались картинными вензелями своими на пирамидахъ, будто ни въ чемъ не бывало.

Другой примѣръ.

Директоръ нашъ, дряхлѣйшій адмиралъ Карцевъ, выжившій уже изъ лѣтъ, замѣтилъ въ сумеркахъ, что кадеты расчистили себѣ на дворѣ катокъ и катаются, немногіе на конькахъ, другіе скользя на подошвахъ— приказалъ купить и раздать на каждую роту по десяти паръ коньковъ. Казалось бы затрудненіе и самое запрещеніе этимъ было устранено, и раздачу конковъ нельзя

было принять иначе, какъ за поощреніе; а между тѣмъ, если кадета ловили на такой забавѣ, которая считалась въ числѣ шалостей, если они не успѣвали скрыться черезъ безконечно длинныя галлереи, то ихъ непремѣнно сѣкли. Иногда нельзя было не подумать, что люди эти не въ своемъ умѣ. То же можно сказать о лейтенантѣ Калугинѣ, вертлявомъ щеголѣ и ломакѣ. Всякаго кадета, который смѣлъ при немъ смѣяться, онъ допрашивалъ подъ розгами: о чемъ ты смѣешься, вѣроятно подозрѣвая, что смѣются надъ нимъ. Послѣдствія такого воспитанія очевидны. Не было того порока, который бы не входилъ въ обиходъ кадетской жизни. Это было тѣмъ тяжелѣе, что о самой возможности такой жизни и не слыхивали дома. Отецъ былъ строгъ, но очень уменъ и справедливъ. Мать добра и разумна и лично занималась обученіемъ нашимъ, на сколько могла. У насъ были только учителя Штурманскаго училища, къ которымъ мы ходили на домъ: учителя рисованія и математики. Прочему учила мать, которая знала кромѣ нѣмецкаго и русскаго еще три языка. Бабушка по матери, М. Ив. Фрейтагъ даже была русская писательница, по крайней мѣрѣ переводчица и значилась въ Смирдинскомъ каталогѣ.

Но что сказать о наукѣ въ корпусѣ!

Почти то же, что о нравственномъ воспитаніи: оно было изъ рукъ вонъ плохо, хотя для виду учили всему. Маркъ Филипповичъ Горковенко, ученикъ извѣстнаго Гамалеи и нашъ инспекторъ классовъ, были того убѣжденія, что знаніе можно вбить въ ученика только розгами или серебряною табакеркою его въ голову. Эта табакерка всякому памятна.

«Тамъ не такъ сказано, говори тѣмъ же словами» и затѣмъ тукманку въ голову — это было привѣтствіе Марка Филипповича при вступленіи въ безконечный рядъ классовъ.

3 марта 1819 года, послѣ трехъ кампаній въ Маркизовомъ морѣ, мы выпущены въ мичмана, и я по желанію написанъ въ Черное морѣ въ Николаевъ. На этой первой поѣздкѣ моей по Руси я положилъ безсознательно основаніе къ моему словарю, записывая каждое слово, которое дотолѣ не слышалъ. Послѣ корпуснаго воспитанія не было у меня никакихъ разумныхъ наклонностей: я шатался съ ружьемъ по степи, не бралъ книги въ руки, но при всемъ томъ по какому-то чутью искалъ знакомства и товарищества съ лучшими людьми: назову Скарабели, братьевъ Рогулей, отчасти Зайцевскаго и другихъ.

Лучшіе годы жизни, убитые мною при корпусномъ воспитаніи, не могли поселить во мнѣ никакихъ добрыхъ нравственныхъ наклонностей; или я обязанъ домашнему воспитанію. Отецъ мой былъ прямой, въ самомъ строгомъ смыслѣ честный человѣкъ, но въ обращеніи съ нами нѣсколько сухъ и иногда даже суровъ; но мать, разумнымъ и мягкимъ обращеніемъ своимъ, а болѣе всего примѣромъ, съ самаго дѣтства, поселила въ мнѣ нравственное начало, окрѣпнувшее съ годами и не покидавшее меня во всю жизнь. Не умѣю объяснить, какъ и чѣмъ это сдѣлалось; но чувствую и сознаю, что это такъ и нынѣ, когда мнѣ уже исполнилось 70 лѣтъ и когда сыну моему уже 35. Я сознаю это благое вліяніе материнскаго воспитанія, и сынъ мой, ею же воспитанный, говоритъ о себѣ тоже.

(Продолженія не было).

ПАВЕЛЪ АЛЕКСѢЕВИЧЪ ИГРИВЫЙ

ПОВѢСТЬ

Въ небольшой комнатѣ было два стола—одинъ такъ называемый ломберный, складной, очень ветхій, другой—сосновый, который нѣкогда былъ выкрашенъ голубой краской, затѣмъ бѣлой и наконецъ красной, и потому на вытертыхъ углахъ и лысинахъ стола видны были всѣ три слоя краски. Еще стояло тутъ семь стульевъ—пара очень затасканныхъ, оплетенныхъ осокой, пара вовсе деревянныхъ, какъ-будто дружки сосновому столу; но одинъ былъ облеченъ въ первоначальную масть этого стола, то-есть голубой, а другой, повидимому, принялъ участіе во второмъ переворотѣ и одѣлся въ бѣлую сорочку; пара тяжеловатыхъ креселъ неизвѣстнаго склада и масти, одѣтыя издавна пестрядевыми чехлами, видимо, состояли въ близкомъ родствѣ съ такимъ же раскидистымъ диваномъ; подушка седьмого стула, наконецъ, если разсмотрѣть ее тщательно, показывала, что была когда-то вышита шелками по сукну или казимиру неопредѣленнаго цвѣта; но все это давно поблекло, полиняло, шелкъ мѣстами

вовсе повытерся, казимиръ посѣкся. Въ комнатѣ стоялъ еще перекосившійся шкафъ, доживавшій вѣкъ свой пузатый комодъ, горка съ трубками, величиною съ Гаркушинъ курганъ; а стѣны были увѣшаны нѣсколькими старообразными ружьями и другими отставными охотничьими припасами, а также старосвѣтскими картинами въ красныхъ узенькихъ рамочкахъ.

На диванѣ лежалъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, рослый, плотный, видный, въ весьма поношенномъ халатѣ; онъ читалъ какую-то истасканную книжонку, или, по крайней мѣрѣ, держалъ ее въ рукахъ, и сосалъ погасшую трубку. Среди пола лежалъ врастяжку большой лягавый песъ, ворчалъ и лаялъ про себя во снѣ.

Павелъ Алексѣевичъ Игривый—такъ звали этого барина—оглянулся съ улыбкой на своего любимца, потянулъ опять трубку и, замѣтивъ наконецъ, что она погасла, закричалъ: «Эй, Ванька!» Иванъ вошелъ, не говоря ни слова, подалъ барину на смѣну другую трубку, а покойницу унесъ для дарованія ей новой жизни, то-есть для чистки и набивки.

Много пять минутъ продлилось молчаніе, прерванное нѣсколькими вздохами и зѣвками барина и безсловесными возгласами его любимца, какъ опять раздалось: «Эй, трубку!..» По третьему подобному призыву своему, однакоже, помѣщикъ нашъ всталъ, потянулся, спросилъ у Ваньки: «А что, рано еще?» И узнавъ, къ своему удовольствію, что уже не такъ рано, а часъ девятый, рѣшилъ, что пора спать, и пошелъ въ сосѣднюю почивальню. Ванька послѣдовалъ за нимъ. Здѣсь мебель ни въ чемъ не уступала кабинетной: односпальная кровать о двухъ тюфякахъ и двухъ перинахъ, съ цѣлой копной подушекъ и безсмѣнными на нѣчьи времена занавѣсками, стояла во всей готовности для пріема въ нѣдра свои хозяина.

— Ну, братъ Ванька,—сказалъ онъ:—коли такъ,

отойдемъ, помолившись, ко сну. Ты раздѣнь и разуй меня, уложи меня, накрой меня, подотки меня, переверни меня, перекрести меня—а тамъ поди, усну я самъ.

— Да никакъ, сударь,—сказалъ Ванька:—и дворня-то вся спитъ безъ просыпу. Хоть бы приказали собраться да волковъ попугать; вѣдь вотъ вечоръ телку зарѣзали у Карпова, того гляди, робятъ обижать станутъ. Бывало вы, сударь, охотились сами.

— Э, бывало! Было да быльемъ поросло. Пожалуй, соберитесь на-днихъ да поохотьесь себѣ.

— То-то, сударь, холостому человѣку все не въ охоту; хоть бы, сударь, невѣсту себѣ выбрали да женились, и мужики всѣ жалѣютъ объ васъ.

Баринъ захохоталъ.

— Эка во-время собрались пожалѣть! Нѣтъ, братъ, ужъ мои невѣсты, чай, давно на томъ свѣтѣ козловъ пасутъ... Эка забота моимъ мужикамъ! Ну, видно жъ, имъ не о чемъ больше тужить: по грибы не часъ, и по ягоды нѣтъ—такъ хоть по еловы шишки.

— А что жъ, сударь, и вѣстимо, что такъ: они за вашею милостью живутъ захребетниками и не тужатъ, а вамъ такъ вотъ, видно, скучно; была бы хозяйка...

— А зови-тка, ради скуки, Меледу съ Понукалкой, такъ вотъ и уснемъ подъ шумокъ и размыкаемъ горе.

Меледой прозвали сказочника Гаврюшку, своего, доморощеннаго поварского помощника, который въ четыре года не могъ выучиться готовить простыхъ щей съ забѣлкой, отговариваясь тѣмъ, что всѣ ночи напролетъ сказываетъ барину сказку, и потому днемъ долженъ спать, вслѣдствіе чего-де и учиться некогда, да и проспалъ память. Меледа вошелъ разутый и полураздѣтый, принесъ, по обычаю, подъ мышкой одръ свой—войлочекъ и подушонку, постлалъ его въ ногахъ у барской кровати, присѣлъ на него почесываясь и ждалъ барскаго «ну». Въ то же время вошелъ въ ком-

нату еще другой человѣкъ, одѣтый и обутый, но съ такой дурацкой рожей, что посторонній не могъ бы взглянуть на него безъ смѣха. Онъ сталъ спокойно у дверей, сложилъ руки, выставилъ одну ногу и принялся зѣвать, будто по заказу, растворяя пасть какъ широкія ворота и поднося то ту, то другую руку къ бородѣ и растопыривая всѣ пять пальцевъ. Лицо это было извѣстно въ домѣ подъ должностнымъ званіемъ «Понукалки», а Меледа называлъ его обыкновенно дармоѣдомъ и надоѣдалой. Это была также ночная птица, для потѣхи барина; обязанность его состояла въ томъ, чтобы не давать уснуть преждевременно сказочнику и понукать его, если тотъ задумается или запнется. Когда одинъ изъ пріятелей Павла Алексѣевича спросилъ его, глядя на эту знаменитость, откуда онъ досталъ такого урода, и свой ли онъ, то Павелъ Алексѣевичъ отвѣчалъ: «Нѣтъ, это наемный, проскуровскій мѣщанинъ, я плачу ему по четыре цѣлковыхъ въ мѣсяцъ да отпускаю еще мѣсячину. Свой на это дѣло не годится, самъ первый уснетъ, напередъ сказочника,—тогда что я съ нимъ стану дѣлать, браниться да драться? нѣтъ, этого я не люблю. А этотъ боится, знаетъ, что сгоню со двора, коли нехорошо служить станетъ, такъ онъ и держитъ ухо остро. Притомъ, и я къ нему привыкъ: не могу глядѣть на него, чтобы не стало клонить ко сну, а какъ растворитъ ворота да зѣвнетъ—такъ тутъ и я уснулъ.»

Когда все это устроилось въ порядкѣ, и оба должностныя лица заняли свои мѣста. Павелъ Алексѣевичъ покряхтѣлъ, потомъ вздохнувъ, тамъ зѣвнулъ и промычалъ: «ну!» Сказочникъ началъ покрякивать, а Понукалка пріосанился и съ этой минуты вступилъ въ свою должность. Командное словечко «ну» развязывало и ему самому языкъ на это же коротенькое словцо и давало ему власть понукать соннаго сказочника. Этотъ

началъ очень плавно и бойко, мололъ съ четвертъ часа безостановочно, а тамъ забормоталъ менѣе внятно и захотѣлъ перевести духъ. «Ну!» началъ его пришпоривать Понукалка, у котораго также слипались глаза, но который не смѣлъ прилечь, чтобы не заснуть, и все стоялъ на своемъ мѣстѣ.—«Ну!»... Меледа крякнулъ и продолжалъ:

— На томъ на морѣ на окіянѣ, на островѣ на буянѣ, стояла береза золотые сучья, на тѣхъ, на сучьяхъ яблочки серебряныя, въ нихъ зернышки граненый алмазъ...

— Ну!—началъ опять отъ скуки Понукалка, покачиваясь, и не слушая, впрочемъ, говоритъ ли тотъ сказку, или дремлетъ.

— Стояла корова золотые рога: на одномъ рогу баня, на другомъ котелъ: есть гдѣ помыться, попариться...

— Ну...

— Ну! да ну; чего ты нукаешь?

— Да вишь ты не бойко говоришь, дремлешь...

— Самъ ты дремлешь, дармоѣдъ; гляди: затылкомъ двери пробилъ; а я не дремлю... На томъ на островѣ текутъ рѣчки медвяныя, сытовыя, берега кисельные; дѣвка выйдетъ, ударитъ коромысломъ, черпнетъ однимъ концомъ—зачерпнетъ два красна холста; черпнетъ другимъ...

Тутъ Павелъ Алексѣевичъ всхрапнулъ довольновнятно и несомнительно; сказочникъ сидя на полу и обнявъ руками колѣни, понурилъ на нихъ голову и замолкъ, а Понукалка не счелъ уже нужнымъ его тревожить и, постоявъ еще немного, вышелъ въ сосѣднюю комнату и тамъ прилегъ.

Часу въ седьмомъ утра Павелъ Алексѣевичъ проснулся, и все въ домѣ зашевелись. Обувшись въ бараньи сапожки, домашней выдѣлки, и въ халатъ свой, онъ умылся, помолился и сталъ совѣтоваться съ Ванькой,

чего бы напиться сегодня: малины ли, бузины ли, шалфею, липоваго цвѣта, кипрею, ивана-да-марьи, ромашки съ ландышами, или ужъ заварить настоящаго чаю? и Ванька разсудилъ, что бузина пьется на ночь для испарины, малина послѣ бани, шалфей въ дурную погоду, липовый цвѣтъ со свѣжими сотами, иванъ-да-марья и ромашка, когда не можется, кипрей, то-есть, копорскій или иванъ-чай, по нуждѣ, за недостаткомъ лучшаго, и потому полагалъ заварить сегодня настоящаго, китайскаго чаю, что и было исполнено. Отъ чая сдѣланъ былъ незамѣтный переходъ къ завтраку; а между тѣмъ, староста, мельникъ, скотница и другіе сельскіе сановники отбывали доклады свои и получили приказанія. Повременамъ книжка будто невзначай опять попадала въ руки Павла Алексѣевича, но вскорѣ другія занятія развлекали его, и вѣковѣчная книжка оборачивалась корешкомъ кверху. Не успѣли оглянуться, какъ Иванъ подалъ щи, кашу да жаркое; тамъ оказалось полезнымъ отдохнуть часика два; тамъ Павелъ Алексѣевичъ прошелся по хозяйству и по саду, напился липоваго цвѣта съ сотами, разобралъ нѣсколько ссоръ и жалобъ, отдалъ приказанія на завтрашній день, освѣдомился, не рано ли, и услышавъ, что девятый, поспѣшилъ перекусить немного, помолился, легъ, и Меледа съ Понукалкой явились снова тѣмъ же порядкомъ, какъ и вчера.

Вотъ, ежедневный бытъ, будничная жизнь Павла Алексѣевича. По праздникамъ онъ облачался въ сюртукъ бураго или кофейнаго цвѣта, выпускалъ бѣлый воротничекъ, бралъ соломенную шляпу или полутеплую фуражку, смотря по погодѣ, трость и бѣлыя перчатки, которыя, впрочемъ, никогда не надѣвались, и отправлялся въ церковь, бывшую у него же на селѣ. Иногда, хотя довольно рѣдко, кто-нибудь заѣзжалъ къ нему; еще рѣже онъ бывалъ у другихъ; но настоя-

щимъ праздникомъ для него былъ тотъ почтовый день, въ который гонецъ привозилъ ему изъ города письмо. Такое письмо, казалось, одно только привязывало его всей душой къ жизни; Павелъ Алексѣевичъ оживалъ, былъ въ тотъ день дѣятельнѣе и веселѣе, и, прочитавъ письмо разъ-другой про себя, перечитывалъ его еще Ванькѣ и одной дворовой женщинѣ, извѣстной въ домѣ подъ названіемъ мамушки.

Что же читатели скажутъ о Павлѣ Алексѣевичѣ, о бытѣ его и родѣ жизни, которую мы старались изобразить точно и вѣрно? Я думаю, что иной, можетъ быть, и вовсе незлобный столичный житель готовъ будетъ, съ чувствомъ собственнаго достоинства, пожать плечами и назвать его животнымъ; можетъ быть, даже и самый снисходительный приговоръ будетъ еще довольно жестокъ для скромнаго деревенскаго жителя и не избавитъ его отъ сострадательнаго презрѣнія. Но всегда ли наружность достаточно изобличаетъ внутреннюю цѣнность человѣка? почему знать, что помѣщикъ нашъ передумалъ и перечувствовалъ на вѣку своемъ, не взирая на безчувственную, довольно плоскую и безсмысленную наружность?

Лѣтъ тому двадцать-пять въ сельцѣ Подстойномъ помѣщичья семья сидѣла за вечернимъ самоваромъ и съ нетерпѣніемъ ждала кого-то. Живой и плотный, бѣлокурый старикъ, въ долгополомъ домашнемъ сюртукѣ, съ огромными усами, съ большими, но безсмысленными сѣрыми глазами, съ отставными военными ухватками и молодечествомъ, похаживалъ взадъ и впередъ, то останавливался у открытаго окна, глядѣлъ и прислушивался, то посматривалъ на стѣнные часы съ двумя розочками и двумя незабудками по угламъ, и нако-

нецъ, продувая трубку свою, сказалъ: «Нѣтъ ужъ видно, я говорю, сегодня не будетъ».

— А, можетъ быть, и будетъ!—замѣтила хозяйка его, заглянувъ въ чайникъ и прибавивъ туда на всякій случай водицы:—Вѣдь ему надобно быть къ сроку, къ ярмаркѣ; а ужъ онъ, чай, не обманетъ, коли обѣщалъ заѣхать къ намъ по пути да привезти вѣсточку отъ Любаши.

— Ну, загулялся въ Костромѣ, — возразилъ старикъ:—человѣкъ, я говорю, молодой, поѣхалъ въ городъ, да еще съ деньжонками, такъ ему и не до Любаши; она еще ребенокъ.

— Никакъ ѣдутъ-съ!—сказалъ вошедшій торопливо слуга, указывая слегка въ ту сторону, откуда ждали гостя.

— Ну, вотъ видишь, проговорила хозяйка съ изъявленіемъ радости, между тѣмъ какъ хозяинъ вышелъ на крыльцо, а вслѣдъ за тѣмъ обнялъ желаннаго вѣстника и при громогласномъ разговорѣ ввелъ его въ комнату.

— Ужъ и ждать было перестали! — такъ встрѣтила его хозяйка:—Особенно Иванъ Павловичъ, говоритъ: видно, не будетъ; а я все жду-пожду; нѣтъ, говорю, будетъ... чайку прикажете съ дороги, или закусить чего?..

— Благодарю,—отвѣчалъ молодой человѣкъ: — чашечку выпью, но я тороплюсь домой, немножко позамѣшкался, позадержала Любовь Ивановна...

— Какъ, она? неужто? голубушка моя! Что жъ, видѣлъ ее? Что она? не скучаетъ? здорова?..—Такъ посыпались вопросы матери.

— Здорова — отвѣчалъ тотъ, немного зарумянившись:—и шлетъ вамъ много поклоновъ и поцѣлуевъ; я раза три навѣщалъ ее.

— Ужъ и поцѣлуи!—сказалъ, захохотавъ отецъ:—

слышите, что я говорю? я говорю: ужъ поцѣлуи; ха, ха, ха?

— На словахъ, разумѣется,—возразилъ пріѣзжій:— и хотя словесный поцѣлуй, да еще и передаточный, утѣшителенъ для того только, кому назначенъ, но я принужденъ былъ покориться строгости костромскихъ пансіонскихъ правилъ, по которымъ не дозволяется даже поцѣловать ручку воспитанницы!

— Смотри, пожалуй,—сталъ опять острить отецъ:— дѣти они, дѣти,—а только покинь ихъ безъ присмотра, тотчасъ вотъ по натурѣ своей наколобродятъ... ха, ха, ха! слышите, что я говорю? я говорю: вотъ тотчасъ по натурѣ своей и наколобродятъ.

— Да пораскажите жъ намъ, голубчикъ Павелъ Алексѣевичъ, что-нибудь о Любашѣ, — сказала съ нетерпѣніемъ хозяйка, выручивъ этимъ молодого человѣка изъ замѣшательства, въ которое поставило его безтолковое, но громогласное замѣчаніе Ивана Павловича:—разскажите, что она, моя голубушка, и какъ?

Павелъ Алексѣевичъ принялся выхвалять Любашу съ большимъ чувствомъ, и сознаніе, что онъ можетъ и даже обязанъ дѣлать это въ настоящемъ своемъ положеніи, отдавая объ ней отчетъ ея родителямъ, доставляло ему большое утѣшеніе. Вскорѣ у матери на глазахъ навернулись слезы, старикъ стоя наклонился впередъ и подымалъ брови все выше да выше, какъ-будто прислушивался внимательно, а между тѣмъ безпрестанно перебивалъ всѣхъ остротами своими и заставлялъ выслушивать ихъ по два и по три раза, приговаривая: «А слышите, что я говорю? я говорю: ха, ха, ха!»

— Начальница и дамы не нахвалятся ею,—продолжалъ Павелъ Алексѣевичъ: — а вы не нарадуетесь, когда свидитесь. Она выросла, уже почти совсѣмъ сложилась...

— Охъ, Боже мой,—сказала мать, всплеснувъ руками:—въ эти годы, можно ли?

— А что жъ, матушка?—замѣтилъ отецъ:—вѣдь и ты по шестнадцатому году за меня вышла, вспомни!

— И то правда,—отвѣчала она, сосчитавъ что-то по пальцамъ:—да вѣдь она ребенокъ еще, видитъ Богъ, ребенокъ...

— Ну, ребенокъ,—заревѣлъ Иванъ Павловичъ, позабывъ, что онъ самъ сейчасъ называлъ дочь ребенкомъ:—ну, такой же ребенокъ, какъ и ты! ха, ха, ха! Слышите, что я говорю?

— Какъ, мать такой же ребенокъ, какъ и дочь?

— Ну, да, матушка, да вѣдь я говорю о прошломъ, я говорю...

— Да, о прошломъ! Охъ, разумѣется, всѣ мы были праведными младенцами...

Расторопный слуга вошелъ и спросилъ робко у барина, не будетъ ли какихъ приказаній на счетъ чего-нибудь, и при этомъ покосился какъ-то странно на гостя. Это значило: кучеръ гостя ужинаетъ, такъ не напоить ли его пьянымъ, чтобъ барина задержать, по обычаю, на ночь, или уже не снять ли на всякій случай у брички колесо? На этотъ разъ подобныхъ распоряженій не послѣдовало: хозяинъ зналъ, что гостю надо быть дома къ сроку и ѣхать на ярмарку, и потому, послѣ долгихъ прощаній, благодареній, дружескихъ приглашеній и благословеній, его благополучно отпустили.

— А о косѣ-то я и позабыла спросить!—ахнула старушка, когда бричка покатилась со двора, и кинулась было къ окну, но опоздала:—сама Любаша ничего толкомъ не напишетъ... такой вѣтеръ! а я и не знаю, выросла ли у нея коса-то, хоть бы вотъ четверти въ три?

— Выросла, матушка,—утѣшалъ ее отецъ:—слы-

шишь сложилась дѣвка совсѣмъ. Ха, ха, ха! и выросла и сложилась!

Скажемъ теперь, проводивъ Павла Алексѣевича, что это былъ сосѣдъ въ шести верстахъ отъ старика Ивана Павловича Гонобобеля и супруги его Анны Алексѣевны, къ которымъ мы сейчасъ заглянули. Мы были тамъ невидимками, и потому съ нашей брички также колесъ не сняли: но рѣдкому гостю удавалось выѣхать изъ сельца Подстойнаго безъ этой продѣлки.

Павелъ Алексѣевичъ Игривый, полный хозяинъ хорошенькаго имѣньица, Алексѣевки, возвратился года за полтора изъ университета, не кончивъ курса, для пріема имѣнія своего по случаю внезапной смерти отца, и взялся за хозяйство. Онъ съѣздилъ теперь по своимъ дѣламъ въ Кострому и привезъ любезнымъ сосѣдямъ вѣсть о дочери ихъ, которая, какъ мы слышали, оканчивала свой учебный курсъ въ частномъ пансіонѣ, названномъ на вывѣскѣ, не знаю почему «Образцовымъ».

Полчаса, которые Игривый ѣхалъ отъ Подстойнаго до Алексѣевки, прошли въ такомъ же точно сладостномъ забытьи и безсвязныхъ, розовыхъ мечтахъ, какъ все время пути отъ Костромы до Подстойнаго. Павелъ Алексѣевичъ думалъ о томъ, что Иванъ Павловичъ правъ, и Любаша вовсе не дитя, какъ полагала Анна Алексѣевна; что самъ онъ сказалъ истинную правду относительно строгости пансіонскихъ учрежденій и одной только словесной передачи поцѣлуя, хотя въ сущности такое задушевное, заповѣдное рукопожатіе, какимъ онъ могъ похвалиться, едва ли не перевѣситъ иного необдуманнаго, легкомысленнаго поцѣлуя; что, наконецъ, Любаша неизъяснимо мила, не смотря на свой возрастъ отроковицы... Вотъ сущность мечтаній Игриваго, который не скучалъ перебирать думу эту со всѣхъ концовъ, разъигрывать ее на всѣ лады и тѣшиться ею на просторѣ. Обстоятельства не

позволили ему кончить университетскаго ученья и заслужить ученую степень; но онъ твердо намѣревался сдѣлать это при первой возможности, приведя дѣла свои въ порядокъ, съ нетерпѣніемъ разсчитывалъ и соображалъ онъ теперь что-то по годамъ и мѣсяцамъ и заглядывалъ въ будущую судьбу свою гораздо далѣе впередъ, чѣмъ намъ дозволено.

Годикъ прошелъ незамѣтно; въ Подстойномъ и въ Алексѣевкѣ все оставалось постарому, съ тою только разницею, что Игривый, соскучась безъ Костромы, къ счастью вскорѣ опять нашелъ необходимымъ съѣздить туда, по своимъ дѣламъ, и опять привезъ много поклоновъ отъ Любаши; а затѣмъ, наконецъ, нынѣ событіе необычайное было на мази въ Подстойномъ: Гонобобель съ хозяйкой снаряжались въ путь-дороженьку, все въ ту же Кострому и притомъ уже за своей Любашей. Она кончила свое образцовое пансіонское ученье. Отъ суеты и крика Ивана Павловича вся дворня не спала уже семеро сутокъ сряду; дорожный рыдванъ выкатывали на широкій дворъ и опять подкатывали въ сарай разъ по пяти на день. Хозяинъ самъ ничего не смазывалъ и не увязывалъ, но ходилъ день-деньской въ дегтю и въ смолѣ и не выпускалъ изъ рукъ какой-то толстой бичевки. Всѣ приказанія его отдавались дважды и трижды въ одинъ духъ, съ сильнымъ удареніемъ на «я говорю»; но одна часть приказаній этихъ была уже исполнена наканунѣ, а другая до того противорѣчила первымъ, или даже самому здравому смыслу, что «сейчасъ» и «слушаю-съ» вырывались изъ устъ прислуги только по исконному обычаю, а вовсе не для того, чтобъ кто-нибудь думалъ объ исполненіи. Анна Алексѣевна переправлялась по нѣсколько разъ въ день изъ заднихъ покоевъ въ сарай съ нѣсколькими попутчицами изъ дѣвичьей: всѣ онѣ были навьючены и нагружены, какъ верблюды, и вся

поклажа эта—большею частію съѣстные припасы—укладывалась тихомолкомъ въ рыдванъ.

— Половину этого Иванъ Павловичъ непремѣнно выброситъ вонъ, — думала скромно про себя Анна Алексѣевна:—такъ пусть же другая половина останется: дорогою пригодится; Кострома не близкій свѣтъ: на своихъ недѣля ѣзды.

Тутъ были не только крендели, кокурки, пироги, курникъ и пирожное всѣхъ родовъ, но были и сушеныя вишни и яблоки и даже и моченый горохъ, собственно для Ивана Павловича. До моченаго гороха Иванъ Павловичъ былъ страстный охотникъ, ѣлъ его о всякую пору, особенно дорогой, и имъ-то Анна Алексѣевна очень удачно затыкала мужу ротъ, когда онъ начиналъ ворчать слишкомъ упорно и назойливо. Игривый навѣдывался въ это время почасту къ сосѣдямъ, и не разъ уже вырывались у него такія странныя выраженія усердія и готовности быть чѣмъ-нибудь полезнымъ при снаряженіи ихъ въ дорогу, что походило на то, будто ему хотѣлось скорѣе ихъ выпроводить. Казалось бы, они ему ничѣмъ не мѣшали тутъ—но, видно, онъ думалъ объ этомъ иначе, или даже у него была тутъ какая-либо не прямая, а косвенная думка.

Наконецъ взошло то солнышко, которому суждено было, до заката своего, освѣтить поѣздъ Гонобобеля изъ Подстойнаго въ Кострому. Рыдванъ шестерней да троечная телѣга стояли у подъѣзда. Несмѣтная дворня, раздѣленная на двѣ густыя толпы, стояла направо и налѣво отъ крыльца, острила надъ кучеромъ и выноснымъ, надъ дѣвкой въ дорожномъ уборѣ, въ какой-то куцой курткѣ и барыниныхъ башмакахъ,—и ожидала господъ. Въ покояхъ послышались голоса: барыня простилась съ кошками своими въ дѣвичьей и тамъ отдала уже всѣ приказанія на счетъ корма и

присмотра за ними; но баринъ прощался съ собаками гласно, какъ на мірской сходкѣ. «Кирюшка!» кричалъ онъ, стоя на крыльцѣ: «да чтобы наваръ былъ дважды въ недѣлю, слышишь, а по буднямъ овсянка — слышишь? Я говорю, чтобъ они праздникъ знали... ха, ха, ха! слышите, что я говорю?»—и народъ, кланяясь угодливо, отъ души засмѣялся.

— Это что? спросилъ Иванъ Павловичъ, остановившись на второмъ приступкѣ кареты.

— Дорожные припасы, мой другъ!—отвѣчала примирительнымъ голосомъ Анна Алексѣевна.

— Это вонъ—ха, ха, ха! и вотъ это вонъ,—и это вонъ, ха, ха, ха! слышите, что я говорю?—И узлы съ мѣшками летѣли изъ рыдвана въ открытыя двери. Дворня подхватила мѣшки и мѣшечки на лету и, по знаку Анны Алексѣевны, передавала все это втихомолку на запятки и въ телѣгу. Довольный этою побѣдой, Иванъ Павловичъ весело усѣлся, сказавъ: «Ну, вотъ теперь милости просимъ, матушка Анна Алексѣевна! Слышите, что я говорю—а? Вотъ теперь милости просимъ—ха, ха, ха!»

Поклоны и пожеланія дворни посыпались громогласно: кучеръ свистнулъ, тряхнулъ возжами, и карета покатилась. Телѣга была нагружена перинами, подушками, дѣвками, овсомъ и Богъ вѣсть чѣмъ; а потому большая часть узловъ и мѣшковъ, вылетѣвшихъ изъ кареты мановеніемъ руки Ивана Павлевича, поступили на временное попеченіе того, кто сидѣлъ на запяткахъ. Бѣднякъ обнялъ во всѣ руки и держалъ цѣлый возъ поклажи, такъ что ни онъ не видѣлъ свѣту, ни свѣтъ не видалъ его.

— Вотъ это у нѣмцевъ считается миля,—сказалъ Иванъ Павловичъ, выглядывая изъ окна, и вспоминая былое время походовъ:—это семь верстъ.

— Ахъ, ты, Боже милостивый!—проговорила, слов-

но проснувшись, Анна Алексѣевна и закрыла лицо руками.

— Что тамъ такое?

— Охъ, ужъ не знаю, какъ и сказать, Иванъ Павловичъ! Надо же такому грѣху случиться...

— Да что же такое? говори, я говорю.

— Да ларецъ съ любашинымъ бѣльемъ вѣдь позабыли весь...

Гонобобель вспыхнулъ, какъ ракета, и разсыпался звѣздочками въ упрекахъ и нравоученіяхъ. Сто разъ повторилъ онъ, что уже не воротится, и что Анна Алексѣевна можетъ теперь управляться, какъ ей угодно. Проѣхавъ однако же еще версты двѣ, онъ закричалъ: стой! велѣлъ отпречь лошадь изъ-подъ телѣги и послалъ за ларцомъ, приказавъ привозить его прямо на ночлегъ. Нравоученія все еще сыпались обильно, но по явному истощенію запаса, повторялись все однѣ и тѣ же, и притомъ маіоръ брюзжалъ даже съ нѣкоторыми разстановками, переводя духъ съ большею свободой. Тогда Анна Алексѣевна, все не говоря ни слова, разсудила, что пора прибѣгнуть къ моченому гороху: молча подставила она супругу своему мѣшечекъ; старикъ жадно запустилъ туда руку и, набивая ротъ горстями, ворчалъ уже такъ безсвязно и невнятно, что Анна Алексѣевна вольна была принять это за молчаніе, или даже за изъявленіе удовольствія.

Минуемъ теперь прочія событія на пути четы нашей въ Кострому, даже и то, что на первомъ привалѣ, гдѣ стали закусывать, оказались въ наличности однѣ только вилки, и притомъ полная дюжина—а ножей не было ни одного; оставимъ и то, что Гонобобель нашелъ въ каретѣ козла въ мѣшкѣ, какъ онъ увѣрялъ, и кричалъ, и хохоталъ, и бѣсновался, и показывалъ всѣмъ людямъ, что барыня взяла съ собою на дорогу козла въ мѣшкѣ, и заставлялъ всѣ-

каго ощупывать рога и велѣлъ его выкинуть вонъ, и какъ наконецъ оказалось, что это былъ вовсе не козелъ съ рогами, а кисеты съ табакомъ и запасными трубками самого Ивана Павловича,—оставимъ, говорю, все это и пойдемъ, вмѣстѣ съ родителями, встрѣчать и принимать изъ пансіона единственную дочь ихъ, Любашу.

Странно, скажу и я при этомъ случаѣ въ скобкахъ, приглашая всѣхъ и каждаго послушать, что я говорю,—странно: всѣ пансіоны, воспитательныя и учебныя заведенія учреждаются, какъ должно полагать, для того, чтобъ воспитать и образовать человѣка вовсе не для пансіона собственно, а для свѣта, въ которомъ всѣмъ намъ приходится жить... а между тѣмъ, пошлюсь на любаго—этому ли всегда учатъ, или этому ли тамъ научаются?..

Публичный экзаменъ, съ музыкой и угощеніемъ и танцами, съ вѣнками и цвѣточными вензелями, съ рѣчами на трехъ языкахъ, прощальными стихами и прочими принадлежностями, былъ уже оконченъ, когда Гонобобели вкатились въ рыдванѣ своемъ шестерней въ Кострому. Большая часть выпускныхъ дѣвицъ были уже разобраны родителями, прибывшими къ этому экзамену, и Любаша, въ сиротствѣ своемъ, несмотря на живой и веселый нравъ, пролила уже не мало слезъ, глядя въ томительномъ ожиданіи на своихъ подругъ. Она, запыхавшись, внѣ себя, выбѣжала навстрѣчу родителямъ, пропустивъ на этотъ разъ вовсе мимо ушей столь важныя и дѣльныя наставленія начальницы, которая припоминала ей вслѣдъ, какъ себя держать, какъ присѣдать и кланяться, и какъ привѣтствовать отца и мать. Она бросилась на шею матери, потомъ отцу, тамъ опять матери, рыдала и смѣялась. Анна Алексѣевна плакала также навзрыдъ, и зрѣлище это вышло бы въ самомъ дѣлѣ невыносимо

умилительнымъ, если бъ Иванъ Павловичъ не позаботился придать ему нѣсколько болѣе успокоительный оттѣнокъ. Старикъ встрѣтилъ дочь громкимъ и глупымъ смѣхомъ, вралъ и мололъ безъ умолку, обращая кстати и не кстати вниманіе присутствовавшихъ на умныя рѣчи свои. Дѣвицы, вышедшія скромною вереницей въ пріемную проводить подругу свою и раздѣлить съ нею радость, стояли всѣ въ слезахъ и готовились заранѣе еще къ обильнѣйшему плачу, но онѣ были до того озадачены поведеніемъ этого папеньки, что стояли въ совершенномъ недоумѣніи, какъ безчувственныя куколки. Сама даже начальница была поставлена въ затруднительное положеніе и съ свойственною ей находчивостью тотчасъ же пріискала поводъ, чтобъ пожурить вполголоса покорныхъ овечекъ своихъ и тѣмъ отвлечь ихъ вниманіе отъ странныхъ замашекъ Гонобобеля. Но его нельзя было надоумить этимъ или сбить съ кону: какъ вѣжливый, свѣтскій человѣкъ, онъ, напротивъ, считалъ долгомъ своимъ придать болѣе веселый видъ этому свиданію и прощанію и занять дѣвицъ, а потому и обратился тотчасъ же къ нимъ, засыпалъ ихъ вовсе непонятными для нихъ остротами и, забывшись нѣсколько разъ, протягивалъ руку, чтобъ, по привычкѣ своей, придержать своего собесѣдника за пуговицу. Онъ наступалъ на бѣдненькихъ, испуганныхъ дѣвицъ вилоть и кричалъ почти въ уши, то одной, то другой: «Слышите, что я говорю: я говорю, ха, ха, ха!—я говорю: дочка переросла матушку—а? каковъ ребенокъ?—я говорю, ха, ха, ха!—слышите, что я говорю? я говорю: невѣста хоть куда, отбою не будетъ отъ жениховъ—слышите? ха, ха, ха! А ну, поди-ка сюда, продолжалъ онъ:—поди, да покажи-ка намъ лѣвое ушко свое, моя ли ты дочь—вѣдь, она у меня мѣченая, ха, ха, ха!—слышите, что я говорю? она мѣченая у

меня—ты ли это, не подмѣнили ль тебя?—Нѣтъ, моя дочка, моя; вотъ и мѣточка—видите, смотрите! Ушко поротое... ха, ха, ха!

Кто взглянулъ бы въ это время на розовое ушко Любаши, которое она, улыбаясь, подставила, а папенька ея держалъ между пальцевъ, тотъ могъ бы увидѣть на немъ небольшой рубчикъ, длиною въ ноготокъ. Это, безъ всякихъ шутокъ, была мѣтка, которою отецъ помѣтилъ дарованныхъ ему Богомъ дѣтей, дочь и сына, чтобъ они не затерялись, или чтобъ ихъ не подмѣнили. Благоразуміе или предусмотрительность, достойныя Ивана Павловича Гонобобеля.

Перерости матушку, какъ замѣтилъ Иванъ Павловичъ, Любашѣ было, впрочемъ, не мудрено, потому что Анна Алексѣевна едва доставала носомъ до среднихъ петлицъ на фракѣ своего мужа. Любаша была средняго роста, гибка и такого пріятнаго очерка въ станѣ, что казалось, было бы легко обнять ее двумя пяденями, приподнять и поставить передъ собою на столъ. Головка ея была живописна кругомъ и со всѣхъ сторонъ; свѣтлорусые волосы, съ пепельнымъ отливомъ, слегка извиваясь волной по обѣ стороны пробора, оттѣняли немножко азіятское по складу личико, нѣжное, хотя немножко смугловатое, но съ удивительною живостью и яркостью румянца. Большіе голубые глаза, довольно рѣзко обозначенныя брови, прямой лобъ, носикъ, который спереди казался нѣсколько плосковатымъ, но съ боку представлялъ легкій погибъ, рѣзко обозначенныя ярко-пунсовыя губки, ямки на щекахъ, истинно калмыцкіе, поднизанные на подборъ зубки и изумительно прелестный погибъ бархатной шеи—все это оживлялось еще необычайною жизнію во взорѣ и во всѣхъ движеніяхъ, нѣсколько поспѣшныхъ, но плавныхъ и нѣжныхъ, доказывавшихъ, однако же, опытному наблюдателю, что здѣсь женственность была

развита въ высшей степени и, первое впечатлѣніе, чувство, брало верхъ надъ разсудкомъ...

Между тѣмъ предусмотрительный сосѣдъ Гонобобеля, разсчитавъ, къ какому времени можно ожидать сосѣдей обратно изъ Костромы, и убавивъ на всякій случай денька три изъ этого счета, отправлялся ежедневно подъ вечеръ, то пѣшкомъ для прогулки, то верхомъ, то на дрожкахъ въ сельцо Подстойное, а иногда проѣзжалъ еще версты двѣ за него и возвращался шажкомъ домой. Онъ дѣлалъ это, самъ не зная къ чему и для чего, дѣлалъ потому, что ему хотѣлось гулять въ эту сторону, а не въ другую, и что онъ воленъ былъ располагать и собою, и временемъ. Никакой положительной мысли въ немъ не созрѣло: онъ дѣтски игралъ мечтами и былъ счастливъ.

Подъѣзжая однажды къ усадьбѣ Ивана Павловича, онъ увидѣлъ на другомъ концѣ сельца облако пыли—вѣщее взыграло не даромъ: это катилъ рыдванъ шестерней и троечная телѣга. Дорожная поклажа усилилась еще и наросла разными покупками въ губернскомъ городѣ, и потому коробки, кузовки, картоны, мѣшки и узлы навалены были гора-горой какъ на телѣгѣ, такъ и на чердакѣ рыдвана, который, несмотря ни на какія возраженія и остроты Ивана Павловича, въ этомъ безобразномъ видѣ, круглый и пузатый, какъ готовый къ отлету воздушный шаръ, величаво приближался къ барской усадьбѣ. Игривый считалъ въ это время всякое посѣщеніе неумѣстнымъ, и потому хотѣлъ было воротиться потихоньку домой; но, высматривая съ осторожностью нѣкоторыя подробности этого поѣзда и стараясь по временамъ проникнуть взоромъ въ необъятную, темную хлябь черезъ опущенное окно рыдвана, Павелъ Алексѣевичъ невзначай встрѣтилъ высунувшуюся оттуда головку: она кивала ему привѣтливо; затѣмъ, оборотившись на одно

мгновеніе внутрь, казалось, поспѣшно что-то проговорила и опять уже съ улыбкой выглядывала въ окно. За нею показалось въ тѣни еще какое-то широкое лицо и, кажется, также третье, и наконецъ даже сидѣвшій за каретой на горѣ Монбланѣ Филька снялъ дорожный картузъ свой и низенько раскланивался.

Нечего было дѣлать—Игривый подъѣхалъ ко двору, и, встрѣтивъ хозяевъ у крыльца, сталъ ихъ высаживать. Напередъ всего вывалился самъ Гонобобель, изъявляя громогласно радость свою при нечаянномъ свиданіи съ дорогимъ сосѣдомъ и строго приказывая всѣмъ слушать, что самъ онъ, Гонобобель, говоритъ. Дворня окружила господъ, стая собакъ бросилась съ лаемъ и воемъ на почтеннаго хозяина и сбила его съ ногъ; а какой-то шальной теленокъ, котораго всполошили собаки, метался, какъ угорѣлый, между людьми, лошадьми, постромками и собаками, лягался и ревѣлъ благимъ матомъ. Гонобобель отбился наконецъ отъ домочадцевъ своихъ и обнялся съ гостемъ, взявъ его при этомъ случаѣ руками за уши, какъ самоваръ; онъ самъ не могъ нарадоваться этой замысловатой выдумкѣ и кричалъ, и объяснялъ ее послѣ цѣлый день. Высаживая Анну Алексѣевну, Игривый поцѣловалъ у ней ручку и не успѣлъ покоситься черезъ старуху въ рыдванъ, какъ третья и послѣдняя птичка уже выпорхнула оттуда сама, привѣтствовала сосѣда, быстро оглядывалась кругомъ, припоминая предметы, знакомые ея дѣтству, улыбалась радостно, а между тѣмъ слезинка дрожала на русой рѣсницѣ... Дворня также со слезами бросилась въ ноги барышнѣ, и нянюшки чуть не унесли ее на рукахъ.

— Что жъ ты привезъ ли мнѣ для сюрприза на новоселье кобеля-то? — заревѣлъ Гонобобель, когда всѣ вошли въ покои, напоминая Игривому обѣщаніе его.

— Нѣтъ, не привезъ,—отвѣчалъ тотъ:—я не надѣялся застать васъ сегодня здѣсь...

— Такъ чортъ ли въ тебѣ, коли ты одинъ пріѣхалъ! ха, ха, ха, слышите, что я говорю? я говорю: чортъ ли въ тебѣ, коли ты ко мнѣ пріѣхалъ одинъ... ха, ха, ха!..

Между тѣмъ, какъ кошки взметывались отъ радости въ комнатахъ подъ самый потолокъ, а оттуда валились клубомъ подъ ноги, мяукали и ластились, а дѣвки и вся дворня зашевелилась, какъ пчелиный рой— Анна Алексѣевна старалась ласками своими загладить по возможности довольно странное привѣтствіе своего супруга. Игривый, конечно, вовсе въ этомъ не нуждаясь, съ умиленіемъ смотрѣлъ на стоявшую передъ нимъ молодую дѣвушку, которая разсказывала ему необычайныя для нея дорожныя приключенія. Несмотря на завидное положеніе свое, онъ, однакожъ, вскорѣ опомнился, простился, обѣщавъ опять навѣстить сосѣдей, и оборотился къ передней, но здѣсь новое, неожиданное препятствіе остановило его: дорожные чемоданы, сундуки, ларцы, коробки, кузовки, мѣшки и узлы разнаго рода и вида не только покрыли собою весь полъ и не давали ни конному, ни пѣшему прохода, но поклажа эта нагромождена была у самыхъ дверей горой, выше роста человѣческаго. Одинъ подавалъ, другой принималъ, ставилъ все тутъ же и убѣгалъ въ другую сторону, и такимъ образомъ дверь была загорожена. Только послѣ долгаго шума, крика и многихъ остротъ со стороны хозяина, наконецъ дорога была кой-какъ очищена, и сосѣдъ окончательно раскланялся.

— Мы къ вамъ въ воскресенье къ обѣднѣ!—кричала ему вслѣдъ въ окно Анна Алексѣевна, и онъ, раскланиваясь, просилъ пожаловать и зайти къ нему закусить.

Утромъ крестьяне и крестьянки пришли къ барышнѣ своей на поклонъ съ ягодами, яблоками, яйцами цыплятами и полотенцами. Все это было очень ново и странно—она безпрестанно оглядывалась на мать, ожидая отъ нея наставленія, какъ и что дѣлать; вмѣшавшись же наконецъ въ толпу, она перецѣловала всѣхъ дѣвушекъ и тѣмъ доставила старикамъ крестьянамъ большое утѣшеніе.

Что же Любаша нашла въ отчемъ домѣ, и чѣмъ отозвалось въ ней все то, что она тамъ на первый случай встрѣтила? На первый случай—она была довольна и счастлива; она вышла изъ-подъ тягостной опеки на волю; она была уже вовсе не тою дѣвочкой, которую мадамъ журитъ весь день, при каждой встрѣчѣ, наказывая держаться прямѣе, ходить плавнѣе, присѣдать милѣе: она сама сдѣлалась внезапно какою-то повелительницей, и всѣ въ домѣ смотрѣли барышнѣ въ глаза, чтобъ только на нее чѣмъ-нибудь угодить. О хозяйствѣ, о должномъ порядкѣ въ домѣ у нея, разумѣется, не было никакого понятія, и ей казалось, что до всего этого ей нѣтъ и не будетъ никакой нужды; она рождена на свѣтъ и воспитана въ образцовомъ костромскомъ пансіонѣ, для чего? да, для чего?—это вопросъ слишкомъ неожиданный и странный; о подобномъ вопросѣ она еще и не слыхивала, а полагаетъ—если только должна быть особая цѣль и назначеніе ея бытію—полагаетъ, что она родилась на свѣтъ для радости, для веселья, для того, чтобъ порхать и тѣшиться и забавляться въ теченіе бѣлаго дня, а по ночамъ дремать подъ сладкія грезы... О неуклюжихъ странностяхъ отца она судить не смѣла, и потому его не осуждала, хотя часто краснѣла отъ него: она чувствовала, что ей какъ-то неловко, но скоро опять забывала это и наконецъ рѣшила, что видно-де этому такъ и должно быть...

Въ воскресенье Игривый хлопоталъ уже съ утра о достойномъ пріемѣ дорогихъ гостей. Они точно пріѣхали къ обѣднѣ, а изъ церкви вмѣстѣ съ хозяиномъ пошли его навѣстить. Тутъ закусили, осмотрѣли хозяйство и садъ, а когда наконецъ вошли въ покои и стали собираться въ обратный путь, то не могли доискаться Любаши, которая одна одинехонька бѣгала по саду. Скрѣпя сердце, Игривый сидѣлъ въ это время чинно со стариками: но чувства и думка его, конечно, бродили въ иномъ мѣстѣ.

— Гдѣ она?—кричалъ Гонобобель:—пропала, что ли? Такъ не даромъ же она у меня мѣченая—ха, ха, ха! слышите, что я говорю?—и взялъ вбѣжавшую Любашу за ушко, чтобъ освидѣтельствовать знаменитую мѣтку:—такъ, она и есть, не подмѣнили: да гдѣ же ты это пропадаешь? ужъ не хочешь ли здѣсь остаться—а? слышите, что я говорю—ха, ха, ха!...

Анна Алексѣевна съ трудомъ замяла этотъ довольно странный вопросъ, который, впрочемъ, нисколько не смѣшалъ Любаши, потому что она вовсе не поняла его значенія.

— Вы скоро къ намъ будете?—спросила она Павла Алексѣевича, который провожалъ дорогихъ гостей на крыльцо.

— Скоро, когда угодно, когда позволите!—отвѣчалъ онъ.

— Пріѣзжайте—продолжала она:—вотъ хоть завтра... я начинаю скучать безъ моихъ добрыхъ подругъ. А васъ я видѣла тамъ, и мнѣ съ вами веселѣе. Я давно хотѣла сказать, что вы походите на Машу Суслонцеву; это мы всѣ рѣшили и прозвали ее за это вашимъ именемъ.

Отецъ подошелъ въ это время съ новыми замысловатыми остротами своими, ухватилъ Игриваго за пуговицу и, повертывая его справа налѣво и слѣва направо,

вралъ и хохоталъ ему на ухо. Линейку подали, Гопобобели уѣхали. Игривый долго глядѣлъ имъ вслѣдъ, задумчиво поплелся въ садъ, отыскивая на пескѣ по дорожкамъ слѣды пары маленькихъ ножекъ — а вся дворня, вся деревня, наконецъ и всѣ сосѣди и весь околотокъ начали понимать, намекать и пророчить, что изъ этого-де что-нибудь да выйдетъ.

Такъ мирны, тихи и складны были дѣла и сношенія между Алексѣевкой и Подстойнымъ и оставались въ этомъ видѣ цѣлый годъ. Сосѣди такъ свыклись между собою, что имъ было скучно другъ безъ друга, если они два дня сряду не видались; а Игривый и Любаша въ самомъ дѣлѣ казались связанными уже гораздо болѣе, чѣмъ однѣми узами свѣтской пріязни. Никогда, правда, между ними рѣчи не было о разъясненіи этого чувства и взаимныхъ ихъ отношеній; но всякій посторонній зритель не могъ ни на минуту оставаться на счетъ этого въ сомнѣніи. Они безсознательно наслаждались мирнымъ и тихимъ блаженствомъ своимъ, не нуждались доселѣ ни въ какихъ болѣе объясненіяхъ и не думали еще о перемѣнѣ своего положенія, — такъ оно казалось имъ хорошо.

Между тѣмъ какъ у нихъ у обоихъ не было завѣтныхъ тайнъ другъ отъ друга, то и бывала почасту рѣчь о томъ, что Игривый намѣренъ вскорѣ отправиться на годъ въ университетъ для окончанія курса. Онъ говорилъ объ этомъ охотно, какъ будто къ слову и случайно, замѣчая, какъ и чѣмъ это отзовется въ Любашѣ и услаждаясь тѣмъ, что она, смотря по расположенію своему, то хмурила брови, подтягивала губку и немножко дулась, то озадачивала друга нѣжнымъ и убѣдительнымъ взглядомъ, то прямо старалась отклонить его отъ этого намѣренія словесными убѣжденіями и доводами, которые всегда подавали поводъ къ нѣжнымъ бесѣдамъ, хотя въ нихъ собственно о нѣжности и о

любви не упоминалось. Вслѣдствіе ли этихъ объясненій и дѣтскихъ упрековъ, или по другимъ причинамъ, но Игривый не собирался уже и не поѣхалъ въ первое полугодіе или семестръ послѣ пріѣзда Любаши, не поѣхалъ и во второе, послѣ новаго года, а теперь собирался, какъ будто не шутя, на третье, расписывая въ воображеніи своемъ сладкую горечь разлуки, блаженство свиданія и наконецъ внезапную, счастливую развязку, которая должна повершить дѣло. Ему казалось, когда онъ размышлялъ объ этой блаженной будущности, что тутъ препятствій никакихъ быть не можетъ; въ Любашѣ онъ былъ увѣренъ, а со стороны родителей ея не только нельзя было ожидать какихъ-либо затрудненій, но, напротивъ, они, повидимому, весьма желали этого союза, приличнаго и выгоднаго во всѣхъ отношеніяхъ. Отдать дочь за порядочнаго и не бѣднаго сосѣда— какой же отецъ и мать отъ этого откажутся?.. Впрочемъ мы здѣсь взялись пояснить, можетъ быть, болѣе, чѣмъ и самому Игривому было ясно; всѣ размышленія эти происходили въ немъ почти безсознательно, и когда онъ ловилъ себя на нихъ врасплохъ, то самъ первый восклицалъ: «Какой вздоръ—ну, съ чего ты это взялъ?».

Однажды вечеромъ Игривый расхаживалъ рядомъ подлѣ Любаши взадъ и впередъ по дорожкѣ въ саду, передъ чайнымъ столомъ, за которымъ сидѣли родители ея и еще два-три сосѣда. Онъ опять завелъ вполголоса рѣчь о скоромъ отъѣздѣ своемъ въ концѣ каникулъ и собирался съ духомъ для дальнѣйшихъ необходимыхъ объясненій. Любаша привыкла уже слышать, въ общихъ словахъ, объ этомъ любимомъ предположеніи своего друга; но будущее казалось ей всегда такъ далеко, что положительное назначеніе столь короткаго срока какъ-то непріятно поразило ее. Она задумалась: ей представилось живо это одинокое, томительно смутное время, когда она будетъ *одна* на свѣтѣ, когда у нея

даже не будетъ подъ рукой Павла Алексѣевича, и она не могла понять, почему же она прежде жила спокойно безъ него, а теперь этого не можетъ? У нея не доставало духа на какое-либо объясненіе: она потупила глаза, повѣсила голову, стала задумчиво играть вѣточкой, которую держала въ рукахъ, и сама не замѣчала ни странности своего молчанія, ни томительнаго ожиданія своего друга.

— Будете ли вы меня помнить?—сказалъ онъ наконецъ:—узнаете ли вы меня, когда я ворочусь опять къ вамъ?

Она быстро взглянула на него, и какой-то скорый отвѣтъ едва было не вырвался изъ устъ ея — но она опомнилась и выговорила только едва внятно:

— Я?—потомъ смолкла и опять опустила голову.

Игривый былъ поставленъ еще въ большее затрудненіе и ломалъ себѣ голову, какъ понять это «я», и какимъ образомъ теперь продолжать. Если сказать на это: «Да, вы!», то это также ничего не выражало и казалось пошлымъ, растягивая безъ нужды объясненіе, которое, по важности своей, должно бы быть какъ можно болѣе сжатымъ; времени было немного... Если повторить вопросъ, сказавъ: «Да, будете ли вы меня помнить?», то это казалось слишкомъ настойчиво: и безъ того уже, для этой торжественной минуты, было сказано довольно много... Игривый только что нашелъ было средину, вздохнулъ и хотѣлъ сказать: «Вы не отвѣчаете?..» какъ поровнялся съ чайнымъ столикомъ, и у него въ ушахъ раздалось:

— Слышите, что я говорю, Павелъ Алексѣевичъ? ха, ха, ха! я говорю: а по чьей же дудкѣ и плясать женѣ, какъ не по мужниной—ха, ха, ха!

Эта необычайная острота Гонобобеля заставила Игриваго изъ приличія остановиться и даже кивнуть головой и улыбнуться; затѣмъ онъ былъ вовлеченъ въ

общій разговоръ, а подруга его услана матерью съ хозяйственнымъ порученіемъ. Она воротилась съ какимъ-то постнымъ лицомъ: щеки ея горѣли, губки, и безъ того рѣзко обозначенныя, были какъ-то сжаты, а глаза повидимому избѣгали встрѣчи со взоромъ опаснаго сосѣда Игривому казалось, что этотъ вечеръ долженъ рѣшить судьбу его, что болѣе приличнаго случая для окончательной развѣдки нельзя ожидать. Онъ внимательно подстерегалъ всѣ движенія Любаши и выбиралъ только время, чтобъ сказать ей нѣсколько словъ, какъ послышавшійся вдали колокольчикъ привлекъ къ себѣ всеобщее вниманіе.

— Не уѣзжайте!—сказала Любаша почти шопотомъ, поднявъ глаза прямо на своего друга, и въ то же время, какъ будто боясь продолженія этого разговора, подошла ближе къ матери и стала сбращать вниманіе ея на колокольчикъ.

О, этотъ колокольчикъ и черезъ двадцать лѣтъ еще часто раздавался въ ушахъ Игриваго, когда онъ, въ одиночествѣ своемъ, сидѣлъ, повѣся голову, и проглядывалъ умственными очами картины волшебнаго фонаря воспоминаній своихъ. Этотъ колокольчикъ напоминалъ ему задушевное выраженіе голоса и взора Любаши, когда она просила: «Не уѣзжайте!» Этотъ же колокольчикъ внезапно прервалъ бесѣду, которая, вѣроятно, рѣшила бы судьбу Игриваго иначе, чѣмъ она рѣшилась теперь—все черезъ тотъ же роковой колокольчикъ!

— Вѣрно исправникъ!—говорилъ, прислушиваясь, одинъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ ему теперь быть!—замѣтилъ другой.

— Наше мѣсто свято!—кричалъ третій и хохоталъ при этомъ на весь міръ:—слышите, что я говорю? я говорю: наше мѣсто свято—ха, ха, ха!

Между тѣмъ колокольчикъ все ближе да ближе; щегольская коляска остановилась у подъѣзда на дворѣ— и мать, отецъ и дочь бросились съ криками радости навстрѣчу одному изъ двухъ улановъ, выскочившихъ изъ коляски: это былъ вновь произведенный корнетъ, Карпъ Ивановичъ Гонобобель, сынъ Ивана Павловича и Анны Алексѣевны и братъ Любаши.

— Ротмистръ Шилохвостовъ Семенъ Терентьичъ!— сказалъ молодой корнетъ, представляя родителямъ своего гостя и попутчика, когда первые порывы восторга свиданія успокоились:—Позвольте представить вамъ моего искренняго друга, самаго благороднаго и отличнаго офицера.

— Ты меня заставляешь краснѣть!—сказалъ скромно Шилохвостовъ, взглянувъ на друга своего, потупивъ глаза и подходя къ ручкѣ матери и сестры его...

— Очень рады, милости просимъ, очень благодарны за доброе расположеніе ваше къ Карпушѣ, просимъ покорно!..—сказала Анна Алексѣевна.

Гонобобель облобызалъ гостя и, забывшись, чуть не ухватилъ его при этомъ также за уши,—до того ему шутка эта полюбилась, и сказалъ:

— Вотъ, мы всѐ думали, что Карпуша дуракъ— прошу покорно, очень радъ—а онъ вотъ какого дорогого гостя привелъ—ха, ха, ха, очень рады! ай-да, Карпуша!

Ободренный этимъ, Карпуша обратился къ своему пріятелю и сказалъ:

— Вотъ, братецъ, видишь, тебѣ всѣ рады. Сдѣлай милость, будь какъ дома.

Гостямъ отвели комнату, поставили снова самоваръ, посылали спрашивать, не хотятъ ли пообѣдать, или такъ чего-нибудь поѣсть, ягодъ со сливками, огурцовъ съ медомъ, простокваши, варенца, творогу; подали сметаны со ржанымъ хлѣбомъ—нѣкогда лю-

бимое кушанье Карпуши—и не знали, чѣмъ бы угостить Шилохвостова, который не бралъ въ ротъ молочнаго и даже чай пилъ по-китайски, безъ сливокъ.

— Экіе недогадливые!—закричалъ наконецъ догадливый хозяинъ:—вздумали улановъ угощать сливочками, да сметанкой? ха, ха, ха! а вы горькой подайте,—это всегда кстати, да рюмку къ чаю, съ позолотцей выпьемъ—а? слышите, что я говорю? я говорю: съ позолотцей—ха, ха, ха!

Подали того и другого, и Карпуша, къ крайнему удивленію маменьки, тотчасъ же покинулъ и сметану, и чай со сливками и подсѣлъ, нисколько не обинуясь, къ горькой и къ рому. Ротмистръ скромничалъ и заставлялъ себя просить, увѣрялъ даже, что онъ почти вовсе не пьетъ, но товарищъ его, на котораго отецъ не могъ налюбоваться, распоряжался полковымъ порядкомъ: онъ вылилъ въ глотку большую рюмку, не прикасаясь къ ней руками, а охвативъ ее всю, прямо со стола, губами и опрокинувъ голову назадъ. Эта штука привела папеньку въ восторгъ; маменька же, напротивъ, какъ будто силилась улыбнуться, чтобъ не нарушить общей веселости; но заботливыя морщинки скоплялись на челѣ ея, и она никакъ не могла принудить себя раздѣлить одобрительный возгласъ своего сожителя; а между тѣмъ Карпуша отъ перетроёной настойки этой даже не поморщился и не крякнулъ.

Любаша не могла отвести глазъ отъ милаго братца, съ которымъ уже два года не видалась, и уланскій мундиръ прельщалъ ее до нельзя. По временамъ встрѣчала она также взоромъ благообразнаго ротмистра, съ большими русыми бакенбардами, съ прекрасными усами, шелковистыми кудрями и сѣрыми, но выразительными и нѣжными глазами. Наружность ротмистра была въ самомъ дѣлѣ пріятна, всѣ пріемы его ловки, обращеніе скромно и обязательно.

Игривый бывалъ съ издѣтства товарищемъ Карпуши, а потому и поздоровался съ нимъ по-братски, и они при этой встрѣчѣ остались опять по прежнему на *ты* и *ты*. Перемѣны, которыя Павелъ Алексѣевичъ въ это короткое время могъ замѣтить въ Карпушѣ, не слишкомъ утѣшали Игриваго; новый гость, котораго тотъ привезъ, какъ-то еще менѣе былъ по вкусу сосѣда; не менѣе того, когда, по распоряженію хозяина, подали на радости такъ называемаго шампанскаго, то всѣ трое молодыхъ людей, ротмистръ, корнетъ и отставной студентъ, по настоянію расходившагося маіора, пили въ круговую за здравіе другъ друга, обнялись на побратимство и скрѣпили дружбу свою братскимъ *ты*. Впрочемъ, мы уже видѣли, что молодой корнетъ и прежде этого былъ съ ротмистромъ своимъ на такой короткой ногѣ.

Игривый не навѣщалъ сосѣдей послѣ этого дня три, желая дать имъ покой, и былъ приглашенъ въ Подстойное къ обѣду, который давался въ честь новаго корнета. Если Павла Алексѣевича и безъ того уже взяло какое-то раздумье послѣ описаннаго нами вечера, то теперь онъ подавно былъ сбитъ съ толку. Любаша какъ-то робѣла и мѣшалась при немъ, даже будто избѣгала разговора и все держалась около брата, отъ котораго не отходилъ ни на шагъ благообразный ротмистръ. Три побратима прохаживались послѣ обѣда по саду, гдѣ все общество разсѣялось, и Карпуша послѣ нѣсколькихъ двусмысленныхъ намековъ сказалъ:

— Какой чудакъ этотъ ротмистръ! Послушай, Павелъ: я его привезъ потому, что прочу въ женихи сестрѣ—онъ, ей Богу, славный, преотличный человѣкъ и благородный малый—а онъ ломается теперь да несетъ Богъ вѣсть что.

Павла Алексѣевича, конечно, не бархатомъ по

сердцу погладило отъ этихъ словъ; но онъ собрался съ духомъ, осилилъ всякое движеніе, казался спокойнымъ и взглянулъ только слегка вопросительно на того и на другого.

— Ты, братецъ, по дружбѣ своей слишкомъ хорошо обо мнѣ относишься!—сказалъ довольно равнодушно Шилохвостовъ, глядя въ землю:—вѣдь я... да, впрочемъ, всякому позволено сомнѣваться, составитъ ли онъ счастіе дѣвушки, и даже подумать о томъ, не навьючатъ ли ему, можетъ быть, арбузъ... да и согласится ли сама сестра твоя... почему она меня знаетъ? Она можетъ думать, что я какой-нибудь подлецъ...

Карпъ Ивановичъ, которому еще не было двадцати лѣтъ и который тридцати-трехлѣтняго ротмистра своего называлъ «малымъ», прибавляя къ этому безпрестанно то «добрый», то «славный», то «лихой», то «благородный»,—Карпъ Ивановичъ не далъ ему договорить, ручался за успѣхъ, ссылался при этомъ безпрестанно на *Павлушу*, т.-е. на Игриваго и предлагалъ посватать сестру сегодня же, сейчасъ же, и запить невѣсту въ этотъ же вечеръ. Разговоръ о питьѣ былъ любимымъ у Карпуши, и онъ рѣдко безъ него оканчивалъ бесѣду.

Игривый былъ поставленъ въ самое странное положеніе. Онъ могъ только отмалчиваться. Къ счастію, собесѣдники его были оба слишкомъ заняты своимъ разговоромъ, и Карпуша, ссылаясь то и дѣло на Павлушу, не ожидалъ, однакоже, отвѣта его и вралъ самъ по себѣ дальше.

Вечеромъ плясали шумно и весело; ротмистръ былъ отчаянный мазуристъ того времени, когда бросались въ мазуркѣ на колѣни передъ дамой своей, топали, шаркали, щелкали каблуками и побрякивали шпорами. Побѣда въ танцахъ на этотъ разъ безспорно осталась

за уланами. Любаша еще въ жизнь свою не танцовала такъ много и притомъ въ большомъ обществѣ, а на долю ея достался первый и превосходный кавалеръ, ротмистръ Шилохвостовъ. Она была внѣ себя отъ удовольствія, и всѣ дѣвицы, отъ первой до послѣдней, завидовали ей какъ нельзя больше. Ей то и дѣло шептали въ уши: «Ахъ, машеръ, какъ ты счастлива! ахъ, какой онъ милый! ахъ, машеръ, поздравляю съ побѣдой»... Разумѣется, что это чрезвычайно льстило самолюбію бѣдненькой дѣвушки, хотя она въ этомъ и не сознавалась и даже, можетъ быть, сама этого не знала. Игривый глядѣлъ на все это въ какомъ-то раздумьѣ и также самъ не зналъ, какъ понять то, что онъ видѣлъ, и чѣмъ все это кончится.

Когда къ ночи послѣ бала ротмистръ съ корнетомъ остались глазъ-на-глазъ, и притомъ немножко съ позолотой, то рѣчь между ними сейчасъ опять зашла о Любашѣ.—Что-же?—сказалъ братецъ ея, скинувъ мундиръ, присѣвъ на кровать свою и подпершись въ обѣ руки:—что же? видно, братъ, Сеня, Любаша тебѣ не нравится, а я думалъ ужъ какъ тебѣ услужить!

Сеня прохаживался большими шагами по комнатѣ, набивая изъ кисета трубку.—Послушай,—сказалъ онъ, остановясь передъ Карпушей: — вѣдь, сестра твоя не шутя дѣвушка предостойная, премилашка... Ну, воля твоя, братецъ, мнѣ совѣстно; ну, за что же я заѣмъ у нея вѣкъ? за что я ее утоплю за себя? Другое дѣло, какая-нибудь тамъ Перепечихина, или Перепутилова, да коли этакъ поддѣть можно ее душъ на сотенку, ну что жъ? это не грѣхъ; а ты подумай, братецъ, мы съ тобой друзья закадычные, да вѣдь и она тебѣ родная сестра!

— Да и о чемъ же ты хлопочешь, Сеня? Я тебя, воля твоя, не понимаю! Ну, такъ чѣмъ же она тебѣ не дружка? Ну, говори! Самъ говоришь: и хороша, и

мила, и достойна, и душъ, хоть сотня не сотня, а подъ семьдесятъ на ея долю наберется; а мнѣ вѣдь все равно, не миновать же раздѣла: такъ ужъ лучше жъ пусть тебѣ достается. Вѣдь я же говорю это, любя тебя; а ты какую-то дичь несешь. Что жъ ты боишься, что ли, ея? вѣдь, она агнецъ; а ужъ какъ бы мы зажили съ тобой—ухъ! только пыль столбомъ! Я, братъ, еще не скоро женюсь, мнѣ еще рано, я бы подлѣ васъ такъ пошелъ пробавляться, а ты, душа моя... да вѣдь мнѣ бы хотѣлось тебѣ услужить, а лучшаго мужа я сестрѣ своей не найду, хоть свѣтъ пройду, ей Богу.

— Братецъ ты мой, душка моя! все это правда; да вѣдь я-то подлецъ... Ну, скажи, ради Бога, правду, ну, вѣдь, просто подлецъ? *)

— Никогда!—возразилъ съ жаромъ братецъ, вскочивъ съ кровати и замахавъ руками:—никогда, ни за что! Богъ съ тобой! откуда ты это взялъ?

— Ну, да какъ же, милый ты мой,—продолжалъ тотъ, покачавъ головой и опустивъ руки: — вѣдь, изъ трехъ полковъ меня выгнали, и тутъ служить со мной не хотятъ; ну, и пьяница я, и буянъ я, — ну, вѣдь буянъ?—и картежникъ я, и по рожѣ битъ, а тутъ вотъ еще связался съ тобой... ну, разсуди же самъ, ну, не подлецъ ли я? Ну, кто же я таковъ?

— Премилый и разлихой малый!—возразилъ опять братецъ:—Ну, дай же себя обнять, да хорошенько, вотъ такъ... Да не отворачивай рыла-то, дай сюда его, — чмокъ — премилый, преблагородный, пребезподобный и рѣдкостный малый! Душа моя, ну, зять ли ты мнѣ? зять? говори! Сестричку мою берешь за себя? а? породнимся, что ли?

---

*) Все это происходило, какъ видно изъ окончанія повѣсти нашей, нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ. Замѣчаемъ это, во избѣжаніе недоразумѣній.

— А что же ты думаешь, въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ Шилохвостовъ, надумавшись и разнѣжась въ объятіяхъ друга:—можетъ быть, я и не хуже другого: вѣдь, мало ли подлецовъ на свѣтѣ, да еще какихъ—ухъ!! Вѣдь, и я тоже человѣкъ, и добраго серда человѣкъ; женишься, перемѣнишься; ну исправлюсь и я...

— Исправишься, милашка мой, душечка мой; ей Богу, исправишься. А на свѣтѣ, разумѣется, мало ли подлецовъ, объ этомъ что и говорить! Ну, по рукамъ же!

— По рукамъ!—сказалъ расхрабрившійся ротмистръ, ударивъ съ размаха корнета по плечу такъ, что тотъ покачнулся. Друзья обнялись и облобызались, еще разъ ударили по рукамъ и снова принялись обниматься; шальной и полупьяный Карпуша хотѣлъ сейчасъ же бѣжать сватать сестру; ротмистръ удерживалъ его и принужденъ былъ, наконецъ, отнять у него почти насильно сюртукъ, обнимая и упрашивая успокоиться до завтра. Они строили планы до бѣла свѣта о томъ, какъ они будутъ вмѣстѣ жить; Карпуша разжился на этотъ чрезвычайный случай еще бутылкой рома, сахаромъ и самоваромъ, а Сенюшка клялся ему съ восторгомъ, что милѣе Любаши онъ въ жизнь свою не видѣлъ дѣвушки, и что при первомъ взглядѣ на нее влюбился на смерть.

На другое утро Карпуша пошелъ сватать сестру свою. Правда, что, проспавшись, Шилохвостовъ струсилъ и началъ было опять впадать въ свое отчаянное уничиженіе; но вскорѣ собрался съ духомъ, находя, что онъ дѣйствительно влюбленъ въ несравненную Любашу, что, впрочемъ, вся вина должна пасть на брата ея, что теперь, когда его самого опять уже выжимали изъ полка, ему всего выгоднѣе было выйти въ чистую отставку, жениться на помѣщицѣ и зажить спокойно домкомъ и

дворомъ. Къ этому разсужденію присоединилась и несомнѣнная увѣренность въ самомъ себѣ, что онъ непремѣнно исправится и сдѣлается хоть и не самымъ отличнымъ, но все-таки, въ сравненіи съ теперешнимъ бытомъ своимъ, очень порядочнымъ человѣкомъ.

Любаша испугалась было сначала предложенія брата своего, который вбѣжалъ къ ней, безъ толку выплясывая мазурку и побрякивая шпорами, потомъ сталъ божиться, что ротмистръ влюбленъ въ нее на смерть, и вслѣдствіе того предлагалъ ей за него выйти; но положеніе ея казалось ей столь новымъ и такъ сильно ей льстило, что сватовство это стало ее тѣшить; она начала забавляться имъ и впала вскорѣ съ братомъ въ ребяческія шутки и сама возвратилась на время къ годамъ своего дѣтства въ пансіонѣ, гдѣ шпоры и эполеты разъ на всегда брали верхъ надъ фракомъ, и гдѣ гусаръ или уланъ мгновенно привлекалъ къ окну всю бѣлолицую и остроглазенькую толпу, тогда какъ платье гражданскаго покроя никогда не удостаивалось и взгляда. Блестки, разсыпанныя по вихрю, мелькнули въ глазахъ дѣвушки и ослѣпили ее; другому чувству не было простора. Карпуша, впрочемъ, не выждалъ положительнаго отвѣта сестры, которая еще не успѣла опомниться, а наговоривъ ей съ три короба и насуливъ небывалаго счастья, расцѣловалъ ее и побѣжалъ къ отцу. Съ матерью онъ не хотѣлъ объ этомъ толковать, изъ опасенія, чтобы дѣло не затянулось.

Ивану Павловичу Карпуша также съ перваго раза закидалъ глаза неожиданнымъ счастьемъ, которое ожидаетъ сестру. Онъ лгалъ и хвасталъ, по милой привычкѣ своей, безъ всякаго дурного намѣренія; кажется, что при этомъ соблазняла его болѣе всего честь называть ротмистра зятемъ, и что онъ былъ подкупленъ снисходительностью своего эскадроннаго командира, съ которымъ онъ былъ, какъ мы видѣли, на самой дру-

жеской, братской ногѣ. Онъ увѣрилъ отца, что Шилохвостовъ перваго дворянскаго рода въ Россіи; что онъ богатъ, много наживаетъ отъ эскадрона и ремонта, и еще болѣе вскорѣ получитъ отъ дяди, который уже на ладанъ дышитъ; что эскадронный командиръ его самый лихой, самый добрый и благородный малый, и притомъ лучшій служака, изъ-за котораго поссорились всѣ полковые командиры цѣлой дивизіи. Карпуша очень хорошо зналъ, что у ротмистра ремонта нѣтъ, а вскорѣ не будетъ и эскадрона, что наслѣдства онъ можетъ ожидать развѣ только отъ своего деньщика; но что нужды? Карпуша плелъ и путалъ все такъ, какъ ему теперь казалось выгоднымъ, и не хотѣлъ выдать своего лихого товарища, а потому дозволилъ себѣ, для друга, отступить нѣсколько отъ истины.

— Вотъ оно каково!—сказалъ Гонобобель, приподнявъ брови и заложивъ обѣ руки въ карманы: — вотъ оно каково! ха, ха, ха! А я было, признаться, прочилъ Любашу за сосѣда; ха, ха, ха! я говорю: вотъ оно каково!

— Какъ же можно, папенька!—поспѣшилъ замѣтить сынокъ:— вѣдь Павлуша.. вѣдь онъ, то-есть, добрый человѣкъ, добрякъ, и другъ мнѣ,—да вѣдь онъ тюфякъ, ну, какъ же его сравнить съ моимъ ротмистромъ, то-есть съ Сеней? Вѣдь это, не въ укоръ ему говоря, все равно, что... И остановился, не зная, что дальше сказать и какое бы прибрать сравненіе.

— Ну да, разумѣется, ха, ха, ха! Я вѣдь и говорю, что въ полѣ и жукъ мясо, а на безлюдьи и Ѳома дворянинъ... ха, ха, ха! Карпуша, слышишь, что я говорю? а?

Анна Алексѣевна, узнавъ наконецъ въ свою очередь объ этомъ сватовствѣ, покачала головой и вздохнула разъ-другой; она собиралась поговорить объ этомъ толкомъ съ Иваномъ Павловичемъ, но все не могла выбрать

времени. Ротмистръ, конечно, льстилъ и ея самолюбію, но все не выходила у нея изъ памяти «позолота» и бутылка рома, взятая Карпушей къ ночи. Павла Алексѣевича ей было жаль, очень жаль; къ тому же и земля его подходила вплоть къ ихъ межѣ, и былъ онъ человѣкъ предобрѣйшій, и устроилъ все хозяйство послѣ отца какъ нельзя лучше. Анна Алексѣевна стала было что-то говорить сыну, но хватъ убѣжалъ, не дослушавъ ея; она встревожилась и хотѣла поговорить съ мужемъ, но и тому было не до нея. «Ну, Богъ съ нимъ!» подумала она: «конечно, отецъ воленъ въ дочери, и наконецъ, Богъ вѣсть, можетъ быть, Павелъ Алексѣевичъ и не думалъ сватать Любашу!» И, подумавъ такъ, она повидимому успокоилась, пошла и сѣла въ свою комнатку, а между тѣмъ колѣни у ней дрожали Богъ вѣсть отъ чего.

— Веди жъ его сюда, своего ротмистра, веди сюда съ повинною!—кричалъ Гонобобель сыну, удерживая его самъ за пуговицу, между тѣмъ, какъ тотъ отъ нетерпѣнія порывался скорѣе вонъ и придерживалъ пуговицу рукой, чтобъ папенька не оторвалъ ея:—Веди, да пусть онъ намъ самъ поразскажетъ, чего ему угодно.

Ротмистръ вошелъ скромно, съ поклономъ, въ небольшомъ замѣшательствѣ; онъ уже не первый разъ на вѣку своемъ бывалъ, или по крайней мѣрѣ, слылъ женихомъ; но тутъ было не до штукъ и не до шутокъ: должно было представить истиннаго, настоящаго жениха.

Гонобобель поднялъ съ крикомъ руки, это былъ особый родъ привѣтствія, и сталъ спрашивать со странными ужимками:—А что вамъ, сударь, угодно? ха, ха, ха! а зачѣмъ вы, сударь, пожаловали? а въ чемъ, я говорю, состоитъ ваше сердечное желаніе? И, не дослушавъ хорошо сложенной рѣчи Шилохвостова, послалъ брата за сестрой, принялъ ее не менѣе странно и спра-

шивалъ настойчиво:—Хочешь ли ты за ротмистра, за улана, за ремонтера, за эскадроннаго командира, за молодца? хочешь ли, говори, я говорю! И когда Любаша, истинно не зная, что и гдѣ она, прошептала въ слезахъ: «Какъ вамъ угодно», то маіоръ сложилъ руки ихъ безъ дальнихъ околичностей, приговаривая въ это время, вмѣсто благословенія, похвалу своей послушной дочери и, разсыпаясь въ шуткахъ, совѣтовалъ жениху держать жену свою такъ же строго, какъ ее держалъ дома отецъ, чтобъ она слушала его безпрекословно. Старикъ, къ общему удивленію, самъ прослезился при этомъ, но хохоталъ и болталъ вздоръ; даже у Шилохвостова какъ будто глаза сдѣлались влажны. Любаша была очень блѣдна, едва стояла на ногахъ, внезапно зардѣлась отъ неожиданнаго поцѣлуя жениха своего, опустила руки и глаза, дышала тяжело, и нѣсколько времени была неподвижна, какъ статуя.

Когда все это было кончено, Иванъ Павловичъ вспомнилъ, что у него есть еще въ домѣ жена и хозяйка, а у Любаши мать. Онъ почувствовалъ все неприличіе своего поступка и побѣжалъ за Анной Алексѣевной самъ, привелъ ее и, повидимому, старался шумомъ, крикомъ и неумѣстнымъ хохотомъ скрыть нѣсколько свое замѣшательство и странность послѣдовавшаго затѣмъ явленія, въ которомъ матери не оставалось ничего, какъ собравшись съ духомъ, благословить и обнять дѣтей своихъ.

Въ это самое время, въ комнату, гдѣ все это происходило, въ большую залу вошелъ Павелъ Алексѣевичъ. Ничего не зная, онъ однакожъ провелъ крайне безпокойную ночь, не зналъ, куда дѣваться съ головой своей или сердцемъ, и наконецъ рѣшился, не теряя времени, идти къ сосѣду для объясненія. Обращеніе Любаши съ ротмистромъ, конечно, наводило на Игриваго какое-то недоумѣніе; но, припоминая послѣднія

слова ея: «Не уѣзжайте» и голосъ, выраженіе, съ которымъ она ихъ сказала, взоръ ея или глаза, которыми она при этомъ на него взглянула, онъ ободрялся, чувствовалъ въ себѣ нѣкоторую самоувѣренность и во всякомъ случаѣ захотѣлъ знать, чего ему ожидать и чего бояться.

— А-а!—закричалъ Гонобобель, встрѣчая сосѣда, который остановился въ какомъ-то недоумѣніи почти на самомъ порогѣ, видя все семейство въ сборѣ и притомъ въ какомъ-то строгомъ чинѣ, непосредственно послѣ благословенія матери:—а! вотъ и онъ, вотъ легокъ на поминѣ! ха, ха, ха! слышите, что я говорю? я говорю: вотъ на поминѣ легокъ! Съ праздничкомъ, сосѣдъ; дѣвки-то ужъ нѣтъ: выдали, братъ, выдали вотъ за проѣзжаго молодца! ха, ха, ха! А я было прочилъ ее за тебя, ей Богу, за тебя; а ты, видно, себѣ на умѣ! ха, ха, ха! Ну, милости просимъ!

Окинувъ взоромъ всѣхъ членовъ семейства, Игривый, къ ужасу своему, въ то же мгновеніе убѣдился, что глупая шутка Гонобобеля была однакожъ не шуткой, а плачевной истиной. Негодованіе, которое имъ овладѣло, выручило его изъ самаго тягостнаго положенія: онъ очень спокойно и чинно раскланялся на всѣ четыре стороны, поздравляя и желая много счастія, обнялся даже съ отцомъ, женихомъ и съ братомъ, поклонился Любашѣ и объявилъ въ то же время, что онъ, съ своей стороны, не зная и не подозрѣвая этого семейнаго праздника, пришелъ только проститься, отправляясь завтра же въ Москву. Извинившись поспѣшностью своего отъѣзда, онъ даже не присѣвъ, раскланялся и опять уѣхалъ.

Любаша все еще стояла въ томъ же положеніи, блѣдная, неподвижная, какъ не живая; но въ то самое время, когда коляска Павла Алексѣевича, застучавъ, покатила со двора, невѣста пришла въ себя, стала

всхлипывать, и ей сдѣлалось дурно. Мать приняла ее на руки, отецъ кричалъ: «Что съ тобой? ха, ха, ха!», братъ подалъ ей руку, а женихъ стоялъ поодаль въ какомъ-то замѣшательствѣ.

Полтора года спустя послѣ этого происшествія, Игривый опять подъѣзжалъ къ своей Алексѣевкѣ, и на этотъ разъ не смотря на то, что сердце и думка его, безъ всякаго сомнѣнія, были полны мыслей и чувствъ о жителяхъ Подстойнаго, онъ однакожъ былъ очень доволенъ, что путь изъ Москвы шелъ не на Кострому и не пролегалъ мимо усадьбы маіора Гонобобеля. Старика Ивана Павловича, впрочемъ, въ это время уже не было на свѣтѣ: онъ скончался довольно скоропостижно вскорѣ, по отъѣздѣ Игриваго, отпраздновавъ благополучно свадьбу дочери.

Странная смѣсь воспоминаній, чувствъ и мыслей волновала и въ то же время успокаивала Игриваго, то тѣшила его, то досаждала ему. Со дня отъѣзда изъ Алексѣевки онъ получалъ извѣстія съ родины только черезъ своего старосту, который увѣдомилъ его о свадьбѣ въ Подстойномъ, а также о смерти маіора и другихъ происшествіяхъ, но впрочемъ не пускался ни въ какія подробности, устраняемыя вообще обычнымъ складомъ и слогомъ этого рода писемъ. Игривому все казалось, будто судьба его еще не рѣшена, будто ему предстоитъ еще что-то впереди; а между тѣмъ, когда онъ, опомнившись, соображалъ спокойно все случившееся, то ясно видѣлъ и понималъ, что ему-то собственно ожидать здѣсь болѣе нечего, и что онъ, какъ ребенокъ, игралъ какими-то темными, несбыточными грезами.

На другой день по пріѣздѣ, осмотрѣвъ хозяйство и натолковавшись объ немъ до сыта, Игривый сталъ разспрашивать своего старосту о томъ, что дѣлается въ Подстойномъ.

— Да что, сударь, плохо тамъ! Молодой баринъ пріѣхалъ, сталъ дѣлиться съ сестрой да выдѣлять мать, и перессорились всѣ; самъ Семенъ Терентьевичъ взяли съ хозяйки своей довѣренность, чтобъ Любови Ивановнѣ не знать ничего, не вступаться ни во что; а старую барыню уговорили отступиться отъ своей доли да жить на хлѣбахъ у сына да у зятя,— ну и подѣлились. Тутъ, видно, Семенъ Терентьевичъ себя не обидѣли; Карпъ Ивановичъ по молодости вѣрили имъ во всемъ, такъ они и отвели себѣ, то-есть, на свою долю, почитай всѣ луга по Мухоловкѣ. Такъ и Карпъ Ивановичъ самъ остался безъ сѣна, да и мужики его безъ луговъ. Вотъ какъ спохватились, да думали было какъ-нибудь поправить дѣло, анъ Семенъ Терентьевичъ луга тѣ уже всѣ отрѣзалъ по самую околицу да продалъ сосѣду Ивану Онуфріевичу. Ну, какъ продалъ да деньги взялъ, такъ ужъ ему и не живется дома: сѣлъ да поѣхалъ. Пропадалъ онъ. Богъ вѣсть гдѣ, мѣсяца три, такъ что молодая хозяюшка, сказываютъ, глаза по немъ выплакала, и воротился такой, что не на что глядѣть. Поѣхалъ въ колискѣ, съ деньгами, а воротился оборванный, чуть не въ одноколкѣ—въ какой-то жидовской бричкѣ. Тутъ они съ Карпомъ Ивановичемъ загуляли: что Божій день, то у нихъ во дворѣ хороводы, да пѣсни, да пляски,— одни мужики да старухи только и ходятъ на работу; а баба, либо дѣвка, извѣстное дѣло, волосъ дологъ да умъ коротокъ,—этому дѣлу и рада. Такіе же, какъ ихъ милость, съѣзжаются къ нимъ со всѣхъ сторонъ, и Богъ вѣсть откуда берутся: прежде что-то такихъ, благодаря Бога, здѣсь и не слыхать было; а въ городѣ, сказываютъ, въ гостиницѣ прибили за своей подписью объявленіе, что-де такой-то Семенъ Терентьичъ да Карпъ Ивановичъ всѣхъ проѣзжающихъ созываютъ къ себѣ на усадьбу въ гости попить да по-

гулять. Такъ вотъ и живутъ себѣ безпросыпно, не памятуючи ни себя, ни другихъ.

— А молодая барыня что жъ?—спросилъ Игривый.

— Да что жъ сударь! извѣстно, женское дѣло— капля камень долбитъ, а чужая слеза, что съ гуся водя. Родила съ мѣсяцъ тому сыночка, окрестили по дѣдушкѣ Иваномъ.

Подумавъ немного, Игривый въ тотъ же вечеръ отправился въ Подстойное. Онъ нашелъ все точно въ томъ видѣ, какъ староста описалъ. Крикъ и шумъ слышались издалека, попойка шла горой. Несмотря на крайнее негодованіе свое, Игривый вошелъ прямо въ это буйное сборище: человѣка четыре сидѣло за столомъ, установленнымъ бутылками и стаканами; Карпуша, полураздѣтый, стоялъ и кричалъ будто на собаку: тубо! аванъ! пиль! — а какой-то оборванецъ, исправлявшій должность дурака, ползъ черезъ всю комнату на корачкахъ къ рюмкѣ вина, накрытой ломтикомъ хлѣба съ сыромъ, и по слову: «пиль!» выпилъ ее залпомъ и закусилъ. Карпуша, какъ былъ, такъ и остался — все тотъ же отъявленный сорванецъ, онъ съ безстыдствомъ вралъ и безъ зазрѣнія совѣсти говорилъ въ похвальбу себѣ правду, не подозрѣвая даже, по глупости своей, что онъ самъ себя выставляетъ мерзавцемъ. Казалось, впрочемъ, будто всѣ въ Подстойномъ обрадовались Павлу Алексѣевичу, кто больше, кто меньше, каждый по своему. Шилохвостовъ обнялъ его въ восторгѣ, какъ стараго товарища, но немножко совѣстился его и будто первое время былъ въ недоумѣніи, какой тонъ на этотъ разъ принять; вскорѣ онъ расходился однакожъ и началъ было покрикивать: шампанскаго! Игривый остановилъ его очень спокойно, сказавъ: «Оставь, это не кстати», и ротмистръ не смѣлъ противорѣчить. Несмотря на хмѣль, Шилохвостову было какъ-то неловко; онъ нашелся, предло-

живъ Игривому отвести его къ своей женѣ. Тутъ Семенъ Терентьевичъ снова оправился, повеселѣлъ, и когда Любаша вскрикнула отъ радости и изумленія, то онъ закричалъ: «Да ну же, обнимитесь, да поцѣлуйтесь!» и толкнулъ Игриваго прямо на Любашу. Въ первый и почти послѣдній разъ, Павелъ Алексѣевичъ обнялъ и поцѣловалъ бывшую свою подругу и самъ не могъ послѣ отдать себѣ отчета, какъ это случилось, и кто изъ нихъ первый подалъ къ тому поводъ. Шилохвостовъ убѣдительно просилъ сосѣда остаться и занять Любашу, а самъ, по какому-то чувству состраданія, или, можетъ быть, чтобъ обезпечить себѣ болѣе свободы на будущее время, оставилъ ихъ однихъ: «Сдѣлай милость, братецъ, докажи дружбу свою, навѣщай насъ почаще: я то и дѣло отлучаюсь по хозяйству и по другимъ дѣламъ, и бѣдная жена скучаетъ—такъ развесели хоть ты немного».

Любаша въ эти полтора или два года возмужала. Теперь можно было сказать объ ней, что она совсѣмъ сложилась, и тѣломъ, и духомъ. Она сѣла противъ друга своего, смотрѣла на него непросыхающими голубыми глазами, жадно слушала его, разспрашивала и не утомилась бы этой бесѣдой, если бъ она продлилась сутки сряду. О себѣ она молчала, или говорила въ общихъ словахъ; ни однимъ словомъ не обвиняла она мужа, легко и съ рѣдкимъ природнымъ чувствомъ скользила по тѣмъ щекотливымъ предметамъ, которыхъ безпрерывно и невольно надобно было касаться, бесѣдуя о своемъ положеніи и домашнемъ бытѣ. Наконецъ, она показала Игривому своего младенца и повела къ старушкѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, которая жила гдѣ-то въ глухой каморкѣ. Старушка расплылась въ слезахъ, увидѣвъ Игриваго, обнимала и цѣловала его безпрерывно, не переставая говорить о томъ, что вотъ кто былъ бы сыномъ ея, вотъ кому прочила она лю-

безную дочь свою, вотъ съ кѣмъ она была бы счастлива, и вотъ кто бы призрѣлъ ее самое подъ старость. На прощанье она со слезами просила Павла Алексѣевича не забывать ихъ; Любаша взяла руку его въ обѣ руки свои и просила о томъ же; Игривый поцѣловалъ у нея руку и скорыми шагами удалился. Онъ уже не былъ въ состояніи долѣе переносить все то, что передъ собою видѣлъ и вокругъ себя слышалъ. Только вышедши нѣсколько на просторъ, онъ могъ вздохнуть свободно.

Оправившись немного, онъ хотѣлъ прямо ѣхать домой и потому вышелъ въ сѣни, оставивъ пирующихъ въ сторонѣ, и велѣлъ человѣку подать коляску. «Да никакъ, сударь, кучеръ вашъ нездоровъ!» отвѣчалъ человѣкъ переминаясь. Игривый понялъ отвѣтъ и вышелъ самъ на дворъ, но не могъ отыскать ни кучера своего, ни коляски. Уже давно смерклось и было темно; онъ рѣшился однакожъ отправиться домой пѣшкомъ. «Кто идетъ?» раздалось въ воротахъ: тутъ поставленъ былъ караулъ и ни подъ какимъ предлогомъ не пропускалъ гостя. Игривый не хотѣлъ употребить силу, но, истощивъ всѣ просьбы и угрозы, воротился и вошелъ въ комнату, гдѣ шла попойка. Радостный крикъ привѣтствія встрѣтилъ его; но Карпуша, отчаянный буянъ, когда бывалъ пьянъ, нарѣзался между тѣмъ окончательно и объявилъ ему наотрѣзъ что до разсвѣта нѣтъ выхода отсюда, и что онъ, Карпъ Ивановичъ, будетъ стрѣлять по всякому, кто бы захотѣлъ прорваться силою, какъ по военному дезертиру. Вмѣсто отвѣта, Игривый повернулся и вышелъ опять на дворъ; но едва сдѣлалъ онъ нѣсколько шаговъ, какъ выстрѣлъ раздался изъ окна и вслѣдъ затѣмъ страшный крикъ и вопль. Бѣгомъ бросился Игривый назадъ и встрѣтилъ все пропойное общество въ испугѣ и заботахъ около Карпуши, который былъ весь въ крови.

Карпъ Ивановичъ, вслѣдствіе угрозы своей, дѣйствительно схватилъ заряженный пистолетъ и выстрѣлилъ, какъ полагалъ, по упрямому гостю—но въ то же время, въ разсѣянности, онъ заткнулъ дуло пистолета пальцемъ собственной своей лѣвой руки, котораго теперь и не досчитывался.

Семенъ Терентьевичъ ревѣлъ и рычалъ, метался, какъ безумный, и кричалъ въ одинъ духъ сто разъ, что Карпуша застрѣлился. Когда же дѣло наконецъ объяснилось, хотя стоило и не малаго труда вразумить пьянаго и заставить его молчать, то онъ расплылся въ стенаніяхъ, слезахъ и вздохахъ.

Семенъ Терентьевичъ въ подобныхъ случаяхъ всегда приходилъ въ себя, каялся и давалъ преполезныя, хотя и запоздалыя наставленія. «Ахъ, Боже мой», говорилъ онъ, всплескивая руками: «вотъ тебѣ и на, вотъ тебѣ и догулялись! Ну, скажи, ради Бога, Карпуша, что мы съ тобой надѣлали? Ну, скажи на милость, не подлецы ли мы? Ну, помилуй, не мерзавцы ли мы, опомнись, что мы это дѣлаемъ? Видишь ли: вотъ оно что изъ этого выходитъ; пьемъ безъ просыпу, таскаемся, не помнимъ ни Бога, ни себя, спились съ кругу, выбились изъ ума—ну, просто скоты мы, воля твоя, Карпуша, скоты!»

Тревога по цѣлому дому пошла страшная, слухъ разнесся, что Карпъ Ивановичъ застрѣлился. Игривый обмылъ и перевязалъ его, вызвалъ собутыльниковъ его и велѣлъ ихъ также уложить, потомъ успокоилъ испугавшуюся на смерть Любашу и насилу выбрался къ полуночи домой, не могши отвязаться отъ изъявленія признательности и раскаянія Шилохвостова, который поносилъ самъ себя тѣмъ выразительнѣе, чѣмъ позже становилось и чѣмъ болѣе сонъ и хмѣль одолѣвали его.

Было о чемъ призадуматься Игривому, когда онъ дома на покоѣ припоминалъ все, что видѣлъ и слы-

шалъ въ Подстойномъ. Сердце у него надрывалось, когда онъ обдумывалъ неразлучную съ этимъ на всю жизнь судьбу Любаши, а помощи не могъ онъ придумать никакой. — О, еслибъ только Богъ надоумилъ меня и вразумилъ, какъ облегчить крестъ этой страдалицы!—подумалъ онъ:—клянусь не щадить ни имущества, ни самой жизни своей и сдѣлать все, на что у меня станетъ средствъ и силъ...

Между тѣмъ мужики пришли всѣмъ міромъ къ господамъ Подстойнаго съ жалобой, что ихъ побили на лугахъ, проданныхъ Ивану Онуфріевичу, и не даютъ косить, и спрашивали, что же имъ дѣлать теперь, куда дѣвать скотинку и чѣмъ ее кормить—сѣнаде нѣтъ ни клочка. Мужики ходили часа два по двору, то къ старой барынѣ, то къ молодой, то добивались Карпуши, то Семена Терентьевича, не зная къ кому обратиться и не находя нигдѣ ни отвѣта, ни привѣта. Наконецъ Шилохвостову надо было выйти и потолковать съ ними; онъ стоялъ передъ ними такимъ дуракомъ, что ему самому стало совѣстно. Онъ сталъ предлагать крестьянамъ кормить скотъ сѣчкой, древесными листьями, увѣряя, что это даже почти лучше сѣна, и, занявъ ихъ нѣсколько хозяйственными разговорами и благоразумными совѣтами въ этомъ же родѣ, распустилъ по домамъ.

Мало-по-малу для Игриваго вошло въ привычку и обратилось въ потребность заканчивать день свой въ Подстойномъ. Тамъ сидѣлъ онъ съ Любашей, или прогуливался съ нею по саду, почти никогда не спрашивая, дома ли мужъ или братъ ея,—который, впрочемъ, жилъ подлѣ, но въ особомъ домѣ—и такимъ образомъ многолѣтняя страсть эта разгаралась обоюдно, безъ всякой помѣхи, но и безъ всякой надежды. Любаша была каждый день до того утѣшена урочнымъ появленіемъ Игриваго, что забывала въ это время всѣ свои бѣдствія

и снова оживала; но, конечно, можно было предвидѣть, что такое мнимое спокойствіе, какъ неестественное, не могло быть и прочно: совершенно разстроенное состояніе и хозяйство, несчастіе быть связанною навсегда съ такимъ мужемъ, нестерпимыя огорченія и оскорбленія, которыя она отъ него должна была переносить, безнадежность глубоко вкоренившейся любви—все это неминуемо должно было постепенно изнурять жизненныя силы несчастной женщины.

Анна Алексѣевна не могла даже и временно успокоиться и утѣшиться: до того житье ея было горько. Забытая, заброшенная, она должна была сносить высшую степень небреженія отъ зятя и родного сына, между тѣмъ какъ дочь, могла только тайкомъ съ нею плакать, но не могла доставить ей даже самаго необходимаго для жизни, потому что сама во всемъ нуждалась. Анна Алексѣевна дошла до того, что обносилась кругомъ и не могла допроситься ни у сына, ни у зятя десяти рублей на будничное и самое необходимое платье; Анна Алексѣевна на старости лѣтъ должна была не только отказывать себѣ въ чашкѣ чая, но иногда даже и въ другомъ блюдѣ, сверхъ людскихъ щей, или каши. Вотъ запоздалая, хотя, можетъ быть, и заслуженная кара за гибельное воспитаніе сына—кара ужасная, хотя поздняя и безполезная, потому что она у насъ часто даже не служитъ примѣромъ для другихъ, а почитается просто случайнымъ несчастіемъ...

Наглядѣвшись и наслушавшись всего этого вволю, Павелъ Алексѣевичъ, подумавъ и переговоривъ съ Любашей, пріѣхалъ однажды въ каретѣ, посадилъ туда старушку мать ея со всѣми пожитками и увезъ къ себѣ. Онъ сдѣлалъ это безъ всякихъ предварительныхъ объясненій съ сыномъ, или зятемъ, которые, впрочемъ, и не заботились объ этомъ происшествіи, какъ о дѣлѣ до нихъ не касающемся.

Однажды Игривый вошелъ, по обычаю своему, въ гостиную Любаши и при первомъ взглядѣ замѣтилъ, что фортепіано ея не было на томъ мѣстѣ, гдѣ оно столько лѣтъ стояло, и гдѣ онъ столько разъ сиживалъ подлѣ нея, разбирая понемногу съ нею вмѣстѣ какой-нибудь романсъ, или подбирая аккорды къ знакомому голосу. Большаго умѣнья или дарованія къ музыкѣ не было ни въ комъ изъ нихъ, но за фортепіано и за пѣсенкой имъ всегда легко было размыкать горе и забыться на полчаса среди горькой дѣйствительности, отъ которой некуда было уйти. Я думаю вообще, что музыка, доведенная до высшей степени совершенства, не составляетъ для насъ такой потребности и даже рѣдко бываетъ такъ благотворна, какъ музыка домашняго обихода. Утомительныя обстоятельства, при которыхъ мы слушаемъ публично виртуозовъ, бываютъ для семейныхъ домосѣдовъ большою помѣхой, и подручное фортепіано да пріятный голосокъ иногда съ избыткомъ вознаграждаютъ отсутствіе Листа и Віардо. Игривый спросилъ Любашу, куда дѣвалось фортепіано ея; она покраснѣла, взглянула на него, и лицо ея выражало просьбу— не спрашивать объ этомъ. Онъ сталъ однакожъ настаивать, вѣроятно, догадываясь въ чемъ дѣло, и услышалъ, что Семенъ Терентьевичъ, собираясь опять куда-то по ярмаркамъ и не могши нигдѣ добыть на это денегъ, продалъ, или заложилъ фортепіано жены все тому же сострадательному сосѣду Ивану Онуфріевичу.

Игривый зашелъ вечеромъ къ хозяину дома, поздоровался съ нимъ, спросилъ, куда Богъ опять несетъ, и сказалъ очень спокойно: «На что ты продалъ вещь, которая женѣ твоей доставляла столько удовольствія, и еще продалъ за безцѣнокъ, какъ я слышу? ужъ лучше бъ ты у меня выпросилъ взаймы эти сто рублей, коли они тебѣ необходимы. Нельзя ли выкупить фортепіано?»

Шилохвостовъ чрезвычайно обрадовался, во-первыхъ, тому, что отдѣлался такъ дешево и не былъ вынужденъ выслушать при этомъ случаѣ цѣлаго ряда скучныхъ упрековъ; а во-вторыхъ, тому, что открылъ новый и неожиданный источникъ для небольшихъ займовъ, тогда какъ ему давно уже никто рѣшительно не вѣрилъ на два гроша. Онъ расчувствовался отъ признательности, побранилъ самого себя, повинился, а потомъ сказалъ:

— Послушай, братецъ, я, признаться, давно уже гляжу на васъ, не надивуюсь. У меня сердце болитъ, меня жалость беретъ—а вѣдь томите и мучите вы сами себя ни за что, ни про что. А? что жъ ты молчишь? поговоримъ хоть разъ откровенно, грудь на распашку. Я вижу и знаю все, что дѣлается, даромъ что пьянъ бываю—все знаю. Вѣдь, вы другъ по другѣ сохнете: вы любили другъ друга прежде: любитесь же съ Богомъ и теперь—кто вамъ мѣшаетъ!

Игривый молчалъ, а Шилохвостовъ очень спокойно продолжалъ:—Видишь, братъ Павелъ, вѣдь, я обижать обижаю Любашу, и горькую чашу она отъ меня пьетъ—ну, что жъ дѣлать? видно, такова судьба ея, власть Господня; а вѣдь я ее люблю, ей Богу уважаю, и желалъ бы ей лучшей участи. Ты же мнѣ другъ—и за тебя я радъ въ огонь, ей-ей, радъ. Изъ-за чего же вы сами себя казните? Вѣдь, я негодяй, я не стою и мизинца ея! Что жъ ты молчишь, Павелъ, и глядишь на меня такъ! ты думаешь, я тебя обманываю! Ей-ей, нѣтъ; вотъ какъ передъ Богомъ; я, вѣдь, вижу и знаю все—сами вы себя казните, ни за что, ни про что.

На рѣчь эту Игривый, помолчавъ, отвѣчалъ:—Я очень радъ, любезный, что тебѣ все извѣстно; ты поступаешь справедливо, что не ревнуешь жены своей; она передъ тобой не виновата ни въ чемъ.

— И это глупо.

— У всякаго объ этомъ свои понятія.

— Что жъ ты мнѣ этимъ глаза колешь? Я самъ лучше всякаго знаю, что я подлецъ; что жъ мнѣ дѣлать?

— Ну, ужъ съ совѣстью своею мирись, какъ знаешь; въ этомъ я тебѣ не указчикъ. Я тебя, впрочемъ, никогда и ничѣмъ не попрекалъ и теперь не упрекаю.

— Ну, а больше что?

— Ничего.

— Глупо это, братецъ, ей Богу глупо! Вотъ видишь: я послѣдній, пропащій человѣкъ, вотъ этого не стою—и самъ щелкнулъ—а я такому человѣку, какъ ты, говорю въ глаза, что это глупо. Къ чему такое фанфаронство? Кто тебѣ за него спасибо скажетъ?

— Тотъ,—отвѣчалъ Игривый, понизивъ голосъ:—кто тебѣ велитъ честить самого себя негодяемъ. Я щажу тебя, Семенъ Терентьевичъ, ради жены твоей; иначе я бы сказалъ тебѣ больше. Впрочемъ, не забудь, пожалуйста, что ты говоришь теперь о ней, о своей женѣ, и что увѣрялъ меня сейчасъ же въ уваженіи къ ней.

— Ну, такъ что жъ ей въ немъ, въ этомъ уваженіи?

— Оно дорого, даже и отъ такого человѣка, каковъ ты.

— Чудаки вы, да и полно!—сказалъ Шилохвостовъ, пожавъ плечами:—Модники!—а самъ всталъ и началъ расхаживать по комнатѣ:—Ну, дѣлайте, что хотите, васъ не разберешь. Не покидай, однако, Любаши. Я ѣду, братецъ, завтра; мнѣ нужно, есть дѣлишки—а тебѣ грѣшно будетъ—ты ея не забывай.

— Прощай, мой другъ,—сказалъ онъ вечеромъ женѣ:—я ѣду съ Карпушей. Послушай, будь ласковѣе къ Павлу Алексѣевичу; видишь ли, онъ ста-

рушку мать твою взялъ къ себѣ и призрѣлъ—за что? Вѣдь, онъ намъ чужой и только что добрый человѣкъ; онъ вотъ и фортепіано твое хочетъ выкупить, а я и мужъ твой, да скотина, не стою волоса его и не стою тебя. Мнѣ жаль васъ обоихъ, такъ Богъ съ вами—я вамъ не помѣха...

Любаша побагровѣла до самыхъ ушей и молча смотрѣла вслѣдъ мужу большими, лучистыми глазами. Онъ обернулся въ это время, остановился и спросилъ кротко: «Что ты такъ дико на меня смотришь?» «Уйди, ради Бога, уйди!» — проговорила она съ трудомъ, отвернувшись и закрывъ лицо руками. Шилохвостовъ посмотрѣлъ на нее, призадумавшись, вышелъ молча и ворчалъ про себя: «И здѣсь нѣтъ приступа—вотъ не знала баба горя, купила баба порося!... того и гляди, какой-нибудь несчастный романъ разыграютъ—и все на нашу шею, на мою, то есть, съ Карпушей; мы и отдувайся послѣ».

Игривый попрежнему навѣщалъ почти ежедневно Любашу, а иногда и Любаша пріѣзжала на часокъ къ своей матери, въ Алексѣевку, а по воскреснымъ днямъ къ обѣднѣ. Любашѣ какъ-то совѣстно было взглянуть первое время на Павла Алексѣевича; она все припоминала слова своего мужа; но Игривый непринужденнымъ, искреннимъ обращеніемъ своимъ скоро заставилъ ее забыть это: она увѣрилась, что мужъ ея не проговорился Игривому, и успокоилась. Послѣ отъѣзда Карпуши и Шилохвостова, дорога вслѣдъ за ними заглохла, и слуха о нихъ не было никакого. Между тѣмъ Анна Алексѣевна захворала; съ недѣлю уже ѣздилъ къ ней уѣздный лѣкарь и утѣшалъ ее подробностями о найденныхъ въ уѣздѣ и подкинутыхъ трупахъ, о томъ, что оказалось при вскрытіи, и о предстоявшихъ ему еще въ этомъ родѣ подвигахъ. За микстурами безпрестанно посылали верхового въ городъ;

дочь и самъ Павелъ Алексѣевичъ не отходили отъ больной и черезъ нѣсколько дней закрыли ей глаза. Лѣкарь, пріѣхавъ на другой день, разсказалъ по этому случаю нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ, заключилъ краткимъ изложеніемъ статистики скоропостижной смертности въ уѣздѣ и уѣхалъ.

Тихо и чинно похоронили старушку въ семейномъ склепѣ Подстойнаго, отпѣвъ ее въ Алексѣевкѣ. Любаша съ Павломъ Алексѣевичемъ шли вдвоемъ за гробомъ, который всѣ крестьяне и крестьянки Подстойнаго проводили отъ самой церкви въ Алексѣевкѣ до семейнаго кладбища своихъ господъ.

Возвратившись съ погулки, сынъ и зять съ горя рѣшились продать часть своего имѣнія; а какъ она прилегала къ полямъ Алексѣевки, то Игривый сошелся съ ними и купилъ ее. Прочіе крестьяне Подстойнаго пришли по этому случаю всѣмъ міромъ къ Павлу Алексѣевичу и, кланяясь въ ноги, просили, какъ они выражались, «отобрать» ихъ всѣхъ отъ Гонобобеля и Шилохвостова и «взять за себя». Они привыкли видѣть въ сосѣдѣ своемъ какого-то опекуна и защитника и человѣка съ нѣкоторымъ вліяніемъ даже и на своихъ безпутныхъ господъ. Они въ такихъ рѣзкихъ и выразительныхъ чертахъ представили бѣдствіе свое, крайность своего нищенскаго положенія, что трудно было имъ возражать. Игривый успѣлъ однакожъ успокоить ихъ нѣсколько, обѣщавъ пособить имъ при посѣвѣ и растолковавъ, что продажа зависитъ отъ ихъ господъ, а на покупку нужны, кромѣ доброй воли, еще и деньги.

По случаю этой сдѣлки, въ которой Шилохвостовъ дѣйствовалъ также уполномоченнымъ за Карпушу, онъ ухаживалъ день другой около сосѣда, какъ будто у него было что-то на душѣ, и наконецъ, сидя у него, послѣ расчета, съ трубкою за стаканчикомъ чая съ

позолотой, повѣсилъ носъ въ стаканъ, сталъ помѣшивать чай свой въ раздумьѣ ложечкой и сказалъ:

— Подстойное наше, чай, все не минуетъ твоихъ рукъ, Павлуша; да и съ Богомъ. Право, я тебѣ этого желаю. Безпутному сыну богатство не въ прокъ. А кормить станешь насъ бобылей, меня, то есть, съ Карпушей, подъ старость нашу, а?

— Накормилъ бы я васъ лучше смолоду—отвѣчалъ Игривый:—да такъ, чтобъ вы не только до новыхъ вѣниковъ помнили, а не забывали и подъ старость.

Шилохвостовъ весело захохоталъ: этотъ ладъ рѣчи былъ ему по вкусу. Онъ затянулся трубкой, прихлебнулъ чаю, перекинулся назадъ въ кресла и, устремя съ улыбкой глаза на Павлушу, сказалъ:—Что правда, то правда: да ужъ и вы мнѣ хороши: я, братъ, себя не жалѣю, и самъ браню себя, и другимъ не заказываю; да ужъ за то позволь попенять путемъ и тебѣ: я такихъ чудаковъ, признаться, не видалъ и во снѣ.

— Ну, что же? — отвѣтилъ Игривый: — будемъ удивляться другъ другу—больше нечего дѣлать.

— Послушай, модникъ, — продолжалъ тотъ: — я тебѣ не шутя сдѣлаю еще одно предложеніе. Чтобъ совѣсть тебя не мучила, коли ты больно совѣстливъ, такъ дѣло можно бы обдѣлать хорошо, такъ что были бы и волки сыты, и овцы цѣлы...

— Я покуда еще тебя не понимаю,—сказалъ Игривый равнодушно:—но, признаться, добра не чаю отъ кудреватой рѣчи твоей; не лучше ли тебѣ на всякій случай напередъ обдумать то, о чемъ хочешь говорить, или ужъ просто промолчать?

— Да нужно, братецъ, сдѣлай милость, полно дурачиться, выслушай меня спокойно, да и подумай послѣ самъ. Вотъ что,—продолжалъ онъ съ небольшимъ, скрытнымъ смущеніемъ, наклонившись впередъ

къ собесѣднику и положивъ оба локтя на столъ:—я, братецъ, ей Богу, влюбленъ въ Ивана Онуфріевича...

— Влюбленъ въ Ивана Онуфріевича!—перебилъ Игривый и захохоталъ отъ души:—ну, что же? мнѣ сватать его за тебя, что ли?

— Э, братецъ! да хоть не перебивай, дай договорить—я не шучу, ей-ей. Я говорю, что я влюбился въ Ивана Онуфріевича Машу... Чтобы тебѣ посвататься? вѣдь, за тебя отдадутъ ее обѣими руками...

— А за тебя развѣ не отдадутъ?

— Да полно же, сдѣлай милость; вѣдь, я говорю дѣло:—женись, а тамъ—размѣняемся; вотъ и квиты!

— Ахъ, ты голова—головушка моя!—сказалъ Игривый, покачавъ самъ головою:—нѣтъ, братъ, я вижу, что ты все еще льстишь себѣ, когда честишь самого себя и такъ, и этакъ...

— А что?

— Да такъ, больше ничего...

— Ну, Павлуша, послушай же, не дурачься... ну, сдѣлай милость, не дурачься! ну, ругай меня! Что жъ? я самъ все это знаю: ну, пьяница; ну, буянъ; ну, картежникъ, мотъ, негодяй; ну, подлецъ, однимъ словомъ... Женись, Павлуша, послушайся хоть разъ въ жизни моего братскаго совѣта! Ну что же ты такъ глаза на меня уставилъ? Я этого не люблю. Что ты смотришь такъ, о чемъ думаешь, скажи!

— Да я думаю, чтобы такое придумать, какого рода мерзость, передъ которою бы ты запнулся?

— Правда, братецъ, ей Богу правда; только не воръ я, вотъ что!... нѣтъ, воръ, ей-ей, воръ! таки просто укралъ разъ у пьянаго сто рублей—каюсь тебѣ, какъ на духу, а правда. Но ужъ зато душегубства нѣтъ на моей совѣсти, видитъ Богъ, нѣтъ.

— Но есть надежда и на это!—продолжалъ Игривый:—*жену* свою ты уморишь, этого не миновать.

Шилохвостовъ призадумался было, а потомъ спросилъ:—А ты спасти ее не хочешь?

— Пулю бъ тебѣ въ лобъ,—сказалъ сурово Игривый, привставъ со стула и понизивъ голосъ:—но нѣтъ, и это ея не спасетъ. Ты заѣлъ всю жизнь ея, и одинъ только милосердый Богъ спасетъ ее тамъ.

Онъ оставилъ гостя и вышелъ одинъ въ поле. Шилохвостовъ никогда не видалъ его въ этомъ духѣ; Семенъ Терентьевичъ долго глядѣлъ ему вслѣдъ, потомъ посвисталъ, кивнулъ головой, и сказалъ:—Такъ вотъ оно куда пошло, а-га!—и уѣхалъ домой.

Бѣдный Игривый могъ только смутно размышлять о тяжкомъ своемъ положеніи. Ему казалось, что у него уже не доставало болѣе силъ переносить все это; ему опять и нынче, какъ уже сто разъ прежде, приходило въ голову бросить все и уѣхать куда-нибудь подальше, надолго или даже навсегда. Ему казалось, что онъ здѣсь сойдетъ съ ума. «Что меня держитъ?—думалъ онъ:—для чего я здѣсь сижу и изнываю, какъ истинный, не баснословный Танталъ?...—А тамъ опять, думалъ онъ:—На кого же я ее покину? Если бъ она была одна-одинехонька—другое дѣло: тогда бы она здѣсь, среди своихъ крестьянъ и сосѣдей, могла жить спокойно и беззаботно; но при такихъ защитникахъ и покровителяхъ, какъ мужъ и братъ ея—нѣтъ, при нихъ я отлучиться не могу. Богъ укрѣпитъ меня; останусь здѣсь и буду пить горькую чашу эту каплю по каплѣ, до дна. Что мнѣ теперь до себя? думать и заботиться о себѣ—мнѣ было бы стыдно: я долженъ видѣть одну только страдалицу свою и жить для нея. Малодушно было бы измѣнить теперь и себѣ, и ей, и покинуть ее преждевременно, на жертву этимъ негодяямъ».

При такихъ размышленіяхъ, Игривый, не успѣвъ подумать о томъ, куда онъ направилъ путь свой, вступилъ въ небольшую кленовую просадь, которая вела къ

усадьбѣ въ Подстойномъ. Онъ самъ улыбнулся этой странности, этой случайности и продолжалъ медленными шагами путь; привѣтливо кивала ему изъ окна русая головка, къ которой прижималось бѣлое личико младенца; вѣжливо и доброхотно встрѣтила его прислуга, суетившаяся на крыльцѣ и въ комнатахъ по поводу укладки чемодановъ и снаряженія обоихъ въ дорогу. Игривый прошелъ прямо къ хозяйкѣ дома—по имени, хотя она на дѣлѣ и была въ домѣ, можно сказать, чужая.

— Добрый вечеръ, Любовь Ивановна!

— Здравствуйте, мой добрый Павелъ Алексѣевичъ! Посмотрите-ка на моего Ваню: онъ первый васъ увидѣлъ и полѣзъ было прямо изъ окна къ дядѣ Пау.

— А поди-ка сюда, маленькій разбойникъ, поди къ дядѣ Пау! Ну, что твои рыбки дѣлаютъ? А посмотри, какого я тебѣ сейчасъ жука поймалъ—вишь какой, съ корову, и рогъ на затылкѣ! Давай-ка, гдѣ твоя маленькая телѣжка, запряжемъ его!

— Я должна воспользоваться сумерками,—сказала вполголоса Любаша: — чтобъ вы не видѣли, какъ я краснѣю, и поблагодарить васъ за фортепіано... его привезли сегодня—я такъ была этимъ обрадована...

— Вотъ такъ, въ оглобли его,—продолжалъ Игривый громко, закладывая своего жука и не обращая никакого вниманія на слова Любаши:—постой, постой; мы и дугу поставимъ, и супонь подтянемъ...

— Я даже и за это вамъ благодарна,—продолжала она: — что вы теперь не слышите о чемъ я говорю. Мнѣ отъ этого какъ-то легче на сердцѣ.

— А здоровье ваше каково сегодня? что голова и грудь?

— Слава Богу, хорошо; сегодня легкій день, мнѣ въ самомъ дѣлѣ лучше. Сказавъ это, она какъ бы не-

вольно взглянула въ окно на приготовленія къ отъѣзду мужа и брата.

— Ба! да вотъ онъ, нашъ любезный другъ и сосѣдъ,— сказалъ, вошедши въ комнату, Семенъ Терентьевичъ:— вотъ спасибо, такъ спасибо, другъ! А мы совсѣмъ!.. Прощай, Любаша... Видишь ли, каковъ онъ человѣкъ,— продолжалъ Шилохвостовъ, указывая на фортепьяно:— а? не чета тому скоту, который заложилъ было его Ивану Онуфріевичу и, разумѣется, никогда бы не выкупилъ. Прощайте жъ, друзья мои,—и обнялъ ихъ обоихъ: — не поминайте лихомъ. Прощай, мальчишка, Господь съ тобой!—и вышелъ.

Игривый съ Любашей проводили его до крыльца; Карпуша сидѣлъ уже въ коляскѣ и бросилъ оттуда рукой поцалуй сестрѣ и гостю. Коляска покатила. Съ часъ времени Павелъ Алексѣевичъ побылъ еще въ Подстойномъ и тамъ, отложивъ и выпустивъ на волю Ванинаго жука, побрелъ тихимъ шагомъ домой. И въ этотъ разъ опять было молодая кровь въ немъ взыграла, взволнованныя чувства породили бурныя, черныя мысли, доводившія его до отчаянія; но спокойная совѣсть вскорѣ одолѣла эту душевную тревогу, малодушіе было побѣждено, и доблестное мужество одержало верхъ. Игривый вступилъ подъ кровъ свой съ спокойнымъ духомъ.

Не смотря, однакожъ, на увѣренія Любаши, что ей теперь гораздо лучше, здоровье ея видимо разстроилось. И въ самомъ дѣлѣ, какое сложеніе могло бы устоять противъ этихъ жестокихъ и безпрерывныхъ ударовъ судьбы, которые выпали на ея долю? Какое женское сердце въ состояніи перенести это двойственное томленіе—быть женою Шилохвостова, а между тѣмъ видѣть ежедневно Игриваго—и это вѣчное раскаяніе съ упреками совѣсти за легкомысленный поступокъ, во время первой, неопытной молодости своей, когда и сама еще не понимала, что дѣлала, когда молча согласилась отдать

руку человѣку, какъ отдаютъ ее на четверть часа, для мазурки или кадрили... какой конецъ этому будетъ? гдѣ тутъ отрада? гдѣ самая надежда?

Игривому уже часто казалось, что Любаша постепенно худѣетъ, и что здоровье ея мало-по-малу разстраивается; но видя ее почти ежедневно, онъ не могъ замѣтить никакой внезапной перемѣны; она все еще была въ глазахъ его тою же миловидной Любашей, какъ прежде; а когда онъ заботливо спрашивалъ о ея здоровьѣ, то принужденъ былъ довольствоваться общими отвѣтами ея, которые ничего положительнаго не объясняли. Однажды онъ, посидѣвъ у нея по обычаю своему часокъ, простился съ нею и отправился было домой, какъ при входѣ въ кленовую просадь, ведущую отъ барской усадьбы на большую дорогу, былъ остановленъ мамушкой Любаши: «Не прогнѣвайся, батюшка, кормилецъ нашъ» говорила старуха: «я къ тебѣ, все къ тебѣ да къ Богу, больше не къ кому, самъ знаешь: ну, что же я стану дѣ ъ съ барышней своей (она Любашу все еще звала барышней и никакъ не хотѣла отстать отъ этой долголѣтней привычки)? ну, вѣдь, сохнетъ моя голубушка, какъ вотъ цвѣтъ на стеблѣ...»

— Говори, говори, Тимоѳеевна, что такое?

— Охъ, ужъ не знаю что и говорить... разговоры наши всѣ тебѣ вѣдомы давно, и знаешь ты все, знаешь, кто раскинулъ намъ печаль по плечамъ, кто пустилъ сухоту по животу... изойдетъ она горемъ; не ѣстъ, не спитъ, все такъ сидитъ, либо плачетъ; въ ротъ не беретъ ни росинки; все подпершись локоткомъ сидитъ, ночи напролетъ, по бѣлой груди рукой поводитъ—тамъ, знать, сердце болитъ, ноетъ. Охъ, ужъ изведетъ онъ мою барышню-госпоженку... Тогда-то мы что съ тобой дѣлать станемъ, ась?

Разспросивъ еще нѣсколько старушку и успокоивъ ее сколько умѣлъ, Игривый, конечно, не могъ добиться

отъ нея большаго толка; но материнскія опасенія ея напугали его, заставили обратить болѣе вниманія на положеніе Любаши, и онъ также сталъ за нее опасаться.—Надобно во-время что-нибудь сдѣлать,—подумалъ онъ:—шутить этимъ нечего; можетъ быть, есть еще противоядіе этой медленной отравѣ... Онъ раздумывалъ, что ему дѣлать: тутъ нуженъ былъ совѣтъ умнаго и опытнаго врача; уѣздному лѣкарю, который такъ хорошо разсказывалъ присказки о подкинутыхъ мертвыхъ тѣлахъ, Игривый ввѣриться не хотѣлъ; онъ отправилъ чѣмъ свѣтъ коляску въ другой сосѣдній городъ за врачомъ, къ которому у него было болѣе довѣрія.

Врачъ пріѣхалъ, выслушалъ напередъ Игриваго, который разсказалъ ему все, что зналъ о состояніи здоровья Любаши; потомъ они вмѣстѣ отправились къ ней. Она нѣсколько изумилась, увидѣвъ вмѣстѣ съ Игривымъ незнакомаго ей пожилого человѣка; но когда дѣло объяснилось, то она была такъ тронута этимъ новымъ и вовсе неожиданнымъ доказательствомъ его любви и заботы объ ней, что съ трудомъ удерживалась отъ слезъ.

— Ну, что же я вамъ скажу о нашей милой больной?—началъ докторъ, когда онъ остался наединѣ съ Игривымъ:—что мнѣ сказать вамъ? Вы, я думаю, видите, слышите, чувствуете, понимаете и соображаете въ этомъ случаѣ нисколько не хуже меня. Я думаю, если несчастное положеніе этой женщины не измѣнится, то она, не смотря на то, что, повидимому, владѣетъ собою, при глубокой чувствительности своей, однакожъ, легко можетъ сдѣлаться жертвою этихъ несчастныхъ обстоятельствъ.

— Она и теперь давно уже жертва этихъ обстоятельствъ!—сказалъ Игривый, опустивъ мутные глаза на землю.

— Да; но я понимаю слово это иначе; я хочу сказать, что сожительство съ мужемъ ненавистнымъ и безпрерывныя, тяжкія оскорбленія отъ него, а съ другой стороны многолѣтняя и безнадежная склонность, а можетъ быть, и страсть, которая по обстоятельствамъ еще безпрерывно разжигается, притомъ и материнскія заботы о будущей судьбѣ дѣтей своихъ—я говорю, что все это составляетъ психическую причину болѣзни ея, этой грудной боли, біенія сердца, почти безпрерывной маленькой лихорадочки, истощенія, безсонницы, недостатка позыва на ѣду, и что все это можетъ кончиться изнурительною лихорадкой; тогда поздно будетъ думать о помощи. При болѣзни тѣла страдаетъ и душа; при боли души изнемогаетъ тѣло. Это круговая порука. Между тѣмъ первое условіе для выздоровленія—вынуть занозу, устранить самую причину болѣзни; безъ этого нѣтъ пользы ни отъ пластыря, ни отъ микстуры, ни отъ пилюль.

— Посовѣтуйте, докторъ, что же тутъ сдѣлать?

— Ей надобно удалиться отсюда на нѣсколько времени, окружить себя новыми предметами. Можетъ быть, до того времени тутъ что-нибудь измѣнится. Пошлите ее за границу.

— За границу?

— Да, на воды куда-нибудь, не для водъ, а для прогулки. Пожалуй, хоть въ Маріенбадъ, или въ Теплицъ. Ушлите ее на годъ: можете быть увѣрены, что здоровье ея отъ этого выиграетъ. Это польза прямая, а косвенная, что мы выиграемъ время, и вы подумаете, что дѣлать дальше. Вотъ мой совѣтъ.

— Но какъ это уладить, я не знаю; мысль эта для меня такъ нова, что я не умѣю взяться за исполненіе...

— Признайтесь мнѣ откровенно, вы не хотите разстаться съ нею?

— Избави Богъ, любезный докторъ, что вы это гово-

рите? Я... я не знаю, какъ вамъ объяснить это, но самъ былъ бы готовъ бѣжать отсюда Богъ вѣсть куда, и я чувствую глубоко, что былъ бы самъ спокойнѣе, если бъ ея здѣсь не было. Что же касается до нея, то, конечно, нѣтъ жертвы, которой бы я не принесъ ей на пользу.

— Ну, такъ что же? Подумайте. Вѣроятно, какънибудь устроите. Если помощь моя при этомъ нужна— я къ вашимъ услугамъ. Расходы будутъ не такъ велики; изъ нашего уѣзда собираются въ Теплицъ Маслаковы, которые даже были въ родствѣ съ покойнымъ Гонобобелемъ и, какъ я полагаю, не откажутся принять вашу недужную подъ свое покровительство; а Маслаковъ человѣкъ надежный.

Игривый поблагодарилъ доктора за этотъ умный совѣтъ, просилъ его поговорить съ Маслаковыми, самъ убѣдилъ Любашу дать на то согласіе и взялся кончить дѣло съ Шилохвостовымъ. Предложеніе это, конечно, сначала крайне озадачило ее, но, будучи передано убѣдительными устами Павла Алексѣевича, не могло встрѣтить большого противорѣчія. Бѣдная Любаша и сама поняла, что ей необходимо вздохнуть на свободѣ, чтобы не задохнуться въ этомъ чаду.

Протаскавшись недѣли три Богъ вѣсть гдѣ, Семенъ Терентьевичъ наконецъ благополучно возвратился, разумѣется, въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ обыкновенно возвращался съ этихъ отчаянныхъ погулокъ. Игривый, не теряя времени, воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, первымъ порывомъ униженія Шилохвостова, чтобъ склонить его къ согласію на отпускъ Любаши.

— Послушай, Семенъ Терентьичъ,—сказалъ Игривый:—я когда-то пророчилъ тебѣ, что ты жену свою уморишь. Образа жизни своей, нрава своего ты не измѣнишь, и потому я пришелъ къ тебѣ не для упрековъ

и не для поученій, но спрашиваю тебя торжественно, хочешь ли ты дать этой страдалицѣ еще небольшую отсрочку, хочешь ли подарить ей нѣсколько спокойныхъ дней, если это будетъ тебѣ стоить одного только твоего слова?

— Охота тебѣ, братецъ, какъ говаривалъ нашъ полковой писарь, вдаваться въ такое отчаянное сложеніе безъ реванша—то есть, стращать меня такими мудреными загадками!.. Что жъ мнѣ тебѣ на это говорить? вѣдь ужъ про самого себя мнѣ тебѣ нечего разсказывать, ужъ ты меня знаешь, и знаешь, что я принимаю съ признательностію всякую брань, всякое поношеніе, но ужъ наставленій не терплю; виноватъ, не варитъ желудокъ! Говори на распашку.

— Кажется, Семенъ Терентьичъ, я тебѣ никогда не надоѣдалъ наставленіями, и теперь я объ этомъ не думалъ. Но дѣло вотъ въ чемъ: жена твоя хвораетъ, я привозилъ сюда Межевскаго, онъ находилъ положеніе ея опаснымъ и настоятельно совѣтуетъ ей ѣхать за границу, именно въ Теплицъ, въ Богемію.

— Въ Богемію! Экъ васъ куда нелегкая несетъ!

— Нѣтъ, не насъ, а одну только бѣдную и больную жену твою; можетъ быть, съ Маслаковыми.

— Да вѣдь тамъ, слышно, шулера гдѣ-то на водахъ тѣхъ собираются—такъ туда, что ли?

— Можетъ быть и собираются—объ этомъ я не разузнавалъ; знаю только, что другіе люди, кромѣ шулеровъ, ѣздятъ туда лѣчиться, и за этимъ-то надо бы ѣхать и Любови Ивановнѣ.

— Что жъ я стану дѣлать тутъ? я бы радъ, хоть бы ужъ тамъ каковъ бы я ни былъ, да съ чѣмъ же я ее отпущу? Я вѣдь понимаю, чѣмъ это пахнетъ, а у меня, кромѣ долгишекъ, нѣтъ ровно ничего; развѣ вотъ что: купишь ты у насъ съ Карпушей еще клокъ землицы?—пожалуй, по самую усадьбу отрѣжемъ, не-

чего дѣлать, а? ладно, что ли? ну по рукамъ, да давай деньги!

— Это особь-статья; я только спрашиваю тебя: отпускаешь ли ты жену ради болѣзни ея?

— Отпускаю, братецъ, ей Богу! Что? не вѣришь? Я еще когда задумалъ жениться, такъ сказалъ, а Карпушѣ далъ слово, что исправлюсь, вотъ что! Вѣдь, я хоть и негодяй, а душа у меня предобрая!

Разсудивъ, что имѣніе Карпуши и Шилохвостова промотано, пропало безвозвратно и расходится по клочкамъ, располагая притомъ сдѣлать изъ него современемъ особенное употребленіе, Игривый прикупилъ еще и другую часть его, условившись напередъ, чтобъ извѣстная сумма выдана была Любашѣ на поѣздку за границу. Между тѣмъ все было для поѣздки этой изготовлено; срокъ, по условію съ Маслаковыми, назначенъ, и Павелъ Алексѣевичъ пріѣхалъ проститься съ Любашей и проводить ее за усадьбу; далѣе провожать ее казалось ему неприличнымъ, потому что у нея были и мужъ, и родной братъ.

Она приняла его грустно и радостно, сидя среди дорожныхъ ящиковъ и чемодановъ. Онъ сталъ утѣшать ее, старался немного развеселить и далъ ей нѣсколько совѣтовъ и наставленій на дорогу; она долго слушала его спокойно и наконецъ спросила: «Но когда же все это будетъ, другъ мой? Мнѣ кажется, что всѣ приготовленія наши сдѣланы на вѣтеръ».

— Что это значитъ? Я васъ не понимаю.

— Я говорю, что, вѣроятно, никогда не соберусь и не уѣду отсюда.

— Какъ не соберетесь? Вамъ непремѣнно должно выѣхать сегодня, въ положенный часъ, чтобъ не опоздать; развѣ вы не совсѣмъ?

— Я совсѣмъ...

— Ну, такъ за чѣмъ же дѣло стало?

Любаша помолчала, потомъ взглянула на Игриваго и сказала вполголоса:—За... мнѣ ѣхать не съ чѣмъ; я не получила и, конечно, не получу ни копѣйки.

— Какъ это можно? Да я вчера уплатилъ все сполна, и, будьте спокойны, вотчина будетъ сбережена для вашихъ дѣтей...

Я вамъ уже столько обязана, что не умѣю болѣе благодарить. Вѣрьте мнѣ, я поняла ваше благородное намѣреніе, хотя вы мнѣ не говорили доселѣ ни слова, конечно, щадя меня... и за это я васъ благодарю... Не менѣе того у меня денегъ на дорогу нѣтъ, и потому я не поѣду.

— Но объясните мнѣ, ради Бога, все это; я ничего не понимаю.

— Объясненіе очень просто; Семенъ Терентьичъ съ Карпушей уѣхали въ ночь, Богъ вѣсть куда, и взяли всѣ деньги съ собой, до копѣйки.

— А! такъ вотъ что!.. Ну, это ужъ моя вина,— сказалъ Игривый: — оплошность моя непростительна. И въ самомъ дѣлѣ, какъ я могъ думать только, что, взявъ деньги въ руки, они сдержатъ свое обѣщаніе! Воля ваша, а это такъ забавно, что право тутъ сердиться не на кого! Тутъ я не одинъ виноватъ, и я же за это въ дуракахъ. Впрочемъ, это все равно, это мое дѣло, я съ ними сочтусь.

Онъ отправился поспѣшно домой, черезъ часъ воротился, привезъ денегъ, отправилъ и проводилъ Любашу. Она молчала и плакала, поручила другу своему дѣтей—у нея было ихъ ужъ двое, Ваня и Анюта—и обнимая его, всего въ другой и въ послѣдній разъ во всю свою жизнь, сказала: «Что бы ни случилось, ворочусь ли я, нѣтъ ли, ради Бога, обѣщайтесь мнѣ быть отцомъ моихъ дѣтей; они сироты»...

— Обѣщаюсь вамъ, Любовь Ивановна, а послѣ этого обѣта вы можете быть спокойны; развѣ меня

не станетъ. Вы были моею: Богъ насъ соединилъ, люди разлучили; но на дѣтей вашихъ, я смотрю какъ на своихъ.

Съ сокрушеннымъ сердцемъ глядѣлъ Игривый вслѣдъ за исчезавшею вдали коляской, и ни одна душа изъ многолюдной дворни, проводившей любезную барыню свою до этого распутья, не нарушила какимъ-либо звукомъ продолжительное, задумчивое молчаніе Павла Алексѣевича. Народъ уважалъ его и, казалось, понималъ, по какому-то безотчетному сочувствію. Пріѣхавъ домой, бѣднякъ нѣсколько успокоился, ему стало полегче; тяжелый камень, хотя временно, свалился съ плечъ его, онъ былъ свободенъ, онъ могъ бы ѣхать вмѣстѣ съ Любашей; онъ сильно чувствовалъ потребность эту, долженъ былъ даже сознаться, что и для нея это было бы наконецъ яснымъ, счастливымъ временемъ послѣ столькихъ ненастныхъ, бѣдственныхъ лѣтъ, но онъ не хотѣлъ пожертвовать доброй славой ея и старался вести себя съ возможною осторожностью. Прислуга, чрезъ которую обыкновенно расходятся всѣ домашнія вѣсти и сплетни, не только вся была на сторонѣ Игриваго, но также была убѣждена въ чистотѣ дружбы его съ ихъ молодой барыней и изъ уваженія къ нимъ обоимъ стояла за правду; въ цѣломъ уѣздѣ отношенія этой четы были извѣстны въ настоящемъ ихъ видѣ и, несмотря на всѣ толки, пересуды, сожалѣнія и шуточки, вобще все-таки знали что Игривому и Любашѣ упрекнуть себя не въ чемъ.

Возвратившись въ одиночество свое, Павелъ Алексѣевичъ занялся еще прилежнѣе хозяйствомъ, особенно же старался привести въ порядокъ разстроенныхъ крестьянъ, пріобрѣтенныхъ у сосѣда, и успокоить тѣхъ, которые остались еще, заложенные и перезаложенные, за Карпушей. Шилохвостовъ продалъ весь участокъ женинъ; но не менѣе того, по тѣсной и не-

разрывной дружбѣ съ шуриномъ, съ которымъ у него было все пополамъ, управлялъ нѣкоторымъ образомъ остаткомъ его имѣнія, если только эти безтолковыя распоряженія можно было назвать управленіемъ. Игривый почти каждый день бывалъ въ Подстойномъ, присматривая за дѣтьми Любаши, и почти каждый разъ долженъ былъ успокаивать крестьянъ то убѣжденіями, то кой-какими пособіями. Онъ часто не зналъ, какъ быть и что дѣлать.

Уклонившись, собственно по этому тягостному чувству, отъ добровольно принятой имъ на себя обязанности и не побывавъ нѣсколько дней въ Подстойномъ, Игривый поѣхалъ однажды опять провѣдать малютокъ. Онъ оставилъ ихъ до этого на рукахъ отца; а теперь, когда отецъ отправился опять вмѣстѣ съ Карпушей провожать какой-то цыганскій таборъ на ярмарку, Павелъ Алексѣевичъ нашелъ дѣтей брошенныхъ почти безъ всякаго надзора. Ваня чуть было не утонулъ, Анютѣ сердитый гусакъ чуть не выбилъ крыльями глазъ, оба не одѣты, не умыты, а виноватаго нѣтъ. Бѣдные малютки такъ обрадовались Павлу Алексѣевичу, что повисли на немъ и не хотѣли отцѣпиться. «Останься, дядя Пàу», кричалъ одинъ: «я хочу къ тебѣ, дядя Пàу!» кричала другая. «Дядя Пàу» прослезился, обнялъ ихъ, посадилъ къ себѣ въ коляску и увезъ въ Алексѣевку.

Это сдѣлать было легко; но что дальше? Дѣти въ этомъ возрастѣ и безъ матери... у Павла Алексѣевича сжималось сердце, онъ понималъ, что это значитъ. Наемная рука хорошо сѣчетъ ребенка, но дурно ласкаетъ. Любовь матери—вотъ что ему нужно, какъ младенцу грудь ея, и если послѣдняя еще иногда можетъ быть замѣнена, то первая едва ли.

— Я долженъ отыскать для нихъ мать, я долженъ найти такое существо, которое бы ихъ любило. Пусть

она не знаетъ по-французски, пусть даже будетъ и вовсе не образована, я самъ буду наставникомъ ея и ихъ, и этотъ недостатокъ во всякомъ случаѣ современемъ легко исправить; мнѣ нужна теперь для нихъ мать, въ томъ смыслѣ, какъ въ ней нуждается и щенокъ, и цыпленокъ.

Удачный выборъ Игриваго палъ при этомъ случаѣ на женщину, о которой мы должны сказать нѣсколько словъ.

Ко времени выпуска Любаши изъ образцоваго пансіона была приготовлена для нея, по общезаведенному у насъ порядку, горничная, молодая и довольно пригожая дѣвушка, взятая нарочно для этого покойницей Анной Алексѣевной во дворъ. Маша—такъ ее звали—была сирота; кроткая, добродушная и смышленая, она вскорѣ переняла все хорошее, что видѣла и слышала, и по врожденой склонности къ порядку и опрятности, даже и по наружности своей выгодно отличалась отъ прочей дворни. Маша сильно привязалась къ барышнѣ своей, которая также полюбила ее и отъ скуки занималась ею, какъ воспитанницею, припоминая пансіонскіе уроки. Любаша не скоро могла освоиться съ бытомъ деревенской барышни и не вдругъ оставила всѣ пансіонскіе обычаи, привычки и мечты; безъ учителя и учениць, ей какъ будто чего-то не доставало; и если она смотрѣла на всѣхъ старшихъ себя, заслужившихъ ея уваженіе, какъ на учителей и воспитателей своихъ, то младшіе и подчиненные, особенно дѣвушки, ей казались ученицами младшаго класса, о которыхъ она должна заботиться. Маша подросла, сложилась, похорошѣла, распѣвала на весь дворъ яснымъ голосомъ своимъ перенятые у барышни романсы, или бѣжала съ рукомойникомъ подъ гору, чтобъ принести своей повелительницѣ ключевой, холодной воды умыться, и громко читала наизусть

«Цыганъ», «Полтаву», или «Онѣгина», дѣлая, безъ всякаго дурного умысла, небольшія поправки, въ родѣ слѣдующей:

«Въ свою деревню въ ту же пору
Помѣщикъ новый прискакалъ,
По имени Владиміръ Ленской;
Съ душою прямо «гренадерскою»,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, и пр.»

Вдругъ Иванъ Павловичъ Гонобобель, приводя однажды хозяйственныя надворныя дѣла свои въ порядокъ, распорядился выдать Машу замужъ за молодого кучера. Возраженій на это не было... Женихъ съ невѣстой явились благодарить барина и поклонились ему въ ноги; Любаша снаряжала любимицу свою, готовила ей, сколько и изъ чего могла, приданое, была у нея на дѣвичникѣ и убирала ее подъ вѣнецъ. Разувая своего князя, Маша съ покорностью вынула изъ одного сапога два пятака, а изъ другого плетку и подала ее молодому, припавъ сама на колѣни и поникнувъ послушною головою, хотя и обычай этотъ былъ придуманъ, конечно, не для нея и ей подобныхъ, кроткихъ и безотвѣтныхъ невѣстъ. Сначала все шло хорошо; но, перешедъ, по смерти Гонобобеля, во владѣніе Шилохвостова, молодой кучеръ запилъ, потомъ пьяный нагрубилъ барину и прибилъ бѣдную Машу; потомъ разбилъ въ дребезги коляску и утопилъ лошадь, и Семенъ Терентьевичъ сдалъ его въ рекруты, получилъ квитанцію, которая, разумѣется, была продана, а деньги употреблены собственно на тотъ же предметъ, за который кучера отдали въ солдаты.

Какъ бы то ни было, но Маша не успѣла оглянуться и вышлакаться за послѣдніе побои безпутнаго

мужа своего, какъ осталась вдовой при живомъ мужѣ, съ первымъ грудным ребенкомъ. Она была не злопамятна и, позабывъ все, что переносила отъ мужа, помнила въ то время только одно, что онъ хоть лыками сшитъ, да ей мужъ; отчаянье ея, когда его повезли въ городъ, превосходило всякую мѣру, хотя оно, по тихому, кроткому нраву ея, и не обнаруживалось такими страстными порывами, какъ это большею частью случается въ простонародіи. Любаша плакала съ нею и за нее—но не могла пособить ей ничѣмъ. Лишь только Маша стала было нѣсколько приходить въ себя, покорившись неизбѣжности своей участи, какъ новый ударъ поразилъ ее, едва ли не съ большею жестокостью, чѣмъ первый. Оставшійся при ней младенецъ одинъ только и былъ утѣхой ея въ этомъ бѣдствіи, она не выпускала его изъ рукъ, и барыня ея, соболѣзнуя къ участи своей любимицы, не тревожила ея, не спрашивала съ нея работы и призывала только иногда, стараясь ее развеселить. Еслибъ этотъ младенецъ былъ просто похищенъ у Маши смертью, то, конечно, и этотъ ударъ, въ такое время, былъ бы жестокъ; но случилось еще гораздо хуже, судьба была къ этой сирой вдовицѣ еще немилосерднѣе. По обычаю, довольно общему у насъ въ народѣ, Маша укладывала ребенка спать вмѣстѣ съ собою, на свою постель; вся сила привязанности ея сосредоточивалась теперь на этомъ младенцѣ, котораго она любила черезъ мѣру и не могла выпустить изъ своихъ объятій. Съ того дня, какъ она лишилась мужа, ребенокъ спалъ всегда при ней. Въ одно раннее утро вся дворня была испугана внезапнымъ, дикимъ крикомъ несчастной матери; всѣ сбѣжались и съ ужасомъ увидѣли, что она держала на рукахъ своихъ мертваго младенца. Она, какъ говорится у насъ въ народѣ, «заспала» его.

Этому новому удару бѣдная Маша не могла уже противостоять. Ее обуяло какое-то дикое отчаяніе, чуждое кроткому ея нраву. Она посягнула было на самоубійство; потомъ состояніе это постепенно перешло въ тихую, нѣмую задумчивость, изъ которой по цѣлымъ днямъ нельзя было ее пробудить; одна только Любаша могла съ нею разговаривать, и бесѣда эта всегда оканчивалась обильнымъ и горькимъ плачемъ несчастной матери, что облегчало, повидимому, хотя временно, ея страданія. При видѣ какихъ-либо дѣтей, лицо ея какъ будто прояснилось: она подымала глаза, смотрѣла на нихъ робко, но спокойно, ласкала ихъ и даже иногда улыбалась. Мало-по-малу она по наружности нѣсколько возвратилась къ жизни, но всегда была грустна, почти не говорила, сидѣла задумавшись, прилежно работала, не пропуская ни одной службы въ церкви, гдѣ во все время стояла на колѣняхъ и клала земные поклоны. Такъ какъ церковь была въ Алексѣевкѣ, то Игривый встрѣчалъ ее тамъ нерѣдко, говорилъ съ нею, стараясь ее успокоить и вразумить и поселить въ ней вѣру и смиреніе, вмѣсто овладѣвшаго ею отчаянья; такимъ образомъ, по разспросамъ объ ней и по разговорамъ съ нею самой, узналъ онъ ее ближе и оцѣнилъ всѣ природныя достоинства этой женщины.

Когда Игривый сталъ мысленно пріискивать для пріемышей своихъ няньку, или, вѣрнѣе сказать, вторую мать, то остановился выборомъ своимъ на Машѣ. Ему казалось, что она во всѣхъ отношеніяхъ будетъ отвѣчать этому выбору.

Маша встала рано утромъ смутная — она все еще жила на господскомъ дворѣ, работая, что ее заставляли, и ее за это попрежнему милостиво кормили, когда было что ѣсть другимъ — Маша встала смутная, задумывалась при работѣ и вздыхала.

— О чемъ опять загрустила, Маша?—спросила другая молодая женщина: — полно! ужъ сколько тебѣ говорятъ, что полно!

— Нѣтъ, Анна,—отвѣчала та:—я такъ... я что-то...

— Да, ну, говори... кто тебя обидѣлъ, чѣмъ?

— Никто, Анна; кто жъ меня обидитъ... за что меня обижать?... нѣтъ... да я сонъ видѣла...

— А какой сонъ, Маша, разскажи; можетъ статься, къ чему-нибудь... можетъ и къ добру? Ну, разскажи!

— А видѣла я, ровно еще живу въ дѣвкахъ, и пошла по воду; тутъ гляжу — башмаки лежатъ подъ кустикомъ; я будто и взяла ихъ, да и обулась: башмаки господскіе, сафьяновые, рябенькіе, красные, а по нимъ зерна черненькія. Тутъ я будто стою по-надъ рѣкой, а на рукахъ у меня цыпленочекъ, да такой хорошенькій, съ хохолочкомъ... я его вотъ будто стала поглаживать рукой, да и обронила въ воду. Вотъ я такъ испугалась, такъ сердце и дрогнуло во мнѣ... кинулась я за нимъ, бродила по водѣ, всю рѣчку исходила, нѣтъ—такъ и пропалъ. Я вышла на берегъ вся мокрая, да сѣла, да и гляжу, а тутъ отколѣ ни возьмись два голубка бѣлыхъ, ровно снѣгъ, прилетѣли да и сѣли на меня—одинъ на одно плечо, другой на другое. А тутъ я ужъ будто въ барскихъ покояхъ сижу, и платье на мнѣ не то бѣлое, подвѣнечное, что ли — да все закапано чѣмъ-то, ровно чернилами, вотъ будто все мухи сидятъ; а голубочки все склевываютъ пятнышки, обираютъ ихъ съ меня; а тутъ ужъ и не знаю, ровно барышня меня позвала громко... проснулась, анъ только дѣдушка Макаръ на печи кашляетъ...

— Ну, Марьюшка,—сказала Анна:—вѣдь, это сонъ такой, что, вѣдь, не скоро увидишь его въ другой разъ, ей Богу; ну о чемъ же ты горюешь? Вѣдь это, стало быть, все къ хорошему, къ добру... это, стало быть, замужъ, что ли тебѣ приходится идти...

— Господь съ тобой, Анна, что ты говоришь это.

— Да вѣдь хорошее что-то, Маша; ну, ей Богу, воля твоя... Степановна! поди-ка сюда, пожалуйста, поди,—продолжала Анна, увидавъ старуху-коровницу, знаменитую снотолковательницу: — матушка, Степановна, послушай, вотъ Маша-то все горюетъ, а сонъ видѣла хорошій, ей Богу хорошій, только ужъ мудреный больно, что и не разберешь... вотъ послушай...

И Степановна, присѣвъ на заваленкѣ рядомъ съ двумя молодыми бабами, сложила руки, слушала придакивая и понукая по временамъ, а тамъ объявила, что этотъ сонъ къ добру и притомъ очень ясенъ, что понять его не мудрено. — Что жъ, — сказала она: — и вѣстимо, что сонъ хорошій. Вотъ видишь ли: башмачки—это прошлое, это выходило тебѣ замужъ идти, ну и вышла; красные башмаки — веселая свадьба, а чубаренькіе — горе; вотъ оно и выпало на твою долюшку; цыпленочекъ — сынокъ твой; ну и прижила его да и погубила — и обронила въ воду и не нашла. А въ водѣ ходить, мокрой быть—это все слезы; и не мало ихъ и было у тебя, Марьюшка—вотъ и рѣка. Ну, а вотъ дальше—такъ это видно еще будетъ—Богу одному вѣдомо, все это одному Богу извѣстно. Голубки-то вишь — кабы мужъ у тебя здѣсь былъ, такъ сказать бы, что дѣтки у тебя будутъ, да и чуть ли не двойни...

— Господь съ тобой!—перебила ее Маша, перекрестившись:—что ты это говоришь, Степановна! да этого и слушать нельзя...

— Такъ погоди жъ, моя красавица, дай срокъ, не перебивай; вѣдь, я тебя ничѣмъ не порочу: я говорю, кабы мужъ былъ—а какъ его нѣтъ, ну такъ ужъ и не знаю; къ другой ли что ли это радости, къ вѣстимъ ли какимъ—не знаю, ужъ это Богу извѣстно. А что обирали они съ тебя черныя тѣ крапины, ну такъ это

все къ добру: позабудешь старое горе по новымъ радостямъ, вотъ что. Грѣха-то, вѣдь, на тебѣ и нѣтъ, Марьюшка, а, вѣдь, все душенька твоя померкала, хоть и нечаянно сгубила младенца, а все душа его на тебѣ... ну, вотъ, и сымутъ съ тебя голубочки грѣхъ этотъ, и Господь тебя проститъ...

Маша горько заплакала, а подруга ея напустилась за это на старуху:

— Ужъ ты, Степановна, Господь съ тобой, право, Господь съ тобой,— говоришь Богъ вѣсть что, и еще стала попрекать Машу старымъ, не жалѣючи ея, да вотъ опять и разжалобила, когда она и безъ того изнываетъ! Иди, иди, добро, къ телятамъ да къ коровамъ своимъ, слышь, по тебѣ плачутъ...

А сама стала утѣшать Марьюшку, припоминая ей одну только хорошую сторону этого сна и словъ старухи, и вслѣдъ затѣмъ принялась клясться и божиться, что все это къ добру.

Въ этотъ же день послѣ обѣда нарочный отъ Павла Алексѣевича пріѣхалъ за Машей. Она тотчасъ же довольно беззаботно собралась и поѣхала, нисколько не обезпокоенная этимъ неожиданнымъ зовомъ, потому что Игривый былъ любимъ всѣми, и ни одинъ добрый человѣкъ не чуждался его.

— Зачѣмъ бы это,—думала она однакожъ, когда телѣга съ нею покатила со двора:—развѣ кружевница не нужна ли Павлу Алексѣевичу—да на что же ему? Онъ человѣкъ одинокій. Посмотримъ; вотъ близко—церковь видать изъ-за лѣсу!—и, перекрестясь, она спокойно стала выжидать конца.

— Маша,— сказалъ онъ, когда она вошла къ нему, молча поклонилась и подпершись локтемъ стала у дверей: — Маша, отгадай-ка, для чего я тебя позвалъ?

Маша вздохнула, потупила глаза и молвила:

— Стало быть, вы знаете, Павелъ Алексѣевичъ, когда позвали; а я слуга ваша.

— Ну, однакожъ, отгадай.

— За добрымъ дѣломъ, Павелъ Алексѣевичъ; за худымъ не позовете.

— Такъ, правда твоя, Маша, за добрымъ дѣломъ; я позвалъ тебя за богоугоднымъ, христолюбивымъ дѣломъ. Послушай, Маша: Господь взыскалъ тебя страданіями—что жъ? на это была воля Его святая; Онъ и самъ страдалъ больше нашего. Но я думаю, что теперь время твоего искуса миновалось — полно же плакать, Маша, полно; слушай меня хорошенько: я не къ слезамъ говорю съ тобою, а къ радости. Я думаю, что если только сама теперь не откажешься отъ своего счастья, то ты будешь весела и спокойна... Слушай, Маша: Богъ далъ тебѣ опять дѣтей—и не одного, а двухъ разомъ!

Маша вздохнула, отняла руки отъ лица—слезы текли по щёкамъ ея, и она, пораженная послѣдними словами Игриваго, смотрѣла на него въ какомъ-то недоумѣніи.

— Дѣти,— продолжалъ онъ, растворивъ дверь въ сосѣднюю комнату:—Ваня, Анюта, подите сюда!

Вошла женщина, которая держала на рукахъ Анюту и вела за руку Ваню.

— Вотъ это будутъ покуда дѣти твои, Маша, до возвращенія нашей доброй Любови Ивановны; а тамъ, коли ты материнскі призришь ихъ, чай, и она ихъ у тебя не отыметъ...

Теперь только Маша поняла, въ чемъ дѣло: она зарыдала и кинулась обнимать и цѣловать попеременно то Ваню, то Анюту, то самого Павла Алексѣевича, то даже наконецъ ту женщину, которая привела дѣтей, и которая была временно придана имъ, вмѣсто отпущенной старой няньки. Маша кинулась къ ней поспѣшно и отъ нея хотѣла опять броситься къ дѣтямъ; но та приня-

лась чинно цѣловаться съ нею, переваливая ее со щеки на щеку, и, похристосовавшись такимъ образомъ, съ нѣжностью ей поклонилась. Наконецъ Маша упала Павлу Алексѣевичу въ ноги. Онъ поднялъ ее и спросилъ.

— Хочешь ли заступить мать у этихъ полусиротъ?

Маша съ трудомъ промолвила: «Хочу, хочу...», опять бросилась обнимать дѣтей, взяла Анюту и въ этотъ вечеръ уже болѣе не спускала ея съ рукъ.

Памятливая, умная и послушная, она строго слѣдовала наставленіямъ Павла Алексѣевича, при воспитаніи довѣренныхъ ей дѣтокъ: она легко поняла и всегда помнила, что первымъ условіемъ при воспитаніи дѣтей есть: не лгать предъ ними, или при нихъ и не обманывать ихъ никакъ, ничѣмъ и никогда, ниже въ малѣйшей бездѣлицѣ. Черезъ этотъ камень преткновенія всѣхъ мамушекъ и нянюшекъ Маша легко перешагнула и, живучи отнынѣ съ ними и для нихъ, расцвѣла и сама опять для жизни и грѣшную молитву свою о томъ, чтобъ Богъ скорѣе ее прибралъ, замѣнила другою, болѣе христіанскою: о благоденствіи довѣренныхъ ей малютокъ. Заботливѣе Маши не могла быть для дѣтей и лучшая мать: а Игривый отнынѣ не только заступалъ у нихъ мѣсто родного отца, но сдѣлалъ гораздо болѣе: онъ спасъ всю ихъ будущность отъ гибельнаго вліянія этого человѣка. Онъ же, Игривый, былъ и первымъ наставникомъ и учителемъ ихъ, когда судьба впослѣдствіи возложила не него и эту обязанность.

Семенъ Терентьевичъ, который и самую женитьбу свою припоминалъ иногда потому только, что считалъ себя съ грѣхомъ пополамъ помѣщикомъ, какимъ сдѣлался посредствомъ женитьбы—Семенъ Терентьевичъ, возвратившись съ послѣдней поѣздки, и не замѣтилъ, въ первые дни отсутствія дѣтей своихъ; потомъ спросилъ, какъ-бы мимоходомъ:

— А что же, кажется, ребятишекъ не видать?

И узнавъ, что сосѣдъ увезъ ихъ съ собою, промычалъ что-то въ родѣ: «А!» или «Мм!» и пошелъ своимъ путемъ.

Когда все это устроилось, то и Павелъ Алексѣевичъ ожилъ нѣсколько. Его не тяготила болѣе день за день и съ часу на часъ участь Любаши: онъ зналъ, что она теперь весела и спокойна, что даже въ его волѣ было продлить это спокойствіе; дѣтки ея были пристроены; онъ также не ѣздилъ болѣе въ Подстойное, не видѣлъ безпрестанно передъ собою этого безчинства и теперь даже не хотѣлъ и слышать о томъ, что тамъ дѣлается. Онъ внезапно сталъ семьяниномъ, жилъ не только для себя, но и для другихъ, милыхъ ему существъ, и день казался ему вдвое короче и яснѣе прежняго.

Прошелъ уже слишкомъ годъ, какъ Любаша была за границей; она писала Игривому, скучала по немъ и по дѣтямъ, но сама сознавалась, что здоровье ея чрезвычайно поправилось. Игривый выслалъ ей еще денегъ, написавъ ей, что онѣ получены отъ мужа ея и брата, и просилъ остаться еще за границей. Онъ сдѣлалъ это, разсудивъ, что ей возвращаться на первый случай не за чѣмъ, и что три недѣли, проведенныя ею опять въ Подстойномъ, безъ сомнѣнія нанесли бы ей болѣе вреда, чѣмъ годъ, проведенный въ Теплицѣ, могъ принести пользы. Любаша писала ему на это:

«Не смѣю даже благодарить васъ — вотъ въ какое положеніе вы меня поставили! Итакъ, благодарите отъ меня мужа и брата... но что тогда, если благодарность эта, не смотря на слѣпое послушаніе мое вамъ, не дойдетъ до нихъ, а останется при томъ, кому она слѣдуетъ?.. Все равно; я вамъ уже столько обязана, что считаться съ вами не могу...»

Между тѣмъ на взбалмошнаго Шилохвостова вдругъ напала хандра: онъ сталъ скучать по женѣ и началъ ѣздить къ Игривому, чтобъ видѣть дѣтей. Нѣжность

эта шла къ нему, какъ къ коровѣ сѣдло—не менѣе того онъ былъ мужъ и отецъ, и никто не могъ ему запретить вздыхать и скучать по женѣ и ласкать дѣтей. Сколько ни морщился бѣдный Павелъ Алексѣевичъ, а долженъ былъ показывать видъ радушія при этихъ посѣщеніяхъ. Мало-по-малу Шилохвостовъ и самъ привыкъ къ этимъ поѣздкамъ въ Алексѣевку, гдѣ его кормили и даже нѣсколько поили, тогда какъ онъ дома нерѣдко сиживалъ, посвистывая, и думалъ: «Какъ бы теперь хорошо было съѣсть что-нибудь порядочное и запить, какъ слѣдуетъ и чѣмъ слѣдуетъ...» Онъ нашелъ, что въ Алексѣевкѣ гостить выгоднѣе, чѣмъ жить дома, и подъ предлогомъ, что скучаетъ одинъ, что не можетъ жить безъ жены и безъ дѣтей, которыя-де составляютъ единственное его утѣшеніе, проводилъ у сосѣда цѣлыя недѣли. Онъ вскорѣ тамъ до того обжился, что, повидимому, считалъ Алексѣевскую усадьбу настоящимъ мѣстомъ своего жительства. Этого мало: вообразивъ себя хозяиномъ Алексѣевки, Шилохвостовъ началъ и самъ хозяйничать тамъ—«Вина! водки! рому! закуски! горькаго!» эта команда раздавалась громогласно подъ скромною кровелькой Игриваго, гдѣ ни самъ хозяинъ, ни люди въ домѣ не привыкли къ жизни этого рода. Вскорѣ и Карпуша, встосковавшись по другѣ своемъ, сталъ его навѣщать; затѣмъ также нашелъ, что его никто домой не гонитъ и тамъ дѣти по немъ не плачутъ, что наконецъ и жить на чужой счетъ выгоднѣе и удобнѣе—а потому также поселился у сосѣда и поселилъ тутъ же слугу своего и кучера съ тройкой лошадей.

Истощивъ всѣ осторожные намеки, а съ тѣмъ вмѣстѣ и терпѣніе свое, Игривый наконецъ рѣшился, во что бы ни стало, очистить домъ свой отъ такого нашествія. Къ этому подалъ довольно приличный поводъ незначительный по себѣ случай. Шилохвостовъ съ Карпушей,

кромѣ разныхъ безчинствъ, вздумали для забавы напоить пушникомъ пятилѣтняго Ваню и прибить бѣдную Машу за то, что она вступилась и не хотѣла этого дозволить. Разобравъ и покончивъ дѣло это и давъ буянамъ проспаться, Игривый сказалъ безъ обиняковъ Шилохвостову:

— Послушай, однакожъ, любезный! ты, кажется, намѣренъ поселиться у меня совсѣмъ.

— А что? — спросилъ тотъ.

— Да такъ; я бы желалъ знать мысли или намѣренія твои по этому дѣлу.

— Ахъ, любезный Павелъ Алексѣевичъ! ты другъ и благодѣтель нашъ — я вѣдь не то, чтобъ... я такъ, погостить думалъ у дѣтей... Ну, куда же мнѣ дѣваться, ну, посуди самъ: дома одному тоска — мочи нѣтъ; ты знаешь, я люблю семейную жизнь, тихую, укромную... Ну, брани меня, я самъ знаю, каковъ я, знаю это лучше тебя... да вѣдь дома-то, братъ, скука, что съ души воротитъ... Безтолковый Карпуша этотъ — Карпуша да Карпуша — о, да и надоѣлъ же онъ мнѣ...

— А между тѣмъ, ты и сюда привелъ его хвостомъ за собой, и онъ также тутъ поселился...

— А чортъ ли его приводилъ! Да коли хочешь, такъ я, братъ, съ удовольствіемъ вытолкаю его отсюда въ шею.

— Нѣтъ, не трудись; этого я не хочу; но, признаться, хотѣлъ бы быть у себя въ домѣ самъ хозяиномъ и господиномъ. Посуди самъ, Семенъ Терентьичъ: мы съ тобой хоть и пріятели, но жить вмѣстѣ намъ не приходится. Пріѣзжай разъ въ недѣлю, хоть, пожалуй, на весь день, и я тебѣ буду радъ; повидаешься съ дѣтьми, побалагуришь, да и съ Богомъ домой. А Карпушу, сдѣлай милость, не вози ко мнѣ вовсе: онъ, чай, не соскучился ни по сестрѣ, ни по племянникамъ, ни по мнѣ — такъ ему здѣсь и дѣлать нечего.

— Такъ я дѣтей своихъ только разъ въ недѣлю и увижу?

— Это довольно, любезный; вспомни, ты покидалъ ихъ прежде и не на одну недѣлю: стало быть, тебѣ не идетъ теперь прикидываться такимъ нѣжнымъ отцомъ... Ты въ этотъ день, напримѣръ, въ воскресенье, пріѣдешь къ обѣднѣ, соберешься съ силами и останешься порядочнымъ человѣкомъ на весь день, не станешь кричать: «Водки—рому—горькаго!», не станешь браниться съ людьми моими ни за что, ни про что, оставишь въ покоѣ дѣвокъ—однимъ словомъ, покажешь отеческій примѣръ дѣтямъ, чтобъ имъ не стыдно было смотрѣть отцу въ глаза; а тамъ поѣзжай съ Богомъ и дѣлай дома, что хочешь.

— Богъ тебѣ судья, Павелъ! Да, вѣдь, добро наше теперь все почти у тебя въ рукахъ.

— Что же? развѣ я его взялъ у васъ наѣздомъ? Развѣ ты можешь попрекнуть меня, чтобъ я пріобрѣлъ его какими-нибудь непозволительными средствами?

— Нѣтъ, я этого не говорю; да вѣдь помнишь ли, не я ли спрашивалъ тебя тогда же, что кормить-де подъ старость насъ дураковъ станешь?

— А вспомни, не я ли тогда же отвѣчалъ, что накормилъ бы васъ путемъ съ молоду, а теперь лихъ поздно?

— Правда!—сказалъ тотъ со вздохомъ:—Ну, братъ, такъ прощай; да только скучно же мнѣ будетъ дома возиться съ мужиками, да съ дуракомъ Карпушей... Знаешь ли что? ужъ я давно объ этомъ подумывалъ; вѣдь, пора бы женѣ моей воротиться: надо же и честь знать; вотъ бы мы и зажили!

Съ этого времени, несчастная мысль о возвращеніи Любаши не оставляла Шилохвостова, несмотря ни на какія убѣжденія Игриваго. Соглашаясь, что онъ подлецъ и негодяй, что ему опять скоро прискучитъ

жить съ женою, Шилохвостовъ, однакожъ, козырялъ правомъ своимъ и, какъ супругъ, требовалъ жену свою на лицо. Онъ до того увлекся этою несчастною мыслью, что не шутя сталъ собираться самъ за женою, если она не послушается зова его и не пріѣдетъ.

Что тутъ было дѣлать! Обдумавъ все, Игривый уже рѣшился было для спасенія бѣдной Любаши, принять къ себѣ въ домъ Шилохвостова, надѣясь отвлечь его этимъ отъ исполненія угрозы, но колебался, предвидя нескончаемую для себя муку отъ этого сожительства и, сверхъ того, еще будучи увѣренъ, что Шилохвостовъ не въ состояніи долго жить спокойно, а, кромѣ всѣхъ проказъ своихъ, непремѣнно опять вскорѣ примется за старое и будетъ настаивать, чтобъ Любаша возвратилась. Въ этихъ заботахъ Игривый провелъ нѣсколько безпокойныхъ дней, а можетъ быть и недѣль, какъ Шилохвостовъ, не шутя готовившійся уже въ путь, прискакалъ къ нему, сломя голову, кинулся на него, какъ сумасшедшій и съ крикомъ: «Дѣтки мои, сиротки мои... Павлуша мой... Боже мой...» бросился ему на шею. Онъ неистово ревѣлъ и завывалъ, такъ что Игривый съ трудомъ только отвелъ его въ свою комнату и заперъ двери, желая устранить позорное зрѣлище это отъ прислуги. Съ отчаяннымъ движеніемъ Шилохвостовъ выдернулъ изъ кармана письмо, подалъ его Павлушѣ, а самъ упалъ въ кресло и закрылъ лицо руками. Игривый прочиталъ увѣдомленіе отъ неизвѣстнаго человѣка, какого-то нѣмецкаго доктора, что Любаши уже нѣтъ на свѣтѣ. Она скончалась довольно внезапно и похоронена въ Теплицѣ, успѣвъ однакожъ написать еще приложенное завѣщаніе, которымъ передаетъ все имѣніе свое мужу и умоляетъ его быть отцомъ своихъ дѣтей, но предоставить воспитаніе ихъ Игривому, если только Павелъ Алексѣевичъ просьбы ея не отринетъ.

людей, чтобъ некѣмъ было замѣстить нисшихъ должностей—люди есть, но, конечно, все равно, что ихъ нѣтъ: они не годятся никуда; это тѣ самые люди, изъ которыхъ каждый порознь называется *безпокойнымъ человькомъ*; имъ остается одно только утѣшеніе — *сойти съ ума*. Они переводятся и уничтожаются сами собой, переѣдая, если не другъ друга, то, по крайней мѣрѣ, каждый самъ себя. Они бѣснуются временно, а тамъ сходятъ съ ума вовсе, или умираютъ въ богадѣльняхъ. Они остаются въ своемъ разумѣ и добромъ здравіи развѣ тогда только, когда опытная премудрость житейская переломитъ и переверстаетъ ихъ на свой ладъ, увлечетъ въ общемъ потокѣ своемъ и даже одаритъ благопріобрѣтеннымъ имуществомъ. Если же этого не случится, то люди эти неминуемо умственно надрываются, начинаютъ путаться въ своихъ понятіяхъ, бродятъ по цѣлому свѣту какими-то мнимогрозными приставами Провидѣнія и бываютъ то смѣшны и жалки, то невыносимо тягостны и повсюду излишни, точно какъ бы они родились на свѣтъ по недогляду, и имъ тутъ не было ни мѣста, ни пристанища. Они жалки, какъ виновные или невинные страдальцы и жертвы, и, сверхъ того, заставятъ всякаго призадуматься надъ этимъ ужасающимъ примѣромъ нашей житейской превратности.

И вы, читатель мой, знавали такого человѣка: вы сперва тѣшились имъ, потомъ бѣгали отъ его докучливости, затѣмъ говорили: «Воля ваша, а у этого человѣка на вышкѣ обстоитъ неблагополучно; я не знаю, какъ отъ этого человѣка отвязаться!..» И онъ развязалъ васъ—изнемогши подъ бременемъ непосильнымъ; либо, продолжая въ неистовомъ, горячечномъ бреду заклинанія свои, онъ созрѣлъ для дома умалишенныхъ, либо схватился за ножъ убійцы или самоубійцы, либо, наконецъ, пропалъ безъ вѣсти, такъ что объ немъ

нѣтъ ни слуху, ни духу... Онъ просился въ дворники, но его, разумѣется, не приняли; куда онъ затѣмъ дѣвался—не знаю.

Сулейкинъ стоялъ на раздорожицѣ между этою тройною судьбою, и неизвѣстно еще, по какому пути судьба потянетъ его за вихоръ. Горе, съ которымъ онъ вѣкъ свой проняньчился, и строптивость, съ которою старался побороть всякую сопротивную встрѣчу, хотя и не сломили его еще вовсе, но крѣпко уходили и подшибли ему лѣтки. Нищета и голодъ были ему свои; умишко его держался кой-какъ въ мозгу, но Филиппъ Егоровичъ, человѣкъ вовсе непьющій, раза два на вѣку своемъ бывалъ въ бѣлой горячкѣ. Онъ уже извѣдалъ порывы отчаянія и самаго жестокаго изступленія, и въ эти минуты ножъ и огонь бывали любимыми его игрушками.

Удалившись окончательно — или удаленъ будучи — съ лѣстницы гражданскаго чиноначалія, Сулейкинъ выдержалъ одинъ изъ этихъ порывовъ, а затѣмъ притихъ немного, не знаю на долго ли, будто выбившись изъ силъ на неравномъ единоборствѣ, потому что онъ ходилъ одинъ на стѣну, по выраженію кулачныхъ бойцовъ, а это никому не подъ силу. Онъ сталъ промышлять хожденіемъ по дѣламъ и приложеніемъ руки своей, въ качествѣ свидѣтеля, на совершаемыхъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ актахъ, при частныхъ сдѣлкахъ. Для этого онъ въ извѣстные часы являлся ежедневно въ этихъ мѣстахъ, и если тутъ были сдѣлки, то его приглашали къ заручной. Но рыцарь нашъ и тутъ не могъ обойтись безъ чудачества: цѣлковый или полтора — это была извѣстная плата за засвидѣтельствованіе подписи, и просители, не приведшіе съ собою кого-нибудь изъ знакомыхъ, всегда клали сумму эту на бумагу, когда просили посторонняхъ людей о такой услугѣ; Сулейкинъ расписывался

принималъ цѣлковый и поспѣшно представлялъ просителю четвертакъ сдачи: Филиппъ Егоровичъ считалъ дѣломъ совѣсти никогда за ничтожную услугу свою болѣе трехрублеваго не брать.

Итакъ, Сулейкинъ былъ *ходокъ* и проводилъ свободное время у немногихъ старыхъ пріятелей и покровителей своихъ, которые при всемъ юродствѣ его не могли отказать ему въ какомъ-то уваженіи или состраданіи и въ хлѣбосольномъ пріемѣ. Между этими покровителями Гребневъ стоялъ въ головѣ. Зато Сулейкинъ, пролазивъ все утро по крыльцамъ, лѣсенкамъ и задворьямъ, являлся всегда къ нему къ первому съ вѣстями и новостями, которыя на него, Сулейкина, по замѣчанію Гребнева, наносило вѣтромъ. Эта непостижимая для нашего брата способность знать и видѣть какимъ-то чутьемъ всю подноготную по всѣмъ воровскимъ, мошенническимъ, сыскнымъ, продажнымъ и плутовскимъ дѣламъ была врождена Сулейкину, какъ потребность насущной нищи. Если бы мы не знали всей жизни и быта этого страннаго человѣка, котораго Гребневъ хотѣлъ поставить сторожемъ у открытаго сундука, когда бы вздумалъ размѣнять свои семь милліоновъ на лобанчики и ссыпать ихъ въ одну груду,—еслибъ не знать этого юродиваго, какъ себя, то должно бы полагать, что онъ самъ главный атаманъ всѣхъ шаекъ или, по крайней мѣрѣ, въ половинѣ со всѣми присосками разбойнаго, сыскного и продажнаго приказовъ. Но онъ былъ чистъ, какъ младенецъ. Онъ былъ жертвой обстоятельствъ, и спасительнымъ пристанищемъ его, вѣроятно, будетъ современемъ мѣстечко въ домѣ умалишенныхъ.

О, нехорошо тамъ, гдѣ бродятъ юродивые этого разбора, гдѣ осторожные обходятъ *безпокойнаго*, помѣшаннаго на чести, безкорыстіи, долгѣ и обязанности!... Несчастные межеумки, гонимые судьбой и людьми,

нетерпимые въ обществѣ, невыносимые для начальниковъ и подчиненныхъ, скажите, гдѣ ваше мѣсто въ мірѣ? Гдѣ кругъ вашего дѣйствія зачарованный, пропавшій и скрывшійся, какъ подъ шапкой-невидимой? Или въ самомъ дѣлѣ, народились вы безъ мѣста и безъ судьбы, безъ союзнаго звена, которое бы васъ связало съ необозримою цѣпью прочихъ созданій? Откуда же берется неумолчный потокъ вашихъ бичующихъ рѣчей? зачѣмъ глаза ваши блещутъ такимъ огнемъ, и губы дрожатъ? Больной ли мозгъ и нервы ихъ перекосили, или они хотѣли бы высказать намъ великую правду? Откуда берутся, наконецъ, эти незваные поборники правды, эти продавцы и выдавцы изнанки, эти мученики чести? Зачѣмъ они всегда выходятъ изъ среднихъ, или даже нисшихъ слоевъ общества и—и куда прикажите съ ними дѣваться?...

III.

РАЗСТРОЙСТВО

Гребневъ-сынъ, жившій въ пристройкѣ отцовскаго дома, полуодѣтый ходилъ съ безпокойствомъ по комнатѣ, нерѣшительно брался за платье и опять покидалъ его, будто говоря самъ себѣ въ отчаяніи: «Къ чему все это? все вздоръ, все напрасно! Удавиться, или бѣжать съ отцовскаго двора на вольный свѣтъ—вотъ что мнѣ осталось, болѣе ничего! И за что, Боже мой, за что? чѣмъ я это заслужилъ?»—и закрылъ лицо обѣими руками.

Дверь тихо отворилась, и вошла женщина въ простомъ платьѣ и большомъ, измаранномъ бумажномъ платкѣ.

— А! Афимья, — сказалъ Михайла, ободрившись нѣсколько:—что скажешь?

— Да что спросите, батюшка,—отвѣчала она скороговоркой:—пришла я не по щучьему велѣнью, сама такъ пришла; на рынокъ, признаться, иду, для кухни господской кой-что искупить, такъ я зашла поблагодарить васъ.

— Господь съ тобою моя милая,—перебилъ ее Михайло:—не въ чемъ тебѣ благодарить, а мнѣ не приходится этого слушать.

— Нѣтъ, батюшка, какъ же! ужъ воля ваша, позвольте: вѣдь вотъ, посмотрѣли бъ вы, какъ господа-те за васъ Богу молятъ; ужъ признаться, что я и на радостяхъ не утерпѣла, сдѣлала вчера ангелу своему супризъ, лампадку купила, а ужъ барышня-то, красная—извѣстно, дѣвичье дѣло, не то, чтобы она, то есть—ну, а ужъ васъ Господь надоумилъ, такъ что за вами, какъ за Богомъ спимъ, словно таки вотъ въ красные дни при покойномъ баринѣ... Вчера, батюшка, откупились вашею милостью и отъ этого, прости Господи, что все кричалъ: «кормовыя деньги внесу, а посажу»—и онъ подался теперь, смирно все слушалъ, денежки взялъ, хоть и не такъ велики, да обѣщалъ сождать... Анна Ивановна такъ вотъ свѣтъ увидѣла: Алена Юрьевна, барышня, все, вишь, вами величалась, да сперва разжалобила, а тамъ инно размѣшила барыню—такъ вотъ, ей Богу, сквозь слезы смѣялась сердечная.

Михайло надѣлъ между тѣмъ молча сюртукъ свой, взялъ шляпу, трость и только, когда онъ подошелъ къ дверямъ, которыя загородила собою Афимья, эта опомнилась, стала прощаться и спрашивать, не зайдетъ ли сегодня Михайло Гавриловичъ къ Голомянниновымъ?

— Не знаю,—отвѣчалъ тотъ разсѣянно:—кланяйся, увидимъ...

Онъ вышелъ, надѣвъ шляпу, и пошелъ прямо на Прѣсню.

Тамъ дядю встрѣтили дѣти и отвели къ своей матери, а его сестрѣ, сидѣвшей съ двумя штопальщицами за нѣсколькими половинками тонкаго сука. Изъ валяльни сукно всегда переходило въ ея руки. Поздоровавшись весело съ братомъ, она стала было продолжать работу свою, но, замѣтивъ по односложнымъ отвѣтамъ тревожное его состояніе, оставила все и вышла съ нимъ въ садъ.

— Что ты у меня опять хандришь?—сказала она, разглаживая у него волосы на лбу.

— Нѣтъ мочи, сестра; воля твоя. Это не житье, а каторга. Я все брошу и уйду, куда глаза глядятъ, будь Божья воля!

Маша испугалась нѣсколько, но старалась скрыть это и, лаская брата, просила его объясниться.

— Не дивно ли это,—сказалъ онъ:—отецъ нашъ одинъ изъ умнѣйшихъ, добрѣйшихъ и правдивѣйшихъ людей на Москвѣ, а между тѣмъ онъ меня гонитъ со свѣту, и мнѣ нѣтъ отъ него житья! У меня языкъ не поворачивается, сестра, не доставало доселѣ духу вымолвить это слово; но терпѣнье мое лопнуло, а сказанное слово не воробей—какъ отецъ говоритъ—выпустишь, такъ не поймаешь...

— Но, ради Бога, говори, что жъ случилось?

— Ничего, коли хочешь; все то же каждый Божій день—но капля камень долбитъ, и камень же отъ жара трескается. Ничего не случилось—все идетъ постарому, попрежнему; но старое это истязало меня до того, что и я, какъ камень, готовъ лопнуть. Какое мое житье? для чего, кому въ угоду, или на пользу живу я здѣсь? Я ли не признаю достоинствъ и благости моего отца? Но чѣмъ и какъ я ему это покажу? Сказать—онъ не повѣритъ, однимъ словомъ своимъ

засунетъ такую занозу, что она въ вѣкъ не выболитъ; я записанъ у него на черной доскѣ и—ты знаешь нравъ его—я уже теперь ничѣмъ не могу выслужиться. Молчать—я молчу; но кому же отъ этого легче? Желчь горькнетъ все болѣе у него и у меня, и дѣло чѣмъ-нибудь должно порѣшиться. Войду я въ контору—я иду туда со страхомъ и трепетомъ—и острое, ѣдкое словцо, вполголоса брошенное при служителяхъ нашихъ, возмутитъ мнѣ всю душу, и я спѣшу на просторъ. Тогда я ужъ кругомъ виноватъ—шатаюсь, вмѣсто того, чтобъ заниматься дѣломъ. Приду къ обѣду, къ чаю, иду, собравшись съ духомъ, спокойно и весело ему навстрѣчу — онъ встрѣчаетъ меня съ этою извинительною сухостью, или, какъ вчера, вопросомъ: «Тебя какими судьбами сюда занесло?» Что на это отвѣчать? какъ жить съ такимъ отцомъ въ одномъ домѣ, сидѣть день за день за однимъ съ нимъ столомъ? Отчего же онъ милостивъ, не только справедливъ, ко всѣмъ, къ домочадцамъ, къ сосѣдямъ и пріятелямъ, даже къ чужимъ? Отчего и за что я одинъ у него отверженъ и въ загонѣ?

Маша молчала и, глядя передъ себя, съ трудомъ удерживалась отъ слезъ.

— Послушай,—сказала она, рѣшивъ всѣ сомнѣнія свои съ обычною ей живостью:—послушай, Миша, ты меня любишь. Выслушай же меня. Отецъ нашъ добръ, при всей строгости своей, и справедливъ; недоразумѣніе между вами можно устранить: стоитъ только показать ему, что ты покорный сынъ, готовый во всемъ исполнить его волю, и что незаслуженный гнѣвъ его тебя убиваетъ. Поди къ нему, глазъ на глазъ скажи ему это, проси...

— Чего же я буду просить?—сказалъ Михайло въ сильномъ волненіи:—прощенія? въ чемъ? Если отецъ, со своимъ яснымъ, спокойнымъ и пронзительнымъ

взглядомъ спроситъ меня: въ чемъ же ты просишь у меня прощенія—что я буду отвѣчать? Но онъ даже и этого не сдѣлаетъ, онъ—сказать ли тебѣ, сестра, чѣмъ онъ меня встрѣтитъ... и тогда, тогда я не знаю, что надъ собою сдѣлаю... онъ спроситъ меня: «А кто это выдумалъ, сестра твоя, или мать?» Видишь ли, на какую встрѣчу ты меня посылаешь!...

— О нѣтъ, нѣтъ,—перебила его быстро сестра и кинулась ему на шею:—нѣтъ, ты огорченъ, а потому несправедливъ... я вижу, я понимаю горе твое; но успокойся, ради Бога, мы подумаемъ, посовѣтуемся—все перемелется, мука будетъ!

— Тлѣнъ будетъ, прахъ будетъ—а не мука; но долго и невыносимо тяжело этого ждать... власть Господня; я усталъ.

Иванъ Андреевичъ Шрейеръ, мужъ Маши, возвратившись съ фабрики своей, шелъ по длинной просади бесѣдующимъ навстрѣчу.

— Вотъ,—сказала Маша:—вотъ и онъ, онъ также пособитъ намъ обдумать и исправить это дѣло. Пойдемъ.

Она пересказала въ короткихъ словахъ мужу, что тутъ безъ него происходило. Иванъ Андреевичъ почмокалъ, покачалъ головой, опять почмокалъ и замѣтилъ наконецъ, что это не хорошо.

— Да это мы и безъ тебя знали,—сказала быстро Маша:—ты посовѣтуй намъ, что дѣлать, какъ поправить дѣло!

— Время и терпѣніе! — сказалъ, подумавъ, Иванъ Андреевичъ.

— И то, и другое было,—перебилъ Михайло: — да сплыло; его нѣтъ.

Иванъ Андреевичъ промычалъ, почмокалъ, покачалъ головой, опять замѣтилъ, что это не хорошо и, наконецъ, посовѣтовалъ почти то же, что Маша: объясниться съ отцомъ.

— И я то же говорю!—быстро подхватила Маша.

— Послушай, любезный другъ,—сказалъ Михайло, не желая въ нетерпѣніи и досадѣ повторять всего того, что онъ говорилъ сестрѣ: — мнѣ теперь, право, не до комедіи, но я въ такомъ безпомощномъ, отчаянномъ положеніи, что готовъ на все, лишь бы вы меня научили тому, чего я не понимаю, что я считаю невозможнымъ: склонить отца видѣть во мнѣ сына, а не врага. Извольте, я попираю всякое самолюбіе, всякое чувство собственнаго достойнства—я почти готовъ сказать: чувство чести—быть такъ; онъ во мнѣ поселилъ это чувство, я могу жертвовать имъ для него. Но коли вы взялись учить, такъ учите до конца: будь ты, Иванъ Андреевичъ, отверженецъ Миша, а я буду отецъ твой; помни, ты стоишь передъ Гавриломъ Степанычемъ Гребневымъ: говори! — и Миша отступилъ отъ него на два шага.

— Ты, въ самомъ дѣлѣ, хочешь разыграть комедію! — сказалъ Шрейеръ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ съ жаромъ Михайло:—видитъ Богъ, мнѣ не до того—никакой комедіи не хочу разыгрывать, хочу отнынѣ дѣйствовать прямо, чисто, честно; но требую, чтобъ вы совѣты свои подтвердили дѣломъ: говори; если ты сладишь съ отцомъ — то я приму совѣтъ вашъ. Говори, я готовъ: я желаю слушать, что ты будешь говорить. Ну!

Иванъ Андреевичъ взглянулъ на шурина и невольно сталъ одергиваться и оправляться.—Ну же!—сказала въ нетерпѣніи Маша, которой этотъ оборотъ бесѣды нравился, и толкнула мужа слегка двумя пальцами. Онъ откряхнулся, завертѣлъ немного головой, сложилъ передъ собой ладони накрестъ и началъ:—Ну, что жъ, я бы, напримѣръ, сказалъ такъ:

— Батюшка! съ нѣкотораго времени между нами сталось что-то недоброе—и видитъ Богъ, у меня нѣтъ

покой отъ этого ни днемъ, ни ночью... Вы такъ добры, такъ добры ко всѣмъ, къ своимъ и чужимъ—ради Бога, не отвергните же сыновней мольбы... простите меня, если я сталъ передъ вами виноватъ...

— Ну, что жъ ты молчишь?—сказала въ нетерпѣніи своемъ Маша, тронутая до слезъ, и положила съ умоляющимъ взглядомъ обѣ руки свои на локоть брата.

— Оставь,—сказалъ онъ:—я дѣлаю свое, а вы свое. Продолжайте.

— Батюшка, простите меня, если я передъ вами виноватъ, и примите меня въ ваши отеческія объятія...

— Ну!—послышалось едва внятно со стороны Маши.

Михайло, уставивъ глаза на шурина, медленно проговорилъ:

— Кабы я вѣдалъ, гдѣ ты нынѣ обѣдалъ, зналъ бы я, чью ты пѣсню поешь.

— Нѣтъ,—перебила его Маша съ горячностью:—нѣтъ, это не то: вотъ отвѣтъ отцовскій, продолжала она, и кинулась, какъ съ дуба свалившись, мужу на шею и зарыдала.

Михайло отвернулся быстро, положилъ руки въ карманъ и пошелъ внизъ по просади. Обошедъ кругомъ, онъ скрылся, и Маша съ мужемъ не видали его болѣе. Въ безпокойствѣ прошелъ этотъ день. Маша сначала настоятельно требовала совѣта отъ мужа, а когда онъ промямкалъ что-то и сталъ отмалчиваться, то она сама, быстро сообразивъ все, рѣшилась дѣйствовать; а именно: собрать наскоро семейный совѣтъ, пригласить къ нему также мать и потомъ двинуться общими силами на отца, не давъ ему замѣтить, что это было условлено, и подвести дѣло такъ, чтобъ отпировать мировую. Маша была увѣрена, что этотъ Судейкинъ, котораго она ненавидѣла и звала пожарной трещеткой, былъ всему злу причиной; но она до времени не могла придумать,

какъ его удалить отъ отца. Посмотримъ, подумала она, какъ лягутъ кости. Она также догадывалась, что въ этомъ дѣлѣ непремѣнно замѣшалось еще что-нибудь, о чемъ братъ ея не упомянулъ ни словомъ, и въ этомъ отношеніи она подозрѣвала привязанность его къ Голомянниновымъ. Объ этомъ она также положила разузнать непремѣнно. Она написала тотчасъ же брату записку, заклиная его собраться съ послѣдними силами, потерпѣть только еще день, другой и ни въ какомъ случаѣ не рѣшаться на что-либо, не переговоривъ сперва еще разъ съ сестрой.

На другой день, подъ вечеръ Маша влетѣла веселенькая, какъ пташка, къ отцу и привезла съ собой про запасъ одного внучка. Она знала, что это въ подобныхъ случаяхъ можетъ быть полезно. Хотя и случалось иногда, что Маша заѣзжала къ отцу такимъ образомъ, но двухдневное отсутствіе сына изъ конторы и прибытіе съ Машей внучка какъ будто заставили его темно догадываться, о чемъ пойдетъ рѣчь: онъ былъ уже на сторожѣ. А когда черезъ четверть часа вошелъ Шрейеръ, который ѣздилъ куда-то по близости за дѣломъ и также заѣхалъ провѣдать тестя, то старикъ подумалъ: жена мужа не бьетъ, а подъ свой норовъ ведетъ. Продолжая весело бесѣдовать съ дѣтьми и взявъ внучка на колѣни, онъ безпрестанно оглядывался на дверь, будто еще кого-то ожидая; и какъ затѣмъ, дѣйствительно, дверь разтворилась, и Авдотья Ивановна вошла ровнымъ шагомъ и съ беззаботнымъ лицомъ, то Гаврило Степановичъ, въ знакъ исполненія ожиданій своихъ, кивнулъ ей привѣтливо головою. Никто, кромѣ Маши, не замѣтилъ этого движенія; но она почти поняла его и потому нѣсколько смутилась. Надобно кончить, подумала она, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; Иванъ Андреевичъ и безъ того сидитъ какъ-то самъ не свой, а маменька съ меня уже глазъ не сводитъ.

— Гдѣ же братъ?—сказала она:—мы всѣ нечаянно сошлись вмѣстѣ, сидимъ, какъ добрые семьяне у добраго дѣдушки—а брату бы и не продаваться съ нами?

— Коли вы съ нимъ не условились, — сказалъ Гаврило Степановичъ: — такъ, чай, не найдете его. У него свои радости. Иванъ Андреевичъ крякнулъ и тряхнулъ головой; Авдотья Ивановна вздохнула, сложила руки и опять взглянула на Машу, которая одна только за всѣхъ держалась хорошо и не смущалась.

— Отчего же такъ, батюшка?—сказала она:—о, вы не знаете, какъ онъ васъ любитъ, какъ бы онъ хотѣлъ заслужить вашу любовь и милость, еслибъ вы только...— и она приподняла своего малютку, поцѣловала его и поставила на дѣдушкины колѣни, повертывая ребенка въ бокъ и въ другой:—еслибъ вы только...

— Что?—спросилъ Гаврило Степановичъ:—покачать его, небось, на колѣняхъ, какъ вотъ этого хвата, какъ вотъ этого купчину— и захохоталъ, посадивъ ребенка верхомъ на одно колѣно, потомъ сталъ его быстро качать, приговаривая въ мѣру:—Замѣшался нашъ Михайло, что пестъ въ ложкахъ. Ни то, ни сё кипѣло, да и то, вишь, пригорѣло... на посулѣ, что на стулѣ, посидишь, да и встанешь... утки въ дудки, тараканы въ барабаны... умъ хорошъ, два лучше, а три хуже... быть было ненастье, да дождь помѣшалъ! Вотъ тебѣ и конецъ; сказалъ онъ, поцѣловавъ внучка, спустивъ его на полъ и вставъ со стула:—ты, Авдотья Ивановна,— продолжалъ онъ, замѣтивъ, что она хотѣла что-то сказать:—коли, можетъ статься, и твердо рѣчь свою противдила,—чайку бы намъ дала, душепарочку, такъ бы и Иванъ Андреевичъ открякнулся, а, вѣдь, онъ у насъ гость рѣдкій и дорогой. Ну, Маша, а что твои—какъ бишь ихъ... камелы, камела?

— Камеліи? О, принялись всѣ!— отвѣчала Маша, съ невозмущаемымъ спокойствіемъ, и былъ весь вечеръ

мила и весела, такъ что даже Иванъ Андреевичъ любовался женой; но она уже и не заикнулась болѣе о братѣ, несмотря ни на какіе подмиги матери, понявъ, что это надо оставить до другого случая.

Бѣдный Михайло былъ дома въ это время, какъ Маша очень хорошо знала; иначе, она, конечно, бы и не предлагала позвать его—но и онъ положилъ безъ зову не ходить и потому просидѣлъ въ покояхъ своихъ одинъ, все время пока сестра съ зятемъ были у отца. Тоска и нетерпѣніе его достигли высшей степени. Послѣ безсонной, мучительной ночи онъ съ утра сталъ готовиться въ путь, надѣясь черезъ два, три дня выѣхать. Куда—это было ему все равно, на просторъ; Москва ему была тѣсна; она, вопреки пословицѣ, передъ нимъ клиномъ сошлась.

На Прѣснѣ день этотъ также, повидимому, сулилъ мало добраго. Маша, озабоченная неудачею попытки своей и участью брата, проговорила объ этомъ съ мужемъ своимъ до поздней ночи и проснулась съ тяжелой головой. Шрейеръ, отъ котораго она требовала совѣта, оставался при основательномъ мнѣніи своемъ, что тутъ со стороны пособить очень трудно. Надѣясь вечеромъ увидаться съ братомъ, Маша считала въ нетерпѣніи часы и была въ большомъ по немъ безпокойствѣ. Около обѣда неожиданно вошелъ старый слуга Гребневыхъ; она бросилась ему навстрѣчу, полагая получить отъ брата записку, но озабоченное лицо старика заставило ее остановиться, а вѣсти его были неутѣшительны: видя, что между молодымъ и старымъ бариномъ дѣлается что-то недоброе, старикъ пришелъ облегчить свою грусть и разсказать, между прочимъ, Марьѣ Гавриловнѣ, что Михайло Гавриловичъ не спалъ ночь, а съ утра сталъ укладываться куда-то въ дорогу. Увидѣвъ, что братъ не шутитъ, Маша рѣшилась немедленно открыть все отцу,

надѣясь его этимъ тронуть и образумить. Поговоривъ съ мужемъ, который не зналъ, совѣтовать ли ей что, или отсовѣтовать, она тотчасъ же отправилась къ отцу. На этотъ разъ, она все взяла на себя.

Вошедши напередъ къ матери, она застала ее въ слезахъ и съ большимъ вниманіемъ выслушала подробный разсказъ ея о томъ, что и какъ случилось; но чтобъ не наскучить читателю жалобами и повтореніями старухи, мы разскажемъ все это по своему. Узнавъ черезъ людей о сборахъ сына, Авдотья Ивановна испугалась этого такъ, что позабыла всѣ свои обычныя предосторожности, а пошла напрямикъ къ Гаврилѣ Степановичу и разсказала со вздохами и плачемъ, что у нихъ въ домѣ дѣлается, умоляя его сжалиться и смиловаться надъ единороднымъ и единоутробнымъ ихъ дѣтищемъ. Она полагала озадачить старика неожиданною и ужасною въ глазахъ ея вѣстью, что-де сынъ вынужденъ бѣжать отъ отца, но вышло совсѣмъ иначе. Гаврило Степановичъ сказалъ только: «А что жъ, Авдотья Ивановна: вѣдь, онъ у насъ уже не отрокъ; съ Богомъ, какъ самъ знаетъ». У Авдотьи Ивановны опустились руки, и она чуть не обомлѣла. «Матушка», продолжалъ Гаврило Степановичъ: «успокойся; сынъ твой, признаюсь тебѣ по правдѣ, совсѣмъ не глупо это придумалъ; отчего же ему не проѣздиться? Съ Богомъ, и мое ему благословеніе на путь-дорожку. Рыба ищетъ гдѣ глубже, человѣкъ — гдѣ лучше; пусть поглядитъ на свѣтъ и себя покажетъ».

Часъ спустя, Гаврило Степановичъ — небывалая вещь—вдругъ самъ отправился къ сыну, который укладывался, еще и самъ не зная, какъ, куда и когда онъ уѣдетъ, и потому былъ до крайности пораженъ явленіемъ отца.

— Здравствуй, Миша!—сказалъ старикъ, и сѣлъ

на диванъ, между раскиданными вещами, бумагами и чемоданами: — Я слышу, ты хочешь проѣхаться: знаешь ли? это ты вздумалъ не безпутное. Я, признаться, давно уже хотѣлъ было спросить тебя, что-де, не съѣздить ли тебѣ туда-сюда? это дѣло доброе, нашему брату полезное. Что это у тебя, вонъ на окнѣ, какая штука?

— Это дорожная баклажка!—сказалъ растерявшійся Михайло.

— А мнѣ покажись отсюда пузырь какой-то! — продолжалъ спокойно Гребневъ:—Ну, куда же ты думаешь ѣхать?

Михайло позамялся; его положеніе было очень странно и неловко.

— Я думалъ,—сказалъ онъ:—если вы меня отпустите, съѣздить къ дядѣ.

— Чего къ дядѣ, два девяносто верстъ ни сборокъ, ни подъему не стоятъ! Дядя дядей; хочешь, такъ провѣдай его, это твоя воля; а коли хочешь меня, старика, послушать, такъ вотъ тебѣ трактъ: въ Питеръ ступай, оттуда на Рыбинскъ и Ярославль, въ Нижній, какъ разъ поспѣешь къ ярмаркѣ: затруднять тебя тамъ не стану я, дѣла не навалю, а немножко оглянешься таки; я думаю, хоть присмотришь, какъ что идетъ, мѣшай дѣло съ бездѣльемъ, съ ума не сойдешь, объ этомъ еще переговоримъ; а вотъ какъ у насъ съ тобой что есть, то вмѣстѣ, а чего нѣтъ пополамъ, то вотъ тебѣ и дорожный запасъ, пачка зайчиковъ.

Съ этимъ словомъ онъ положилъ пукъ ассигнацій на столъ, а самъ привсталъ.

Михайла прошибла слеза: онъ схватилъ отца за руку, не могши ничего болѣе выговорить, а Гаврило Степановичъ понатянулъ мышцы руки этой, какъ будто желая удержать сына въ нѣкоторомъ отъ себя разстояніи.

— За обѣдомъ—ты придешь сегодня обѣдать?—за обѣдомъ,—продолжалъ онъ:—потолкуемъ еще, да и скажешь мнѣ, когда думаешь выѣхать. Въ контору на твое мѣсто пока сядетъ Семенъ Ивановичъ. Ну, до свиданія.

Что оставалось дѣлать Машѣ? Опомнившись отъ перваго удивленія и выслушавъ разсказъ матери и брата, она старалась успокоить первую, сколько могла, а сама приняла веселый и безпечный видъ, убѣждая ее, что лучшей развязки нельзя было ожидать, хотя она и сама видѣла, что это еще не развязка, по крайней мѣрѣ, неокончательная. Она уѣхала домой и обрадовала разсказомъ своимъ Ивана Андреевича, который былъ очень доволенъ поступкомъ тестя. Но Михайло былъ поставленъ въ какое-то незавидное положеніе и упалъ духомъ. Видно было, что, кромѣ неожиданнаго и страннаго оборота, который приняло намѣреніе его бѣжать изъ отцовскаго дома, еще и другое и притомъ не менѣе задушевное обстоятельство приводило его въ это отчаянное положеніе. Походивъ съ безпокойствомъ по комнатѣ, припомнивъ и передумавъ, повидимому, многое, бросивъ взглядъ на будущность свою съ безнадежной точки настоящаго, оглядѣвъ еще разъ съ какимъ-то негодованіемъ приготовленія свои къ отъѣзду, Михайло, наконецъ, въ изнеможеніи кинулся ничкомъ на свою постель и долго пролежалъ въ этомъ положеніи.

IV.

БЕСѢДА.

Покончивъ это дѣло, Гребневъ-отецъ воротился къ себѣ наверхъ и былъ весь день такъ веселъ и спокоенъ, что Авдотья Ивановна не могла этому нади-

„Любовь Ивановна“.

Она невольно вздрогнула и, переведя духъ, продолжала:

«Послѣ нѣсколькихъ бурныхъ дней, я наконецъ опять завладѣлъ собою и, кажется, могу говорить спокойно. Дайте жъ мнѣ высказать вамъ все, что у меня есть на душѣ; позвольте мнѣ разъяснить себѣ самому все это на бумагѣ... я въ этомъ нуждаюсь—чувствую, что письмо будетъ длинно — не пеняйте за это — оно, вѣроятно, послѣднее.

«Я виноватъ передъ вами вдвойнѣ: во-первыхъ, я слишкомъ неожиданно явился передъ вами, не испросивъ на это вашего согласія; во-вторыхъ, вѣроятно, не менѣе растревожилъ васъ и тѣмъ, что такъ внезапно скрылся, покинувъ васъ почти прежде, чѣмъ вы опомнились отъ перваго испуга. Но зачѣмъ же этотъ испугъ? къ чему или отчего онъ? Съ вами, Любовь Ивановна, я могу только говорить, какъ съ самимъ собою—или я долженъ молчать... но я буду говорить... я объясняю себѣ то, что съ вами сталось, такимъ образомъ: всѣ женскія чувства ваши были нѣкогда принесены въ жертву и — попраны недостойнымъ образомъ; вамъ не дали узнать той любви, безъ которой такая женщина, какъ вы, существовать не можетъ. Дружба ваша ко мнѣ и преувеличенная признательность за мое сочувствіе, — позвольте мнѣ высказать все, для меня это необходимо—эта дружба и признательность сдѣлалась, можетъ быть, господствующими въ васъ чувствами и, при угнетенномъ положеніи вашего духа, удовлетворяли васъ — за неимѣніемъ лучшаго: сердце ваше могло иногда хотя нѣсколько согрѣться среди этого холода, отъ котораго костенѣли ваши члены, и остывала кровь... Но птичка

въ клѣткѣ, и птичка на волѣ, на просторѣ—не одно и то же. Все ожило въ васъ, когда вамъ дозволено было вспорхнуть и оглянуться на свободѣ; силы возвратились, грудь вздохнула глубоко, сердце забилось сильнѣе—и земное потребовало земного, а небесное небеснаго. Встрѣча въ такое время съ человѣкомъ, который достоинствами своими затмилъ передъ вами многихъ, а, можетъ быть, и всѣхъ, который на чужбинѣ явился передъ вами, какъ посланный свыше, для спасенія и успокоенія вашего и избавленія васъ отъ грозившихъ вамъ непріятностей, который, наконецъ, и самъ, можетъ быть, еще впервые встрѣтилъ подобное вамъ существо, словомъ, встрѣча съ такимъ человѣкомъ тронула васъ, настроила душу вашу къ тому чувству, которое, можетъ быть, давно уже васъ истомляло, не находя себѣ пищи... что жъ мудренаго, если оно теперь увлекло васъ и если вы теперь, наконецъ, да, наконецъ послѣ столькихъ страданій, послѣ четверти вѣка жизни, послѣ многолѣтней истомы и отчаянія—если вы теперь не могли, да и не хотѣли налагать вязи этому чувству, которое вамъ впервые посулило на дѣлѣ то, что прежде смутно представляли грезы тысяча одной ночи?

«Вы видите, что я уже знаю все, или удачно дополняю своимъ воображеніемъ то, чего не успѣлъ узнать. Словомъ, я знаю довольно, я понимаю васъ и положеніе ваше; узнаю въ васъ все ту же Любовь Ивановну, которая не пугалась пріѣзда алексѣевскаго сосѣда въ Подстойное, но была поражена прибытіемъ его въ Маріенбадъ. Путь подальше; нельзя было ожидать его сюда, этого сосѣда —такъ; но вѣрьте: и вы тѣ же, и сосѣдъ все тотъ же.

«Успокойтесь же: вы въ правѣ были располагать собою, и никто въ мірѣ не можетъ сдѣлать вамъ за это упрека. Вы принадлежали только себѣ и болѣе

никому. Если сосѣдъ этотъ и строилъ когда-нибудь воздушные замки то никто, по крайней мѣрѣ, ни вы— никто, говорю, не давалъ ему ручательства въ осуществленіи его бреда. Вы не станете судить строго этого сосѣда, если онъ и обманывалъ самъ себя временно, какъ, можетъ быть, и вы нѣкогда обманывались; онъ пробудился отъ обаятельнаго сна, не ропщетъ на суровую дѣйствительность, а благодаритъ даже за то, что былъ нѣкогда счастливъ во снѣ, и говоритъ: если даже избранному суждено жить только воспоминаніями и надеждой, то рядовой можетъ удовольствоваться и одними первыми; онъ еще будетъ въ барышахъ противъ того, кто вѣкъ свой долженъ тѣшиться одною только надеждой, между тѣмъ какъ у него все прошлое представляетъ залежь, поросшую чертополохомъ...

«Вы видите: бывшій и нынѣшній сосѣдъ вашъ— мудрецъ... О нѣтъ, не шутите такъ! онъ ребенокъ, но онъ, по крайней мѣрѣ, въ состояніи написать вамъ то, что вы теперь читаете, и рука его кажется, не дрожитъ...

«Итакъ, одно кончено,—вы въ своемъ правѣ и обязаны отчетомъ въ томъ, что вы дѣлаете, самой себѣ, болѣе никому. Теперь два слова о другомъ: о насущномъ.

«Вашъ мужъ, какъ ученый, привязанный къ родинѣ своей званіемъ и мѣстомъ, которое занимаетъ, и которое его содержитъ—уже по одной этой причинѣ въ Кострому не поѣдетъ. Вы знаете также, что все опять тотъ же сосѣдъ лишилъ васъ всего вашего достоянія, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, чтобъ присоединить его по сосѣдству къ своему. Вы, сверхъ того, конечно, знаете и то, что собственно ваше имѣньице, еслибъ оно и уцѣлѣло для васъ, по незначительности своей, не могло бы содержать васъ

съ семействомъ. Итакъ, если еще ко всему этому вспомнить, что «жена да послѣдуетъ мужу», то позволено заключить, что Кострома васъ болѣе не увидитъ. Этому такъ и быть должно по многимъ причинамъ, и потому позвольте мнѣ считать это рѣшенымъ: въ такомъ случаѣ вы будете исправно получать небольшіе доходы съ вашей вотчины, гдѣ бы вы ни находились, а дѣти ваши... о дѣтяхъ вашихъ забудьте, какъ обо всемъ прошедшемъ: они мои дѣти—дѣти мои будутъ воспитаны, пристроены и обезпечены современемъ всѣмъ достояніемъ названнаго отца ихъ.

«Вотъ, кажется, все... Рука не повинуется, не пишетъ прощанія навѣкъ, хотя голова и освоилась уже съ мыслью, что этому быть такъ, а не иначе... Отвѣтъ вашъ я получу въ Алексѣевкѣ; напишите мнѣ нѣсколько строкъ: это меня укрѣпитъ и успокоитъ; благословите, заочно, на добрыя дѣла»...

— Ради Бога, — воскликнула Любаша, обливаясь слезами:—ради Бога, другъ мой, отыщи этого человѣка! О, онъ жестокъ, даже своимъ великодушіемъ— я его должна, должна видѣть!...

На свѣтло-голубыхъ глазахъ датчанина навернулись слезы; онъ крѣпко обнялъ подругу свою и, схвативъ шляпу, снова пустился на поискъ. Долго бѣгалъ и спрашивалъ онъ безуспѣшно — наконецъ ему вздумалось воротиться опять домой и разспросить еще разъ хорошенько хозяевъ своихъ, которые приняли отъ крестьянина письмо. Здѣсь онъ узналъ, что крестьянинъ, подавшій письмо это, по всей вѣроятности, былъ изъ селенія Аушовицъ. Съ этимъ свѣдѣніемъ датчанинъ поспѣшилъ наверхъ, изъявляя Любашѣ готовность свою ѣхать въ селеніе это сейчасъ же, въ надеждѣ отыскать тамъ бѣглеца. Она обняла друга своего за добрую вѣсть, но не хотѣла и слышать, чтобъ ему ѣхать сперва одному, на развѣдку.—И я съ тобой, и

я съ тобой!—говорила она, и уже хваталась рукой за салопъ и шляпку. Черезъ полчаса они катились по направленію къ горамъ, среди обмершей, но все еще прекрасной природы.

Недолго искали они въ Аушовицѣ, какъ имъ указали на небольшой крестьянскій домикъ, сказавъ, что тамъ надняхъ остановился пріѣзжій изъ Маріенбада и притомъ иностранецъ. Чета наша пріѣхала къ крылечку этого дома; сердце Любаши забилось такъ, что она съ трудомъ переводила духъ и, входя въ сѣнцы, опиралась на своего друга; онъ растворилъ дверь, чтобъ спросить хозяина, и Павелъ Алексѣевичъ стоялъ передъ ними.

Любаша бросилась съ громкимъ восклицаніемъ ему на шею.

— О, какіе вы!—сказала она, опомнившись нѣсколько и успокоившись:—о, вы жестоки!

— Этого я не хотѣлъ,—отвѣчалъ онъ, собравшись съ силами:—нѣтъ, не вините меня въ этомъ, Любовь Ивановна...

— Нѣтъ, нѣтъ, не виню,—продолжала она:—мнѣ васъ винить?.. нѣтъ! это было только такъ сказано, чтобъ облегчить сердце... Но вы, все-таки, жестоки! Оставить меня цѣлую недѣлю среди этой пытки... И вы меня прощаете? и вы можете меня простить?

— Отъ всей души и чистаго сердца прощаю, если вы только полагаете, что въ чемъ-нибудь противъ меня виноваты, чего однакоже не знаю. Я высказалъ вамъ въ письмѣ все.

— Все, и отъ искренняго сердца?

— Все, и отъ искренняго сердца. У меня нѣтъ на душѣ болѣе ничего. Я бы могъ только развѣ, для полноты покаянія, прибавить къ этому, что хотѣлъ было попенять вамъ, для чего вы не увѣдомили меня о томъ, что сдѣлалось; но я разсудилъ тутъ же,

что и это было бы глупо; кто мнѣ далъ на это право?

— Такъ обнимитесь же,—сказала она, сведя быстро вмѣстѣ обоихъ друзей своихъ и кинувшись сама третья въ общія ихъ объятія:—миръ и любовь навсегда! Благодари его, продолжала она, обратившись къ мужу:—благодари за все то, за что нельзя отблагодарить никогда...

Они пробесѣдовали вмѣстѣ нѣсколько часовъ; тутъ было пересказано все, какъ и гдѣ молодые наши встрѣтились, по какому случаю познакомились, какія услуги онъ ей оказывалъ, какъ заботливо ухаживалъ за больною, отыскавъ ее, брошенную безъ призрѣнія и помощи, какъ она узнала въ немъ того человѣка, безъ котораго не могла жить, и какъ онъ очутился точно въ томъ же положеніи, и проч. Любаша объяснила также и послѣднее недоумѣніе Игриваго: она, дѣйствительно, была уже обвѣнчана съ датчанином, но по какому-то ложному стыду долго не рѣшалась писать объ этомъ Павлу Алексѣевичу и наконецъ писала подробно, нѣсколько дней передъ его пріѣздомъ, почему онъ и разъѣхался съ письмомъ. Когда зашла рѣчь о дѣтяхъ Любаши, то она, со слезами на глазахъ, схватила руку его и хотѣла было ее поцѣловать. Игривый узналъ въ датчанинѣ, какъ и полагалъ по слухамъ, человѣка съ большими достоинствами и съ чувствомъ.

Наконецъ должно было разстаться; не надѣясь болѣе на силы свои, Павелъ Алексѣевичъ не рѣшился на этотъ подвигъ; онъ обѣщалъ еще извѣстить друзей до отъѣзда своего, съ твердымъ намѣреніемъ не исполнять этого, обнялъ еще разъ обоихъ и, несмотря на общія восклицанія: «До свиданія», онъ ихъ не видалъ болѣе. Онъ выѣхалъ рано на другой день и гналъ безостановочно до самой Алексѣевки.

Пріѣхавъ домой, онъ долго обнималъ дѣтей, кото-

рыя повисли у него на шеѣ, а затѣмъ и Машу, благодаря ее за материнское объ нихъ попеченіе. «Дастъ Богъ, скоро увидишь свою барыню», сказалъ онъ ей: « она хотѣла быть сюда на тотъ годъ съ мужемъ, за Анютой. Ваня остается у насъ».

Маша была въ одно и то же время такъ обрадована предстоящимъ ей свиданіемъ съ Любашей и опечалена скорой утратой своей Анюты, что не могла ни печалиться, ни радоваться, а со свойственною ей кротостью безропотно предалась судьбѣ своей. Но ей долго еще не пришлось разстаться съ своей воспитанницей: въ году много дней и часовъ—и черезъ годъ многое перемѣнилось. Черезъ годъ Павелъ Алексѣевичъ получилъ заграничное письмо съ черною печатью; въ письмѣ этомъ мужъ Любаши — къ сожалѣнію, ужъ не на шутку—увѣдомлялъ его съ отчаяннымъ сокрушеніемъ, что лишился своей подруги послѣ непродолжительной болѣзни. Человѣкъ твердѣетъ постепенно мужаясь противъ непрестанныхъ ударовъ рока, и подъ конецъ нѣтъ уже такого удара, который бы могъ сокрушить его. Игривый, не унывая, продолжалъ начатое благое дѣло и кончилъ воспитаніе Любашиныхъ дѣтей. Ваня хотѣлъ идти въ военную службу; Игривый предоставилъ ему въ этомъ отношеніи полную свободу, но съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ онъ напередъ чему-нибудь путному научился, а потому и требовалъ, чтобъ онъ кончилъ прежде курсъ въ университетѣ. Ваня исполнилъ это добросовѣстно и пошелъ въ гусары.

Анюта росла и выросла дома, и надобно признаться, что только развѣ такой матушкѣ, какова была Кондратьевна, т. е. Маша, при такомъ названномъ отцѣ, каковъ былъ Павелъ Алексѣевичъ, можно вырастить и выхолить, безъ матери и безъ посторонней помощи, такую дѣвушку, какою выдалась Анюта. При достоинствахъ ея и общеизвѣстности богатаго приданаго,

что и это было бы глупо; кто мнѣ далъ на это право?

— Такъ обнимитесь же,—сказала она, сведя быстро вмѣстѣ обоихъ друзей своихъ и кинувшись сама третья въ общія ихъ объятія:—миръ и любовь навсегда! Благодари его, продолжала она, обратившись къ мужу:—благодари за все то, за что нельзя отблагодарить никогда...

Они пробесѣдовали вмѣстѣ нѣсколько часовъ; тутъ было пересказано все, какъ и гдѣ молодые напи встрѣтились, по какому случаю познакомились, какія услуги онъ ей оказывалъ, какъ заботливо ухаживалъ за больною, отыскавъ ее, брошенную безъ призрѣнія и помощи, какъ она узнала въ немъ того человѣка, безъ котораго не могла жить, и какъ онъ очутился точно въ томъ же положеніи, и проч. Любаша объяснила также и послѣднее недоумѣніе Игриваго: она, дѣйствительно, была уже обвѣнчана съ датчанином, но по какому-то ложному стыду долго не рѣшалась писать объ этомъ Павлу Алексѣевичу и наконецъ писала подробно, нѣсколько дней передъ его пріѣздомъ, почему онъ и разъѣхался съ письмомъ. Когда зашла рѣчь о дѣтяхъ Любаши, то она, со слезами на глазахъ, схватила руку его и хотѣла было ее поцѣловать. Игривый узналъ въ датчанинѣ, какъ и полагалъ по слухамъ, человѣка съ большими достоинствами и съ чувствомъ.

Наконецъ должно было разстаться, не надѣясь болѣе на силы свои, Павелъ Алексѣевичъ не рѣшился на этотъ подвигъ; онъ обѣщалъ еще извѣстить друзей до отъѣзда своего, съ твердымъ намѣреніемъ не исполнять этого, обнялъ еще разъ обоихъ, и, несмотря на общія воскицанія: «До свиданія», онъ ихъ не видалъ болѣе. Онъ выѣхалъ рано на другой день и гналъ безостановочно до самой Алексѣевки.

Пріѣхавъ домой, онъ долго обнималъ дѣтей, кото-

рыя повисли у него на шеѣ, а затѣмъ и Машу, благодаря ее за материнское объ нихъ попеченіе. «Дастъ Богъ, скоро увидишь свою барыню», сказалъ онъ ей: « она хотѣла быть сюда на тотъ годъ съ мужемъ, за Анютой. Ваня остается у насъ».

Маша была въ одно и то же время такъ обрадована предстоящимъ ей свиданіемъ съ Любашей и опечалена скорой утратой своей Анюты, что не могла ни печалиться, ни радоваться, а со свойственною ей кротостью безропотно предалась судьбѣ своей. Но ей долго еще не пришлось разстаться съ своей воспитанницей: въ году много дней и часовъ—и черезъ годъ многое перемѣнилось. Черезъ годъ Павелъ Алексѣевичъ получилъ заграничное письмо съ черною печатью; въ письмѣ этомъ мужъ Любаши — къ сожалѣнію, ужъ не на шутку—увѣдомлялъ его съ отчаяннымъ сокрушеніемъ, что лишился своей подруги послѣ непродолжительной болѣзни. Человѣкъ твердѣетъ постепенно мужаясь противъ непрестанныхъ ударовъ рока, и подъ конецъ нѣтъ уже такого удара, который бы могъ сокрушить его. Игривый, не унывая, продолжалъ начатое благое дѣло и кончилъ воспитаніе Любашиныхъ дѣтей. Ваня хотѣлъ идти въ военную службу; Игривый предоставилъ ему въ этомъ отношеніи полную свободу, но съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ онъ напередъ чему-нибудь путному научился, а потому и требовалъ, чтобъ онъ кончилъ прежде курсъ въ университетѣ. Ваня исполнилъ это добросовѣстно и пошелъ въ гусары.

Анюта росла и выросла дома, и надобно признаться, что только развѣ такой матушкѣ, какова была Кондратьевна, т. е. Маша, при такомъ названномъ отцѣ, каковъ былъ Павелъ Алексѣевичъ, можно вырастить и выхолить, безъ матери и безъ посторонней помощи, такую дѣвушку, какою выдалась Анюта. При достоинствахъ ея и общеизвѣстности богатаго приданаго,

которымъ Павелъ Алексѣевичъ ее надѣлялъ, можно бы приноровить къ ней и къ толпѣ жениховъ ея сказку о Сивкѣ-Буркѣ или о Несмѣянѣ-Царевнѣ. Въ самомъ дѣлѣ, въ Алексѣевкѣ три, четыре года сряду не было отбоя отъ жениховъ: такъ падки были и въ то время уже костромитяне на пригожихъ, умныхъ и богатыхъ невѣстъ. Наконецъ Анютинъ часъ ударилъ, и дѣло состоялось: судьба въ этомъ отношеніи была къ ней несравненно милосерднѣе, чѣмъ къ бѣдной ея матери: Анютинъ мужъ былъ человѣкъ достойный. Въ числѣ приготовленій къ свадьбѣ Игривый, между прочимъ, выкрасилъ старинные, нѣкогда голубые, а потомъ бѣлые стулья свои подъ красное дерево. Отпраздновавъ же свадьбу, обнявъ и окропивъ родительскими слезами свою названную дочь, Павелъ Алексѣевичъ опять остался въ берлогѣ своей одинъ и сталъ попрежнему трудиться для другихъ, хозяйничать и копить для своихъ названныхъ дѣтей.

Объ эту-то пору Павелъ Алексѣевичъ жилъ въ Алексѣевкѣ истиннымъ патріархомъ среди крестьянъ своихъ и сосѣдей, жилъ домосѣдомъ, заботясь только о своемъ хозяйствѣ да потѣшаясь по длиннымъ вечерамъ доморощеннымъ сказочникомъ и наемнымъ понукалкой; а истиннымъ праздникомъ для него былъ тотъ день, который приносилъ ему письмо, потому что письмо это, навѣрное, было отъ Вани, либо отъ Анюты: другой переписки въ Алексѣевкѣ не производилось. Тогда призывался вѣрный Иванъ, который служилъ Игривому уже тридцать лѣтъ, и призывалась мамушка Кондратьевна, бывшая солдатка Маша — и письма перечитывались по нѣскольку разъ: въ такой вечеръ и сказочникъ и понукалка увольнялись.

Дошедъ наконецъ въ разсказѣ нашемъ до того отдѣла жизни Игриваго, въ которомъ мы изобразили *его при* самомъ началѣ повѣсти, мы можемъ повто-

рить: не бываетъ ли иногда наружность обманчива, и какъ знать, что человѣкъ передумалъ, перечувствовалъ на вѣку своемъ, прежде чѣмъ онъ сдѣлался тѣмъ чудакомъ, какъ мы его узнали?

Въ другомъ мѣстѣ и при другихъ данныхъ Игривый, вѣроятно, сдѣлался бы человѣкомъ болѣе замѣчательнымъ, или вѣрнѣе, болѣе замѣченнымъ; вы можетъ быть, убѣдились что у него достало бы на это и чувства, и ума; напротивъ, при тѣхъ обстоятельствахъ, которыя его окружали, онъ одичалъ немного и огрубѣлъ; онъ даже бѣгалъ отъ выборовъ и по чудачеству своему не хотѣлъ идти ни въ депутаты, ни въ какъ бишь ихъ еще... но, безспорно, сдѣлавшись чудакомъ, онъ остался однакоже въ маломъ кругу своемъ полезнымъ и примѣрнымъ по благородству человѣкомъ и примѣрнымъ отцомъ чужого семейства.

ОТЕЦЪ СЪ СЫНОМЪ

I.

СТАРАЯ ПОГУДКА НА РУССКІЙ ЛАДЪ.

Въ Замоскворѣчьи гдѣ-то, помнится, у Троицы, не то на Шаболовкѣ, не то въ Кожевникахъ, стоялъ каменный домъ такой постройки и наружности, что всякій старый москвичъ, проходя мимо, говаривалъ: «Вотъ сейчасъ видно, что хозяинъ для себя строилъ и что самъ живетъ». Все необходимое для большой семьи, для хозяевъ съ чады и домочадцы и для добрыхъ пріятелей, которые бы вздумали погостить, что нужно для простора, для привольнаго житья—все было тутъ; но безполезныхъ затѣй — никакихъ, и внаймы здѣсь отдать нечего. «Не красиво, да спасибо», говаривалъ хозяинъ, въ ожиданіи того, что гости станутъ отстаивать даже и красоту зданія собственной его постройки: «Кому охота въ кучу сбиваться», продолжалъ онъ бывало: «ступай съ Богомъ въ Питеръ, а мы Москву все такъ строимъ, пошире: всякъ про себя, а Господь про всѣхъ; какова ни есть, прошу не

прогнѣваться». Домъ этотъ, устроенный во всѣхъ отношеніяхъ по-хозяйски, былъ, какъ говорится, полная чаша и могъ бы во всякое время выдержать порядочную осаду—разумѣется, если бы только вздумали брать его не приступомъ, а голодомъ: полные подвалы и погреба, колодезь со студеною и чистою, какъ слеза, водою, надъ которымъ поставлено было родъ часовеньки съ иконою ангела хозяина, запасъ живности, дровъ, большой плодовой садъ и огородъ обезпечивали всѣ житейскіе нужды обывателей этого хлѣбосольнаго дома. Несмотря на все это, были, однакожъ, на Москвѣ и такіе люди, у которыхъ хозяинъ этотъ слылъ скупымъ; такую молву распустили и по временамъ поддерживали тѣ, для которыхъ скупость, порядокъ и бережь трудовой копѣйки было одно и то же, и которые страхъ не возлюбили обычая хозяина не давать взаймы людямъ, полагающимъ вообще, что кто беретъ деньги, тотъ надумался прежде, а теперь-де пришла пора думать тому, кто далъ.

«Не дать взаймы—остуда на время», говаривалъ старикъ: «а дать взаймы—ссора на вѣкъ». На милостыню былъ онъ тороватъ, но съ разборомъ, не всегда и не вездѣ; помогать, онъ помогалъ многимъ, если только видѣлъ, какъ онъ выражался, что грѣхъ былъ денежный, т. е., что можно было пособить деньгами и ждать отъ этого прока; а гдѣ приходилось не въ коня кормъ сажать, тамъ онъ былъ и глухъ, и нѣмъ. «Истинникъ дорогъ нашему брату», говаривалъ онъ: «а какъ только сталъ раздавать деньги по сторонамъ, такъ ужъ одна ножка подкосилась: далеко не уйдешь, каковъ рѣзовъ ни будь. Дворянскіе животы и тонкіе да долгіе тянутся; а нашъ братъ, какъ чуть только не по силамъ потянулъ, такъ и надорвался. Опричь того—не жалѣть живота, такъ знать, что прокъ будетъ; а на вѣтеръ бросать—никому угодить».

Въ воскресный день, повечеру, хозяинъ этого дома сидѣлъ съ какимъ-то пріятелемъ у себя въ гостиной за шахматами и острилъ, между тѣмъ, какъ человѣка три гостей любовались со стороны и по временамъ смѣялись. По первому взгляду видно было, что хозяинъ и эти три посѣтителя принадлежали къ русскому торговому сословію, а противникъ перваго въ игрѣ походилъ на что-то, въ родѣ разночинца.

— Я тебѣ улью щей на ложку, погоди!—говорилъ хозяинъ, сдѣлавъ прехитрый ходъ конемъ.

— Ваша воля—наша доля!—отвѣчалъ, задумавшись, противникъ его, и сдѣлалъ самый хорошій ходъ, между тѣмъ какъ старикъ затянулъ было опять ту же пѣсню: «Я тебѣ улью... вотъ онъ каковъ»! продолжалъ онъ: «не труситъ: умеръ, а глядитъ... боекъ ты, боекъ — постой, я тебя угомоню... кабы на горохъ не морозъ, такъ онъ бы и черезъ тынъ переросъ... Не суйся къ напередъ отца въ петлю!» прибавилъ онъ и убилъ слона.

Противникъ предвидѣлъ уже ударъ этотъ, но, все-таки, немного прикусилъ губу и молча сходилъ пѣшкой.

— По грибы не часъ, и по ягоды нѣтъ—такъ хоть по еловыя шишки!—продолжалъ тотъ спокойно, погладивъ бороду, и убилъ пѣшку: — Бей ворону и сороку—добьешься и до бѣлаго лебедя.

— Худо!—замѣтилъ противникъ, покачивая ногой, такъ что сапогъ началъ громко скрипѣть.

— На свѣтѣ и съ худомъ худо,—сказалъ старикъ, вскинувъ веселые сѣрые глаза на зрителей: — а безъ худа и вовсе худо. Не плачь, козявка, только сокъ выжму!—прибавилъ онъ, пододвинулъ ферезь, подгоняя ее въ два перста, вплоть къ королю противника и всталъ молча, утирая потъ платкомъ. Зрители засмѣялись, а старикъ, взглянувъ черезъ плечо на своего противника, который все еще сидѣлъ, задумавшись

надъ доской, сказалъ:—Что сидишь? Кончено; тутъ, братъ, и комаръ носу не подточитъ. Пройдись маленько, не то одурѣешь.

Стѣнные часы ударили десять, и посѣтители, будто сговорившись, по этому знаку всѣ взялись за шапки; разночинецъ сталъ было оправдываться въ проигрышѣ своемъ и доказывать, что игра его сперва стояла лучше, но старикъ забросалъ его поговорками, а потомъ взялъ у него изъ рукъ шапку, сказавъ: «Постой же, не бѣги; надо еще съ тобой потолковать слова два». Прочіе, простившись, ушли, а этотъ остался.

— Ну,—сказалъ хозяинъ:—намъ, вѣдь, помѣшали; присядь, да доскажи... или, правда, тебѣ не сидится, такъ, пожалуй, ходи маятникомъ передо мной, только смотри, чуръ, не по ногамъ.

— Есть предатели, Гаврило Степанычъ! — началъ тотъ скороговоркой, и каріе глаза его заблестѣли искрой самоотверженія и злобы, губы сжались, подбородокъ задрожалъ, и по лицу пробѣгали какіе-то судорожные порывы:—Есть предатели отечества, по самозабвенію долга, чести и присяги.

— Что жъ?—спросилъ спокойно старикъ:—губные старосты, что ли? аль опять разбойный приказъ? (Замѣтимъ, что въ то время, когда это происходило, давно уже не было этихъ мѣстъ и званій, но собесѣдники наши понимали другъ друга и въ подобныхъ случаяхъ даже глазъ-на-глазъ всегда выражались иносказательно).

— Нѣтъ, Гаврило Степанычъ, повыше-съ: не деревянная изба горитъ, а каменны палаты,—совершаются беззаконія: кто правъ, тотъ виноватъ, а кто виноватъ, тотъ правъ.

— Кто жъ у тебя въ обыскѣ облихованъ?

— Да дѣло Калугина проиграно.

— Неужто? Да, то есть, проиграно въ продажномъ?

— Нѣтъ, за Никольскими. Перенесли; все, какъ на ладонкѣ, развернули; думали: гдѣ правда, коли не у Спаса *)... пять тысячъ да коляску съ лошадьми (тутъ онъ шепнулъ что-то на ухо старику, перегородивъ ротъ ладонью) да...

— Эй, прикуси языкъ!

— Да, тысячу; да пятьсотъ на мелкую Сашку— а передавалъ тотъ, какъ его—съ Собачьей Площадки— и рвали ассигнаціи пополамъ: одну половину отдали въ задатокъ, а другую для вѣрности оставили у себя: дескать сдѣлаете—отдадимъ, а обманете—пусть же не достается ни вамъ, ни намъ. Ну, и сдѣлали; а вчера повечеру отвезли другую половину; могарычей просилъ, не дали; а донскимъ запили.

— Экъ онъ счетъ-то знаетъ въ чужихъ карманахъ! хоть бы тебѣ за это по денежкѣ съ рубля положили, коли вѣрно сочтешь... ну!

— А коляску съ лошадьми объявили въ вѣдомостяхъ въ продажѣ; а кто пришелъ спросить, такъ говорятъ: нѣтъ ея, ужъ продана-де такому-то.

— Ну, а тотъ же что, сердечный, въ Кречетникахъ?

— Что жъ? и радъ бы всплакаться, да некому. Это-съ, Гаврило Степанычъ, не приведи Богъ; это просто, ложись живьемъ подъ холстину, да и скажись мертвымъ; это извергу подобное; это ни жить, ни умереть... (Голова его тряслась, онъ произносилъ слова съ сильнымъ удареніемъ, подтягивалъ жесткія губы, а руки, несмотря на горячность своего разсказа, почти все время держалъ по швамъ, изрѣдка только дозволяя себѣ махнуть рукой въ сторону, и

*) Извѣстная старинная поговорка.

спѣшилъ тотчасъ же опустить ее на свое мѣсто, какъ человѣкъ, привыкшій стоять навытяжку).

— Ну, братъ,—сказалъ хозяинъ: — опять у тебя легкихъ не хватаетъ — опять заговорилъ печенкой! Брось; куда и шестомъ не достанешь, туда носомъ не тянись: щелчка дадутъ.

— Нельзя-съ; помилуйте, Гаврило Степанычъ, это... это хоть святыхъ вонъ понеси отъ такого позору; этого стерпѣть нельзя; это, сами изволите видѣть.

— Ну, нельзя, нельзя... полно молоть: утро вечера мудренѣе: пересни, такъ угомонишься, и выйдетъ, что можно. Мало ли чего нельзя, да можно!

— Нѣтъ-съ, я вотъ и Михайлѣ Гавриловичу докладывалъ....

— Сыну? А гдѣ ты его видѣлъ? Когда? Гдѣ онъ шатается?

— Видѣлъ-съ около полудня нынче, въ городѣ, въ Троицкомъ. Ужъ каковъ ни есть-съ, а по крайности способный человѣкъ и съ благородствомъ. Я и Михайлѣ Гавриловичу говорилъ, то-есть...

— Шатунъ онъ, сударь ты мой! шатунъ!

— Оно несомнительно; можетъ статься, что и такъ.

— Да, оно такъ, — продолжалъ старикъ: — ему, сыну Гаврилы Степанова Гребнева, не приходилось бы жить такъ — отъ утра до вечера, а помянуть нечего; недѣля прошла, до насъ не дошла. Ему бы старика отца надо слушаться: старикъ умнѣе его; а онъ щенокъ еще, даромъ, что ему двадцать-шестой годъ. За перо—не мы, за счеты—не мы, а попѣть да поплясать, противъ насъ не сыскать.

— Истинно такъ; свѣтъ нынче избаловался; одна порча нравственности первенствуетъ...

— Чѣмъ бы ему заняться дѣломъ, учиться у старика наживать копѣйку, да въ помощь быть ему—а онъ норовитъ только выскочить куда на просторъ,

ровно лихой песъ, прости Господи! и пошелъ рыскать. Варъ у сердца мнѣ Миша этотъ, вотъ что. Знаютъ одна грудь да подоплека, чего онъ мнѣ стоитъ. А жалѣлъ ли я на него расходу? Такъ ли онъ выросъ, какъ вскармливали насъ грѣшныхъ? Простите, благословенные покойники мои, батюшка Степанъ Гаврилычъ и матушка Анна Сергѣевна—не васъ я лихомъ поминаю, успокой васъ Господь! а тогда, знать, такая пора была. Мишу хотѣлъ я вывести въ люди, хотѣлъ пустить на свѣтъ такимъ, чтобъ не стыдно было показаться, а онъ вонъ куда глядитъ... правда говорится: не рожденъ—не сынъ, не купленъ—не холопъ; не вскормя, не вспоя, ворога не увидишь...

— Что жъ, Гаврило Степанычъ? на то ваша воля родительская—не давать потачки...

— Своя воля—спола горя; какъ мнѣ, такъ и ему: оба луки, оба туги; ужъ у него кутніе зубы всѣ вышли, не ребенокъ; на него рогашонки не надѣнешь. Сынъ-то онъ мой, а умъ у него свой. Ну, не слушается отца и матери—послушается телячьей шкуры. Видно, такъ Богу угодно. Я говорилъ, говорилъ—и языкъ обмололъ. Скажешь ему слово, хоть намекомъ—вотъ какъ вчера спросилъ я только: это-де какое диво, что ты нынѣ пришатнулся въ контору съ самаго утра? Онъ броситъ книги, хлопнетъ дверью и былъ таковъ. Я только погляжу вслѣдъ и принимаюсь за работу съ наемными... Коли выростилъ я тебя такого, что перерось ты и меня—такъ учить тебя поздно. Ступай съ Богомъ. Не учили покуда поперекъ лавочки ложился, а во всю вытянулся—не научишь.

— Подвергнуть бы его отеческимъ взысканіямъ...

— Нѣтъ, братъ, ты дѣла этого не разумѣешь. У тебя, вишь, все на умѣ служба, да подьячьи продѣлки, да мѣры взысканій—ты гнешь, не паришь — переломишь, не тужишь; а толку въ тебѣ мало; не хочу вымещать

на дѣтяхъ того, что было съ нами—царство вамъ небесное! (и перекрестился)—чтобъ дѣти не вымещали на внучатахъ...

— А можетъ статься, они, Михайло Гаврилычъ, то есть, безлестно сказать, еще исправятся-съ, Гаврило Степанычъ; есть примѣры...

— Привыкла собака за возомъ бѣжать—бѣжитъ и за санями; коли глупъ безъ усовъ, такъ борода одну дурость только и вынесетъ на Божій свѣтъ—а сѣдина въ бороду, такъ еще хуже: и договаривать не надо—старая пословица! Кайка-то есть у насъ, у всѣхъ, да воротьки-то нѣту.

— Надобно надѣяться на Бога, Гаврило Степанычъ, — продолжалъ тотъ скороговоркой: — сами знаете—оно все отъ Бога, больше ни отъ кого-съ.

— Нѣтъ, братъ, Филиппъ Егорычъ, полно: самъ будешь плохъ, такъ уже и не подастъ Богъ. Когда бы не ѣда, да не одежа—такъ всѣ бы мы лежа опузырились. Наше торговое дѣло такое: копѣйка рубль бережетъ; а въ который день не нажилъ, такъ прожилъ: въ одной порѣ не станешь. А ты, думаешь, нажилъ, рыскавши по Москвѣ на погулкахъ? На кого я хозяйство покину, домъ, торговлю? Гдѣ у меня хозяинъ? Нѣмецъ мой занятъ своимъ—а онъ одинъ только и гожъ. Бабье дѣло пироги—а сынъ не туда глядитъ. Это все, прости ей Богъ, Голомянинова! Не такъ, скажешь, Филиппъ Егорычъ, ась?

— Должно быть, что истинно такъ, Гаврило Степанычъ; у Голомяниновой и дочь есть.

— Да, на бѣду есть она. Чего жъ онъ къ нимъ чалится? Онъ думаетъ, никто этого дѣла и не видитъ?

— Должно быть, думаетъ, Гаврило Степанычъ.

— Зарѣжетъ онъ меня тупымъ ножемъ, вотъ что. Я покойнику Голомянинову говорилъ давно: ты, братъ, съ пирушками своими далеко не уйдешь; либо пѣть

да плясать, либо дѣло дѣлать, а я дѣлового скомороха еще не видалъ родясь. Ну, говоритъ, самъ посуди, какъ же мнѣ не помирволить моей Аннѣ Ивановнѣ, да и Аленушку надо потѣшить—нельзя безъ того; а того не зналъ покойникъ, что гдѣ волосъ дологъ, тамъ умъ коротокъ. Вотъ онъ и сѣлъ; еще за умъ хватился, царство ему небесное, что взялъ да померъ—хоть стыда нѣтъ на живой головѣ его.

— Слышно было, однакожъ, что нашелся благодѣтель, что по исправности, то есть, разсчитываетъ дѣла ея, Анны Ивановны, потому что ей не подъ силу.

— Вѣрно, что не подъ силу! Да вѣдь она же сама и мотала?

— Должно быть, она-съ!—отвѣчалъ разночинецъ весьма утвердительно.

— Такъ чего жъ тутъ въ порядокъ приводить? Ужъ видно, она привела въ порядокъ все. А кто взялся?

— Не могу знать-съ; только что кредиторы приступили къ ней... извѣстно, рады бы хоть что-нибудь получить, просили хоть бы полтинку за рубль выдать; такъ она, какъ будто этакъ, спроста ли, или по злоумышленію — должно быть, что по злоумышленію— упросила ихъ еще на отсрочку; и будто, то есть, обѣщаетъ больше выдать.

— Ну, да; извѣстное дѣло, эти козы бывали и на нашемъ торгу: лишь бы отвязались на время; а тамъ, авось, опять чѣмъ-нибудь проведемъ. Не такъ, скажешь?

— Должно быть, истинно такъ-съ. Опричь худа, какое добро нынѣ отъ кого ожидать? Пора такая... время скудное и тяжелое, только тѣмъ и живется, что авось на небось.

— Да, а тѣмъ часомъ авоська веревку вьетъ, а небоська на тебя и петлю накидываетъ

— Истинно такъ Вотъ хоть бы въ продажномъ приказѣ, о которомъ изволили помянуть, что тамъ дѣ-

лается? Заподлинно извѣстно, что за пять рублей не только человѣка утопить, душу съ начинкой дьяволу продать рады: только бери. Вотъ хоть бы дѣло Исакова—чистое, святое—ну, проигралъ... А вотъ у Николы въ Толмачахъ...

— Полно, Филиппъ Егорычъ, отъ твоего прихода къ ночи такая сутолока къ сердцу подступитъ, что самъ отъ себя не скажешься дома. Что жъ, матушка Авдотья Ивановна,—продолжалъ онъ, обратившись къ вошедшей въ комнату хозяйкѣ своей:—аль не пора еще ужинать? чай, пора?

— Готово все, Гаврило Степанычъ, — отвѣчала она самодовольно: — я затѣмъ и вошла; милости просимъ.

— Смекаемъ—подумалъ про себя старикъ:—стало быть, сына нѣтъ дома, а она меня задабриваетъ. Такое заключеніе вывелъ онъ изъ того, что у Авдотьи Ивановны столъ былъ готовъ минута въ минуту, по положенію, что она сама пришла звать къ ужину и что вышла къ вечернему столу при такомъ ненавистномъ гостѣ, каковъ былъ для нея Филиппъ Егоровичъ. Но старикъ не хотѣлъ болѣе сердиться въ воскресный вечеръ, а потому не показалъ и вида, что понялъ, въ чемъ дѣло, не спрашивалъ даже о сынѣ, а велъ бесѣду о постороннихъ вещахъ и утѣшилъ этимъ Авдотью Ивановну до-нельзя: она радовалась за сына и за себя, за ловкость свою и умѣнье обдѣлать щекотливое дѣло. Это, впрочемъ, была слабая струнка ея, отъ которой Гаврило Стапановичъ не могъ отучить ее въ тридцать лѣтъ: она, во-первыхъ, всегда немножко хитрила, даже и тамъ, гдѣ хитрить было вовсе нечего; а во-вторыхъ—всегда хитрила неудачно, особенно съ мужемъ, который зналъ ее, по одной поступи всегда безошибочно угадывалъ, какой масти козыри пойдутъ въ ходъ.

II.

ГРЕБНЕВЪ СЪ ПРИЧТОМЪ.

Оставимъ же ихъ за щами съ кулебякой и гречневой кашей и скажемъ нѣсколько словъ для поясненія разсказа.

Гаврило Степановичъ Гребневъ, именитый купецъ на Москвѣ, человѣкъ безукоризненной честности, большого ума и способностей, былъ привязанъ душой и тѣломъ къ своему званію, велъ дѣла свои въ примѣрномъ порядкѣ, не занимался почти ничѣмъ, кромѣ дѣлъ этихъ, и развѣ только изрѣдка игрывалъ по вечерамъ въ шахматы, да по воскресеньямъ, возвращаясь отъ обѣдни, навѣщалъ къ обѣду свою замужнюю дочь: болѣе онъ не зналъ никакихъ удовольствій, занятій или развлеченій и хотѣлъ, чтобъ всѣ жили, какъ онъ. Врагъ всего перемѣннаго, моднаго, неосновательнаго, всѣхъ тягостныхъ и неразумныхъ условій приличія, онъ требовалъ, чтобъ разсудокъ, умъ и разумъ руководили человѣкомъ во всѣхъ дѣлахъ и поступкахъ его и порицалъ сухою и рѣзкою насмѣшкою все то, что было противно смыслу и потребности. Самъ онъ всегда оставался вѣренъ себѣ; онъ былъ вовсе не безчувственъ, но выказывалъ чувства не болѣе, какъ ему казалось нужнымъ и полезнымъ; никто и никогда не видалъ, чтобъ онъ забылся и вспылилъ не у мѣста; онъ всегда былъ ровенъ, иногда только шумѣлъ и горячился словами, языкомъ, когда считалъ это нужнымъ, но не сердцемъ; изрѣдка, можетъ быть, самый близкій сердцу предметъ, какъ, напримѣръ, разговоръ о сынѣ, могъ увлечь его нѣсколько за предѣлы душевнаго спокойствія; никто не видалъ, чтобъ онъ запустилъ какую-нибудь работу,

отложивъ ее до другого дня, сдѣлалъ какъ-нибудь, или положился въ ней на другихъ; занятія были для него жизнью, но только занятія дѣльныя, по торговлѣ, которую онъ предпочиталъ всему на свѣтѣ, и потому Гаврило Степановичъ бичевалъ поговорками своими немилосердно всякаго, у кого были свои слабости, и кто иногда дозволялъ себѣ кой-какія льготы и упущенія. «Этотъ не затянется въ хомутѣ своемъ, хоть ему вѣкъ не распускай супони; и этотъ не надорвется возомъ своимъ, а чтобъ не свалилъ его куда-нибудь въ канаву, такъ за это не поручусь; смотрите, доведется подпрягать всѣмъ намъ». Такими и подобными выраженіями онъ коротко и рѣзко отдѣлывалъ людей, которые были не по нутру и, надобно сказать правду, ошибался рѣдко или почти никогда не ошибался; если онъ пророчилъ, что придется подпрягать, то человѣкъ этотъ накороткѣ разорялся и вылеталъ изъ трубы, т. е., дѣлался несостоятельнымъ. При опытности и прозорливости своей, Гребневъ съ нѣсколькихъ словъ разгадывалъ человѣка, видѣлъ его насквозь и нерѣдко могъ бы говорить за него, вглядѣвшись немного въ лицо его и въ пріемы. Если онъ давалъ кому-нибудь прозвище, то клеймилъ имъ человѣка навѣкъ. Гребневское прозваніе всегда сшито было на такую мѣрку, что всякъ узнавалъ въ немъ человѣка, и что казалось, человѣкъ этотъ былъ не полонъ безъ клички, а кличка создана была для него.

Гребневъ былъ по-московски тороватъ на нужное и полезное, но онъ не давалъ мѣднаго гроша тамъ, гдѣ это, по убѣжденію его, было безполезно. Такъ, напримѣръ, онъ выручалъ многихъ купцовъ отъ несостоятельности, если они попадались въ бѣду по чужой винѣ, или по одной неосторожности; но въ этомъ случаѣ онъ самъ разсматривалъ всѣ книги и дѣла этого человѣка, приводилъ все въ порядокъ и извѣст-

ность, рѣшалъ, однимъ словомъ, участь его, давалъ ему полезные совѣты и, давъ ручательство, въ чемъ слѣдовало, помогалъ, сколько нужно, наличными деньгами и кредитомъ своимъ и передавалъ ему опять дѣла, сказавъ: «Съ Богомъ, разживайся съ легкой руки, да смотри, чтобъ все было чисто у тебя: коли ты у меня во снѣ увидишь, что-де живутъ же люди кривдою, такъ и намъ не лопнуть стать, то я тебя живьемъ утоплю, безъ пощады; издохни, коли на то пошло, да по правдѣ—такъ ты одинъ весь кредитъ купеческій на Москвѣ подымешь вершкомъ. Тогда будешь богатъ, передъ Богомъ, а у Гребнева за столомъ сытъ». При такомъ нравѣ, Гребневъ могъ быть хорошъ только съ тѣмъ, кого онъ уважалъ; а съ кѣмъ онъ не былъ хорошъ, тому трудно было съ нимъ ужиться, и старикъ неумолимою строгостью и крутостью своею могъ всякаго, какъ говорится, со свѣта сжить, не только выжить изъ своего дома. И вотъ ключъ и корень тому, почему онъ такъ дурно уживался съ сыномъ.

Михайла Гребневъ, которому дано было такое хорошее воспитаніе, какое рѣдко достается человѣку его круга, въ сущности стоилъ своего отца, по способностямъ и качествамъ ума и сердца; но онъ былъ, во-первыхъ, еще молодъ въ сравненіи съ отцомъ, во-вторыхъ, искалъ иногда внѣ дома тѣхъ развлеченій, которыхъ, конечно, въ домѣ родительскомъ не находилъ, а въ-третьихъ, былъ мягче и пламеннѣе отца, увлекался иногда тѣмъ и другимъ и скучалъ нѣсколько сухостью своего домашняго быта. Отецъ воспиталъ его такъ, чтобъ его сдѣлать самостоятельнымъ, чтобъ онъ, какъ старикъ выражался, смолода привыкалъ своею рукою кашу ѣсть и не проносилъ бы ложки мимо рта, за ухо: поэтому ребенку всегда давали *много воли*, и отецъ довольно хорошо умѣлъ заста-

вить его во-время судить здраво и поступить со смысломъ; но изъ этого мало-по-малу вышло другое неудобство: сынъ, такъ сказать, отъ рукъ отбился; онъ, по вошедшему въ законъ обычаю, приходилъ и уходилъ, когда и какъ хотѣлъ, не давая никому въ томъ отчета, и въ послѣднее время сталъ уже пропадать по цѣлымъ днямъ. Отецъ, которому это крѣпко не нравилось, видѣлъ, однакожъ, самъ, что нѣтъ придирки, нѣтъ повода потребовать вдругъ отчета въ поступкахъ человѣка двадцати-пяти лѣтъ, когда это не водилось съ пятнадцатилѣтняго возраста его; что строгостью и вообще приказаніями и запрещеніями можно только испортить дѣло, а не поправить его; да Гаврило Степановичъ, впрочемъ, и всегда держался того правила, что человѣку нужна воля, что онъ долженъ дѣйствовать по разумному убѣжденію, а не по слѣпому повиновенію; но Гаврило Степановичъ, въ обращеніи съ сыномъ, не умѣлъ держать языка своего на привязи, и потому сынъ съ давняго времени почти не слыхалъ отъ него добраго слова. Михайла занимался у него въ конторѣ особою частью: дѣлами по сплаву и гужевой перевозкѣ товаровъ, или вообще по выпискѣ, укладкѣ и доставкѣ ихъ какъ въ Москву, такъ и изъ Москвы; онъ былъ исправенъ, велъ дѣла эти хорошо, нѣсколько разъ даже старикъ былъ очень доволенъ сыномъ и почти рѣшался сознаться мысленно, что изъ Михайлы будетъ современемъ большой толкъ; но несправедливость его и какая-то дикость передъ отцомъ, стараніе кончить только скорѣе работу и, не сказавъ лишняго слова, бѣжать со двора—эти-то несчастныя обстоятельства все опять портили, и Гаврило Степановичъ, къ крайнему прискорбію своему, былъ увѣренъ, что сынишка его никуда не годится, что онъ шатунъ, мотыжка, и торговыхъ дѣлъ въ порядкѣ вести не можетъ.

А между тѣмъ ларчикъ открывался очень просто: если Михайла, по причинамъ, о которыхъ мы говорили выше, и по другимъ, о которыхъ будемъ говорить ниже, и точно велъ себя не совсѣмъ такъ, какъ бы слѣдовало по строгимъ правиламъ Гаврила Степановича, то холодность и сухость между ними возникли болѣе по волѣ отца, нежели сына, а сознаться въ этомъ старику Гребневу было мудрено; онъ привыкъ уже къ тому, что былъ правъ всегда и вездѣ, что онъ все дѣлаетъ умнѣе, основательнѣе и лучше другихъ; словомъ, онъ слишкомъ полагался на твердый умъ свой и на безпристрастіе. Проступки или слабости сына были у него передъ глазами, не подлежали никакому сомнѣнію; ихъ можно было отдать на чей угодно судъ—и сынъ былъ виноватъ кругомъ: это такъ; но зато на обращеніе отца съ сыномъ суда и судьи не было, и Гребневъ самъ объ этомъ забывалъ.

Неумолимою строгостью своихъ сужденій, передъ которыми каждая вина была виновата, и оправданій никакихъ не спрашивалось, еще болѣе рѣзкостью и колкостью замѣчаній, произнесенныхъ нерѣдко, по неосторожности, а, можетъ быть, и съ умысломъ, въ присутствіи сторонніхъ людей и даже прислуги, Гаврило Степановичъ отчудилъ сына своего отъ себя, поставилъ его въ невозможность обращаться къ отцу съ любовію и довѣріемъ и сдѣлалъ для бѣднаго Михайла изъ отчаго дома мѣсто пытки, томительной скуки и огорченій. Одного взгляда Гаврила Степановича на вошедшаго въ контору и принимающагося за дѣла свои Михайла было иногда достаточно, чтобъ у бѣдняка отнялись для работы на весь день руки и ноги и самая голова: онъ покидалъ все и пропадалъ опять на день. А Гаврило Степановичъ, продолжая хладнокровно занятія свои, говорилъ самъ себѣ: «Что жъ,

неужто и этому я виноватъ? Неужто и теперь тоже я его выгналъ или обидѣлъ, тогда какъ я не говорилъ даже съ нимъ ни слова и только взглянулъ на него, не вѣря подъ старость глазамъ своимъ, точно ли у меня сынъ въ десятомъ часу пришелъ уже за работу, тогда какъ отецъ сидитъ тутъ съ пяти часовъ? Стало быть, онъ и приходитъ затѣмъ только, чтобъ опять улизнуть, да сказать послѣ сестрѣ и зятю: я-де былъ, да житья нѣтъ—согналъ отецъ. Нѣтъ, ужъ кто зачѣмъ пойдетъ, тотъ то и найдетъ. Я-то старъ, да вѣдь, ужъ и онъ не малъ: какъ себѣ знаетъ! Люди въ его лѣта съ женой живутъ, да съ дѣтьми, а онъ все еще толчится по Голомянниновымъ».

Жениться... отъ этого бы, конечно, Михайла въ его годы не прочь—скажемъ мимоходомъ и объ этомъ слово—да и тутъ вышла такая бѣда, что отецъ съ сыномъ никакъ не могли сойтись. У Гаврила Степановича на этотъ счетъ, при всемъ его умѣ, понятія были немного старовѣрческія: «Я же ему указалъ вотъ невѣсту», говорилъ онъ, напримѣръ: «хоть бы Андреянову вотъ—ну, что жъ ему? чего жъ онъ топорщится? Это ли не по немъ? и съ достаткомъ, и съ толкомъ про домашній обиходъ, и изъ хорошаго дома; а собой краля червонная — такъ нѣтъ, видно, ему искать пойти какой-нибудь Несмѣяны-царевны, либо Василисы прекрасной». А когда сынъ наводилъ глазами на какую-нибудь дѣвушку, которая ему казалась по немъ, то Гаврило Степановичъ давалъ ей какое-нибудь дикообразное прозвище, и дѣло разстраивалось само собой еще далеко прежде всякаго устройства. «Сивая кобыла черноволосому покупателю не ко двору!» замѣтилъ онъ сухо, разсмѣшивъ всѣхъ, когда однажды Авдотья Ивановна съ великаго ума стала выхвалять дѣвицу, которую втихомолку прочила за сына; и если сынъ и не думалъ, можетъ быть,

объ этой невѣстѣ, то не менѣе того ему такое замѣчаніе не могло понравиться, убѣждая его въ томъ, что если бы онъ и самъ когда-нибудь рѣшился на выборъ, то могъ бы ожидать такого же отвѣта и привѣта.

Авдотью Ивановну, то есть, супругу свою, которая все еще по старой привычкѣ, повязывалась пирогомъ, хотя платье носила нѣмецкое, Гаврило Степановичъ любилъ и уважалъ, какъ скопидомку и добрую хозяйку— и въ этомъ ставилъ онъ все достоинство женщины, прощая ей въ такомъ случаѣ много другихъ недостатковъ. Мы сказали уже, что Авдотья Ивановна всегда хитрила и всегда очень неудачно; но это не только не мѣшало доброму согласію супруговъ, а, напротивъ, нерѣдко способствовало большому утѣшенію Гаврила Степановича. Дѣло въ томъ, что если бы только Авдотья Ивановна была въ самомъ дѣлѣ хитра и скрытна, то Гаврило Степановичъ, безъ всякаго сомнѣнія, не ужился бы съ нею ни за что; но какъ она только сама воображала себѣ, что она очень хитра, на дѣлѣ же была довольно проста, довольствуясь тѣмъ, что сама себя считала знахаркой, то это только забавляло его и тѣшило. Въ 30 лѣтъ Авдотьѣ Ивановнѣ не удалось ни одного разочка схитрить и провести мужа чѣмъ и какъ бы то ни было; но ей казалось, что хитростію ея и умѣньемъ держится весь домъ, и что не будь только ея, Гаврило Степановичъ все бы испортилъ. Мнимая хитрость эта, у которой, какъ Гаврило Степановичъ выражался, было для обиходу и всего-то двѣ, либо три масти, безъ козырей, хитрость эта ему нисколько не мѣшала: онъ читалъ по глазамъ Авдотьи Ивановны, какъ по открытой книжкѣ, и очень забавно водилъ ее иногда по цѣлымъ часамъ вокругъ да около, не давая ей въ руки клада, за которымъ она ухаживала; или же *прямо и* съ перваго слова озадачивалъ ее, отвѣчая на

вопросъ о праздникахъ отвѣтомъ о новыхъ обояхъ, къ которымъ она намѣревалась дойти не прежде, какъ къ вечеру на другія сутки. Впрочемъ, подобный отвѣтъ нисколько не сбивалъ ее съ кону, и она оставалась, все-таки, въ полной увѣренности, что дѣло приняло столь неожиданно и внезапно такой выгодный оборотъ собственно по ловкому складу вступительной рѣчи ея.

Марья Гавриловна, дочь Гребнева, была замужемъ за нѣмцемъ, фабрикантомъ Иваномъ Андреевымъ Шрейеромъ. Отъ матери ей досталось въ удѣлъ нѣсколько извѣстной намъ наклонности: держать про запасъ и иногда пускать въ оборотъ немножко хитрости, подъ личиной кротости и смиренія; но ей также далось и отцовское наслѣдье—здоровый и весьма дѣльный умъ, почему она и не переступала никогда лисьимъ обычаемъ своихъ извѣстныхъ предѣловъ и всегда во-время умѣла свернуть, гдѣ нужно, на другую колею. При врожденной живости и веселомъ нравѣ, искреннемъ добродушіи ея и ловкомъ умѣ, она хитрила несравненно успѣшнѣе матери и не разъ успѣвала даже своимъ обычаемъ, подъ-стать непритворнаго простосердечія, склонить отца на какое-либо дѣло—и это была одна только особа, съ которою Гребневъ рѣдко состязался, а всего охотнѣе ей уступалъ.

У Марьи Гавриловны было уже трое малютокъ, и это было для матери сильная пружина, могучій рычагъ, которымъ она нерѣдко довольно успѣшно приподымала сердце Гаврила Степановича и направляла чувства и мысли его по произволу. Если только у старика была какая-нибудь слабость—кромѣ избытка силы, самонадѣянности и рѣзкости—то это любовь къ дѣтямъ вообще и въ особенности къ внучатамъ. Воскресенье было для старика большимъ праздникомъ, съ тѣхъ поръ какъ у Маши расплодились ребятишки. Онъ непремѣнно каждое воскресенье ѣздилъ съ женою послѣ обѣдни на Пресню,

гдѣ стояла фабрика Шрейера, и оставался у нихъ обѣдать. Старикъ тутъ всегда былъ веселъ, любя безъ памяти дочь, умную живую, веселую и примѣрную хозяйку — и нѣжась на большомъ диванѣ, среди внучатъ своихъ, съ которыми хохоталъ до слезъ и рѣзвился самъ, какъ ребенокъ.

За безпутнаго человѣка Гребневъ не отдалъ бы дочери своей, единственной, которую любилъ притомъ, какъ любить можно. Познакомившись съ Шрейеромъ коротко въ торговыхъ дѣлахъ и узнавъ въ немъ человѣка по себѣ, онъ подумалъ, когда замѣтилъ, что этотъ сталъ посѣщать его гораздо чаще, чѣмъ требовали ихъ дѣла: «Человѣкъ по серду—половину вѣнца; суженаго и на кривыхъ оглобляхъ не объѣдешь—а хорошій нѣмецъ лучше плохого земляка». Когда же дѣло, наконецъ, состоялось, то Авдотья Ивановна ровно съ полатей свалилась—хотя все дѣлалось у нея передъ глазами; она видѣла, что нѣмецъ увивался около Маши, что онъ жалуетъ часто и что между ними есть какія-то шашни; одну половину этой необычной тревоги она однакоже складывала на живость и вѣтренность Маши, которая, какъ любимица отца, позволяла себѣ много; другую же часть сваливала прямо на Шрейера, которому прощалось лишнее потому только, что онъ былъ нѣмецъ; но она никогда не могла себѣ вообразить, чтобъ такое дѣло состоялось безъ помощи добрыхъ людей, чтобъ не пріѣзжали за этимъ по нѣскольку разъ и съ разныхъ сторонъ, чтобы пара каретъ или колясокъ не стояли цѣлыя двѣ недѣли до покончанія дѣла у подъѣзда. Впрочемъ, она вскорѣ утѣшилась тѣмъ, что и Гаврило Степановичъ и Маша, повидимому, повѣрили ей на-слово, будто она все это давно видѣла и знала и даже сама все къ тому вела и приспособляла. Шрейеру и подавно не было никакой надобности сомнѣваться въ дальновидности Авдотьи Ивановны, отъ

которой зависѣло счастье его, и потому, когда онъ, потряхивая головой и съ пріятностью улыбаясь, расшаркивался передъ матушкою и на всѣ замѣчанія и доказательства ея безпрекословно соглашался, то она была очень довольна и собою, и имъ, и со слезами обняла своихъ дѣтей.

Шрейеръ былъ полуобрусѣвшій московскій нѣмецъ, поселившійся въ Москвѣ съ отцомъ и наслѣдовавшій отъ него небольшую, но устроенную фабрику, которую самъ нѣсколько расширилъ, и довелъ еще до лучшаго состоянія. И онъ, какъ многіе другіе, кряхтѣлъ подчасъ о томъ, что мастеровые распились, что на воровство ихъ не найдешь суда; что продажи товару нѣтъ иначе, какъ на долгіе сроки, при которыхъ нерѣдко теряется вся мнимая выгода производителя; что нельзя принудить къ уплатѣ того, кто платить не хочетъ, за что и должны отвѣчать хорошіе плательщики, отчего выгода теряется вмѣстѣ съ довѣріемъ, а товаръ дорожаетъ; что при уплатѣ золотомъ, покупщики устанавливаютъ свой произвольный курсъ, который не входилъ въ расчетъ продавца за 13 мѣсяцевъ, а между тѣмъ крайность вынуждаетъ принять, что даютъ, лишь бы не лишиться всего — и прочее; но Шрейеръ кой-какъ перебивался, былъ очень остороженъ и осмотрителенъ, а потому дѣла его шли. Правдивость его была извѣстна всякому, кто съ нимъ зналъ, и всякій съ удовольствіемъ имѣлъ съ нимъ дѣло. Первые годы замужества дочери своей Гребневъ испытывалъ зятька и ловко его искушалъ, полагая, что тотъ непремѣнно разсчитывалъ на стариковскій карманъ. Но когда, въ теченіе двухъ лѣтъ, объ этомъ и рѣчи не было, и Иванъ Андреевичъ ни разу не прибѣгалъ къ пособію его и даже, какъ будто съ намѣреніемъ, того чуждался, а изворачивался своимъ и стороннею помощью—то Гаврило Степановичъ попросилъ зятя посвятить его во всѣ подробности дѣлъ

по заведенію и оборотовъ его, входилъ во всѣ мелочи, повѣрялъ и пересматривалъ его и, убѣдившись въ добромъ и надежномъ балансѣ, выждалъ рожденія перваго внука и выдалъ зятю изрядную пачку на обзаведеніе. «Замужняя дочь—отрѣзанный ломоть», сказалъ онъ тогда: «за нею слѣдомъ и хлѣбъ соль идетъ изъ отцовскаго дома». Маша была счастлива съ этимъ мужемъ, и онъ съ нею.

Разночинецъ, котораго мы видѣли у Гребнева за шахматной доской, а послѣ какъ будто въ званіи какого-то дакальщика и вѣстовщика, было лицо замѣчательное. Онъ, впрочемъ, не разночинецъ, а небольшой чиновникъ среднихъ лѣтъ, перешедшій на вѣку своемъ много степеней, мѣстъ, званій и вѣдомствъ, будучи постоянно удаляемъ отовсюду за безпокойный нравъ свой. Гребневъ говорилъ объ немъ, что это-де загнанная, брыкливая кляча, которую никто не смогъ выѣздить и отучить отъ норова, сколько ни хлестали ее по бокамъ; что она, перебѣгая то поле въ тридевята поприща, то въ полтора переклика, одинаково выбивалась изъ силъ, надрываясь даже и порожнемъ, потому что хочетъ тащить за собою не телѣгу, въ которую запрягли ее, а весь земной шаръ.

Доказательствомъ какихъ-нибудь достоинствъ этого человѣка, можетъ, однакоже, служить для насъ уже самая пріязнь съ нимъ Гаврила Степановича, который, впрочемъ, называлъ его иногда юродивымъ, но не гонялъ отъ себя; а, напротивъ, любилъ съ нимъ побесѣдовать. «Отъ застою крови хорошъ этотъ человѣкъ,—говаривалъ Гаврило Степановичъ: — только его принимать надо осторожно, какъ и всякое лѣкарство, не то разберединъ печенку».

Егоръ Филипповичъ Сулейкинъ былъ одинъ изъ тѣхъ людей, у которыхъ, глядя на суету-суетъ мірскую, умъ зашелъ за разумъ. У этихъ людей бываютъ

такіе глаза, уши и вообще наружныя чувства, что они ими ничего не видятъ и не слышатъ вокругъ себя, кромѣ однихъ только беззаконій, одной вопіющей неправды, продажности, словомъ, кромѣ зла и злоупотребленій всякаго рода, при совершенномъ безсиліи доблести и правды. Они вездѣ и повсюду видятъ одно только торжество порока. Къ какому бы предмету люди этого разбора ни подошли, они быстро окидываютъ его взглядомъ и по этому особенному устройству глаза, или по своеродной воспріимчивости въ общемъ чувствилищѣ своемъ, видятъ всегда только одну изнанку или одну подноготную, которая, по ихъ убѣжденію, вездѣ одна и та же — *зло*. Лицевой сторонѣ, казовому концу, они никогда не вѣрятъ, и потому даже не смотрятъ на нее; они, Богъ-вѣсть почему, привыкли разъ навсегда почитать ее одною только вывѣской, для приманки и обольщенія легковѣрныхъ.

Я не умѣю лучше объяснить направленіе ума у этихъ людей, какъ разсказавъ, что недавно еще со мною случилось, когда я съ такимъ человѣкомъ, котораго, впрочемъ, уважаютъ за прямоту его и благородство, прохаживался по академическому музею. Я остановился передъ слономъ и, увлеченный на ту пору думою объ этомъ громадномъ и дивномъ созданіи, хотѣлъ согрѣть тѣмъ же чувствомъ холодный и спокойный взглядъ моего товарища, который, прибывъ недавно и притомъ въ первый разъ въ столицу, никогда не видалъ доселѣ слона, ни даже чучела его, а между тѣмъ былъ, къ изумленію моему, вовсе нечувствителенъ къ такому диву. Я старался воспламенить его, обращая вниманіе на огромные размѣры животнаго—а онъ, покачавъ головою, отвѣчалъ: «А въ немъ-то, въ немъ—то-то дряни набито—чай, возами въ него мусоръ возили!»

Филиппъ Егоровичъ, безспорно, зналъ житейскую

и служебную изнанку, какъ никто болѣе въ мірѣ, онъ видѣлъ и ощупывалъ ее чуткими пальцами, при необыкновенныхъ дарованіяхъ своихъ къ тому, въ разныхъ мѣстахъ, степеняхъ, должностяхъ и званіяхъ. Если бъ мы стали разсказывать, гдѣ и какъ онъ служилъ и почему не ужился ни тутъ, ни тамъ, то, чего добраго, это приняли бы за личности, или посовѣтовали бы намъ, по крайней мѣрѣ, не говорить, что онъ служилъ въ томъ или другомъ вѣдомствѣ, а ограничиться однимъ третьимъ, за которое, по какимъ-либо отношеніямъ и обстоятельствамъ, не постоятъ; поэтому, я думаю, лучше умолчать объ этомъ вовсе, тѣмъ болѣе, что послужной списокъ Сулейкина очень обширенъ. Довольно того, что, ополчаясь всегда съ неотразимымъ мужествомъ, съ убѣжденіемъ, доходившимъ до изувѣрства и изступленія, противъ всякой неправды, этотъ несчастный Донъ-Кихотъ своего вѣка сражался и боролся съ вѣтряными мельницами, съ привидѣніями, и не разъ, въ порывѣ отчаянной битвы, пробадывалъ козьи бурдюки и приходилъ въ себя, сидя на деревянной скамьѣ—вмѣсто рыцарскаго коня; но, расплачиваясь всегда за все это своими боками, онъ увѣрялъ, что скамейка эта подставлена мошенниками, и что лошадь, на которой онъ сидѣлъ, подмѣнена. Ему хохотали въ глаза, а онъ говорилъ свое. Хоть рыло въ крови—да наша взяла, подшучивалъ, бывало, надъ нимъ въ такихъ случаяхъ старикъ Гребневъ, и Сулейкинъ, воображая себя побѣдителемъ, торжествовалъ. Куда бы онъ ни попадалъ, кто бы ни бралъ его къ себѣ, надѣясь найти въ немъ надежнаго поборника безкорыстія и чести—отовсюду онъ былъ вскорѣ изгоняемъ съ безчестіемъ; нигдѣ и ни съ кѣмъ онъ не могъ ужиться, потому что нигдѣ не находилъ и тѣни своей утопіи.

Не говорите, чтобъ не было на свѣтѣ честныхъ

людей, чтобъ некѣмъ было замѣстить нисшихъ должностей—люди есть, но, конечно, все равно, что ихъ нѣтъ: они не годятся никуда; это тѣ самые люди, изъ которыхъ каждый порознь называется *безпокойнымъ человькомъ*; имъ остается одно только утѣшеніе — *сойти съ ума*. Они переводятся и уничтожаются сами собой, переѣдая, если не другъ друга, то, по крайней мѣрѣ, каждый самъ себя. Они бѣснуются временно, а тамъ сходятъ съ ума вовсе, или умираютъ въ богадѣльняхъ. Они остаются въ своемъ разумѣ и добромъ здравіи развѣ тогда только, когда опытная премудрость житейская переломитъ и переверстаетъ ихъ на свой ладъ, увлечетъ въ общемъ потокѣ своемъ и даже одаритъ благопріобрѣтеннымъ имуществомъ. Если же этого не случится, то люди эти неминуемо умственно надрываются, начинаютъ путаться въ своихъ понятіяхъ, бродятъ по цѣлому свѣту какими-то мнимогрозными приставами Провидѣнія и бываютъ то смѣшны и жалки, то невыносимо тягостны и повсюду излишни, точно какъ бы они родились на свѣтъ по недогляду, и имъ тутъ не было ни мѣста, ни пристанища. Они жалки, какъ виновные или невинные страдальцы и жертвы, и, сверхъ того, заставятъ всякаго призадуматься надъ этимъ ужасающимъ примѣромъ нашей житейской превратности.

И вы, читатель мой, знавали такого человѣка: вы сперва тѣшились имъ, потомъ бѣгали отъ его докучливости, затѣмъ говорили: «Воля ваша, а у этого человѣка на вышкѣ обстоитъ неблагополучно; я не знаю, какъ отъ этого человѣка отвязаться!..» И онъ развязалъ васъ—изнемогши подъ бременемъ непосильнымъ: либо, продолжая въ неистовомъ, горячечномъ бреду заклинанія свои, онъ созрѣлъ для дома умалишенныхъ, либо схватился за ножъ убійцы или самоубійцы, либо, наконецъ, пропалъ безъ вѣсти, такъ что объ немъ

нѣтъ ни слуху, ни духу... Онъ просился въ дворники, но его, разумѣется, не приняли; куда онъ затѣмъ дѣвался—не знаю.

Сулейкинъ стоялъ на раздорожицѣ между этою тройною судьбою, и неизвѣстно еще, по какому пути судьба потянетъ его за вихоръ. Горе, съ которымъ онъ вѣкъ свой проняньчился, и строптивость, съ которою старался побороть всякую сопротивную встрѣчу, хотя и не сломили его еще вовсе, но крѣпко уходили и подшибли ему лѣтки. Нищета и голодъ были ему свои: умишко его держался кой-какъ въ мозгу, но Филиппъ Егоровичъ, человѣкъ вовсе непьющій, раза два на вѣку своемъ бывалъ въ бѣлой горячкѣ. Онъ уже извѣдалъ порывы отчаянія и самаго жестокаго изступленія, и въ эти минуты ножъ и огонь бывали любимыми его игрушками.

Удалившись окончательно — или удаленъ будучи — съ лѣстницы гражданскаго чиноначалія, Сулейкинъ выдержалъ одинъ изъ этихъ порывовъ, а затѣмъ притихъ немного, не знаю на долго ли, будто выбившись изъ силъ на неравномъ единоборствѣ, потому что онъ ходилъ одинъ на стѣну, по выраженію кулачныхъ бойцовъ; а это никому не подъ силу. Онъ сталъ промышлять хожденіемъ по дѣламъ и приложеніемъ руки своей, въ качествѣ свидѣтеля, на совершаемыхъ въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ актахъ, при частныхъ сдѣлкахъ. Для этого онъ въ извѣстные часы являлся ежедневно въ этихъ мѣстахъ, и если тутъ были сдѣлки, то его приглашали къ заручной. Но рыцарь нашъ и тутъ не могъ обойтись безъ чудачества: цѣлковый или полтора — это была извѣстная плата за засвидѣтельствованіе подписи, и просители, не приведшіе съ собою кого-нибудь изъ знакомыхъ, всегда клали сумму эту на бумагу, когда просили посторонихъ людей о такой услугѣ; Сулейкинъ расписывался

принималъ цѣлковый и поспѣшно представлялъ просителю четвертакъ сдачи: Филиппъ Егоровичъ считалъ дѣломъ совѣсти никогда за ничтожную услугу свою болѣе трехрублеваго не брать.

Итакъ, Сулейкинъ былъ *ходокъ* и проводилъ свободное время у немногихъ старыхъ пріятелей и покровителей своихъ, которые при всемъ юродствѣ его не могли отказать ему въ какомъ-то уваженіи или состраданіи и въ хлѣбосольномъ пріемѣ. Между этими покровителями Гребневъ стоялъ въ головѣ. Зато Сулейкинъ, пролазивъ все утро по крыльцамъ, лѣсенкамъ и задворьямъ, являлся всегда къ нему къ первому съ вѣстями и новостями, которыя на него, Сулейкина, по замѣчанію Гребнева, наносило вѣтромъ. Эта неостижимая для нашего брата способность знать и видѣть какимъ-то чутьемъ всю подноготную по всѣмъ воровскимъ, мошенническимъ, сыскнымъ, продажнымъ и плутовскимъ дѣламъ была врождена Сулейкину, какъ потребность насущной пищи. Если бы мы не знали всей жизни и быта этого страннаго человѣка, котораго Гребневъ хотѣлъ поставить сторожемъ у открытаго сундука, когда бы вздумалъ размѣнять свои семь милліоновъ на лобанчики и ссыпать ихъ въ одну груду,—еслибъ не знать этого юродиваго, какъ себя, то должно бы полагать, что онъ самъ главный атаманъ всѣхъ шаекъ или, по крайней мѣрѣ, въ половинѣ со всѣми присосками разбойнаго, сыскного и продажнаго приказовъ. Но онъ былъ чистъ, какъ младенецъ. Онъ былъ жертвой обстоятельствъ, и спасительнымъ пристанищемъ его, вѣроятно, будетъ современемъ мѣстечко въ домѣ умалишенныхъ.

О, нехорошо тамъ, гдѣ бродятъ юродивые этого разбора, гдѣ осторожные обходятъ *безпокойнаго*, помѣшаннаго на чести, безкорыстіи, долгѣ и обязанности!... Несчастные межеумки, гонимые судьбой и людьми,

нестерпимые въ обществѣ, невыносимые для начальниковъ и подчиненныхъ, скажите, гдѣ ваше мѣсто въ мірѣ? Гдѣ кругъ вашего дѣйствія зачарованный, пропавшій и скрывшійся, какъ подъ шапкой-невидимой? Или въ самомъ дѣлѣ, народились вы безъ мѣста и безъ судьбы, безъ союзнаго звена, которое бы васъ связало съ необозримою цѣпью прочихъ созданій? Откуда же берется неумолчный потокъ вашихъ бичующихъ рѣчей? зачѣмъ глаза ваши блещутъ такимъ огнемъ, и губы дрожатъ? Больной ли мозгъ и нервы ихъ перекосили, или они хотѣли бы высказать намъ великую правду? Откуда берутся, наконецъ, эти незваные поборники правды, эти продавцы и выдавцы изнанки, эти мученики чести? Зачѣмъ они всегда выходятъ изъ среднихъ, или даже нисшихъ слоевъ общества и—и куда прикажите съ ними дѣваться?...

III.

РАЗСТРОЙСТВО

Гребневъ-сынъ, жившій въ пристройкѣ отцовскаго дома, полуодѣтый ходилъ съ безпокойствомъ по комнатѣ, нерѣшительно брался за платье и опять покидалъ его, будто говоря самъ себѣ въ отчаяніи: «Къ чему все это? все вздоръ, все напрасно! Удавиться, или бѣжать съ отцовскаго двора на вольный свѣтъ—вотъ что мнѣ осталось, болѣе ничего! И за что, Боже мой, за что? чѣмъ я это заслужилъ?»—и закрылъ лицо обѣими руками.

Дверь тихо отворилась, и вошла женщина въ простомъ платьѣ и большомъ, измаранномъ бумажномъ платкѣ.

— А! Афимья, — сказалъ Михайла, ободрившись нѣсколько:—что скажешь?

— Да что спросите, батюшка,—отвѣчала она скороговоркой:—пришла я не по щучьему велѣнью, сама такъ пришла; на рынокъ, признаться, иду, для кухни господской кой-что искупить, такъ я зашла поблагодарить васъ.

— Господь съ тобою моя милая,—перебилъ ее Михайло:—не въ чемъ тебѣ благодарить, а мнѣ не приходится этого слушать.

— Нѣтъ, батюшка, какъ же! ужъ воля ваша, позвольте: вѣдь вотъ, посмотрѣли бъ вы, какъ господа-те за васъ Богу молятъ; ужъ признаться, что я и на радостяхъ не утерпѣла, сдѣлала вчера ангелу своему супризъ, лампадку купила, а ужъ барышня-то, красная—извѣстно, дѣвичье дѣло, не то, чтобы она, то есть—ну, а ужъ васъ Господь надоумилъ, такъ что за вами, какъ за Богомъ спимъ, словно таки вотъ въ красные дни при покойномъ баринѣ... Вчера, батюшка, откупились вашею милостью и отъ этого, прости Господи, что все кричалъ: «кормовыя деньги внесу, а посажу»—и онъ подался теперь, смирно все слушалъ, денежки взялъ, хоть и не такъ велики, да обѣщалъ сождать... Анна Ивановна такъ вотъ свѣтъ увидѣла; Алена Юрьевна, барышня, все, вишь, вами величалась, да сперва разжалобила, а тамъ инно разсмѣшила барыню—такъ вотъ, ей Богу, сквозь слезы смѣялась сердечная.

Михайло надѣлъ между тѣмъ молча сюртукъ свой, взялъ шляпу, трость и только, когда онъ подошелъ къ дверямъ, которыя загородила собою Афимья, эта опомнилась, стала прощаться и спрашивать, не зайдетъ ли сегодня Михайло Гавриловичъ къ Голомянниновымъ?

— Не знаю,—отвѣчалъ тотъ разсѣянно:—кланяйся, увидимъ...

Онъ вышелъ, надѣвъ шляпу, и пошелъ прямо на Прѣсню.

Тамъ дядю встрѣтили дѣти и отвели къ своей матери, а его сестрѣ, сидѣвшей съ двумя штопальщицами за нѣсколькими половинками тонкаго сука. Изъ валяльни сукно всегда переходило въ ея руки. Поздоровавшись весело съ братомъ, она стала было продолжать работу свою, но, замѣтивъ по односложнымъ отвѣтамъ тревожное его состояніе, оставила все и вышла съ нимъ въ садъ.

— Что ты у меня опять хандришь?—сказала она, разглаживая у него волосы на лбу.

— Нѣтъ мочи, сестра; воля твоя. Это не житье, а каторга. Я все брошу и уйду, куда глаза глядятъ, будь Божья воля!

Маша испугалась нѣсколько, но старалась скрыть это и, лаская брата, просила его объясниться.

— Не дивно ли это,—сказалъ онъ:—отецъ нашъ одинъ изъ умнѣйшихъ, добрѣйшихъ и правдивѣйшихъ людей на Москвѣ, а между тѣмъ онъ меня гонитъ со свѣту, и мнѣ нѣтъ отъ него житья! У меня языкъ не поворачивается, сестра, не доставало доселѣ духу вымолвить это слово; но терпѣнье мое лопнуло, а сказанное слово не воробей—какъ отецъ говоритъ—выпустишь, такъ не поймаешь...

— Но, ради Бога, говори, что жъ случилось?

— Ничего, коли хочешь; все то же каждый Божій день—но капля камень долбитъ, и камень же отъ жара трескается. Ничего не случилось—все идетъ постарому, попрежнему; но старое это истязало меня до того, что и я, какъ камень, готовъ лопнуть. Какое мое житье? для чего, кому въ угоду, или на пользу живу я здѣсь? Я ли не признаю достоинствъ и благости моего отца? Но чѣмъ и какъ я ему это покажу? Сказать—онъ не повѣритъ, однимъ словомъ своимъ

засунетъ такую занозу, что она въ вѣкъ не выболитъ; я записанъ у него на черной доскѣ и—ты знаешь нравъ его—я уже теперь ничѣмъ не могу выслужиться. Молчать—я молчу; но кому же отъ этого легче? Желчь горькнетъ все болѣе у него и у меня, и дѣло чѣмъ-нибудь должно порѣшиться. Войду я въ контору—я иду туда со страхомъ и трепетомъ—и острое, ѣдкое словцо, вполголоса брошенное при служителяхъ нашихъ, возмутитъ мнѣ всю душу, и я спѣшу на просторъ. Тогда я ужъ кругомъ виноватъ—шатаюсь, вмѣсто того, чтобъ заниматься дѣломъ. Приду къ обѣду, къ чаю, иду, собравшись съ духомъ, спокойно и весело ему навстрѣчу — онъ встрѣчаетъ меня съ этою извинительною сухостью, или, какъ вчера, вопросомъ: «Тебя какими судьбами сюда занесло?» Что на это отвѣчать? какъ жить съ такимъ отцомъ въ одномъ домѣ, сидѣть день за день за одномъ съ нимъ столомъ? Отчего же онъ милостивъ, не только справедливъ, ко всѣмъ, къ домочадцамъ, къ сосѣдямъ и пріятелямъ, даже къ чужимъ? Отчего и за что я одинъ у него отверженъ и въ загонѣ?

Маша молчала и, глядя передъ себя, съ трудомъ удерживалась отъ слезъ.

— Послушай,—сказала она, рѣшивъ всѣ сомнѣнія свои съ обычною ей живостью:—послушай, Миша, ты меня любишь. Выслушай же меня. Отецъ нашъ добръ, при всей строгости своей, и справедливъ; недоразумѣніе между вами можно устранить: стоитъ только показать ему, что ты покорный сынъ, готовый во всемъ исполнить его волю, и что незаслуженный гнѣвъ его тебя убиваетъ. Поди къ нему, глазъ на глазъ скажи ему это, проси...

— Чего же я буду просить?—сказалъ Михайло въ сильномъ волненіи:—прощенія? въ чемъ? Если отецъ, со своимъ яснымъ, спокойнымъ и пронзительнымъ

взглядомъ спроситъ меня: въ чемъ же ты просишь у меня прощенія—что я буду отвѣчать? Но онъ даже и этого не сдѣлаетъ, онъ—сказать ли тебѣ, сестра, чѣмъ онъ меня встрѣтитъ... и тогда, тогда я не знаю, что надъ собою сдѣлаю... онъ спроситъ меня: «А кто это выдумалъ, сестра твоя, или мать?» Видишь ли, на какую встрѣчу ты меня посылаешь!...

— О нѣтъ, нѣтъ,—перебила его быстро сестра и кинулась ему на шею:—нѣтъ, ты огорченъ, а потому несправедливъ... я вижу, я понимаю горе твое; но успокойся, ради Бога, мы подумаемъ, посовѣтуемся—все перемелется, мука будетъ!

— Тлѣнъ будетъ, прахъ будетъ—а не мука; но долго и невыносимо тяжело этого ждать... власть Господня; я усталъ.

Иванъ Андреевичъ Шрейеръ, мужъ Маши, возвратившись съ фабрики своей, шелъ по длинной просади бесѣдующимъ навстрѣчу.

— Вотъ,—сказала Маша:—вотъ и онъ, онъ также пособитъ намъ обдумать и исправить это дѣло. Пойдемъ.

Она пересказала въ короткихъ словахъ мужу, что тутъ безъ него происходило. Иванъ Андреевичъ почмокалъ, покачалъ головой, опять почмокалъ и замѣтилъ наконецъ, что это не хорошо.

— Да это мы и безъ тебя знали,—сказала быстро Маша:—ты посовѣтуй намъ, что дѣлать, какъ поправить дѣло!

— Время и терпѣніе! — сказалъ, подумавъ, Иванъ Андреевичъ.

— И то, и другое было,—перебилъ Михайло: — да сплыло; его нѣтъ.

Иванъ Андреевичъ промычалъ, почмокалъ, покачалъ головой, опять замѣтилъ, что это не хорошо и, наконецъ, посовѣтовалъ почти то же, что Маша: объясниться съ отцомъ.

— И я то же говорю!—быстро подхватила Маша.

— Послушай, любезный другъ,—сказалъ Михайло, не желая въ нетерпѣніи и досадѣ повторять всего того, что онъ говорилъ сестрѣ:—мнѣ теперь, право, не до комедіи, но я въ такомъ безпомощномъ, отчаянномъ положеніи, что готовъ на все, лишь бы вы меня научили тому, чего я не понимаю, что я считаю невозможнымъ: склонить отца видѣть во мнѣ сына, а не врага. Извольте, я попираю всякое самолюбіе, всякое чувство собственнаго достойнства—я почти готовъ сказать: чувство чести—быть такъ; онъ во мнѣ поселилъ это чувство, я могу жертвовать имъ для него. Но коли вы взялись учить, такъ учите до конца: будь ты, Иванъ Андреевичъ, отверженецъ Миша, а я буду отецъ твой; помни, ты стоишь передъ Гавриломъ Степанычемъ Гребневымъ: говори!—и Миша отступилъ отъ него на два шага.

— Ты, въ самомъ дѣлѣ, хочешь разыграть комедію! — сказалъ Шрейеръ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ съ жаромъ Михайло:—видитъ Богъ, мнѣ не до того—никакой комедіи не хочу разыгрывать, хочу отнынѣ дѣйствовать прямо, чисто, честно; но требую, чтобъ вы совѣты свои подтвердили дѣломъ: говори; если ты сладишь съ отцомъ — то я приму совѣтъ вашъ. Говори, я готовъ: я желаю слушать, что ты будешь говорить. Ну!

Иванъ Андреевичъ взглянулъ на шурина и невольно сталъ одергиваться и оправляться.—Ну же!—сказала въ нетерпѣніи Маша, которой этотъ оборотъ бесѣды нравился, и толкнула мужа слегка двумя пальцами. Онъ откряхнулся, завертѣлъ немного головой, сложилъ передъ собой ладони накрестъ и началъ:—Ну, что жъ, я бы, напримѣръ, сказалъ такъ:

— Батюшка! съ нѣкотораго времени между нами сталось что-то недоброе—и видитъ Богъ, у меня нѣтъ

покоя отъ этого ни днемъ, ни ночью... Вы такъ добры, такъ добры ко всѣмъ, къ своимъ и чужимъ—ради Бога, не отвергните же сыновней мольбы... простите меня, если я сталъ передъ вами виноватъ...

— Ну, что жъ ты молчишь?—сказала въ нетерпѣніи своемъ Маша, тронутая до слезъ, и положила съ умоляющимъ взглядомъ обѣ руки свои на локоть брата.

— Оставь,—сказалъ онъ:—я дѣлаю свое, а вы свое. Продолжайте.

— Батюшка, простите меня, если я передъ вами виноватъ, и примите меня въ ваши отеческія объятія...

— Ну! — послышалось едва внятно со стороны Маши.

Михайло, уставивъ глаза на шурина, медленно проговорилъ:

— Кабы я вѣдалъ, гдѣ ты нынѣ обѣдалъ, зналъ бы я, чью ты пѣсню поешь.

— Нѣтъ,— перебила его Маша съ горячностью:— нѣтъ, это не то: вотъ отвѣтъ отцовскій, продолжала она, и кинулась, какъ съ дуба свалившись, мужу на шею и зарыдала.

Михайло отвернулся быстро, положилъ руки въ карманъ и пошелъ внизъ по просади. Обошедъ кругомъ, онъ скрылся, и Маша съ мужемъ не видали его болѣе. Въ безпокойствѣ прошелъ этотъ день. Маша сначала настоятельно требовала совѣта отъ мужа, а когда онъ промямкалъ что-то и сталъ отмалчиваться, то она сама, быстро сообразивъ все, рѣшилась дѣйствовать; а именно: собрать наскоро семейный совѣтъ, пригласить къ нему также мать и потомъ двинуться общими силами на отца, не давъ ему замѣтить, что это было условлено, и подвести дѣло такъ, чтобъ отпировать мировую. Маша была увѣрена, что этотъ Сулейкинъ, котораго она ненавидѣла и звала пожарной трещеткой, былъ всему злу причиной; но она до времени не могла придумать,

какъ его удалить отъ отца. Посмотримъ, подумала она, какъ лягутъ кости. Она также догадывалась, что въ этомъ дѣлѣ непремѣнно замѣшалось еще что-нибудь, о чемъ братъ ея не упомянулъ ни словомъ, и въ этомъ отношеніи она подозрѣвала привязанность его къ Голомининовымъ. Объ этомъ она также положила разузнать непремѣнно. Она написала тотчасъ же брату записку, заклиная его собраться съ послѣдними силами, потерпѣть только еще день, другой и ни въ какомъ случаѣ не рѣшаться на что-либо, не переговоривъ сперва еще разъ съ сестрой.

На другой день, подъ вечеръ Маша влетѣла веселенькая, какъ пташка, къ отцу и привезла съ собой про запасъ одного внучка. Она знала, что это въ подобныхъ случаяхъ можетъ быть полезно. Хотя и случалось иногда, что Маша заѣзжала къ отцу такимъ образомъ, но двухдневное отсутствіе сына изъ конторы и прибытіе съ Машей внучка какъ будто заставили его темно догадываться, о чемъ пойдетъ рѣчь: онъ былъ уже на сторожѣ. А когда черезъ четверть часа вошелъ Шрейеръ, который ѣздилъ куда-то по близости за дѣломъ и также заѣхалъ провѣдать тестя, то старикъ подумалъ: жена мужа не бьетъ, а подъ свой норовъ ведетъ. Продолжая весело бесѣдовать съ дѣтьми и взявъ внучка на колѣни, онъ безпрестанно оглядывался на дверь, будто еще кого-то ожидая; и какъ затѣмъ, дѣйствительно, дверь разстворилась, и Авдотья Ивановна вошла ровнымъ шагомъ и съ беззаботнымъ лицомъ, то Гаврило Степановичъ, въ знакъ исполненія ожиданій своихъ, кивнулъ ей привѣтливо головою. Никто, кромѣ Маши, не замѣтилъ этого движенія; но она почти поняла его и потому нѣсколько смутилась. Надобно кончить, подумала она, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; Иванъ Андреевичъ и безъ того сидитъ какъ-то самъ не свой, и маменька съ меня уже глазъ не сводитъ.

— Гдѣ же братъ?—сказала она:—мы всѣ нечаянно сошлись вмѣстѣ, сидимъ, какъ добрые семьяне у добраго дѣдушки—а брату бы и не продаваться съ нами?

— Коли вы съ нимъ не условились, — сказалъ Гаврило Степановичъ: — такъ, чай, не найдете его. У него свои радости. Иванъ Андреевичъ крякнулъ и тряхнулъ головой; Авдотья Ивановна вздохнула, сложила руки и опять взглянула на Машу, которая одна только за всѣхъ держалась хорошо и не смущалась.

— Отчего же такъ, батюшка?—сказала она:—о, вы не знаете, какъ онъ васъ любитъ, какъ бы онъ хотѣлъ заслужить вашу любовь и милость, еслибъ вы только...— и она приподняла своего малютку, поцѣловала его и поставила на дѣдушкины колѣни, повертывая ребенка въ бокъ и въ другой:—еслибъ вы только...

— Что?—спросилъ Гаврило Степановичъ:—покачать его, небось, на колѣняхъ, какъ вотъ этого хвата, какъ вотъ этого купчину— и захохоталъ, посадивъ ребенка верхомъ на одно колѣно, потомъ сталъ его быстро качать, приговаривая въ мѣру:—Замѣшался нашъ Михайло, что пестъ въ ложкахъ. Ни то, ни сё кипѣло, да и то, вишь, пригорѣло... на посулѣ, что на стулѣ, посидишь, да и встанешь... утки въ дудки, тараканы въ барабаны... умъ хорошъ, два лучше, а три хуже... быть было ненастье, да дождь помѣшалъ! Вотъ тебѣ и конецъ; сказалъ онъ, поцѣловавъ внучка, спустивъ его на полъ и вставъ со стула:—ты, Авдотья Ивановна,— продолжалъ онъ, замѣтивъ, что она хотѣла что-то сказать:—коли, можетъ статься, и твердо рѣчь свою противердила,—чайку бы намъ дала, душепарочку, такъ бы и Иванъ Андреевичъ открякнулся, а, вѣдь, онъ у насъ гость рѣдкій и дорогой. Ну, Маша, а что твои—какъ бишь ихъ... камелы, камела?

— Камеліи? О, принялись всѣ! — отвѣчала Маша, съ невозмущаемымъ спокойствіемъ, и была весь вечеръ

мила и весела, такъ что даже Иванъ Андреевичъ любовался женой; но она уже и не заикнулась болѣе о братѣ, несмотря ни на какіе подмиги матери, понявъ, что это надо оставить до другого случая.

Бѣдный Михайло былъ дома въ это время, какъ Маша очень хорошо знала; иначе, она, конечно, бы и не предлагала позвать его—но и онъ положилъ безъ зову не ходить и потому просидѣлъ въ покояхъ своихъ одинъ, все время пока сестра съ зятемъ были у отца. Тоска и нетерпѣніе его достигли высшей степени. Послѣ безсонной, мучительной ночи онъ съ утра сталъ готовиться въ путь, надѣясь черезъ два, три дня выѣхать. Куда—это было ему все равно, на просторъ; Москва ему была тѣсна; она, вопреки пословицѣ, передъ нимъ клиномъ сошлась.

На Прѣснѣ день этотъ также, повидимому, сулилъ мало добраго. Маша, озабоченная неудачею попытки своей и участью брата, проговорила объ этомъ съ мужемъ своимъ до поздней ночи и проснулась съ тяжелой головой. Шрейеръ, отъ котораго она требовала совѣта, оставался при основательномъ мнѣніи своемъ, что тутъ со стороны пособить очень трудно. Надѣясь вечеромъ увидаться съ братомъ, Маша считала въ нетерпѣніи часы и была въ большомъ по немъ безпокойствѣ. Около обѣда неожиданно вошелъ старый слуга Гребневыхъ; она бросилась ему навстрѣчу, полагая получить отъ брата записку, но озабоченное лицо старика заставило ее остановиться, а вѣсти его были неутѣшительны: видя, что между молодымъ и старымъ бариномъ дѣлается что-то недоброе, старикъ пришелъ облегчить свою грусть и разсказать, между прочимъ, Марьѣ Гавриловнѣ, что Михайло Гавриловичъ не спалъ ночь, а съ утра сталъ укладываться куда-то въ дорогу. Увидѣвъ, что братъ не шутитъ, Маша рѣшилась немедленно открыть все отцу,

надѣясь его этимъ тронуть и образумить. Поговоривъ съ мужемъ, который не зналъ, совѣтовать ли ей что, или отсовѣтовать, она тотчасъ же отправилась къ отцу. На этотъ разъ, она все взяла на себя.

Вошедши напередъ къ матери, она застала ее въ слезахъ и съ большимъ вниманіемъ выслушала подробный разсказъ ея о томъ, что и какъ случилось; но чтобъ не наскучить читателю жалобами и повтореніями старухи, мы разскажемъ все это по своему. Узнавъ черезъ людей о сборахъ сына, Авдотья Ивановна испугалась этого такъ, что позабыла всѣ свои обычныя предосторожности, а пошла напрямикъ къ Гаврилѣ Степановичу и разсказала со вздохами и плачемъ, что у нихъ въ домѣ дѣлается, умоляя его сжалиться и смиловаться надъ единороднымъ и единоутробнымъ ихъ дѣтищемъ. Она полагала озадачить старика неожиданною и ужасною въ глазахъ ея вѣстью, что-де сынъ вынужденъ бѣжать отъ отца, но вышло совсѣмъ иначе. Гаврило Степановичъ сказалъ только: «А что жъ, Авдотья Ивановна: вѣдь, онъ у насъ уже не отрокъ; съ Богомъ, какъ самъ знаетъ». У Авдотьи Ивановны опустились руки, и она чуть не обомлѣла. «Матушка», продолжалъ Гаврило Степановичъ: «успокойся; сынъ твой, признаюсь тебѣ по правдѣ, совсѣмъ не глупо это придумалъ; отчего же ему не проѣздиться? Съ Богомъ, и мое ему благословеніе на путь-дорожку. Рыба ищетъ гдѣ глубже, человѣкъ— гдѣ лучше; пусть поглядитъ на свѣтъ и себя покажетъ».

Часъ спустя, Гаврило Степановичъ — небывалая вещь—вдругъ самъ отправился къ сыну, который укладывался, еще и самъ не зная, какъ, куда и когда онъ уѣдетъ, и потому былъ до крайности пораженъ явленіемъ отца.

— Здравствуй, Миша!—сказалъ старикъ, и сѣлъ

на диванъ, между раскиданными вещами, бумагами и чемоданами: — Я слышу, ты хочешь проѣхаться: знаешь ли? это ты вздумалъ не безпутное. Я, признаться, давно уже хотѣлъ было спросить тебя, что-де, не съѣздить ли тебѣ туда-сюда? это дѣло доброе, нашему брату полезное. Что это у тебя, вонъ на окнѣ, какая штука?

— Это дорожная баклажка!—сказалъ растерявшійся Михайло.

— А мнѣ покажись отсюда пузырь какой-то! — продолжалъ спокойно Гребневъ:—Ну, куда же ты думаешь ѣхать?

Михайло позамялся; его положеніе было очень странно и неловко.

— Я думалъ,—сказалъ онъ:—если вы меня отпустите, съѣздить къ дядѣ.

— Чего къ дядѣ, два девяносто верстъ ни сборонъ, ни подъему не стоятъ! Дядя дядей; хочешь, такъ провѣдай его, это твоя воля; а коли хочешь меня, старика, послушать, такъ вотъ тебѣ трактъ: въ Питеръ ступай, оттуда на Рыбинскъ и Ярославль, въ Нижній, какъ разъ поспѣешь къ ярмаркѣ: затрудять тебя тамъ не стану я, дѣла не навалю, а немножко оглянешься таки; я думаю, хоть присмотришь, какъ что идетъ, мѣшай дѣло съ бездѣльемъ, съ ума не сойдешь, объ этомъ еще переговоримъ; а вотъ какъ у насъ съ тобой что есть, то вмѣстѣ, а чего нѣтъ пополамъ, то вотъ тебѣ и дорожный запасъ, пачка зайчиковъ.

Съ этимъ словомъ онъ положилъ пукъ ассигнацій на столъ, а самъ привсталъ.

Михайла прошибла слеза: онъ схватилъ отца за руку, не могши ничего болѣе выговорить, а Гаврило Степановичъ понатянулъ мышцы руки этой, какъ будто желая удержать сына въ нѣкоторомъ отъ себя разстояніи.

— За обѣдомъ—ты придешь сегодня обѣдать?—за обѣдомъ,—продолжалъ онъ:—потолкуемъ еще, да и скажешь мнѣ, когда думаешь выѣхать. Въ контору на твое мѣсто пока сядетъ Семенъ Ивановичъ. Ну, до свиданія.

Что оставалось дѣлать Машѣ? Опомнившись отъ перваго удивленія и выслушавъ разсказъ матери и брата, она старалась успокоить первую, сколько могла, а сама приняла веселый и безпечный видъ, убѣждая ее, что лучшей развязки нельзя было ожидать, хотя она и сама видѣла, что это еще не развязка, по крайней мѣрѣ, неокончательная. Она уѣхала домой и обрадовала разсказомъ своимъ Ивана Андреевича, который былъ очень доволенъ поступкомъ тестя. Но Михайло былъ поставленъ въ какое-то незавидное положеніе и упалъ духомъ. Видно было, что, кромѣ неожиданнаго и страннаго оборота, который приняло намѣреніе его бѣжать изъ отцовскаго дома, еще и другое и притомъ не менѣе задушевное обстоятельство приводило его въ это отчаянное положеніе. Походивъ съ безпокойствомъ по комнатѣ, припомнивъ и передумавъ, повидимому, многое, бросивъ взглядъ на будущность свою съ безнадежной точки настоящаго, оглядѣвъ еще разъ съ какимъ-то негодованіемъ приготовленія свои къ отъѣзду, Михайло, наконецъ, въ изнеможеніи кинулся ничкомъ на свою постель и долго пролежалъ въ этомъ положеніи.

IV.

БЕСѢДА.

Покончивъ это дѣло, Гребневъ-отецъ воротился къ себѣ наверхъ и былъ весь день такъ веселъ и спокоенъ, что Авдотья Ивановна не могла этому нади-

виться. Она собралась съ духомъ, скрѣпила сердце свое, въ угоду Гаврилѣ Степановичу, и, ухаживая за нимъ, придумывала разныя очень хитрыя и ловкія мѣры, то чтобъ склонить его удержать сына и помириться съ нимъ, то чтобъ вывѣдать смыслъ загадочнаго для нея образа дѣйствій мужа; но у нея на сегодняшній день недоставало духа исполнить хотя одно только изъ этихъ хитро придуманныхъ предположеній, которыя, впрочемъ, всѣ были необыкновенно многосложны и запутаны. Старикъ, повидимому, не замѣчалъ ничего, былъ веселъ, разговорчивъ и любезенъ.

Къ вечеру зашелъ и заѣхалъ кой-кто изъ пріятелей Гребнева—люди торговые, но не все первой руки, а кто съ дѣльцемъ, кто съ просьбицей, кто провѣдать. Былъ тутъ, впрочемъ, и Сулейкинъ, который не миновалъ старика, если по Москвѣ ходили какія-нибудь вѣсти или новости, а всегда являлся съ ними первый.

Одинъ изъ гостей сталъ жаловаться на всеобщую бѣдность. Гаврило Степановичъ былъ этотъ вечеръ въ духѣ, и ему захотѣлось высказать задушевныя убѣжденія свои.

— А что за такой звѣрь бѣдность?—спросилъ онъ: —и что за звѣрь богатство?

Вопросъ этотъ простили старику ради странности, всѣ согласились, что это недостатокъ и обиліе денегъ, то есть, звонкой монеты, или, пожалуй, если кредитъ обезпеченъ, денежныхъ знаковъ.

— Ну, а я бы тебя обсыпалъ золотомъ — сказалъ старикъ:—да посадилъ бы на Ивана Великаго, да чтобъ къ тебѣ никому ни ходу, ни лазу не было, что тогда твое богатство?

Собесѣдники разсмѣялись и согласились, что оно бы и гроша не стоило.

— Ну, а пустилъ бы я тебя съ нимъ къ такимъ чувашамъ, которымъ золота твоего не нужно, не стали бы брать его даромъ, и не дали бы тебѣ за него не иглы, ни кафтана, ни хлѣба? Ну, а жилъ бы ты съ золотомъ своимъ и между людьми, да стали бы они править съ тебя за аршинъ сукна милліонъ, за сапожишки два, а хлѣбъ былъ бы на вѣсъ золота? Стало быть, не въ одномъ золотѣ сила!.. Тебѣ понадобились лучшія сельди; на Москвѣ дай за нихъ, за два десятка, три цѣлковыхъ; а пойди на мѣсто, тамъ болѣе полтины серебра не возьмутъ съ тебя. Стало быть, богатство — это обиліе, избытокъ *вещей*, а не денегъ. Чего много въ привозѣ—то дешево, тѣмъ каждый изъ насъ богатъ; чего мало—то дорого, тѣмъ мы бѣдны. Вотъ, по моему, обиліе и нищета, а не деньги.

«Пойдемъ дальше: по ниткѣ дойдетъ до клубка. Ты жалуешься, что много денегъ за границу идетъ, что мы у людей покупаемъ много на наличныя деньги, а они у насъ мало, и что отъ этого торговый балансъ бываетъ не такъ-то выгоденъ. Поглядимъ.

«Человѣкъ, какъ онъ созданъ Богомъ, не суконщикъ, не сахаровръ, не портной, но онъ все вмѣстѣ: самъ пашетъ, самъ оретъ, самъ и денежки беретъ; всякую потребу дѣлаетъ и добываетъ онъ самъ. Какъ только попущеніемъ Господнимъ расплодились люди, то одинъ, которому досталось мѣсто сподручное для поливки, сталъ огородничать; другой, которому достался вязовой лѣсокъ, сталъ дуги гнуть; третій полюбилъ сапожное ремесло; четвертый принялся за портняжное, и т. д. Кто за что взялся, то тому и сподручнѣе; дѣло мастера боится — вотъ ужъ всякому и не приходится все на себя работать самому, а сходнѣе за размѣнъ приняться; я сѣю хлѣбъ: Богъ далъ избытокъ, а хлѣбъ ѣдятъ всѣ,— мѣняю на хлѣбъ и сапоги, и кафтанъ, и

дугу. Коли у меня сапожникъ зазнается, понадѣется на то, что онъ одинъ, да запроситъ за пару сапогъ не въ мочь и не въ мѣру, то есть, болѣе того, чего стоитъ трудъ его, то мы поглядимъ не него, да не боги и горшки обжигаютъ, кто-нибудь изъ насъ и примется самъ тачать, и собьютъ спѣсь съ него. На рынкѣ два дурака: одинъ дорого проситъ, другой дешево даетъ, да цѣну устанавливаетъ Богъ: цѣна по труду; изрѣдка только удается нашему брату, какъ вотъ, моему сапожнику, сорвать побольше, коли этого товара на рынкѣ мало, а запросъ великъ, да и то — куй пока горячо, скоро подоспѣютъ другіе.

«Теперь, братцы мои, сошлись мы на томъ, что въ торговомъ дѣлѣ два дурака и у каждаго свои выгоды; одинъ говоритъ: перородъ хуже недороду, потому что ему нужно мало въ привозѣ, много въ запросѣ; другой хочетъ, чтобъ было хоть въ мошнѣ пусто, да въ привозѣ густо. Сапожникъ молитъ Бога, чтобъ никто, опричь его, не шилъ сапоговъ; мы съ тобой, Кондратьичъ, чтобъ намъ однимъ торговать хлѣбомъ да желѣзомъ, а прочимъ инымъ, чѣмъ угодно; гробовщику урожай, когда люди мрутъ; но покупателю нѣтъ до насъ нужды: всякій норовитъ купить дешевле и желаетъ многаго состязанія такъ же, какъ живой человѣкъ, въ угоду гробовщику, умѣреть не хочетъ. Кто же правъ? Живой человѣкъ, или гробовщикъ? а то же самое надо сказать и о всякомъ промышленникѣ, все одно; жаловаться на избытокъ и дешевизну сукна, потому-де, что суконщикамъ плохо — это значитъ: дома не здорово, тараканъ въ сучкѣ ногу увязилъ. Не для суконщика свѣтъ стоитъ, а суконщикъ для свѣта; стало быть, нельзя бояться избытка товара; все одно, отколѣ бы онъ ни пришелъ; что больше будутъ насъ имъ заваливать, то и лучше, тѣмъ богаче мы будемъ. Мы съ тобой себѣ на умѣ, Кондратьичъ, а просимъ мы, воля

твоя, не христолюбивое: запрети привозъ изъ-за моря, чтобъ брали товаръ у насъ; да что же мірянъ обижать? тебѣ руки погрѣть, а имъ уши отморозить? Запретить привозъ—запретить обиліе и поселить нищету.

«Вы молчите, стало быть, не спорите и подаетесь на то, что обиліе—это богатство; а большой привозъ, хоть бы тебѣ изъ лукоморья, хоть изъ-за тридевять земель—то же обиліе, то же мірское богатство. А міръ великое дѣло; гласъ народа—гласъ Божій; выгода и польза государства есть и наша. Коли каждому изъ насъ выгоднѣе отвезти за границу, по нашимъ цѣнамъ, на сто тысячъ, а привезти за это на двѣсти, то это будетъ выгоднѣе и государству, хоть торговый балансъ говоритъ, что мы отправили за море на двадцать милліоновъ, а взяли оттуда на тридцать, и что, стало быть дѣло невыгодно; пошло, видно, десять милліоновъ наличныхъ денегъ за море. Какъ же тутъ быть? поправить не долго; всѣ мы за себя и за матушку Русь постоимъ горой, добра не пожалѣемъ; быть такъ—сложимся всѣ, нагрузимъ корабль товарами еще на двадцать милліоновъ, отправимъ его по милости Харичкова, куда глаза глядятъ, лишь бы съ глазъ долой, да и вывалимъ товаръ въ Нѣмецкое море: вотъ мы, Кондратьичъ, и поправили торговый это балансъ: вывезли на сорокъ милліоновъ, а привезли только на тридцать!.. Вотъ я васъ и накрылъ мокрымъ рядномъ!—прибавилъ старикъ, захохотавъ, когда на лицѣ собесѣдниковъ выразилось отчаянное недоумѣніе. Пойдемъ дальше!—прибавилъ онъ!—по ниткѣ до клуба дойдемъ.

«Создатель съ насъ ничего не беретъ за лѣсъ, который онъ выростилъ, за крупчовую руду въ горахъ, за рыбу въ водахъ: все наше и даромъ наше, только бери. Въ подполѣ-подпольѣ стоитъ пирогъ съ морковью—ѣсть-то хочется, да лѣзть не хочется—вѣдь взять-то, на это время нужно и трудъ: вотъ что дорого! Надо

лѣсъ выбрать, да подсѣчь его, да послѣ срубить, привезти—вотъ мы за что платимъ, а не за бревно; цѣни это бревно по надобности въ немъ—такъ его не купишь на вѣсъ золота. А хлѣбъ? Да изъ золота и зерна не вымолочишь, а безъ хлѣба всѣ мы пропали.

«Стало быть, братцы мои, трудъ, работа, ремесло—рождаются изъ потребы, потому что на всякую потребу есть помѣха, запятая. Хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ, а брюхо за хлѣбомъ. Всякую потребу, протянувъ руку съ мѣста, не добудешь; подлѣ избы грибки не ростутъ, а поди нарѣжь лозы, сплети вершу, поставь ее умѣючи на стержнѣ, зная, что рыба противъ воды идетъ, да опять поди достань изъ нея рыбу—да тогда и поѣшь ушицы. Да и то погоди: въ сухомятку ея не съѣшь; надо ее очистить, приготовить, сварить — и это либо самъ сдѣлай, либо дай за трудъ другому то, что взялъ съ третьяго за свой трудъ; вотъ она гдѣ, круговая-то порука!

«Глядите жъ: ремесло, либо промыслъ строится не по щучьему велѣнью, а тамъ, гдѣ ему потреба: это трудъ, услуга, одолѣніе помѣхи на общую пользу; вотъ почему ремесло и хлѣбъ не даромъ ѣстъ—и хлѣба не проситъ, а съ нимъ добро. Теперь, что жъ бы вы сказали на это, если бы я вотъ съ своимъ кирпичнымъ заводомъ сталъ просить: запретите людямъ, кто строится, брать дикій бутовой камень, велите имъ бутить моимъ кирпичомъ? А сапожникъ оказалъ бы: не велите людямъ на волочкахъ ѣздить, прикажите имъ пѣши ходить; я-де тружусь, мое ремесло дѣло нужное, полезное, а харчи нынѣ дорогіе, такъ поддержите меня! Да чорта ли въ твоемъ ремеслѣ, если оно само не держится? Закрой кирпичный заводъ, если не выгодно, брось тачать сапоги, берись за другое дѣло, а нѣтъ такъ пропадай ты одинъ, а со всѣхъ насъ оброку не собирай. Мартышка у дѣдушки Крылова умаялась, колоду катавши, да спа-

сиба ей нѣтъ ни отъ кого; трудъ за трудъ, услуга за услугу, а чорту батракъ—съ него и проси на труды!

«Промыслы состроились для нашего раздолья; гдѣ помѣха потребѣ моей, тамъ и выросло ремесло. Такъ неужто строить помѣхи, здорово живешь, перечить тому, что Богъ далъ, да кормить ремесло? Пожалуй, давайте: тогда надо напередъ всего просить начальство, чтобъ дорогъ не дѣлать, каналовъ не копать, пороговъ не рвать: что больше помѣхъ, то больше наживы рабочимъ... Тогда ломай и жги все, что называется машиной, она хлѣбъ отбиваетъ у людей; пряди въ ручную на самопрялкѣ, мельницы жги, мели въ ручную на татарскомъ жерновкѣ... Тогда братцы мои, не надо намъ паруса, не надо и подавно пара—повеземъ все гужомъ; а подумавши, и гужъ бросимъ, возьмемъ вьюкъ, да и вьюка не надо, а примемся за носилку, не то станемъ все таскать охабкой, да пригорстью; это выгоднѣе будетъ рабочимъ, прокормитъ много людей... всѣ мы обнищаемъ тогда, это правда: что было дешево, будетъ дорого; запросу будетъ много, привозу мало—словомъ, будетъ бѣдность, нищета... да хоть и рыло въ крови—а наша взяла!

«Вотъ оно куда пошло, братцы мои! вотъ онъ каковъ, клубочекъ-то! Доискались, что-ли?

«Что работа съ плечъ, то человѣку легче; не работа по себѣ богатитъ, а работа путная; мартышкѣ нѣтъ спасиба, а есть исполать крестьянину. Работа не цѣль, а средство, можно обойтись безъ него—намъ же легче; а работа пойдетъ на другое дѣло, объ этомъ не заботься. Если одну половину народа заставишь воду толочь, а другую половину кормить за это толкуновъ—такъ это что будетъ?...»

— Хорошо все это,—сказалъ Кондратьичъ:—да только вотъ что, Гаврило Степановичъ, чужого-то не пускать, чтобъ свое въ ходъ пошло; на что намъ

чужое? У насъ есть все свое, поддержи только своихъ!

— Коли намъ чужое не нужно,—началъ опять Гребневъ:—такъ мы его и сами брать не станемъ и возить его къ намъ не будутъ; почему не возятъ къ намъ воловьихъ шкуръ, сала и дегтя? Торговлѣ Богъ пути кажетъ; она ихъ найдетъ, ты только не мѣшай; прочищать прочищай дорожку, гдѣ только можно облегчить трудъ человѣческій, все это ростъ на твой истинникъ, а препоны не клади нигдѣ, ни запрету; запретъ не поддержка, а верига; поддержать одного—угнести всѣхъ. Что тебѣ до межи, до грани, черезъ которую ты не хочешь пускать товаръ? Межа—дѣло государево, а люди и тутъ, и тамъ одни, и пользы ихъ однѣ. Ну, вотъ тебѣ примѣръ: положимъ, Бельгія земля голландская; владѣетъ ею тотъ же голландскій король. Тогда, говорятъ, для поддержки торговли своей, бельгійской, надо французскую границу обложить запретомъ. Вдругъ перешла Бельгія къ французамъ; владѣетъ ею, стало быть, французскій король—что жъ, развѣ отъ этого, что сталъ другой король, и выгоды, и пользы обывателей не тѣ, что были вчера? Нѣтъ, говорятъ, не тѣ; теперь Бельгія и Франція подъ одной рукой, такъ будь между ними, для ихъ же пользы торговля свободная, а чтобъ не нажить грѣха отъ голландцевъ, чтобъ они не завалили рынковъ своимъ товаромъ, такъ положи запретъ на голландскую границу... Эка дичь! Да какая жъ и кому бѣда, коли голланы завалятъ рынки свои товаромъ? Товаръ будетъ дешевъ, деньги дороги, потому что будетъ много привоза и меньше спроса, стало быть, будетъ въ народѣ обилiе, избытокъ, богатство!

«А твоя поддержка своихъ, нешто это не та же голодуха вмѣсто сытости? Въ Серпуховѣ, вонъ трое портныхъ, да и тѣ плохи, да много вина пьютъ, да

дорого берутъ за прикладъ и работу; кому сподручно, шьютъ, сказываютъ, одежду въ Москвѣ; тутъ и легче и дешевле: такъ они, вишь, просьбу подаютъ, чтобъ серпуховцамъ приказано было не отдавать на Москву, а ради поддержки своихъ портныхъ, хоть дери они, что хотятъ, шить у нихъ? А какая жъ благодать матушкѣ-Россіи отъ серпуховскихъ портныхъ? Придетъ такое время, что сходнѣе будетъ шить дома—мужикъ хоть и сѣръ, а умъ у него не волкъ съѣлъ, самъ догадается, въ Москву не поѣдетъ; а сходнѣе брать одежду на Москвѣ, кому это помѣха? Если мнѣ такъ сходнѣе, то я отъ этого богатѣю, а царево богатство въ нашихъ рукахъ; народъ богатъ—и царь богатъ, и царство богато. Выгода потребителя—выгода общая; барышъ промыслового—капля въ морѣ. Не миновать того промысловому, что жить на нашъ счетъ по круговой порукѣ; да живи онъ, какъ Богъ велѣлъ, бери по мѣрѣ труда и пользы—само придетъ; а для него оброкомъ не облагать стать: этимъ народъ не разживется».

— Истинно такъ, Гаврило Степановичъ,—отозвался Сулейкинъ:—только что сырыя произведенія не должно выпускать, убыточны-съ; это зло-съ; сырыя произведенія отдадимъ—чужія руки обработаютъ, везутъ назадъ-съ, да съ насъ же денежки берутъ; за свое же добро да имъ же челомъ!

— Не поймавъ, да щиплешь, Филиппъ Егорычъ; не о всякую пору съ тобой потягаться можно; ты лбомъ въ стѣну бьешь—рѣзовъ больно; а коли рѣчь твоя будетъ впереди, такъ давай потолкуемъ. Ты меня прямо на клубокъ-то и ведешь.

«Что за такія за сырыя произведенія? Сыръ крупецъ въ землѣ, да оглобля на деревѣ—да и то тогда, коли дерево далось тебѣ безъ уходу, безъ расходу. *Всякому* труду по заслугамъ—безъ этого не было бы

и труда, ни купли, ни продажи. Нешто воловья шкура сырой товаръ? Нешто сало сырой товаръ, и деготь, и мачтовый лѣсъ? Я купилъ на свою добрую деньгу скота, купилъ луга, косилъ траву, либо платилъ за это работникамъ, нанималъ пастуха, самъ ходилъ да приглядывалъ, кормилъ и ростилъ приплодъ, погналъ въ отгонъ, убилъ, снялъ шкуру, берегъ ее отъ гнили и моли, продалъ мясо, вытопилъ сало, слилъ въ кутыри, платилъ за складку, за провозъ, за доставку—черезъ сколько рукъ все это прошло—столько было и поживы; трудъ, время, умъ, смѣтка, положенный капиталъ—все пошло въ расчетъ, и англичанинъ не погрузитъ у меня ни одной шкурки, доколѣ не заплатитъ мнѣ за все. Гдѣ же твой сырой товаръ? изъ шкуры можно выдѣлать кожу такъ и сякъ, на сто ладовъ; можно еще и кожу всю на ремни изрѣзать, да надѣлать хлыстовъ, либо арапниковъ; можно всю ее изрѣзать на корешки, да переплести ею книги; мало ли что можно: да выгодно ли мнѣ этимъ заняться? Я взялъ на сырой кожѣ, съ учетомъ труда и всего прочаго, 15 со ста; заставь меня наточать изъ нея сапоги—я долженъ продать въ убытокъ; вонъ, поди, потягайся съ кимряками, да поставь сапожную работу по ихъ цѣнѣ; а не поставишь, такъ доплатишь. Сосѣдка моя держитъ три коровки, да продастъ молочко: чего жъ ты глядишь? что ты ей не запечатываешь хлѣва? пусть дѣлаетъ голландскій сыръ; хоть по пальцамъ раскинемъ, такъ выгоднѣе будетъ!

«Нѣтъ, другъ любезный, сырого товара нѣтъ. И молочко въ коровкѣ переварилось, а труда хозяйскаго было не мало, поколѣ онъ коровку свою выростилъ да прокормилъ. Зачѣмъ возятъ къ намъ на Москву свѣчи и мыло изъ Казани, да чуть ли еще и не изъ Вологды? Стало быть, есть выгода, и выгода не одному тому, кто продаетъ, а и тому, кто покупаетъ,

потребителю; а потребитель — народъ, вся земля. Продавъ воловью шкуру, изъ которой выйдетъ 20 паръ сапоговъ, я за выручку покупаю одну пару — да все мнѣ это выгоднѣе, чѣмъ выдѣлать кожу самому, либо держать на это своего скорняка, либо кожевника, да шить самому на себя сапоги. Мнѣ выгодно — стало быть, я этимъ наживаюсь; а если я богатѣю, такъ это добро и государству нашему; оно стоитъ и красится міромъ, людьми.

«Для чего продаю я кожи свои англичанамъ? Мнѣ выгоднѣе—они дороже даютъ; заплати мнѣ въ Москвѣ ту же цѣну, я не пошлю ихъ въ Питеръ. Что же будетъ, коли ты запретишь мнѣ продавать англичанамъ? Я продамъ ихъ поневолѣ дома, возьму за нихъ дешево, продамъ въ убытокъ, обѣднѣю, брошу этотъ промыслъ: разводи скотъ, кто хочетъ, а мнѣ невыгодно. Какая жъ въ этомъ будетъ польза государству? гдѣ тутъ общее благо?

«То же станется, Филиппъ Егорычъ, коли ты запрешь калитку изъ заморья да не пустишь сюда товаръ выдѣланный. Зачѣмъ ты, первый ревнитель общаго блага, купилъ и носишь на часахъ цѣпочку французскую? Она дрянь; ей и всего-то цѣна пять алтынъ—да отчего же ты не далъ ихъ заработать русскому?»

— Отчего?—сказалъ Сулейкинъ, вытаращивъ глаза и вытянувшись въ струнку: — да оттого, что у насъ не дѣлаютъ ихъ.

— Какъ не дѣлаютъ! Что ты говоришь? Закажи, сдѣлаютъ: за деньги все найдешь, кромѣ птичьяго молока.

— Заказать-съ, да... заказать; на заказъ, то есть, дорого будетъ!—отвѣчалъ тотъ, поигрывая цѣпочкой.

— А! вотъ оно что!—закричалъ Гребневъ:—дорого! Небось, и тебѣ своя подоплёка ближе чужой! Вотъ

въ томъ-то и дѣло; у насъ есть и свой товаръ такой костромской работы, такъ не утаишь грѣха, что больно плохо; а захоти хорошаго — несходно. Коли мнѣ дома купить убыточно, такъ кому же барышъ отъ этого, неужто всему царству? Нѣтъ, одному только мастеру тому, который исплошилъ меня на прихоти моей. А коли мнѣ купить изъ-за моря сходнѣй, такъ стало быть, у меня лишняя копѣйка въ карманѣ осталась, я тѣми же деньгами изворочусь еще на другое дѣло, я сталъ зажиточнѣе — мнѣ добро, а никому нѣтъ худа. На чемъ ни сойдемся, Филиппъ Егоровичъ, а ужъ холодёна моя: какъ ни верти, а правда тутъ, какъ тутъ».

V.

РАЗДУМЬЕ.

День этотъ кончился, покинувъ всѣхъ, кромѣ самого Гаврила Степановича, въ крайнемъ недоумѣніи. Всѣ ждали большихъ тревогъ и переворотовъ, и все кончилось—если это можно назвать концомъ—тихо и мирно; старикъ былъ такъ спокоенъ и веселъ, какъ будто не бывало никакихъ семейныхъ раздоровъ, а, напротивъ, будто теперь все пришло въ желаемый порядокъ. Гребневъ-сынъ заперся въ своей комнатѣ, и люди увѣряли, что онъ боленъ; Маша неотступно приставала къ мужу, требуя совѣтовъ и задавая ему каждую четверть часа по новому пріему плановъ и предположеній, а Шрейеръ подергивалъ головой, пожималъ плечами и, видимо, уклонялся отъ прямого и положительнаго совѣта, чѣмъ окончательно выводилъ жену свою изъ терпѣнія. Авдотья Ивановна растерялась вовсе, не знала, жаловаться ли ей на бѣдствен-

ную судьбу свою и на испытаніе, которое Господь Богъ по благости своей насылаетъ, или молчать и быть довольною тѣмъ, что и какъ есть; ей казалось иногда, что всякая достойная мать и благоразумная супруга расплылась бы, на ея мѣстѣ, въ слезахъ и стала бы вопить на весь домъ, но у нея не доставало смѣлости на это, она робѣла при одной мысли о Гаврилѣ Степановичѣ и не чувствовала въ себѣ столько силы, чтобъ выдержать при немъ съ надлежащимъ достоинствомъ такое поведеніе. Подумавъ немного, она рѣшилась принять видъ двусмысленный, ни къ чему не обязывающій, то есть, вздыхать по временамъ, покачивая головой, но молчать и выжидать, подготовляя, впрочемъ, къ первому удобному случаю нѣсколько невинныхъ хитростей, которыми она, какъ намъ уже извѣстно, изворачивалась вообще довольно удачно.

Поутру слѣдующаго дня Михайло Гребневъ вышелъ изъ добровольнаго заточенія своего, блѣдный, разстроенный, но спокойный и рѣшительный. Онъ пошелъ со двора, часа черезъ два воротился, пошелъ къ отцу просить позволенія ѣхать сегодня, зашелъ также переговорить словцо съ матерью и послалъ за лошадьми.

Разговоръ съ Авдотьей Ивановной, впрочемъ, какъ-то не клеился; она съ трудомъ удерживалась отъ плача и смотрѣла на сына съ какимъ-то состраданіемъ и недоумѣніемъ: ей вотъ такъ и хотѣлось пуститься на причитанья, но, оглянувшись на дверь, въ которую каждую минуту могъ явиться Гаврило Степановичъ, она нѣмѣла, заправляла чувства свои глубокимъ вздохомъ и безпокойно похаживала, будто за дѣломъ, отъ окна къ шкафу, а отъ шкафа къ комоду. Даже сыну, Михаилѣ Гавриловичу, сдѣлалось какъ-то неловко, и онъ вскорѣ вышелъ.

Лошадей привели, колокольчикъ съ припутанымъ

язычкомъ началъ глухо побрякивать; въ домѣ Гребнева сдѣлалась какая-то необычайная тревога и суета; но когда хозяинъ явился у окна, то спокойный и чинный видъ его, какъ будто электрической искрой пробѣжалъ по всему дому и сообщилъ всѣмъ обывателямъ его; даже Михайло, возившійся въ своей комнатѣ съ чемоданами, самъ не зная отчего, остановился, взглянулъ въ окно черезъ дворъ, увидѣлъ отца и молча, съ глубокимъ вздохомъ принялся опять тихо за свое дѣло.

Наконецъ все было уложено; Михайло пошелъ проститься. Отецъ встрѣтилъ его спокойно и весело, будто ничего не бывало, обнялъ и благословилъ его; мать была въ крайнемъ недоумѣніи, не зная уже вовсе, какъ ей быть и что дѣлать; но вѣковая привычка безусловнаго повиновенія Гаврилѣ Степановичу взяла верхъ; Авдотья Ивановна чинно и степенно послѣдовала его примѣру, хотя ей все еще казалось, будто передъ нею дѣется какая-то дурная шутка, и оба родимые ея, мужъ и сынъ, одумаются и покончатъ дѣло это внезапной мировой. Въ этой надеждѣ только она и рѣшилась схитрить, то есть, удержаться въ самыхъ чинныхъ границахъ и показаться спокойною и довольною; но когда все это не повело ни къ чему, а Миша сѣлъ и повозка покатила со двора, то Авдотью Ивановну почти унесли на рукахъ въ ея покои. Она впослѣдствіи долго не могла простить себѣ, что схитрила такъ неудачно. Съ сестрой и зятемъ Миша простился наканунѣ; но тѣ, не вѣря столь скорому отъѣзду его, котораго онъ, впрочемъ, и самъ не могъ въ то время опредѣлить съ точностью, завернули вечеркомъ провѣдать, что дѣлается въ Замоскворѣчьи. Отъѣздъ Мишинъ ихъ крѣпко озадачилъ. Шрейеръ посидѣлъ со старикомъ, кой о чемъ поговорилъ и покрутилъ головой; Маша съ трудомъ нѣсколько урезо-

нила Авдотью Ивановну, сама принявъ какой-то невольно веселый видъ, но, несмотря на насиліе это, была не въ своей тарелкѣ и не могла въ обращеніи своемъ попасть на такой ладъ, чтобъ сколько-нибудь согласовать разладицу между хозяиномъ и хозяйкой, да и вообще цѣлаго дома.

— Что это за скука!—сказала она съ досадой и огорченіемъ мужу, когда они раньше обыкновеннаго поѣхали опять домой:—что это за скука смертная! Я не вытерплю, воля твоя, крикунчикъ, я не вытерплю; у меня надрывается сердце. (Крикунчикъ—такъ она звала мужа въ переводѣ и въ насмѣшку за молчаливость его—подернулъ плечами и замѣтилъ, что это ничего, пройдетъ).

— Все пройдетъ,—отвѣчала Маша со слезами досады на глазахъ:—все на свѣтѣ пройдетъ и, можетъ быть, ничего не останется, но это мнѣ плохое утѣшеніе. Нѣтъ, я хочу, чтобъ это все пришло въ свой обычный, благословенный порядокъ, хочу, чтобъ это было скоро, теперь же, сейчасъ, слышишь, крикунчикъ?

— Слышу!—отвѣчалъ тотъ и промякалъ что-то, покрутивши головой.

— Вотъ что,—продолжала она: — послушай меня хорошенько, Шрейерушка, подумай о томъ, что я скажу и разсуди: братъ уѣхалъ, и это дѣло кончено; теперь надо, непремѣнно надо, устроить все такъ, чтобъ къ пріѣзду его небосклонъ былъ чистъ, чтобъ не было ни тучъ, ни даже облаковъ, ни тумана. Надобно разъяснить все то, что въ этомъ дѣлѣ загадочнаго, неяснаго. Ты какъ хочешь, а поѣзжай, не отговариваясь и туда, и сюда, куда тебя Богъ надоумитъ, и узнай все, что можно, о Голомянниновыхъ; я же поѣду къ нимъ сама, они у меня на сердцѣ, и воля твоя, я увѣрена, что тутъ кроется что-нибудь осо-

бенное... я брата знаю; если тутъ завязалась любовишка, въ чемъ я почти не сомнѣваюсь, то вѣрь, мнѣ, люди эти должны быть достойны нашего вниманія и участія. Это надо разузнать.

Сказано—сдѣлано. Марья Гавриловна, которая не любила откладывать что-нибудь въ долгій ящикъ, на другой же день поутру, раздавъ работу швеямъ и штопальщицамъ и распорядившись по хозяйству, отправилась прямо къ Голомяниновымъ. Иванъ Андреевичъ, побывавъ за дѣломъ въ городѣ (т. е. въ гостиномъ дворѣ и на биржѣ) и въ троицкомъ трактирѣ, который служитъ москвичамъ торговой биржей, видѣлся кой съ кѣмъ и поразспросилъ, что могъ о Голомяниновыхъ.

— Ну что?—встрѣтила его жена, въ какомъ-то взволнованномъ, но веселомъ расположеніи:—что скажешь, крикунчикъ?

Шрейеръ отвѣчалъ, что онъ встрѣтилъ случайно одного человѣка, которому вѣритъ въ этомъ отношеніи болѣе, чѣмъ всѣмъ другимъ вмѣстѣ, и что этотъ человѣкъ разъяснилъ ему много и говорилъ о вдовѣ Голомяниновой одно только хорошее.

— Ну,—сказала Маша:—такъ и мои вѣсти не хуже твоихъ: я просто въ восхищеніи! Что это за милые, достойные люди! Видишь ли, я не ошиблась? О, я знаю брата! Вообрази же себѣ, это онъ, все онъ ей помогалъ; онъ занялся и дѣлами ея всѣми, онъ помогалъ словомъ и дѣломъ... Боже мой, я не знала, куда дѣваться отъ признательности этихъ добрыхъ людей, хотя признательность эта, вѣрь мнѣ, была такъ скромна, такъ благородна, что я, право, не шутя позавидовала Голомяниновой! Она говорила такъ спокойно, съ такимъ чувствомъ... а Оленька, старшая дочь ея,—о, я сейчасъ смекнула, въ чемъ тутъ дѣло—нѣтъ, меня братъ не проведетъ! Оленька не разсыпалась передо мной, и не унижалась, но, право, возвышала и меня вмѣстѣ

съ собою: такъ она была благородна, прилична и мила; я видала у ней на глазахъ, что она, бѣдненькая, умираетъ съ тоски безъ брата, но она вела себя такъ осторожно, такъ скромно, несмотря на бѣглый разговоръ мой, которымъ я старалась ее завлечь,—а ты знаешь, крикунчикъ, что когда я заговорю отъ души, то унять меня трудно, и противостоять трудно: увлекаешься, не правда ли? (И сама дернула его за рукавъ, чтобъ вынудить отвѣтъ).

Шрейеръ важно кивнулъ головой и продолжалъ за нее:

— Послушай, вотъ въ чемъ дѣло: вѣдь батюшка не правъ за Голомянинову; вѣдь она у него подъ напраслиной...

— Ну, да, да,—перебила его Маша:—я это же и говорю тебѣ; она должна быть женщина рѣдкая...

— Постой, моя милая, я не договорилъ; или, пожалуй, кончи ты прежде, а тамъ выслушай меня.

— Нѣтъ, нѣтъ, говори, я жду съ нетерпѣніемъ; я высказала все; онѣ меня обворожили, и я непремѣнно дня черезъ два опять ихъ навѣщу—но говори, говори!

Шрейеръ крякнулъ, перекосилъ немного лицо, какъ дѣлывалъ всегда передъ важной бесѣдой, и продолжалъ:

— Вотъ видишь ли, то есть, вотъ что: старикъ нашъ вѣчно нападалъ на Мишу по темнымъ слухамъ, или по сплетнямъ этого Сулейкина, за Голомянинову-выхъ; старикъ забилъ себѣ въ голову, что Голомянинова не стоитъ никакого участія и помощи, что она пустая, тщеславная женщина, которая собственно и была виною разоренія мужа, съѣдая его нарядами своими и полубарскими затѣями. Онъ называлъ ее бездонной кадкой и опасался, чтобъ она не свела съ ума Мишу. Это я слышалъ отъ него не разъ и молчалъ; я самъ вѣрилъ этому, полагая, что старикъ нашъ никого не обидитъ такимъ страшнымъ поклепомъ, если бъ

онъ не зналъ дѣла. По выходитъ иначе: Голомянинов-покойникъ былъ безразсудный мотъ, слабый и тщеславный человѣкъ, который требовалъ отъ жены и баловъ, и нарядовъ, и выѣздовъ; у нихъ изъ-за этого не разъ выходили домашнія распри, о которыхъ никто не зналъ, потому что Голомянинова никому объ этомъ не говорила и всегда являлась въ людяхъ, въ угоду мужу, веселая и довольная. Вотъ истина; онъ, покойникъ, промоталъ все достояніе свое, а не она; что осталось, то сбережено ею, и она же, не послушавшись совѣта пріятелей, повела дѣла такъ, чтобъ просидѣть съ семьей нѣсколько лѣтъ за черствой коркой, но не опозорить памяти мужа, не объявлять себя несостоятельною, а выплатить понемногу все; вотъ почему, какъ я теперь догадываюсь, и братъ принялъ въ ней такое живое участіе и, радуясь благородству и честности этого бѣднаго семейства, такъ къ нему привязался.

— Видишь ли? видишь ли,—сказала Маша сквозь слезы, глядя весело мужу въ глаза:—я знала, что братъ не надѣлаетъ глупостей; я тебѣ сто разъ говорила, что онъ въ загонѣ; отецъ лишилъ его довѣрія, онъ не можетъ объясниться, но онъ остался себѣ вѣренъ! Боже мой? можно ли, чтобъ добрѣйшій, умнѣйшій и правдивѣйшій человѣкъ въ Москвѣ, нашъ добрый старикъ, былъ такъ слѣпъ и несправедливъ въ отношеніи одного только человѣка, и этотъ человѣкъ—Миша, родной его сынъ, не уступающій въ добрыхъ качествахъ и самому отцу!

— Да, — продолжалъ Иванъ Андреевичъ, потряхивая головой, засунувъ одну руку въ карманъ и быстро почесываясь другою въ затылкѣ: да, вотъ видишь ли, мой другъ, вотъ вѣдь и хорошо, что Миша уѣхалъ; безъ него и старикъ будетъ посговорчивѣе, и дѣло разъяснить авось какъ-нибудь да можно; а при Мишѣ было бы трудно: чего тутъ ожидать, коли ста-

рикъ уже не разъ сказалъ, что тотъ ему только глаза мозолитъ да сердце кипятитъ?

— Правда твоя, крикунчикъ мой, все правда! О, да какъ же ты сегодня сталъ разговорчивъ и милъ (вскочила съ мѣста и обняла мужа). Дѣтки, дѣтки, бѣгите сюда, папа васъ хочетъ поцѣловать...—Шрейеръ, не охотникъ до чувствительныхъ проявленій, поморщился немного, но перецѣловалъ дѣтей и опять почесался въ затылкѣ, разумѣется, не позабывъ тряхнуть головой.

— Что жъ ты думаешь дѣлать теперь?—спросила у него Маша, взявъ его подъ руку и прохаживаясь съ нимъ по комнатѣ.

— А вотъ, потерпи немного,—сказалъ онъ:—къ отцу твоему нельзя сунуться съ вѣтру, съ одними росказнями; я уже просилъ надежныхъ людей узнать обо всемъ пообстоятельнѣе и подготовлю все, а тамъ,—продолжалъ онъ, покручивая головой и пошаркивая самодовольно:—а тамъ прошу не прогнѣваться—я пристыжу старика предъ самимъ собой... «Однакожъ, какъ?» спросила Маша, и Шрейеръ отдѣлывался общими словами, а Маша настаивала, чтобъ онъ ей разсказалъ все, именно все и до послѣдней мелочи, какъ и что онъ сдѣлаетъ; но Шрейеръ умѣлъ ладить съ женою, угождая ей всегда, но не поддаваясь ей во всемъ безусловно, если считалъ это неблагоразумнымъ; въ этомъ же случаѣ, ему мудрено было удовлетворить любопытству жены, не зная самъ еще положительно, какое направленіе дѣло по обстоятельствамъ приметъ, и какъ ему удастся все это уладить. Побѣда осталась за нимъ, онъ не вдался ни въ какія подробности, и Маша, успокоившись наконецъ, сказала только: «Да смотри же, крикунчикъ мой, осторожнѣе, ради Бога, не испорть дѣла—лучше тогда еще разъ посовѣтуйся со мною... не задѣнь слишкомъ

рѣзко честолюбія нашего старика!» и прочее. Шрейеръ на все это молча кивалъ головой, продолжая расхаживать по комнатѣ.

Настало воскресенье. Гаврило Стапановичъ всталъ, по обычаю своему, рано, умылся, помолился, присѣлъ за самоваръ вмѣстѣ съ Авдотьей Ивановной, досталъ изъ кармана какое-то письмо. Вѣроятно, дѣловое—подумала Авдотья Ивановна, которая вообще не оказывала большого уваженія къ письменности—но дѣловое письмо это, повидимому, крѣпко занимало Гаврила Степановича, потому что получено было уже въ субботу, а нынче перечитывалось еще въ другой или третій разъ. Письмо это было отъ сына, отъ Миши, и въ немъ говорилось вотъ что:

«Милостивый государь, дрожайшій и душевно-чтимый батюшка!

«Отроду въ первый разъ сажусь я за письмо къ вамъ; доселѣ я почти не разлучался съ вами, а во время короткихъ поѣздокъ вашихъ мнѣ писать къ вамъ не случалось. Примите же это первое мое письмо, какъ покаяніе и завѣщеніе мое; между вами и мною стоитъ одинъ только Богъ.

«Я васъ люблю такъ, какъ только сынъ отца любить можетъ! я чту васъ и уважаю болѣе, чѣмъ кто нибудь; а вы знаете сами, что васъ чтитъ и уважаетъ вся Москва. Вы такъ умны, такъ добры ко всѣмъ и такъ правдивы, что я долженъ быть предъ вами виноватъ кругомъ. Безъ вины моей не могло бы статься то, что надо мною сбылось... Я не лгу, я искренно вѣрю теперь, что я великій грѣшникъ передъ вами и сынъ недостойный. Болѣе не знаю и не могу сказать теперь ничего: я еще не опомнился и голова моя идетъ кругомъ. Дайте мнѣ время, я еще одумаюсь, остыну, приду въ себя и выскажу болѣе. Теперь у меня на сердцѣ только это.

«Вотъ мое покаяніе; примите же, батюшка, также благосклонно и завѣщаніе мое, на время моего отсутствія.

«Вы знаете, хотя только по темнымъ и несправедливымъ слухамъ, Голомяниновыхъ. Не смѣю говорить въ пользу ихъ ничего, не чувствуя къ тому за собою никакого права. Вы не обязаны вѣрить мнѣ болѣе, чѣмъ другому. Но если правдивость ваша не откажется отъ того, чтобъ узнать дѣло поближе, черезъ источники чистые, надежные—напримѣръ, черезъ собственныя ваши ясныя очи, о, еслибъ!... то вы бы измѣнили мнѣніе свое; но я не смѣю этого надѣяться, и потому прошу и умоляю объ одномъ: помогите имъ, безъ меня имъ ни отъ кого помощи не будетъ. Пусть онѣ и недостойны милости вашей, но милость достойна будетъ васъ. Я доселѣ не сдѣлалъ имъ ни одного подарка: все, чѣмъ я могъ располагать, внесено у нихъ въ долговую книгу, и если Богъ пособитъ имъ кончить дѣла, какъ они велись доселѣ, то всѣ должники будутъ удовлетворены. Положеніе дѣлъ ихъ мнѣ извѣстно въ точности.

«Затѣмъ, остается еще одно покаяніе—послѣднее: васъ безпокоило, вамъ не нравилось это знакомство; даю вамъ слово сына Гаврилы Степановича Гребнева, что я не только не женюсь, но и не обяжусь ничѣмъ безъ вашей воли на то.

«Цѣлую ваши и матушкины ручки, молю о вашемъ общемъ благословеніи и много, много благодарю васъ за отпускъ. Я освѣжусь немного и «авось ворочусь поумнѣе».

Прочитавъ еще разъ письмо, старикъ свернулъ его, положилъ въ карманъ и сказалъ Авдотьѣ Ивановнѣ сухо: «Миша тебѣ кланяется, старуха, да цѣлуетъ ручки». Авдотья Ивановна чуть не уронила чайника изъ рукъ и посмотрѣла такъ жалобно на мужа, что онъ, раз-

смѣявшись, прибавилъ: «Небось, здоровъ и невредимъ; пишетъ изъ Питера и пишетъ хорошо; я имъ доволенъ». У Авдотьи Ивановны отлегло немного отъ сердца, чай полился обычной струей изъ чайника, слеза капнула изъ глазъ, и она глубоко вздохнула. Она, бѣдная, такъ была убита, что ей даже не шли на умъ никакія хитрости, ни уловки. Придумала она было рано утромъ сегодня, по поводу воскреснаго дня, въ который Гаврило Степановичъ никогда не сердился и давалъ языку ея полную свободу, даже острилъ всегда до обѣдни менѣе обыкновеннаго, придумала она было, горемычная, подвести какъ-нибудь ловко разговоръ о томъ, что вотъ-де сегодня праздникъ Господень, и какъ счастливы люди, примирившіеся къ этому дню со всѣми, живущіе благословеніемъ Божіимъ среди семьи своей, съ чадами и домочадцами и прочая, но все это она только передумала, для собственнаго утѣшенія или забавы, не надѣясь выдержать такую поучительную бесѣду на дѣлѣ. Она, бѣдная, упала духомъ болѣе, чѣмъ когда-либо.

Дверь растворилась, и обычный поздравитель съ праздникомъ, Сулейкинъ, явился за своей воскресной чашкой чая. «Чтобъ тебѣ ею подавиться!»—подумала про себя Авдотья Ивановна, взглянувъ на постылаго гостя, и вѣрно очень ясно высказала пожеланіе это на безстрастномъ лицѣ своемъ, потому что Гаврило Степановичъ обратился къ ней въ-полголовы и сказалъ: «Нехорошо, матушка Авдотья Ивановна, встрѣчать съ такимъ недоброжелательствомъ воскресный день: налей-ка Филиппу Егорычу чашечку чайку, да собирайся, скоро пора будетъ къ обѣднѣ».

Поблагодаривъ отрывисто направо и налѣво и расшаркавшись въ два или три темпа, Сулейкинъ, или какъ его Гаврило Степанычъ зывалъ по буднямъ, скороговорка, тотчасъ завелъ и пустилъ свои куранты, но на этотъ разъ, зная обычай старика, онъ оставилъ всѣ

сплетни свои въ запасѣ, на вечеръ, а сталъ вытряхивать однѣ желанныя вѣсти. Онъ выхватилъ изъ-за пазухи пучокъ бумагъ и приподнялъ ихъ побѣдоносно надъ головою: «Вотъ», говорилъ онъ: «вотъ-съ, Гаврило Степанычъ, сокровище, золото-съ, дороже хлѣба насущнаго, живота скудельнаго!»—и прижалъ бумаги къ сердцу своему: «за васъ, за васъ, Гаврило Степанычъ, обрѣтаюсь въ радостяхъ, и вамъ, не въ угоду, то есть, и не въ супротивность, а ради единаго правдолюбія, вамъ принесъ я истинную драгоцѣнность эту, на радость и на утѣшеніе».

Гаврило Степановичъ разсмѣялся, сказавъ:—Что за диво такое? Ужъ не княжескую ли грамоту ты мнѣ выходилъ? А Авдотья Ивановна смотрѣла на Сулейкина въ недоумѣніи; такихъ рѣчей она отъ него еще не слыхивала.

— Лучше княжеской грамоты, Гаврило Степанычъ,—продолжалъ Сулейкинъ:—дороже-съ; этого ни люди, ни царь не дадутъ — это Богъ вамъ далъ, да добрыя ваши дѣла. Вотъ, небось, Ивану Тимоѳеичу не далъ Богъ такого сына.

— Оставь Ивана Тимоѳеича,—сказалъ старикъ:—не такой теперь день, не такое время: ѣдемъ къ обѣднѣ, не до пересудовъ. Безъ толку молитеся, безъ мѣры погрѣшаете. Ну, что же? говори!

— Вотъ-съ,—продолжалъ Сулейкинъ, сіяя какимъ-то вдохновительнымъ восторгомъ: — твоя отъ твоихъ, тебѣ приносяще—извольте на досугѣ прочесть—изумительно, не облыжно сказать, что изумительно'

— Да что такое, говори, безтолковый. Вѣдь, съ тобою и нехотя согрѣшишь!

— Вотъ-съ, досталъ я, по случайности—Богъ пути кажетъ—кой-какія записочки Михайла Гаврилыча; то есть, вотъ, долженъ быть человѣкъ-съ... голова, голова—и правдолюбъ какой — душа нагишомъ — вотъ,

извольте видѣть—собственноручныя, съ марками—подлогу никакого быть не можетъ—истина святая—записка о торговлѣ кяхтинской, которой намедни сами изволили дивиться, что не въ примѣръ умно написана—она собственноручная Михайла Гаврилыча, съ поправками и перемарками его же руки; вотъ-съ, о торговомъ товариществѣ для оренбургской торговли—его же-съ; вотъ еще, что прошлаго года ходила по рукамъ, да сами вы въ тѣ поры изволили отнестись, то есть, отозваться, что не стыдно-де тому на свѣтѣ жить, кто записку эту написалъ — вотъ она-съ, о запрудѣ Бѣлъ-Озера и образованіи изъ него черезъ Шексну запаснаго водоема для Волги... Гаврило Степанычъ, я съ поличнымъ передъ вами; все это труды ваши, по прямому нисходящему потомству—умъ и трудъ Михайла Гаврилыча!

Передавъ бумаги старику, который принялъ ихъ молча и въ какомъ-то недоумѣніи, Сулейкинъ перевернулся на каблучкѣ къ Авдотьѣ Ивановнѣ, перегибаясь къ ней въ нѣсколькихъ наскоро отработанныхъ, деревянныхъ поклонахъ.

— И васъ также,—продолжалъ онъ:—и васъ также, сударыня, Авдотья Ивановна, за особенное счастіе поставляю отъ искреннихъ силъ своихъ поздравить, со испрошеніемъ отъ Создателя многолѣтія и вамъ, и ему-съ.

Авдотья Ивановна, не совсѣмъ понимая, что передъ нею дѣлалось, видѣла, однакожъ, что рѣчь идетъ тутъ все только о хорошемъ, и что выхваляется за это сынъ ея; она до того было разнѣжилась, что привстала и начала снова раскланиваться съ Сулейкинымъ, приговаривая: «Рростите, Христа ради... еще чайку чашечку, прошу покорно»...

Гаврило Степановичъ разсмотрѣлъ поверхностно поданныя ему записки, принялъ нѣсколько задумчивый, строгій и степенный видъ, сложилъ бумаги, всталъ,

поблагодарилъ Сулейкина и сказалъ:—Это надо разсмотрѣть на досугѣ. Суетныя дѣла впереди. Пора къ обѣднѣ.—Хотя Авдотья Ивановна и задержала немного мужа, развозившись съ чаемъ и принявшись не въ мѣру потчевать Сулейкина, но чрезъ полчаса Гребневъ стоялъ уже на своемъ мѣстѣ въ церкви и усердно молился.

VI.

РАЗВЯЗКА.

Между тѣмъ въ домѣ Шрейера готовились, по обычаю, встрѣтить дѣдушку. Дѣти, которыя ожидали этого праздника съ чрезвычайнымъ нетерпѣніемъ, хвалились уже другъ передъ другомъ тѣмъ, кто что дѣдушкѣ разскажетъ и ссорились напередъ о томъ, чей разсказъ будетъ лучше. Шрейеръ явно былъ чѣмъ-то сильно занятъ, ходилъ взадъ и впередъ и, задумавшись, обнаруживалъ по временамъ, самъ по себѣ, какое-то нетерпѣніе, пожимая плечами и покручивая головой. Маша подошла къ нему, обошедъ еще разъ свое хозяйство, потрепала его по щекѣ и старалась его ободрить. Между тѣмъ, время шло, часъ, въ который старики столько лѣтъ сряду постоянно по воскреснымъ днямъ въѣзжали на дворъ, также прошелъ; обѣдня давно во всѣхъ церквахъ отошла, а ихъ нѣтъ. Маша начала очень безпокоиться, хотѣла уже посылать за справкой, но Шрейеръ ее удерживалъ, поглядывалъ на часы и обнадеживалъ, что авось-де скоро будутъ. Наконецъ, точно коляска застучала, кинулись къ окну, общій крикъ: «Дѣдушка пріѣхалъ!» раздался по всему дому, и старики вошли.

Весь домъ Шрейера ожилъ радостью. Для Маши это былъ всегда такой же праздникъ, какъ и для дѣтей, *и еслибъ* отецъ не пріѣхалъ къ ней въ воскре-

сенье къ обѣду, то она не знала бы, куда въ этотъ день съ тоски дѣваться. Поэтому запоздалый пріѣздъ старика, послѣ томительнаго часа ожиданія, былъ причиною еще большей радости. Когда старикъ усѣлся и внуки на него полѣзли со всѣхъ сторонъ, на колѣни, на плеча и только что не на голову, то Авдотья Ивановна ловко воспользовалась удобной минутой, потихоньку отозвала дочь въ другую комнату и шопотомъ сообщила ей тамъ, что Гаврила Степанычъ, противу обыкновенія своего, на этотъ разъ пріѣхалъ къ нимъ не прямо изъ церкви, а сперва завезъ ее, Авдотью Ивановну, домой, самъ куда-то отправился и пріѣхалъ за нею опять не прежде, какъ черезъ часъ, и что вотъ-де почему они такъ опоздали, и что все это что-нибудь да значитъ и не даромъ, а тутъ вѣрно что-нибудь да кроется. На вопросъ дочери, что бы тутъ могло крыться особеннаго, и не просто ли Гаврила Степанычъ заѣзжалъ куда-нибудь по дѣламъ, она таинственно пожала плечами, вздохнула, покачала головой и указала молча на сосѣднюю комнату, гдѣ слышался голосъ старика, который сидѣлъ тамъ съ Шрейеромъ и съ дѣтьми; затѣмъ Авдотья Ивановна отправилась, какъ ни въ чемъ не бывало, опять въ общую комнату.

Старикъ былъ необыкновенно веселъ, привезъ подарки дочери, дѣтямъ и даже зятю—что онъ дѣлывалъ довольно рѣдко и никогда почти не дѣлывалъ безъ особеннаго повода, за исключеніемъ развѣ лакомствъ и другихъ бездѣлушекъ, которыми, подъ названіемъ гостинцевъ, дарилъ обыкновенно однихъ только дѣтей. Пошли къ столу; нетерпѣніе Маши и какой-то озабоченный видъ Ивана Андреевича вскорѣ невольно уступили увлекательной веселости старика, и по временамъ только старуха, вспоминая своего Мишу, горько и тяжело вздыхала, а Маша при томъ же воспоминаніи взглядывала въ какомъ-то ожиданіи на

мужа, который при такихъ обстоятельствахъ считалъ за лучшее не замѣчать этого вовсе и устремлять глаза съ большимъ вниманіемъ въ тарелку свою, или хохотать отъ души, прислушиваясь къ шуткамъ тестя. Послѣ обѣда старикъ, по обычаю, прилегъ отдохнуть, но какъ отдыхъ этотъ никогда не длился болѣе получаса, то онъ вскорѣ опять вышелъ—этого-то мгновенія благоразумно выжидалъ Иванъ Андреевичъ для обдуманнаго разговора своего со старикомъ. Онъ крякнулъ, когда услышалъ шаги тестя и мигнулъ Машѣ, которая, между тѣмъ сообщила уже, что было нужно, матери.

— Каково почивали, батюшка?—спросилъ Иванъ Андреевичъ, расшаркавшись съ косолапымъ поклономъ.

— Вздремнулъ маленько,—отвѣчалъ старикъ:—да немного—будетъ съ меня; а то пробѣжалъ у тебя газеты.

— Что же? Есть что новенькаго?

— Какъ же,—отвѣчалъ старикъ, усаживаясь на своемъ мѣстѣ, посреди диванчика; передъ столикомъ:—какъ же! Какой-то господинъ Бертень-де-Во младшій, что ли, свалился съ лошади на псовой охотѣ и больно ушибся. Жаль бѣдняка.

Иванъ Андреевичъ невольно разсмѣялся, крякнулъ, и между тѣмъ, какъ Маша, по условію, уже выманила дѣтей въ другую комнату, чтобъ они не мѣшали, онъ подсѣлъ на стулъ подлѣ тестя, потрепалъ хохолъ свой, покрутилъ головой и сказалъ:

— А что, батюшка, дайте мнѣ поговорить съ вами о нашемъ общемъ дѣлѣ—мнѣ бы надо разсказать вамъ довольно важныя вѣсти.

— Бл ъ мужикъ щи съ кашей,—сказалъ старикъ:—долго и много, положилъ ложку, вздохнулъ, распоясался, утерся,—ты думаешь, кончилъ? Нѣтъ, онъ началъ опять снова. Такъ, видно и вы.

— Прибасенка хороша,—отвѣчалъ Иванъ Андреевичъ:—да, чай, не про меня сложена: доселѣ все молчалъ и въ первый разъ рѣшаюсь говорить, и хочу говорить правду—а Гаврило Степанычъ Гребневъ, какъ слышно на Москвѣ, правды не боится.

— Говори! — сказалъ старикъ и легъ на столъ локтями, опустивъ нѣсколько голову, собираясь внимательно слушать. Между тѣмъ Маша сочла за лучшее усадить старушку въ другой комнатѣ, а сама будто по хозяйству заглядывала туда, и сюда, прислушиваясь къ бесѣдѣ отца и мужа, чтобъ быть подъ рукой, когда понадобится.

— Вотъ что, — продолжалъ Шрейеръ: — одна изъ причинъ, по которымъ вы были недовольны Мишей, это связи его съ Голомянниновыми; а связи эти не нравились вамъ потому, что вы не уважали людей этихъ, то есть, женщинъ, полагая, что вдова была причиной разоренія покойнаго, и что она женщина пустая, тщеславная и суетная. Такъ ли?

— Такъ! — отвѣчалъ старикъ, который рѣшился, видно, выслушать все до конца:—Ну?

— Ну,—продолжалъ Шрейеръ:—а теперь на повѣрку выходитъ вотъ что: — Голомянинова женщина рѣдкая, достойная всякаго уваженія; безразсудство покойника увлекло его къ погибели; онъ самъ и онъ одинъ въ этомъ виноватъ, а она, напротивъ, стараясь скрывать передъ свѣтомъ эту слабость своего мужа, принимала на себя, что могла, дѣлала все, что было въ силахъ ея, чтобъ отвлечь мужа отъ несчастной его страсти, покоряясь только по необходимости; по смерти же его, она, какъ умная и благородная женщина, знавшая запутанныя дѣла мужа довольно отчетисто, не послѣдовала совѣтамъ добрыхъ пріятелей, которые совѣтовали ей объявить себя немедленно несостоятельною, а взялась, чтобъ честно почтить

память покойника, привести дѣла въ порядокъ, уплатить мало-по-малу долги его; обремененная семействомъ и долгами этими, истязаемая вѣрителями и заимодавцами, въ нуждѣ, въ нищетѣ, она, однакожъ, упорно преслѣдовала цѣль свою... когда же почти изнемогла подъ гнетомъ этой непомѣрной тягости и доведена была до отчаянія, то Богъ послалъ ей Михайла Гаврилыча, который вошелъ въ ея дѣла; разсмотрѣвъ все, обнадежилъ ее, что тутъ еще съ честію выйти можно, занялся ими, помогалъ ей, сколько могъ, словомъ и дѣломъ, и хотя теперь запутанныя дѣла ея далеко еще не кончены, но общее мнѣніе, возстановленное въ пользу бѣдной вдовы, снова подарило ее своею довѣренностью, и полагаютъ, что она современемъ очистится и останется честною нищею.

— Ну?—спросилъ старикъ, сидя все въ томъ же положеніи, между тѣмъ какъ Маша, сочтя время это приличнымъ, подошла тихонько и присѣла по другую сторону столика

— Больше ничего,—сказалъ Иванъ Андреевичъ:— я хотѣлъ только разсказать вамъ дѣло это, какъ оно есть, какъ я его узналъ навѣрное, потому что васъ обманули.

— Доброе начало полдѣла откачало,—сказалъ Гаврило Степановичъ:—но, все-таки, не договорилъ, сошлюсь вотъ хоть на Машу:—ты захлеснуть захлеснулъ узелъ, да не затянулъ. Михайло Гаврилычъ ухаживаетъ за дочкой Голомяниновой—равные обычаи, крѣпкая любовь—и дочка отъ него не прочь; затѣмъ, спасибо тебѣ братъ, Иванъ Андреевичъ, за прямиковое слово, хоть ты меня ничѣмъ новымъ не удивилъ: все, что ты сказалъ мнѣ, я уже знаю.

Шрейеръ и Маша до крайности изумились и почти въ голосъ спросили: какъ? откуда? давно ли?

— Да Миша оставилъ Голомяниновыхъ на моемъ

попеченіи, такъ я сегодня утромъ, помоливщись Богу, заѣхалъ къ нимъ, поразспросилъ ихъ кой о чемъ и узналъ кой-что. Гость и не долго гоститъ, да много видитъ. Да, братецъ, безъ толку молимся, безъ мѣры согрѣшаемъ, какъ быть! И ты, Маша, какъ на повѣрку выходитъ, хорошо сдѣлала, что побывала у нихъ. Ну, пора до двора. Пріѣзжайте-ка и вы ко мнѣ нынѣ! Авдотья Ивановна, — сказалъ онъ громко:— а что, какъ эту вещь зовутъ, что двое стоятъ, двое лежатъ, пятый ходитъ, шестой водитъ (т. е. дверь)?

Авдотья Ивановна поняла знакомый ей намекъ и, вскорѣ одѣвшись, вышла. Старики сѣли и поѣхали.

— Вотъ загадка!—сказала Маша полурадостнымъ, полуопасливымъ голосомъ:—что это значитъ, какъ это понять?

Иванъ Андреевичъ тряхнулъ нѣсколько разъ головой, взялъ жену за руку и сказалъ:—Все хорошо, нельзя лучше.

— Кажется такъ, крикунчикъ, — сказала Маша, обнимая его:—кажется, въ самомъ дѣлѣ, что все пойдетъ къ лучшему. О, какъ я рада! добрый Миша! Поѣдемъ же поскорѣй; батюшка приглашалъ насъ недаромъ: у него навѣрно что-нибудь есть на умѣ...

У Гаврилы Степановича застали они человѣкъ пять или шесть обычныхъ посѣтителей; самого же его нашли болѣе обыкновеннаго чиннымъ и степеннымъ. Онъ разговаривалъ мало, хотя и нельзя было сказать, чтобъ онъ былъ не въ духѣ; но его брало какое-то раздумье, и онъ, поглядывая по временамъ на дверь, явно ожидалъ какого-то явленія, къ которому готовился. Вскорѣ Сулейкинъ вошелъ, расшаркавшись во всѣ стороны, какъ надломленный въ поясницѣ сѣрничокъ, и пробормотавъ на-особицу передъ каждымъ изъ болѣе почетныхъ гостей свое личное высокопочитаніе.

Этого-то гостя, повидимому, ожидалъ Гаврило Степановичъ и, увидавъ его, приподнялъ брови, сложилъ руки и успокоился, кивнувъ отрывисто головой и защемивъ зубы, будто сказалъ самъ себѣ: «Ладно; теперь ты у меня не отвертишься».

Давъ нѣсколько поегозить Сулейкину и отрапортовать о нынѣшнихъ новостяхъ, Гребневъ сказалъ:— «Полно тебѣ тарантить, Филиппъ Егорычъ, а поди-ка лучше сюда, ко мнѣ поближе, вотъ такъ, да сядь насупротивъ: я люблю говорить такъ, чтобъ смотрѣть человѣку въ глаза». Старикъ легъ назадъ, на спинку кресель, а Сулейкинъ, прижавъ почтительно плеча къ тѣлу, уставилъ на него сѣрые глаза свои, которые выставлялись у него въ такихъ случаяхъ, какъ у трески. Всѣ приготовились слушать, что будетъ.

— А что, Филиппъ Егорычъ? — началъ старикъ съ удареніемъ на каждомъ словѣ: — вѣдь, у насъ съ тобой сказанное слово въ кадыкъ не ворочается, не такъ ли?

— Точно такъ-съ.

— То есть, сказалъ, такъ и отрубилъ. Говорятъ, будто сказанное слово серебряное, несказанное золотое, да, видно, ину пору сказанное и мѣднаго гроша не стоитъ. Кто говорилъ мнѣ про Голомянниновыхъ, что они-де и такія, и сякія, что она-де всему злу корень и промотала имѣніе, и мужа разорила, и тому подобное?

— Кто говорилъ?—сказалъ Сулейкинъ:—объ этомъ не могу знать-съ, Гаврило Степанычъ; не при мнѣ дѣло было можетъ статься; вы изволили запамятовать.

— Съ больной головы да на здоровую,—сказалъ старикъ, покачавъ головой:—память у меня, благодаря Бога, еще не совсѣмъ отшибло; какъ же такъ, не при *тебѣ дѣло* было? А не ты самъ мнѣ это говорилъ?

— Кто-съ! я-съ? что вы? Господь съ вами, благодѣтель мой, Гаврило Степанычъ? когда?

— Какъ когда? да два раза, милостивецъ мой, у меня съ тобой объ этомъ рѣчь шла, и оба раза ты подтвердилъ то же; когда играли мы въ шахматы, а они ушли, ты остался еще, наговорилъ мнѣ съ три короба про сыскной и разбойный приказы, да помянулъ сына, Мишу, вотъ когда, не помнишь?

Авдотья Ивановна, оправивъ концы платка, втихомолку перекрестила себѣ подъ ложечкой, радуясь этой развязкѣ и уликѣ ненавистнаго ей Сулейкина. Маша также торжествовала и нисколько не сомнѣвалась, что черезъ пять минутъ Филиппъ Егорычъ будетъ уже бѣжать рысцой по улицѣ и впередъ долго не заглянетъ въ Замоскворѣчье. Даже Ивана Андреевича забирала смертная охота крякнуть и побуравить въ воздухѣ головой, въ знакъ одобренія, но всеобщая тишина и пристальное любопытство заставили его собраться съ духомъ и молчать. Онъ только одернулъ на себѣ воротнички и сложилъ губы такъ, какъ онѣ складывались сами собой каждый разъ, когда онъ чмокалъ. Прочіе гости слушали, поглядывая временемъ на того или другого, либо другъ на друга, и опуская вслѣдъ затѣмъ глаза.

Сулейкинъ вытянулся на стулѣ такъ, будто его посадили торцомъ, и сказалъ:—Гаврило Степанычъ, извольте припомнить, дѣло было не такъ. Что знаю, то говорю, и на стѣну полѣзу, скажу: чего не знаю— не говорилъ; я Голомяниновыхъ не знаю въ глаза, и ничего объ нихъ не слышалъ, кромѣ что отъ васъ. Вы въ тѣ поры изволили сказать, что Голомяниновы вотъ то-то, а я, извѣстно, какъ дѣла я не знаю, спорить мнѣ было не въ чемъ, а, то есть, полагалъ я, что вамъ по самой сущности все извѣстно, то я только доложилъ: должно быть, что такъ-съ.

— Какъ? — спросилъ Гаврило Степанычъ протяжно.

— Такъ точно-съ; будьте увѣрены, облыжности во мнѣ не найдете. Съ голода распухну, за это не поручусь, а на истину не посягну. Вы сами мнѣ сказали объ этомъ, то есть, къ слову пришлось; опять же тогда гнѣваться изволили на Михайла Гавриловича, а какъ вы меня изволили перебить, а я желалъ, то есть, продолжать разговоръ свой, сказалъ, и каюсь, и винюсь, сказалъ только, полагаясь, то есть, на ваши слова, что оно дѣйствительно должно быть такъ, но сказалъ, голословно, бездоказательно, на вѣтеръ, по вашимъ словамъ.

У всѣхъ присутствовавшихъ лица вытянулись по шестую пуговицу. Этой развязки никто не ждалъ, а менѣе всего самъ Гребневъ. Подумавъ немного, онъ сказалъ: «Хвала тебѣ, Филиппъ Егорычъ, и прости, братъ, меня, да не памятуй впередъ. За это жена станетъ тебя жаловать и сама будетъ за тобою ухаживать». Сулейкинъ вскочилъ и раскланялся съ Авдотьей Ивановной, а Гребневъ, помолчавъ, продолжалъ: «На человѣческую глупость есть Божья премудрость. Теперь дѣло объяснилось, и будьте спокойны, я все устрою такъ, что никому изъ васъ противности не будетъ». Маша вскочила и бросилась отцу на шею; а потомъ подошла къ Сулейкину и подала ему руку. Онъ кланялся въ переломъ, бормоталъ что-то и слегка разводилъ руками, будто оправдывался. Авдотья Ивановна исподтишка плакала, но косилась однимъ уголкомъ глаза на старика, чтобъ въ случаѣ чего встрѣтить взглядъ его улыбкой, что и удалось ей исполнить. Шрейеръ открякнулся и откашлялся въ нѣсколько пріемовъ, желая наверстать потерянное время.

Миша, который препорядочно разнемогся, отъ того

и сего, а, вѣроятно, также отъ тоски и огорченій, получилъ по первой почтѣ, послѣ описаннаго нами явленія, письмо, которое вдругъ поставило его на ноги и было сердцу его милѣе всего на свѣтѣ. Во всю жизнь его онъ еще такой радости не испытывалъ; вотъ оно:

«Любезный сынъ мой, Миша! На человѣческую дурость есть Божья премудрость. Ты, братъ, ничего не могъ умнѣе придумать, какъ уѣхать отсюда на время, чтобъ дать намъ просторъ одуматься, да соскучиться по тебѣ, да распутать и очистить паутину, которая подъ старость завелась было въ головѣ твоего отца. Больше никого и не вини: сестра тебѣ все разскажетъ; она все знаетъ, отъ нея, какъ самъ ты знаешь, нашему брату некуда дѣваться. Спасибо, что ты мнѣ, отцу, поручилъ Голомяниновыхъ; люблю молодца за обычай. Я навѣщалъ ихъ, ознакомился съ ихъ дѣлами и объявилъ уже въ городѣ, что беру дѣла ихъ на себя: авось дадутъ намъ съ тобой вѣру — ась? Вѣдь, наше авось, не съ дуба сорвалось. При этомъ случаѣ народъ зашевелился, а бабы наши поправили чепцы на лѣвое ухо: смекаемъ-де, выйдетъ парочка, баранъ да ярочка. Какъ знаешь; коли правду люди врутъ, такъ быть не по твоему; а нѣтъ, такъ нѣтъ. Образъ вымѣнять не долго, хоть бы и въ золотой ризѣ. Матушка твоя ходитъ около меня на цыпочкахъ, бить не не бьетъ, да и прочь не идетъ—стало быть, вѣсти дошли до нея, и она за тебя. Коли что такъ ужъ ты, ради Бога, ея не милуй, а дай ей съѣздить за крестною и покончить все чиннымъ, исконнымъ обычаемъ. Хоть въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ, но нѣмцу моему она простила, что онъ не въ порядкѣ дѣло повелъ, потому что онъ нѣмецъ; а ты, чай, не вовсе опитерился еще, и матери обидѣть не захочешь. О Голомяниновыхъ знаю все. А что ты не

— Какъ? — спросилъ Гаврило Степанычъ протяжно.

— Такъ точно-съ; будьте увѣрены, облыжности во мнѣ не найдете. Съ голода распухну, за это не поручусь, а на истину не посягну. Вы сами мнѣ сказали объ этомъ, то есть, къ слову пришлось; опять же тогда гнѣваться изволили на Михайла Гавриловича, а какъ вы меня изволили перебить, а я желалъ, то есть, продолжать разговоръ свой, сказалъ, и каюсь, и винюсь, сказалъ только, полагаясь, то есть, на ваши слова, что оно дѣйствительно должно быть такъ, но сказалъ, голословно, бездоказательно, на вѣтеръ, по вашимъ словамъ.

У всѣхъ присутствовавшихъ лица вытянулись по шестую пуговицу. Этой развязки никто не ждалъ, а менѣе всего самъ Гребневъ. Подумавъ немного, онъ сказалъ: «Хвала тебѣ, Филиппъ Егорычъ, и прости, братъ, меня, да не памятуй впередъ. За это жена станетъ тебя жаловать и сама будетъ за тобою ухаживать». Сулейкинъ вскочилъ и раскланялся съ Авдотьей Ивановной, а Гребневъ, помолчавъ, продолжалъ: «На человѣческую глупость есть Божья премудрость. Теперь дѣло объяснилось, и будьте спокойны, я все устрою такъ, что никому изъ васъ противности не будетъ». Маша вскочила и бросилась отцу на шею; а потомъ подошла къ Сулейкину и подала ему руку. Онъ кланялся въ переломъ, бормоталъ что-то и слегка разводилъ руками, будто оправдывался. Авдотья Ивановна исподтишка плакала, но косилась однимъ уголкомъ глаза на старика, чтобъ въ случаѣ чего встрѣтить взглядъ его улыбкой, что и удалось ей исполнить. Шрейеръ откряхнулся и откашлялся въ нѣсколько пріемовъ, желая наверстать потерянное время.

Миша, который препорядочно разнемогся, отъ того

и сего, а, вѣроятно, также отъ тоски и огорченій, получилъ по первой почтѣ, послѣ описаннаго нами явленія, письмо, которое вдругъ поставило его на ноги и было сердцу его милѣе всего на свѣтѣ. Во всю жизнь его онъ еще такой радости не испытывалъ; вотъ оно:

«Любезный сынъ мой, Миша! На человѣческую дурость есть Божья премудрость. Ты, братъ, ничего не могъ умнѣе придумать, какъ уѣхать отсюда на время, чтобъ дать намъ просторъ одуматься, да соскучиться по тебѣ, да распутать и очистить паутину, которая подъ старость завелась было въ головѣ твоего отца. Больше никого и не вини: сестра тебѣ все разскажетъ; она все знаетъ, отъ нея, какъ самъ ты знаешь, нашему брату некуда дѣваться. Спасибо, что ты мнѣ, отцу, поручилъ Голомяниновыхъ; люблю молодца за обычай. Я навѣщалъ ихъ, ознакомился съ ихъ дѣлами и объявилъ уже въ городѣ, что беру дѣла ихъ на себя: авось дадутъ намъ съ тобой вѣру — ась? Вѣдь, наше авось, не съ дуба сорвалось. При этомъ случаѣ народъ зашевелился, а бабы наши поправили чепцы на лѣвое ухо: смекаемъ-де, выйдетъ парочка, баранъ да ярочка. Какъ знаешь; коли правду люди врутъ, такъ быть не по твоему; а нѣтъ, такъ нѣтъ. Образъ вымѣнять не долго, хоть бы и въ золотой ризѣ. Матушка твоя ходитъ около меня на цыпочкахъ, бить не не бьетъ, да и прочь не идетъ—стало быть, вѣсти дошли до нея, и она за тебя. Коли что такъ ужъ ты, ради Бога, ея не милуй, а дай ей съѣздить за крестною и покончить все чиннымъ, исконнымъ обычаемъ. Хоть въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ, но нѣмцу моему она простила, что онъ не въ порядкѣ дѣло повелъ, потому что онъ нѣмецъ; а ты, чай, не вовсе опитерился еще, и матери обидѣть не захочешь. О Голомяниновыхъ знаю все. А что ты не

говорилъ мнѣ объ нихъ, какъ слѣдуетъ, такъ за это не пеняю, потому что я бы тебѣ тогда ни въ чемъ не повѣрилъ.

«Читалъ я, Миша, записки твои: ихъ добылъ наша пожарная трещетка, и радовался, и дивовался имъ почти со столько же, какъ и я; только что онъ трещитъ, а я молчу. Хорошо; напрасно ты не показалъ мнѣ раньше. Стало быть, ты думалъ о своемъ дѣлѣ, и думалъ не мало. Хорошо. Такъ на Филиппа Егоровича впередъ не пеняй: онъ за тебя. Сердце у него доброе, и толкъ въ немъ есть, хоть и не втолканъ весь.

«Тѣмъ часомъ я придумалъ вотъ что: давно я разбиралъ на умахъ, какъ бы устроить сына и передать ему торговлю свою, оставаясь на старости лѣтъ хоть сторожемъ съ дубиной—да я все думалъ, что сынъ у меня не годится на это, такъ горевалъ да молчалъ. Теперь, когда Господь велѣлъ намъ прозрѣть и вразумилъ насъ, помѣхи нѣтъ. Ты пріѣдешь на готовое, я все устрою. На покой мнѣ рано, но теперь мы сойдемся, я тебѣ отдамъ и книги въ руки, благословлю, дамъ полную свободу: моя часть будетъ и твоя будетъ, отдѣльная, и истинникъ свой; раздѣлимся пополамъ, а помру, все возьмешь. Ты работай своимъ умомъ и на себя, а я ужъ стану зарабатывать на Машину лапшу, на внучатъ. Жить будешь на маломъ подъѣздѣ, который передѣлывается въ большой, а двери будутъ самыя новомодныя, съ цвѣтными стеклами. Матушка твоя молчитъ, но ужъ носится съ образцами тарелокъ. Сестра твоя безъ ума отъ радости, а нѣмецъ мой подбираетъ фалды и лазитъ по лѣсамъ между кирпичами. Сулейкина я сгонялъ раза два со двора — суется не въ свое дѣло, не смыслитъ ни аза въ глаза, а туда же: я засталъ его съ саженью въ рукахъ. Словомъ, у насъ все хорошо и въ полномъ ходу.

«Вотъ и все; но пріѣзжать не торопись: ты еще провѣтрись маленько, а намъ дай покончить свое. Пусть время краску съ лица сгонитъ—обоимъ не стыдно будетъ. Прощай, братъ, Миша; мое тебѣ отцовское благословеніе и отъ матери тоже».

ГДѢ ПОТЕРЯЕШЬ, НЕ ЧАЕШЬ;

ГДѢ НАЙДЕШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ

КЛЮЧЪ, ЛАДЪ И СТРОЙ ПѢСНИ.

Чтобъ выйти изъ посконнаго ряду безъ отрепьевъ, чтобы не побранили здорово живешь, дайте напередъ оговориться: не повѣсть затѣйливую собираетесь вы читать, а самый обиходный разсказъ о томъ, какъ гора съ горой не сходится, а горшокъ съ корчагой въ печи столкнется, гдѣ и не чаялъ.

На Святой недѣлѣ, когда ясное теплое солнышко было еще въ диковинку послѣ морозной и снѣжной зимы, все село, старъ и малъ, гуляли подъ *релями*, какъ въ тѣхъ мѣстахъ называютъ простыя качели. Народъ сидѣлъ и стоялъ кучками, расположившись тутъ и тамъ на утоптанной землѣ, изъ которой усильно пробивалась носомъ на просторъ зелененькая травка, коленчатый спорышъ, круглолистые колачики, да жилистый придорожникъ. Въ одномъ изъ этихъ круговъ сидѣли пѣвцы и пѣвицы, изъ коихъ нѣсколько голосовъ отличались

между всѣми прочими заливной соловьиной замашкой. «Изъ этой семьи,—сказалъ старикъ, указывая проѣзжему гостю на дѣвку и парня:—изъ этой семьи ужъ не одинъ малый попалъ въ придворные пѣвчіе; это у насъ ужъ такая порода ведется». Проѣзжій подсѣлъ и сталъ прислушиваться; другой старикъ, съ огромной сѣдой бородой, сидѣвшій въ кружкѣ и, какъ видно было, заправлявшій пѣсенниками, спросилъ: «А что, баринъ, ладно ли, любо ли тебѣ?»—Любо, старикъ почтенный,—отвѣчалъ тотъ:—пойте, я стану слушать. «А какую жъ тебѣ спѣть? Какую ты любишь? Слова станешь, что ли, слушать, аль ты до голосу охочъ?»—И до голосу охочъ я, — отвѣчалъ тотъ: — и слова стану слушать; коли знаешь старинную пѣсню, такъ спойте-ка старинную!

Старикъ затянулъ, а прочіе стройно приставали, подхватывали и выносили, и спѣли слѣдующую пѣсню*):

Какъ во городѣ, въ Царѣ-Кіевѣ,
Тутъ жила была молода вдова;
Какъ у вдовушки было девять сыновъ,
А десята дочь несчастная...
Хорошо братцы ее возлелѣяли;
Возлелѣявши, замужъ отдали:
Ни за князя, ни за боярина,
За хорошаго за морянина,
Какъ морянинъ, онъ увезъ ее,
Молоду жену свою, за море;
Она годъ живетъ и другой живетъ,
А на третій сынка родила;
Порождавши сына, встосковалася,
По родной своей по матушкѣ,
По роднымъ своимъ по сродничкамъ,

*) Обѣ пѣсни эти списаны со словъ, какъ онѣ поются въ народѣ, въ Оренбургской губерніи.

Говорила она другу милому:
Ты душа моя, ты возлюбленный!
Пожалѣй меня со младенчикомъ,
Ты поѣдемъ, другъ, къ родной матушкѣ!
Собралася она и поѣхала,
Со своимъ другомъ милымъ,
Со своимъ милымъ дѣтищемъ.
Они день ѣдутъ и другой ѣдутъ—
А на третій день становилися,
Коней кормить, кашу варить.
Не черны вороны налетали тутъ,
Злы разбойнички наѣзжали:
Морянина смерти предали,
Моряненочка въ воду кинули,
А меня молоду во полонъ взяли!
И мы день ѣдемъ и другой ѣдемъ—
А на третій день становилися,
Становилися, спать ложилися..
А одинъ-то изъ нихъ разбойничекъ—
Ужъ онъ спать не спитъ, Богу молится,
Помолившись Богу, сталъ выспрашивать:
Ужъ ты гой-еси, молода вдова,
Ты котораго, вдова, города,
Ты какого, вдова, роду племени,
Ты чьего отца, какой матери?
А я города Царя-Кіева,
Отца—матери богатаго,
Роду племени хорошаго,
Какъ во градѣ Царѣ-Кіевѣ
Жила была молода вдова,
А у вдовушки было девять сыновъ,
А десята дочь несчастная;
Хорошо братцы ее возлелѣяли,
Возлелѣявши, замужъ отдали,
Ни за князя, ни за боярина,

За хорошаго за морянина;
Онъ увезъ молоду за море.
Она годъ живетъ, и другой живетъ,
А на третій сынка родила.
Породивши сына, встосковалася
По родной своей по матушкѣ,
По роднымъ своимъ по сродничкамъ,
Говорила она другу милому;
Ты душа моя, мой возлюбленный!
Пожалѣй меня съ младымъ юношей,
Ты поѣдемъ, другъ, къ родной матушкѣ?
Собиралась она и поѣхала,
Со своимъ другомъ милымъ,
Со своимъ милымъ дѣтищемъ.
Они день ѣдутъ и другой ѣдутъ
А на третій становилися
Коней кормить, кашу варить.
Не черны вороны налетали тутъ,
Злы разбойники наѣзжали.
Морянина смерти предали,
Моряненочка въ воду бросили,
А меня молоду въ полонъ взяли!
Какъ возговоритъ разбойничекъ
Громкимъ голосомъ, порывчатымъ:
Ужъ вы, гой есте, братцы, братья мои!
Вы вставайте-ка, братцы, скорехонько,
Вы послушайте сестру милую,
Сестру милую, сироту круглую;
Не чужбинина мы смерти предали,
Смерти предали мы зятюшку;
Не чужого мы и въ воду бросили,
Въ воду бросили племянничка!
Не чужеземочку и въ по́лонъ взяли,
Взяли мы родну сестрицу кровную!»

Гость слушалъ съ большимъ вниманіемъ пѣсню эту, похвалилъ ее и спросилъ старика:—А нѣтъ ли у тебя, старикъ, въ запасѣ еще такой же пѣсни?

— Есть,—отвѣчалъ старикъ, расходившись:—есть такая, что мать въ неволю къ татарамъ попала, да угодила къ родной дочери; спѣть, что ли?—и затянулъ:

«Какъ за той-то, за той, за Дарьей рѣкой, татарыто полонъ дѣлятъ: кому злато, кому серебро достанется. Доставалася, видно, теща зятюшкѣ... онъ привезъ ее на дикую степь къ молодой женѣ: еще вотъ тебѣ, молодая жена, вѣковѣчная работница, а вамъ, мои дѣтушки, нянька-матушка!—Ты заставь ее, жена, три дѣла дѣлать: первое дѣло дитя качать, другое дѣло бумагу прясть, третье дѣло гусей пасти. Полоняночка ногами-то дитя качаетъ, руками-то бумагу прядетъ, глазами-то гусей пасетъ. Дитя качаетъ, сама прибаюкиваетъ: «Ты баю, баю, мое дитятко, ты баю, баю, мое милое; ты по батюшкѣ татарченокъ, а по матушкѣ ты русеночекъ — и моихъ черевъ урывочекъ! Твоя матушка мнѣ родна доченька, у нея на правой груди родимо пятнышко».

«Услыхали няньки-мамушки, доложили онѣ своей барынѣ: «Ахъ барыня-сударыня, поляночка дитя качаетъ, прибаюкиваетъ: ты баю, баю, мило дитятко — ты по батюшкѣ татареночекъ, а по матушкѣ русеночекъ—и моихъ черевъ урывочекъ: твоя матушка мнѣ родна доченька, у нея на правой груди родимо пятнышко»!

«Какъ стучитъ-бренчитъ, по сѣнямъ бѣжитъ — по сѣнямъ бѣжитъ и дрожмя дрожитъ: дочь родная упадала во рѣзвы ноги... — Охъ, ты матушка, сударыня! Что давно ты мнѣ не скажешься! Не заставила бъ тебя три дѣла дѣлать: ни дитя качать, ни гусей пасти, ни бумагу прясти. Вотъ тебѣ золоты ключи, отмыкай-ка *дубовы* ларцы, бери себѣ золотой казны, сколько на-

добно; поспѣшай-ка ты на конюшенку, бери себѣ коня добраго, поѣзжай съ Богомъ на Святую Русь, ко малымъ своимъ дѣтушкамъ!»—

— Дитя ли ты мое, дитя милое! не надо мнѣ золотой казны, не ѣду я на Святую Русь, съ тобой, мой другъ, не разстануся!

— Вотъ какое дѣло сталось: — сказалъ старикъ, какъ бы объясняя смыслъ пѣсни своей:—разбойнички думали, грѣха не убояся, убить да обобрать чужихъ—чужой, такъ все будто на душѣ легче, чужое сердце во мнѣ не болитъ—анъ убили зятюшку, утопили сестрина сынка, да полонили родную сестру; а тутъ — мать въ полонъ попала къ татарамъ, анъ у нея дочка въ полонѣ, мурзинкой живетъ, въ парчахъ, въ шелку ходитъ, въ серебряныхъ бляхахъ, въ золотыхъ запястьяхъ... стучитъ-бренчитъ, по сѣнямъ бѣжитъ, и упала въ ноги родной матери!

— Да,—сказалъ гость:—на досугѣ кто-нибудь хорошо сложилъ!

— Однако, баринъ, — сказалъ старикъ: — сказка складка, а пѣсня быль; ужъ ты тамъ что хочешь говори, а пѣсня быль.

— Можетъ статься, и быль!—замѣтилъ гость:—а можетъ статься, и досужество; мудрено, признаться, чтобы все это такъ сталось.

— Какъ мудрено? — спросилъ старикъ: — отчего мудрено? Нешто тому только и вѣры дать можно, что мы сами видѣли, а чего не видали, тому нельзя и вѣрить? Оно правда, что, можетъ статься, быль, а можетъ, и досужество: оно пить, ѣсть не проситъ, а ину пору накормитъ; ремесло за плечами не носишь, а съ нимъ добро. Только вотъ что, баринъ, мудренаго въ томъ ничего нѣтъ, что въ пѣсняхъ этихъ поется; гора съ горой не сходится, а горшокъ съ кор-

чагой въ печи столкнется, хоть они оба и не одной руки работа, а каждый перешелъ Богъ вѣсть черезъ сколько рукъ, изъ разныхъ мѣстъ, покуда у мужика въ одной печи сошлися. Вотъ, баринъ, тутъ, въ мою память, было у насъ такое диво, что мужику Богъ далъ троихъ сыновей, да двухъ дочерей—всѣхъ было растерялъ, да всѣхъ опять Господь свелъ вмѣстѣ, и всѣ почитай господами подѣлались, а были такіе жъ мужички, какъ и мы грѣшные.

Гость просилъ старика разсказать, какъ это сталось; этотъ, поломавшись немного, подумавъ, погладивъ бороду, да почесавъ голову, согласился и разсказалъ слѣдующее:

РАЗСКАЗЪ.

Годовъ никакъ съ десятокъ до француза, жилъ въ одномъ господскомъ селѣ—а называлось оно Лысовка—мужичокъ Иванъ Курмышевъ, и было у него дѣтей пятеро: три сына да двѣ дочери. Мужикъ онъ былъ такъ, середней руки, плохого ничего за нимъ не важивалось, а на мудрое никто его не надоумилъ. Жилъ онъ—какъ Богу угодно; родился хлѣбъ—Курмышевъ сытъ, а за нимъ и семья, и захребетники: не родился хлѣбъ—не украсть же его стать, благодать Божія и лебеда, и мякина. Крестьянское горло—суконное бердо: все мнетъ. Изъ себя Иванъ также не больно видный человѣкъ; ноги, руки привѣшены, какъ у Божіихъ людей, и голова, стало быть, на плечахъ, а ходилъ себѣ куль кулемъ и не оглядывается. Да вотъ что: далъ Богъ ему хозяюшку, такъ уже и лицомъ показать, и за себя постоять: куда угодно. Баба разумная, а мужа въ жизнь ни разу дуракомъ не звала; баба работящая, *а кромѣ* овсянаго снопа, никого цѣпомъ не кола-

чивала; баба пригожая, красотка, а говоритъ: коли я приглянулась тебѣ, такъ погляди на меня, да и будь здоровъ! Ею-то и домъ стоялъ, и хозяйство держалось; а какъ она помнила страхъ Божій, такъ Господь и благословилъ ее дѣтьми, что всѣ пошли не въ отца, а въ мать. Сыновья парни бойкіе, разумные, а дѣвки такіе, что загляденье!

Старшихъ было два сына, еще молодые парни, не взошло ничего подъ носомъ, а третья дочь, Катерина, стало быть, еще помоложе ихъ. Господа стали заглядываться на нее и толковали въ господскомъ домѣ, бывало, что Катерина и не походитъ на мужичку, а боярышня она по всему. Изъ себя тоненька, съ лица румяна; глазами глядитъ, словно грамотная какая, а войдетъ куда, да поклонится, такъ вотъ ровно тебѣ по губамъ текло, да въ ротъ не попало.

У господъ у этихъ была барышня, дочь, и полюбила она Катерину, взяла ее къ себѣ въ горничныя и стала одѣвать ее, ровно куколку. Она стала водить ее все-таки по крестьянскому, въ сарафанѣ, да только убирала по своему, для потѣхи своей, и сарафанчики шила ей не кумачные, а господскіе, набивные да шелковые. Катеринушка моя пошла такой павочкой расхаживать, что бывало, какъ гости на барскій дворъ наѣдутъ, такъ ею не налюбуются: все на показъ вызываютъ.

Вотъ и былъ одинъ заѣзжій баринъ изъ военныхъ, молодой и видный изъ себя, да сошлись надъ нимъ, не то чтобы пригожество и убожество—была, сказываютъ, за нимъ и вотчина, да роду былъ онъ, по ихъ счету, не залетнаго; дворянинъ, да не перебродила, что ли, десятая вода на киселѣ—столбовые тѣ его въ свое братство и не пускаютъ; погоди, говорятъ, молодъ. Онъ этого дѣла и знать не хотѣлъ; пусть-де ихъ величаются, а я знаю, что я не хуже ихъ. Вотъ онъ

и посватался за боярскую-то дочку, а они возьми, да и откажи; не въ свои-де сани садишься, намъ подай такого, чтобы семи пяденей во лбу былъ, либо князя, что-ли какого, а ты однодворецъ: и обругали его. Вотъ его и взяло поперегъ живота, и расходился; да нешто я, говоритъ, не такой же дворянинъ? нешто я съ поля по дорожкѣ бѣжалъ, да сюда забѣжалъ? да самимъ имъ, говоритъ, можетъ статься, нашему брату кафтанъ подать, такъ и то въ почетъ будетъ; у нихъ и дѣти-то всѣ ни въ мать, ни въ отца, а въ проѣзжаго молодца; вся семья соберется, такъ тоже, кто съ борку, кто съ сосеньки; кто имъ приказалъ порочить честный родъ мой, дворянскій? такъ я жъ, говоритъ, покажу имъ, что по закону Божескому и человѣческому, по мужѣ жену честятъ, а не по женѣ мужа!

Вотъ онъ, осерчавъ на господъ этихъ, и задумалъ налить имъ щей на ложку, да пустить туда крупицы крошку чтобъ, говоритъ, не расхлебали, а поперхнулись. Какъ задумалъ, такъ и сдѣлалъ; а задумалъ онъ, чтобы на зло имъ жениться на горничной дѣвушкѣ ихъ, на Катеринѣ. Видѣлъ ее разъ, другой, по личику она ему приглянулась—дай-ка вотъ я-то имъ насолю, посватавшись на дочери, да женюсь на дочерней горничной!

Какъ самъ онъ не ѣздилъ болѣе къ нимъ на домъ, такъ подослалъ надежную свашеньку, сосѣдку ихъ, такъ, дворянку изъ мелкой сошки, и обѣщалъ ей сотъ пять, коли сладитъ дѣло. Та была пролазъ-баба, вьюнъ такой, что въ одно ушко влѣзетъ, въ другое вылѣзетъ, сама не смигнетъ глазомъ. Стала она понавѣдываться къ тѣмъ барамъ, стала нашептывать Катеринѣ и то, и сё—та и слышать не хочетъ; сама головой крутитъ, и не говори дескать, а сама, чай, уши наострила. Такъ, сякъ, сманила она Катерину съ собой *по грибы*, дорогой все знай одно да одно ей толкуетъ;

Катерина въ слезы; обманетъ онъ, говоритъ, не женится; какъ ему взять за себя мужичку! Тутъ глядь—отколѣ ни взялась карета, а въ каретѣ самъ женихъ сидитъ, подхватилъ Катеринушку, посадилъ; та заметалась было во всѣ стороны, бѣлы руки заломила, да дѣваться-то не куда, а баринъ цѣлуетъ Катеринушку, унимаетъ, да уговариваетъ: прямо изъ кареты, говоритъ, подъ вѣнецъ и поведу; все готово, попъ ждетъ, до заката солнца обвѣнчаемся, честно, какъ Господь повелѣлъ; жить ты будешь припѣваючи, ходить станешь въ шелку, въ бархатѣ, носить станешь жемчугъ, золото, сама будешь у меня барыней!

Подъѣхали гдѣ-то въ чужомъ селѣ прямо къ паперти церковной: свѣчи горятъ, и попъ дожидается. Катеринушку мою на рукахъ внесли; свѣту Божьяго не взвидѣла. Вотъ давно ли мужичка была—и вѣкъ бы такъ изжила, сомлѣть бы не изучилася: а тутъ какъ завидѣла судьбу неминучую, что быть да быть барыней—такъ съ легкой руки, для почину, обморокъ къ ней сразу прикинулся!

Очнулась сердечная, стоитъ, дрожитъ, сама не знаетъ, что съ нею дѣется... Пригожа-то она пригожа, да въ крестьянскомъ платьѣ еще; какъ на себя взглянетъ, а женихъ такой, что только бъ барышнѣ ея по плечу: вотъ она испугается опять и не знаетъ, какъ быть. Не успѣла оглянуться, ужъ и обошли вокругъ налоя, и къ кресту приложились, а тамъ и дружки стали цѣловаться, и съ нею, и съ нимъ, поздравлять да добра желать, да и поѣхали домой.

А сваха межъ тѣмъ, выждавъ съ часокъ, воротилась къ тѣмъ господамъ, да какъ ко двору стала подходить, то и собачьей побѣжкой пустилась, да руки заломила къ верху, да ну кричать: увезли, говоритъ; вотъ въ моихъ глазахъ увезли; и не знаю, кто и откуда, а у меня ноги такъ и подкосились: я кричать, я бѣ-

жать—покуда добѣжала до нея, до сердешной, а тутъ только пыль столбомъ по дорогѣ пошла!

Такъ моя Катеринушка и пропала безъ вѣсти, ровно въ воду канула: господа ее узнали, правда, въ чьихъ она рукахъ—да ужъ обвѣнчана была, кромѣ развѣ выкупа, ништо возмешь; слухъ пошелъ по селу, что ушла Катерина съ такимъ-то; отецъ и мать поплакали, да и благословили ее заочно, дай Богъ любовь да совѣтъ, коли обвѣнчались, что жъ, не безчестно сманилъ, стало быть, и грѣха нѣтъ.

Поговорили, потолковали на селѣ — развели на бобахъ, замолчали. Господа тоже: не плакать стать по горничной своей, хоть и стыдно было, что сватался на дочери, а женился на горничной — да отвели сердце, побранивъ его за глаза и махнули рукой.

Былъ однакоже одинъ человѣкъ, у котораго залегло дѣло это на сердце не на три дня, а ходилъ онъ долго, думалъ да гадалъ, да на усъ моталъ. А былъ это подстаршій братъ Катерининъ, Григорій. Не полюбилось ему жить у господъ своихъ, ни у отца у матери; онъ былъ бойчѣе всѣхъ, да ину пору дурь въ голову попадала, маленько отъ рукъ отбивался, такъ случалось, что бывалъ битъ и самъ. Вотъ онъ себѣ и задумалъ: коли сестра у меня за военнымъ офицеромъ, за родовымъ дворяниномъ, такъ что же я стану тутъ поясницу ломать на барщинѣ? Не клиномъ же земля передо мною сошлась, не только и свѣту, что у батюшки въ красномъ окнѣ! А въ тѣ поры слухъ былъ, что селятся на Кавказѣ, и кто ни приди, только бы дошелъ туда, такъ вольный будешь, и земли отведутъ и сиди, и живи, знай только самъ себя. Было тутъ много и вракъ, про молочныя рѣки, кисельные берега, сытовые колодцы—ну, это присказка, а сказка будетъ впереди. — Вотъ Григорій и задумалъ на Кавказъ: а какъ онъ былъ еще *самъ паренька* совсѣмъ молодой и любилъ малаго брата,

своего, Терентія, пуще всѣхъ, то и задумалъ бѣжать, да съ собой увести и Терешку. А Терешка въ тѣ поры еще и до бороноволока не доросъ на четверть, такъ вотъ только что ходилъ, да какъ телокъ молоко съ губъ облизывалъ. Ну, жаль, вишь, стало Григорію покинуть его, онъ и его съ собой. Ушелъ и пропалъ, ровно утопился, ни слуху, ни духу.

Узнавши объ этомъ, баринъ осерчалъ такъ, что свѣту не взвидѣлъ, досадила ему крѣпко ужъ и Катерина, что дала себя сманить и опозорила боярышню; а теперь вотъ Григорій бѣжалъ, да еще и брата увелъ; разсердился баринъ на всю семью, да тутъ же старшему Курмышеву, недолго думавъ, Герасиму, лобъ забрилъ; а меньшую дочь, Марью, не давъ ей и подрости, всего-то годовъ четырнадцати, отдалъ замужъ за старичка вдовца, за плохого мужика, такъ лыками сшитаго, только слава что мужикъ, а самъ хилый, больной, таки никуда не годится.

Между тѣмъ, Григорій знай пробирается дальше, норовитъ такъ, чтобы гдѣ исправнику не попасться въ руки, а доплестись какъ-нибудь до самаго до Кавказа. Много таки кой-чего съ нимъ случалось, всякой нужды и горя натерпѣлся: и безъ хлѣба трое сутки съ братишкомъ промаялся; и волки съѣли было гдѣ-то, какъ заночевалъ въ терновой трущобѣ; и больной провалялся въ степи дня четыре, какъ мочи ни стало, и чуть не померъ; однако доплелся. Хоть хуже будетъ жить, дескать, а не инако будетъ, не постарому, а старое-то житье и надоѣло. Въ чужой рукѣ всегда ломоть великъ. Вотъ пришли они въ тѣ мѣста, что черкесы вороватые никому проходу не даютъ, и отъ нихъ, сказываютъ, житья нѣтъ; кому нужда за чѣмъ по дорогѣ идти, либо ѣхать, такъ все съѣзжаются обозами, а за ними полки въ конвой идутъ, ину пору и пушку еще берутъ съ собой, да и отбиваются: а нашъ Григорій,

какъ ему на вольный свѣтъ и на добрыхъ людей глядѣть нельзя было, пошелъ да пошелъ пробираться все дальше; день лежитъ въ лѣсу, въ камышахъ, а ночь идетъ, и все идетъ, а самъ не знаетъ куда; только знаетъ, что за Кавказомъ, сказываютъ, всякому селиться вольно и землю отводятъ и подушнаго нѣтъ, ни рекрутчины, ни барщины; а, чего добраго, и въ такія мѣста зайдешь, гдѣ молочны рѣки, кисельные берега. Шелъ онъ, шелъ, да и напоролся самъ на свою бѣду, и попалъ, какъ куръ во щи: такъ-таки его и взяли черкесы живьемъ руками—на ловца и звѣрь бѣжитъ, а онъ самъ сердечный на нихъ и набѣжалъ. Какъ сталась бѣда эта, такъ Григорій и догадался, вишь, тоже крѣпокъ заднимъ умомъ, что дѣло плохо; сталъ онъ тосковать и по себѣ, а еще пуще по маломъ братѣ, что отдалъ его въ руки татарамъ. Думаетъ бѣжать, что Богъ ни дастъ—такъ брата жаль покинуть, по немъ убивается пуще, чѣмъ по себѣ. Такъ промаялся сутки;—вдругъ, на другую либо третью ночь, отколѣ ни взялись казаки, въ такихъ же, говоритъ, мохнатыхъ шапкахъ, какъ и черкесы, что и не распознаешь ихъ—напали на шайку эту, на черкесовъ, да и давай ихъ лупить. А тѣ видятъ, что дѣло плохо; давай Богъ ноги, пошли одинъ другому дорогу указывать—да не доставайся же, говорятъ, полонъ ни намъ, ни вамъ: прокололи бѣднаго Григорія ни за грошъ, покинули. Вотъ тебѣ и воля; и попалъ туда, гдѣ нѣтъ ни рекрутчины, ни подушнаго, ни барщины! Какъ съ того свѣту придетъ, такъ можетъ статься, и поразскажетъ что-нибудь о сытовыхъ рѣкахъ.

Межъ тѣмъ Герасима отдали въ солдаты, а Марьюшку чуть не туда же, погубили дѣвку ни за грошъ. Старикъ Курмышевъ потужилъ опять, поплакалъ—что будешь дѣлать? Власть Господня. Было пятеро дѣтей такихъ, что завидно было смотрѣть на нихъ стороннимъ—а тутъ не стало вдругъ ни одного.

Герасимъ въ солдатахъ; Григорій въ бѣгахъ, и съ Терешкою; Катерина не то замужемъ, не то такъ ушла; а Марья и того хуже: колотится сердечная, что рыба объ ледъ, и молода еще, и слабосильна, а хозяинъ больной, хилой старикъ; а сиротъ, пасынокъ да падчерицъ, малъ-мала-меньше—полна изба: такъ и замоталась, ровно ошалѣла; и ласки законной отъ мужа никакой не видала, словно только изъ избы въ избу работницей перешла; день-то бьется, а ночь плачетъ, только всего и житья.

Ну, однакожъ, хозяйка Курмышева, Марьюшкина мать, сколько ни плакала тожъ по сиротству своему, а надежду на Бога полагала; горя вездѣ много на свѣтѣ, говорятъ, а рядомъ съ нимъ и добро живетъ, когда подчасъ не изъ него ль еще оно родится. Она старика своего заставила Богу молиться, да стараться, гдѣ можно, за себя и за своихъ, а сама моталась туда и сюда, чтобъ, сложа руки, не сидѣть, не пустословить, праздновать праздникъ, а не будень, и умилостивить за дѣтей своихъ господъ, чтобы эти на нихъ не пеняли. Такъ она со старикомъ своимъ всякую помощь подавала Марьѣ, да увидавъ, что та не справится съ хилымъ старикомъ и шестерикомъ ребятишекъ, взяла четверыхъ къ себѣ, а ей покинула двоихъ, постарше; вотъ Марьюшкѣ и полегчало. Вспомнила мать и о другихъ дѣтяхъ: просила она грамотныхъ людей отписать въ ту вотчину, которой помѣщикъ ей либо зятемъ сталъ, либо нѣтъ, чтобъ узнать, не слыхать чего о дочери ея, Катеринѣ; и въ полкъ писала она, гдѣ былъ, по слухамъ, Герасимъ—да отвѣту не сталось ни откуда; а Курмышева, почитая, что отчаиваться грѣшно, все попрежнему отъ восхода до заката старалась по своему да по дочернему хозяйству, да за сиротъ, что Богъ ей далъ—такъ годъ за годомъ и проходилъ.

Все это было въ ту самую пору, въ то памятное всѣмъ намъ время, какъ наступилъ было французъ на Москву, да ожегся, да попятился, чтобъ простудиться, да и замерзъ. Кто живой съ руками, съ ногами былъ, всѣ въ тѣ поры подъ ружье пошли, и не было ни толковъ, ни разговору, какъ про француза. И я послужилъ въ тѣ поры, хоть однимъ плечомъ, да послужилъ: былъ въ ратникахъ. Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ; не клокъ же какой-нибудь матушка Россія, каблукомъ ее сразу не раздавишь, да и нахрапомъ ее не накроешь; исплошится съ одного конца, поправится съ другаго—а встанетъ вся, такъ вѣдь ровно преставленье свѣта, чай, не совладать захожимъ молодцамъ, хоть они разопнись. На что уже у насъ, въ глуши, и тутъ даже послѣдній мужичокъ бодрился, хоть и знали всѣ, что Москвы-то ужъ нѣтъ, да были слухи, что и Питера не стало;—ну, чтожъ, просторомъ насъ Господь не обидѣлъ, жаловаться грѣшно; за Москвой да за Питеромъ есть еще гдѣ порасходиться, охочій не добѣжитъ туда съ разу, а горячій простынетъ. Межъ тѣмъ, наши, чай, поспѣютъ собраться, да снарядиться; не на полатяхъ же лежа встрѣчать да провожать станутъ непріятеля.

Ну, миновалась и эта година; какъ постояла за себя матушка Русь, да поддавъ французу киселя, пошла за нимъ въ проводы, чтобъ не давъ ему оклематься, добить подзатыльниками; такъ поднялись и прочія земли, и уходили его въ конецъ: сиди, говорятъ, дома. Извѣстное дѣло, передній заднему мостъ; за починомъ дѣло стало, а тамъ, сказываютъ, не оставили и прочіе. Прошло еще годовъ съ десятокъ никакъ, тутъ война объявилась съ турками. Два лѣта повозились наши и тамъ, побили ихъ и замирились.

Вотъ въ Турціи и пришлось, что въ одномъ сра-

женіи—не было меня тамъ, такъ и не знаю въ какомъ, а врать не хочу, ужъ старъ больно на это—въ сраженіи поприжали было турки полковника одного; и пошла раздѣлка жаркая: наши-то и рады бъ постоять за себя, такъ не беретъ сила; они, вишь, съ горъ, да изъ лѣсу такъ и валятъ. Ну, въ полѣ сѣзжаются, родомъ не считаются, а чья возьметъ, тотъ и голова. Приходитъ нашимъ плохо; вдругъ, смотрятъ, помощь валитъ: таки вотъ откуда все турокъ сыпался, изъ лѣсу, несутся и наши по пятамъ, ровно дождевики вслѣдъ за ними выросли, да и прижали ихъ; тутъ ужъ въ охотку стало и тому полковничку, и онъ поналегъ — справились да порасчистили поле такъ, что и духу турецкаго тамъ не стало.

Вотъ тотъ первый полковничекъ и здоровается, порѣшивъ все благополучно, съ тѣмъ, что на подмогу поспѣлъ, и спрашиваетъ, какъ чествовать его и откуда Богъ принесъ. Да я, говоритъ тотъ, Курмышевъ прозываюсь, Герасимъ Ивановичъ. А изъ какого жъ вы мѣста родомъ? Да я вотъ оттуда-то, изъ села Лысовки, изъ простыхъ мужичковъ, и дослужилъ, благодаря Бога и великаго Государя, до большого чина, и самъ теперь начальствую.—А у васъ, опять спрашиваетъ тотъ, не было ль сестры Катерины?—Была; а вы, говоритъ, гдѣ ее видѣли? Она у насъ сердечная, почитай-что, безъ вѣсти пропала, сманили ее, да и увезли!—А я, говоритъ тотъ, знаю такъ ее, что она мнѣ жена, а мы, стало быть, съ тобой зятья да шурья!—Вотъ и давай обниматься и разспрашивать, кого и какъ Господь миловалъ, да Государь жаловалъ

— Я—говоритъ Курмышевъ:—хоть съ первоначала и больно сердился на своего барина и, каюсь, замышлялъ было противъ него худое, за то, что разобидѣлъ онъ все наше семейство, а теперь не тужу.

Попалъ я на службу въ такую пору, когда добрые солдаты были дороги; Богъ помогъ мнѣ, начальство полюбило меня, головы своей я не щадилъ—такъ я пошолъ да пошолъ, да вотъ и дослужился. Вотъ, говоритъ, и все; а ты же, братъ любезный, какъ?

— А я,—сказалъ зять его:—я женился на Катеринѣ твоей просто на зло господамъ вашимъ, которые больно зазнались; а женившись, братъ любезный, полюбилъ Катеринушку, какъ душу. Что пригожа она была, это я видѣлъ, на то глаза во лбу; а что умаразума было въ этой дѣвкѣ, такъ этого, чай, никто до того не зналъ. Какъ дастъ Богъ живы здоровы будемъ, да домой воротимся, такъ ты, братъ, на нее не налюбуешься; такая барыня вышла прекрасная, что завидно, братъ, глядѣть на нее тѣмъ, которые въ шелку повиты, дворянскимъ молочкомъ вскормлены. Ужъ что войдетъ тебѣ куда, что сядетъ, что слово молвитъ, то глядѣть на нее весело и радостно. Однако, братъ пойдемъ осмотримъ-ка своихъ раненыхъ, да пораспорядимся, какъ слѣдуетъ.

Вотъ они и пошли, ходили по-братски, рука въ руку, и всякій распорядокъ дали, да и зашли поглядѣть на плѣнныхъ. Приказали накормить ихъ, стали разспрашивать; солдаты и говорятъ, что одинъ есть тутъ изъ нихъ немного знаетъ по-русски, да еще и русскимъ сказывается. Подай его сюда! пришелъ; и по-ихнему кланяется, и голова бритая въ чалмѣ, боится сердечный, не казнить ли ведутъ—сталъ передъ полковничками и дрожитъ. Начали спрашивать его — плохо знаетъ по-русски, однако же, немножко понимаетъ. Ты гдѣ по-русски научился?—«Да я, говоритъ, русскій».—Какъ русскій? откуда?—«Я малъ былъ, чуть помню—братъ меня увезъ на Кавказъ; тамъ взяли меня, а брата убили, держали меня недолго, продали туркамъ; увезли моремъ въ турецкій

городъ; давно ужъ этому—а помню, что такъ было; тамъ хозяина моего въ войско взяли, въ чиновные, а онъ меня взялъ съ собой; вотъ я и попался».

Какъ поглядѣли другъ на друга полковнички, какъ заплакали, да турка того давай обнимать; тотъ сердечный, ровно чужая голова у него на плечахъ, не знаетъ, какъ быть: въ ноги имъ стелется, а они, знай, къ нему на шею вѣшаются. Одинъ говоритъ: я тебѣ братъ; другой говоритъ—я тебѣ зять; вѣдь тебя Терешкой звали, какъ былъ ты русскимъ? Точно, говоритъ, Терешкой.—Ну, такъ ты, Терентій Ивановичъ, нашъ; сымай чалму, отращивай волосы, босовики разуй, да учись ходить въ сапогахъ; живи съ нами, съ нами поѣдешь и домой!

Терентій Ивановичъ помаленьку сталъ отвыкать отъ турецкихъ ухватокъ своихъ, а братьямъ радъ былъ такъ, что первое время не помнилъ себя. «Вотъ,—сказалъ зять:—видишь ли, Герасимъ Ивановичъ, словно мы съ тобой по грибы пошли: еще одного подобрали изъ своихъ: Богъ милостивъ, не далъ же намъ другъ на друга руки поднять, не далъ брату брата убить; а долго ль было до грѣха? уложили бы на мѣстѣ, либо мы его, либо онъ насъ, такъ и закопали бы, земля бы все покрыла, и Богъ бы одинъ и вѣдалъ про то...

Терентій отъ брата своего не отставалъ болѣе, а разсудивши съ нимъ, какъ быть и что дѣлать, опредѣлился тутъ же на службу. Такъ, наконецъ, пришло и замиренье, и пошла армія наша домой. Зять, стало быть, списавшись съ своей Катериной, гдѣ было ей встрѣтить на границѣ мужа, да не написалъ ей про братьевъ ни слова, вдругъ и привелъ къ ней ихъ обоихъ. Она, взглянула ли, нѣтъ ли на чужихъ, да къ мужу на шею. Тутъ и слезамъ, и радостямъ не было конца. Обняла Катерина мужа—и не выпускаетъ его изъ рукъ; уйдешь, говоритъ, опять, да пропадешь —

не дай Богъ опять тоже, что было; лучше помру безъ тебя, а ждать не дождаться — моченьки моей нѣтъ! Подвела она ему и двоихъ дѣтей: вотъ, говоритъ, сколько Богъ далъ намъ съ тобой, сколько оставилъ ты мнѣ, столько и сдаю тебѣ опять съ рукъ на руки: сберегла обоихъ; ночей не досыпала, куска хлѣба не доѣдала, а ихъ сберегла! Старшіе тожъ здоровы, въ наукѣ, а этихъ я безъ тебя грамотѣ выучила, добру наставляла, наказывала быть въ отца!

Вотъ какъ,—подумалъ Герасимъ Ивановичъ, стоя до поры до времени ровно чужой въ углу избы, между тѣмъ какъ турокъ Терентій прижался къ косяку:— вотъ какъ! ужъ она другихъ грамотѣ учитъ: а при мнѣ еще кромѣ серпа да цѣпа ничего въ рукахъ не держала!

Обнялъ мужъ и разцѣловалъ свою Катерину, обнялъ и дѣточекъ и стряхнулъ таки, чай, слезу съ усовъ, покуда опомнился, кого еще съ собой привелъ. Ну, говоритъ, Катеринушка моя, это все ладно, все, благодаря Бога, хорошо, и добрая ты моя жена и хозяйка; да вотъ, погляди-ка, я привезъ тебѣ изъ похода гостей, одинъ нашъ, другой турокъ; вотъ этотъ хотѣлъ было убить меня, пошелъ на меня воевать; да этотъ, спасибо, заступился, не далъ въ обиду, отстоялъ?

— Хоть и не дамъ толкъ, что ты говоришь, — сказала Катерина, назвавъ мужа по отчеству:—а коли есть правда въ твоихъ словахъ, такъ я пойду обниму напередъ вотъ этого, который за тебя постоялъ; а тамъ, коли ужъ ты простилъ и тому, и привелъ его ко мнѣ въ гости, такъ и я мирюсь съ нимъ, и съ нимъ поцѣлуюсь?

— Умная жъ ты баба—сказалъ хозяинъ ея:—и не собьешь тебя, видно, съ толку ничѣмъ. Ну, а обнявшись съ ними, по-христіански, погляди-ка на нихъ, не захочешь ли еще обнять по-братски? Смотри, какъ они

сердечные жмутся, не зная, какъ быть и какъ къ тебѣ приступиться! Смотри-ка, вѣдь никакъ давно ужъ слезы навернулись и у нихъ; съ чего бы это такъ!

Стала Катерина и опѣшила совсѣмъ, даромъ что чужимъ умомъ не живала, а тутъ не приберетъ и слова. Глядитъ, то на мужа, то на нихъ — хоть бы опять, какъ въ тѣ поры, когда подъ вѣнецъ несли ее, обморокъ ошибъ, такъ бы въ самую пору; однакожъ устояла. Да говори же, Христа ради,—закричала она,—говори, что со мной дѣлаешь?

— Вотъ тебѣ братъ Герасимъ, а вотъ тебѣ и братишко Терентій,—сказалъ ей муженекъ:—одинъ угодилъ было въ турки, а теперь опять сталъ нашимъ; другой не испугался того, что ему лобъ забрили, а вотъ головой да грудью взялъ свое; самъ начальникъ теперь, какъ и я, и крестами пожалованъ не хуже всякаго столбового дворянина?

Тогда-то ужъ Катеринушка кинулась къ нимъ и повисла на шею обоимъ. Протолковали они вчетверомъ, почитай, всю ночь напролетъ; всякій разсказывалъ свое житье-бытье и что и какъ съ нимъ приключилось.

— Я,—говоритъ Катерина:—не вѣрила свахѣ его, не слышала родясь, чтобы такіе женихи были у крестьянскихъ дѣвушекъ, хоть меня господа и избаловали, и захвалили немного за русу косу, за черны брови; однакоже все у меня этого въ головѣ не бывало. Когда же *онъ вотъ* поймалъ меня одну въ полѣ, посадилъ да увезъ, такъ я, добра не чая никакого, хотѣла убиться, хоть бы вотъ подъ колеса кинуться изъ кареты, такъ и то бы благодать. Я помнила только отца, да пуще всего мать, а себя не жалѣла. Какъ послѣ обвѣнчали насъ, какъ что дальше было—ровно во снѣ помню, знаю только, что успокоилась, предавшись волѣ Божьей. А когда узнала его получше, стала посмѣлѣе

съ нимъ, да опомнилась сама и опозналась—такъ зажили мы душа въ душу съ нимъ и правда, что полюбила я его, какъ и сама не чаяла. Такъ, небось, и съ нимъ было: взялъ меня онъ не по добру, не по Божьему закону—а послѣ и сердце забылъ свое и недобрую думку, а тоже слюбился, какъ Богъ велѣлъ, и теперь говоритъ—коли не обманываетъ—что не сталъ бы такъ любить и барышни моей, когда бъ пошла за него, какъ полюбилъ меня. А я, не забывая простого рода своего, какъ и вы, милые братья, сколько силъ моихъ было, старалась, чтобъ не стыдно было мужу меня въ люди показать, чтобъ быть мнѣ не мужичкой между ровнями его, а хозяйкой, какъ слѣдуетъ Чей хлѣбъ ѣшь, того и пѣсенку поешь: отъ людей не отставай, а къ людямъ приставай. Вотъ мы, благодаря Бога, и живемъ; и не упрекалъ меня муженекъ мой ни разу, что я не ему чета, а возитъ, такой похвальбишка! возитъ еще на показъ, какую-де воспиталъ себѣ жену!

— А что жъ,—сказалъ тотъ: — разумѣется такъ; не чужимъ я говорю теперь, а своимъ, роднымъ шурьямъ: готовой такой не найти; отъ того и похваляюсь.

— Теперь — сказала Катерина:—по одномъ только у меня сердце болитъ, по отцѣ и матери. Что съ ними? живъ ли кто изъ нихъ? Когда бы Господь привелъ увидаться съ ними хоть разъ, то вѣчно бъ благодарила его въ молитвахъ своихъ, и помолодѣла бъ опять, опять стала бъ такою, какою была, живучи при нихъ... много, чай, мать обо мнѣ поплакала!

— А что же,—сказалъ полковничекъ:—зачѣмъ дѣло стало? благо теперь вся семья, всѣ мы вмѣстѣ сошлись, просись ты, Герасимъ Ивановичъ, въ отпускъ, и я отпрошусь, солдата своего я самъ уволю—вотъ и поѣдемъ, да какъ снѣгъ на голову!

И за словомъ давай всѣ обниматься да въ путь дороженьку снаряжаться.

— Вотъ, баринъ,—продолжалъ разсказчикъ, — теперь, пожалуй, и пой пѣсню, такъ и будетъ быль:

Не сизы туманы изъ-за горъ горы подымалися,
Подымался поѣздъ путничій ни свѣтъ ни заря:
А ни свѣтъ ни заря къ селу Лысовкѣ подъѣзжаютъ они—
Подъѣзжаютъ брата два, со сестрой родной, съ роднымъ зятюшкой!
Какъ стучитъ-то въ нихъ и стучитъ таки ретиво сердце.
По тому ль по свиданью со отцемъ, съ родной матушкой!

Ну, пріѣхали они по близости Лысовки въ деревню, у полковниковъ не стаетъ силъ дожидаться, поколѣ лошадей покормятъ; нельзи ли, говорятъ, принанять тутъ, чтобъ къ обѣду поспѣть въ Лысовку! Мы заплатимъ честно, что потребуется. Можно, говорятъ, вотъ здѣшніе мужички возмутся, да еще подпряжетъ, пожалуй, пару свою мужичокъ Лысовскій, что сюда привезъ оттолѣ купцовъ. А гдѣ онъ, подайте его сюда!— Пришелъ.—Ты Лысовскій?—Лысовскій, баринъ. — А чьихъ же ты, изъ какой семьи?—Да я баринъ, коли знаете, Курмышева старика сынъ.—Какъ такъ Курмышева? стало быть, ты Григорій?... — Григорій и есть; а вы-де какъ меня знаете?

Ну, тутъ сбѣжались всѣ, давай брата обнимать, да цѣловать; тотъ знай усы да бороду утираетъ, немытое рыло подставляетъ; съ ума что ли, дескать, спятили господа заѣзжіе бояре, что всѣ мужику на шею цѣпляются, да роднымъ братомъ зовутъ? А тутъ еще какъ подбѣжала и Катерина-красавица, барыня пышная, ужъ по платью ль, по рѣчамъ ли, по походкѣ ли,

по всему, барыня; такъ Григорій стоитъ, ровно баранъ какой, ужъ и не знаетъ съ котораго боку подступиться. Григорій мой и слышитъ, что толкуютъ ему, да вѣры нейметъ; на смѣхъ что ли, молъ, подымаютъ меня—а такихъ сестеръ, зятьевъ да братьевъ у меня, хоть побожиться, такъ не бывало!

Живъ ли отецъ?—Живъ, слава Богу. — А мать?— И мать жива, всѣмъ хозяйствомъ заправляетъ. — А Марья?—Сестра Марья жива; тожъ и она хозяйка хорошая стала, маленько горе съ плечъ свалило. Больной-то, старый хозяинъ померъ у нея. Богъ надъ нею смиловался; ребятишки всѣ подросли, чернаго хлѣба не просятъ, сами въ домъ носятъ, а не изъ дому. Она осталась молодой вдовой красавица такая, хоть на показъ куда вести, хоть съ невѣстами на смотрины, такъ въ самую только пору; и таки жить не жила она съ хилымъ мужемъ, опричь того, что до послѣдняго часу все за нимъ ходила, да и схоронила. А какъ грѣха за ней не было никакого, хоть за старымъ мужемъ, и все одно, что безъ мужа жила, а страхъ Божій помнила и слушалась матери своей, которая все только добру ее учила; какъ окромѣ добра никто про нее ничего не слышалъ, а собой была она почище всѣхъ дѣвокъ лысовскихъ, такъ и стали свататъ ее со всѣхъ сторонъ, только что успѣла старика отвезти на погостъ. Подумавъ да порядивъ съ матерью, которая упросила и господъ, чтобъ надъ дочкою смиловались, она и вышла за Косарева сына, за Степана, за перваго мужика на селѣ, и по достатку, и по хозяйству. Вотъ она и живетъ, благодаря Бога, нужды не знаетъ, избу построили новую, просторную, съ хоромами, и стариковъ взяли къ себѣ, отца, то есть, ея и мать.

— Ну, Григорій, а ты же какъ въ живыхъ опяти объявился, да на старое мѣсто угодилъ? Вѣдь, тебя убили черкесы?

Григорій поглядѣлъ на брата Терентія, да и заплакалъ отъ радости, да опять сталъ его обнимать.—Погубилъ было я тебя сердечнаго, съ великаго ума-разума своего!.. Слава тебѣ Господи, что все миновалось! А со мной было вотъ что: прикололи меня собаки окаянныя, да и бросили. Что было тутъ—ничего не знаю; только сказывали послѣ казаки, что, говорятъ, счастливъ ты, Григорій, что-де не до тебя тогда было намъ, погнали мы ихъ дальше и своихъ-то убитыхъ троихъ покинули, некогда было похоронить; а то бы, говорятъ, лежалъ бы и ты съ ними теперь въ землѣ, ничто бы взялъ. Всѣхъ четверыхъ васъ, говорятъ, за мертво мы покинули и не повѣрили бы никому, какъ глазамъ своимъ, что ты-де очнулся, да выползъ. А я, видишь, очнувшись на зарѣ, утромъ, гляжу—нѣтъ ни души, только что казаки убитые лежатъ трое, да одна лошадь. Я ну ползти да ползти на корачкахъ, доползъ до водицы, напился, обмылся, отдохнулъ—и всталъ уже коё-какъ на свои ноги. Ну, не больно рѣзвы онѣ были, что ступишь, то подламываются; однако, дошелъ я до торной дорожки и послышалъ за собой, какъ солнышко поднялось, конницу. Вотъ, думаю, либо панъ, либо пропалъ; коли свои—такъ, авось, не покинутъ; а коли горцы, такъ постараются они около меня въ другой разъ получше. Глядь—анъ наши; такъ я благополучно съ ними и вышелъ, да зарокъ и положилъ: коли дастъ Богъ ожить мнѣ, никуда не пойду больше, какъ прямо домой, да господамъ въ ноги; власть ихъ, что хотятъ, то пусть и дѣлаютъ, а ужъ я понесу все на себѣ, за брата сердечнаго, за Терентія, котораго сгубилъ вотъ ни за грошъ! Такъ я вылежался и воротился; да вотъ, ради страданій моихъ, что крѣпко израненъ, господа помиловали меня—пожаловали въ свинопасы; я живу себѣ, овдовѣлъ давно, дѣтей слава Богу не осталось—одна только своя голова на плечахъ—и

живу себѣ бобылемъ, ни избы своей, ни хозяйства своего нѣтъ.

Побесѣдовавъ съ Григоріемъ, господа велѣли ему закладывать коляски, либо кареты свои, подпрягли тутъ и другіе мужички, и пустились мои землепроходцы въ путь, во дороженьку. Стали подъѣзжать, родимыя мѣста признавать: гдѣ лѣсокъ, гдѣ березка стоитъ, гдѣ бугоръ, пригорокъ, либо вражекъ — все припоминаютъ, другъ передъ другомъ похваляясь; а полковники зачастую на часы свои поглядываютъ, скоро ли-де пріѣдутъ. Ну, не за горами ужъ и Лысовка передъ ними, какъ на ладонкѣ. Вотъ и храмъ Божій виднѣется, колокольня все та же, какая была, годовъ тому съ пятнадцать; вонъ и господскій домъ стоитъ, съ садомъ, конюшни, овчарни, скотный дворъ... А вонъ, говоритъ Григорій, Марьюшкина изба: вонъ поновѣе другихъ, кажетъ, за колодцемъ. Пріѣхали, и прямо подкатили къ Марьюшкину двору. Хозяйка думаетъ, какіе-нибудь проѣзжіе, да видно отдохнуть ко мнѣ заѣхали,—и вышла за ворота. А Григорій кричитъ ей: вотъ, Марьюшка, гостей привезъ тебѣ, такъ гостей: знаю, что вѣкъ будешь благодарна!—Ну, говоритъ Марья про себя, ты все радъ только горло драть, не знаешь по чемъ; милости просимъ, молвила она вслухъ, поклонившись господамъ. Растворяй ворота, хозяйка, закричалъ одинъ полковничекъ, соскочивъ съ коляски—мы-де на постой къ тебѣ, совсѣмъ жить пріѣхали!—Ну милости просимъ, молвила Марья—тамъ, тамъ, какъ хозяинъ себѣ знаетъ. И стала растворять ворота.

— Марья, — сказалъ Герасимъ Ивановичъ, взявъ ее за руку: — Марья Ивановна, а помнишь ли, что у тебя сестра была Катерина, да еще два брата, Герасимъ да Терентій? — Помню! говоритъ Марья, а сама глядитъ на полковника, глазомъ не смигнетъ, не знаетъ, что такое это будетъ. — Такъ я жъ тебѣ

братъ, Марья, и это братъ, а то сестра, а это тебѣ своякъ!

Разбѣжались глаза у Марьи, не знаетъ, что и дѣлать, испугалась, стала креститься; а Катерина заплакала, да къ ней на шею... Хозяинъ глядитъ въ окно, и говоритъ старикамъ; что тамъ такое, какіе пріѣзжіе веселые пріѣхали—что за диво! ровно съ сестрой обнимаются да цѣлуются, съ хозяйкой.—Пойду, погляжу. Пошелъ, а старики подошли къ окну, да тожъ и себѣ ничего въ толкъ не возьмутъ. Какъ вышелъ хозяинъ, такъ за-словомъ и съ нимъ господа пошли обниматься. Вотъ и вошли въ избу, и даромъ что господами стали, а по крестьянскому обычаю сперва перекрестились, да прямо отцу и матери въ ноги. Ну, старики чуть не рехнулись отъ радости; видятъ, что въ ноги некому пасть больше, какъ ни дѣтямъ роднымъ; а чтобъ такія дѣти были у нихъ, того и во снѣ не видали. Отецъ радъ былъ—а ужъ мать, такъ не знаетъ, какъ къ которому подойти, и что съ нимъ дѣлать; долго не вѣрила и не могла себѣ того въ обычай взять, что все это понаѣхали дѣти ея; а ужъ послѣ все только ходитъ около нихъ, плачетъ да слушаетъ ихъ, да по головкѣ гладитъ, то одного, то другаго. А какъ станетъ она передъ Катериной своей, да взглянетъ на нее, то такъ снова и зальется слезами. Какъ же никто изъ васъ вѣсточки о себѣ не подалъ, а я еще и писала вамъ сказала мать... Нѣтъ, матушка, отвѣчали тѣ, мы твоихъ писемъ не видали, а мы въ первые годы писали; да какъ намъ не было отвѣта, то и думали, что васъ давно на свѣтѣ нѣтъ, и замолчали сами. Тутъ только догадались всѣ они, чье недоброе дѣло это было, что письма ни туда, ни сюда не доходили; покачали головой, да и подумали; ну, дѣло прошлое, Богъ ихъ проститъ.

Межъ тѣмъ, съ господскаго двора ужъ прибѣгали

узнать, кто такой заѣхалъ. Какъ пришелъ съ отвѣтомъ посланецъ, такъ господа и не вѣрятъ. Народъ со всего села сталъ собираться вкругъ избы Марьиной, поглядѣть на такое диво; здоровались всѣ добрые люди, кто помнилъ Курмышевыхъ молодыхъ, и не могли на нихъ нарадоваться.

Черезъ день случился праздникъ, и пошли всѣ, вся семья Курмышевыхъ, къ обѣднѣ. Впередъ старики, отецъ и мать, въ хорошемъ платьѣ своемъ; за ними дочь Катерина съ мужемъ, тамъ Марья съ своимъ, а тамъ два брата, Герасимъ да Терентій; а Григорію-пустодому пришлось плестись сзади одному. Полковнички въ своихъ мундирахъ, въ крестахъ, и Терентій въ своемъ, въ солдатскомъ; Марьюшка въ праздничной поневѣ, въ шелковомъ платкѣ; а ужъ Катеринушка, хоть и говорила мужу, что рядиться больно не стану-де, а все вышла, ровно княгиня настоящая, по осанкѣ, по всему. Ужъ и въ церкви, чай, не одинъ согрѣшилъ изъ прихожанъ, нехотя всѣ туда глядѣли на Курмышевыхъ, что-де такого дива, какъ сошлась семья ихъ, и на свѣтѣ не слышно было!

Отстоявъ обѣдню, вся семья пошла къ помѣщику; къ господамъ на поклонъ. Ну, сперва тѣмъ какъ будто неловко было, не знали, можетъ статься, какъ стать и сѣсть; однакоже, обошлись вскорѣ, — и какъ всѣ пріѣзжіе, и полковничекъ Герасимъ и пуще всего Катеринушка, ни памятуя никакого зла, были почтительны къ прежнимъ господамъ своимъ и ничуть передъ ними не ломались, то и господа полюбили ихъ и стали къ нимъ доброжелательны. Вотъ, потолковавъ, и сладили дѣло такъ: за Марьюшку съ хозяиномъ, да за Григорія, внесли братья выкупъ; а за стариковъ, господа и выкупа не взяли, отпустили ихъ такъ. Поблагодаривъ господъ, пошли всѣ въ этотъ день на обѣдъ къ старикамъ Курмышевымъ, посадивъ за столъ

всю родню, человѣкъ пятнадцать; съ краснаго конца сидѣли старики, а тамъ полковнички, да новобранецъ Терентій, да Марья съ Катериной. На другой день баринъ позвалъ ихъ къ себѣ на обѣдъ и посадилъ съ собою за одинъ столъ всѣхъ; и старика со старухой, и Марью, и бобыля Григорія. Во весь столъ шумно и весело гуляли, и все распрашивалъ баринъ каждаго, какія бывали съ нимъ приключенія, и всѣ тому дивились. А надъ Григоріемъ господа помаленьку трунили, что захотѣлъ на Кавказѣ побывать, воли поискать, отъ подушнаго, отъ барщины уйти, да вмѣсто воли попалъ въ неволю. Что жъ дѣлать, сказалъ Герасимъ Ивановичъ, на всякую причину разума не напасешься; за то его Господь и наказалъ, перенесъ и потерпѣлъ онъ много — пора и забыть того, этотъ грѣхъ, и не поминать, чего теперь уже не воротить.

На всѣхъ на нихъ заглядывались господа, все дивуючись, какіе вышли изъ Курмышевыхъ бары, да какъ находчивы они обычаемъ, что промежъ господъ и сами господа, не стыдно и тамъ посадить на первое мѣсто; а со сродниками своими, съ крестьянами, тожъ ровно братья и спѣси въ нихъ никакой; а ужъ Катерина Ивановна, какъ озадачила ихъ всѣхъ, господъ-то своихъ, такъ что старый баринъ бывало послѣ вспоминаетъ, разсказываетъ господамъ, да и говоритъ: такая пышная княгиня стала она, да вѣдь что ни сдѣлаетъ, куда ни сядетъ, такъ ровно вотъ въ свои сани сѣла, ровно въ княжествѣ и родилась, а собой, говоритъ, такая красавица, что иной барынѣ послѣ этого стыдно на себя посмотрѣть; ну кабы несовѣстно было передъ сторонними людьми, къ ручкѣ бы подошелъ, ей-ей—вотъ что.

Кончивъ, старикъ всталъ и утеръ бороду, ровно послѣ сытнаго ужина. Кружокъ, который наросталъ понемногу во время разсказа, сталъ шумно и радостно расходиться, обсудивъ такъ и сякъ старикову повѣсть и дѣлая кой-какіе двусмысленные намеки. «Гдѣ же ты слышалъ повѣсть эту?»—спросилъ проѣзжій, полагая, что старикъ былъ уроженецъ и житель этой деревни. — Слухомъ земля полнится! — отвѣчалъ тотъ, кивнувъ головой. — Крестьяне разсмѣялись, а одинъ изъ нихъ сказалъ въ полголоса:—Да вѣдь это, баринъ, Григорій Курмышевъ и есть! — Какъ, Григорій?— спросилъ проѣзжій,—да какъ же онъ сюда попалъ?— Шатается по бѣлу свѣту,—отвѣчалъ тотъ:—торгуетъ кой-чѣмъ, да нашего брата надуваетъ; а вотъ у насъ и загостился, видно, хочетъ отпраздновать Пасху.

ГОФМАНСКАЯ КАПЛЯ.

ПОВѢСТЬ

Зала благороднаго собранія стариннаго удѣльнаго, а нынѣ губернскаго города Тугарина освѣщена была, какъ щитъ на потѣшныхъ огняхъ. Свѣтъ падалъ сквозь цѣльныя зеркальныя стекла, недавно выписанныя дворянствомъ въ честь новаго губернатора и на прощанье со старымъ; яркая полоса ложилась во всю ширину зданія поперекъ улицы, запроможденной каретами, колясками, дрожками: кучера и выносные расхаживали въ толпѣ любопытнаго народа и заглядывали въ окна; въ окнахъ мелькали головы, проносились попарно и подавали зрителямъ на улицѣ поводъ къ разнымъ толкамъ и замѣчаніямъ.

Молодой кучеръ, котораго баринъ недавно обзавелся выписанными изъ Казани пролетками, гордо подбоченивался и, глядя на яркія окна, передвигалъ повременамъ шляпу съ уха на ухо. «Вотъ они», сказалъ онъ товарищу: «близнецы наши; вишь, несутся: что ни есть лучшихъ выбираютъ барышенъ!»

— Нѣтъ,—замѣтилъ тотъ:—намедни одинъ изъ нихъ, видалъ я у предводителя, съ прокурорскою тещею

пустился, да такъ вотъ и разсыпается мелкимъ бѣсомъ передъ ней!

— Ужъ нечего сказать, что умѣетъ угодить на всякаго—сказалъ опять первый:—и на всѣ руки удалъ. хоть куда хочешь. Хватъ дѣтина такой; откуда что у него берется!

— Да который же это изъ нихъ, вотъ что пронесся по окнамъ?

— А Богъ ихъ разберетъ; я, признаться, о сю пору не распознаю ихъ. Это, говорятъ, Ефремъ Поликарповичъ—это Малахій Поликарповичъ; а поглядишь — все одно, не распознаешь; ровно оборотни какіе.

— А что ты шутишь? да, можетъ статься, и правда, что оборотни; то одинъ на двое разсыплется, то двое въ одного сойдутся...

— Вотъ штука, парень! Куда же онъ кости да мясо свое дѣнетъ, какъ двое-то въ одного сойдутся?

— Куда! ты говори! кто, братъ, съ кѣмъ поведется, съ тѣмъ и спознается.

— Ну?

— Ну, и только. Тебѣ костей своихъ некуда дѣвать: а люди сказку сложили про скатерть-хлѣбосолку, сапоги-самоходы да шапку-невидимку, такъ съ чего-нибудь да взяли.

— Извѣстно, взяли съ чего...

— А съ чего?

— Да съ чего! съ того и взяли, что сказка. На то она сказка.

— Анъ быль!

— Ой ли быль?

— То-то и есть, братъ.

Между тѣмъ, былъ балъ въ самомъ разгарѣ; губернаторъ, предсѣдатели палатъ, прокуроръ, часть совѣтниковъ и членовъ, врачебная управа—это все сидѣло въ особой комнатѣ за зелеными столами, и только

пятый выходилъ иногда, смѣнившись, освѣжиться въ танцовальную залу, гдѣ было столько свѣта, блеска, пригожества и веселья,—гдѣ все было шумно, праздничнo, великолѣпно; все кипѣло жизнію, суетой, все плясало, прыгало, бѣгало, всякій разсказывалъ, хохоталъ—одинъ только Иванъ Максимовичъ, который ѣздитъ въ собраніе для того, чтобъ выспаться, вздремнулъ подъ шумокъ въ углу, на креслахъ, сложивъ руки на груди, потому что онѣ вокругъ живота не сходились, и одобрительно киваетъ головой, какъ будто соглашается съ говоромъ ста человѣкъ, сидѣвшихъ и расхаживавшихъ взадъ и впередъ въ одной съ нимъ залѣ. Вице-губернаторъ, причисляя себя еще къ молодежи, управлялъ пляской, фигурами, музыкой и оживлялъ радушнымъ усердіемъ своимъ къ этому дѣлу цѣлое собраніе; а Иванъ Максимовичъ былъ, казалось, отъ природы на то назначенъ, чтобъ нехотя потѣшать и забавлять людей. И чѣмъ же? иной вѣкъ бьется изъ того, чтобъ посмѣшить людей, надсѣдается и надрывается, чтобъ сорвать съ толпы одобрительный хохотъ, и скромное желаніе это не всегда ему удается; Иванъ Максимовичъ, напротивъ, не дѣлалъ ровно ничего съ вѣдома своего для общей пользы и увеселенія, и собственно бездѣйствіемъ своимъ смѣшилъ до упаду. Онъ только сидѣлъ и дремалъ, выходилъ изрѣдка на воздухъ освѣжиться, спрашивалъ стаканчикъ горячаго, или закусочку, и опять садился дремать; а между тѣмъ, никто не могъ видѣть его безъ радушнаго смѣха.

— Вы мало танцуете сегодня! — сказала мимоходомъ молодая дама въ золотистыхъ кудряхъ, мило улыбаясь. Она расхаживала подъ руку съ подругой и поравнялась въ это время съ двумя мужчинами, изъ которыхъ одинъ невольно обратилъ бы на себя вниманіе ваше при нечаянной встрѣчѣ. Это былъ статный молодецъ, который ловкими пріемами своими бро-

сался въ глаза при первомъ взглядѣ. Въ ту же секунду обратился онъ почтительнымъ и вѣжливымъ движеніемъ къ золотистой молодой женщинѣ, сказавъ: «О, я вамъ не дамъ покоя за этотъ упрекъ: приглашаю васъ на всѣ сегодняшніе танцы, на весь вечеръ!..» и, не давъ ей отвѣтить на это, прибавилъ самымъ незамѣтнымъ для другихъ образомъ два словечка шопотомъ—и она, зарумянившись слегка, какъ будто нехотя улыбнулась, склонила голову и молча прошла далѣе. На лицѣ ея еще нѣсколько времени послѣ этого носилось хакое-то туманное облако, какой-то слѣдъ скромнаго раскаянія, для чего она сама вызвала черноволосаго, ловкаго и статнаго юношу на эту пару словъ.

— Смѣю ли просить васъ на кадриль? — сказалъ нѣсколько робко молодой человѣкъ въ адъютантскомъ мундирѣ... Тряхнувъ слегка золотистыя кудри свои, красавица подняла голову; неожиданность предложенія и легкое смущеніе, видимо, рисовалось на лицѣ ея. Въ самомъ дѣлѣ что отвѣчать? Молодой мужчина въ черномъ фракѣ, съ которымъ она сейчасъ пошутила, пригласилъ ее, шутя или въ правду, на всѣ слѣдующіе танцы; стало быть, уже во всякомъ случаѣ на первую, послѣ этого разговора, кадриль,—а тутъ новое приглашеніе, отказать — какъ-то неловко, недостаетъ духу; можетъ быть, первый отвѣтилъ только шуткой на шутку... а можетъ быть, и нѣтъ? Тогда могутъ выйти непріятности, отъ которыхъ столько предостерегали ее опытныя дамы; по крайней мѣрѣ, онъ самъ объ ней Богъ вѣсть что подумаетъ... могутъ даже подумать...

Нѣсколько томительныхъ для обоихъ секундъ прошли въ этомъ быстролетномъ размышленіи, и золотистая невольно, сама не зная, что она дѣлаетъ, отвѣчала: «Я уже приглашена—извинпте».

И вслѣдъ затѣмъ, едва слово это вырвалось, и адъютантъ, пожавъ плечами и покраснѣвъ, раскланялся, какъ ей стало досадно на необдуманный отвѣтъ свой, и жаль молодого адъютанта, который, казалось, былъ огорченъ этимъ отказомъ:

— Что ты это?—спросила у нея подруга, не отходившая отъ нея весь вечеръ:—кто же тебя пригласилъ? съ кѣмъ ты танцуешь?

— Да развѣ *онъ* меня не пригласилъ на...

— Кто онъ? когда? помилуй, Ольга! это шутка; неужто ты считаешь себя обязанною? Да развѣ такимъ образомъ приглашаютъ? Развѣ это водится? Да, или ты, можетъ быть, сама очень довольна.

— Ахъ не говори такъ; стало быть, я сдѣлала глупость; но когда же мнѣ было обдумывать... Право, я такъ смѣшалась: какъ же теперь это поправить? Бога ради...

Послѣ многихъ .аховъ и большихъ страховъ изъ опасенія дурныхъ послѣдствій отъ этихъ запутанныхъ дипломатическихъ отношеній, дѣло развязалось благополучно; братъ подруги Ольгиной, чрезъ посредство сестры, выручилъ преступницу, принявъ все на себя и протанцовавъ съ нею кадриль: потомъ явились вдругъ, какъ двѣ стрѣлы, пущенныя съ одной тетивы, два кавалера въ черныхъ фракахъ, похожихъ другъ на друга, какъ подобранная пара листковъ съ одного дерева; они оспаривали другъ у друга счастіе танцовать съ Ольгой, и одинъ изъ нихъ сказалъ: «Не уступлю никому, я былъ первый, я въ рукѣ, я давно уже приглашалъ васъ»... Музыка грянула, и Ольга, тряхнувъ, по милой привычкѣ своей, слегка золотистыми кудрями, подала ему руку; тутъ послѣдовало, во время танца, какое-то объясненіе, которое показывало, что она бѣдненькая, не могла уже выбиться изъ подъ нравственнаго вліянія своего черноокаго кавалера.

Потомъ уже дошла, наконецъ, очередь до свѣтлорусаго адъютанта, который скромно и прилично но настойчиво подстерегалъ своей очереди; и тутъ, наоборотъ, перевѣсъ нравственнаго вліянія явнымъ образомъ былъ не на сторонѣ силы, какъ во время танца съ черноокимъ, а на сторонѣ изящества, олицетвореннаго въ Ольгѣ.

Еще часъ — и этотъ хаосъ мелкихъ расчетовъ, видовъ, страстей и страстишекъ — чистыхъ, непорочныхъ желаній, насущныхъ помышленій, вліяній и помышленій всякаго рода, исчезъ и разнесся по всѣмъ концамъ города. Зала собранія затихла, окна ея потемнѣли... но участники и участницы развезли по обителямъ своимъ богатый запасъ, пищу для ума и сердца, на цѣлую недѣлю; можетъ быть, иной или иная на цѣлый вѣкъ. Не скоро размотается этотъ клубокъ мыслей, чувствъ, столкновеній, сродства, взаимныхъ приключеній и размолвокъ, брошенныхъ тутъ и тамъ невзначай замѣчаній, таинственныхъ намековъ, вопросовъ и загадокъ — то очень простыхъ, но тѣмъ не менѣе полновѣсныхъ, то опять такихъ, двусмысленныхъ, иносказательныхъ, а потому и весьма важныхъ... Впечатлѣнія, остатки думъ и чувствъ и самыя послѣдствія ихъ были не одинаковы: одному грезилась во всю ночь самая глупая карта изъ цѣлой колоды, какъ онъ выражался, чухонское окно, четверка пикъ, которая убила его франковку и этимъ испортила всю игру; на другомъ лежалъ, настоящимъ стегальнымъ тюфякомъ, какой-то толстый, пестрый господинъ, въ синихъ наплечникахъ и аломъ кушакѣ, съ рѣзной или добленной рожей—и это былъ бубновый король, который душилъ соннаго, какъ домовой. Третій слышалъ музыку сферъ, подымался, леталъ въ огромной залѣ собранія, но толкался головою въ потолокъ и не могъ выбиться на просторъ; четвертый падалъ стрем-

главъ съ какой-то страшной крутизны и, вздрагивая, просыпался, храбрился на яву и не могъ понять, чего онъ труситъ во снѣ; пятый, напротивъ, побѣждалъ всѣхъ противниковъ своихъ однимъ махомъ руки во снѣ, и, просыпаясь, думалъ: какъ бы это хорошо, еслибъ такъ было и наяву! Была и такая бѣдняжка, которая плакала во снѣ, громко всхлипывая: ей казалось, будто какое-то сатанинское созданіе держало ее въ когтяхъ своихъ и смотрѣло на нее жадными глазами, налившимися кровью.

Да, жизнь наша, раздѣленная сномъ и бдѣніемъ на двѣ части, представляетъ въ двухъ частяхъ этихъ двѣ отдѣльныя жизни. Одна изъ нихъ остается въ памяти нашей, и въ ней-то собственно заключается все наше земное бытіе; другая, безсознательная, существующая, однакожъ, не менѣе того сама по себѣ и отдѣльно — проходитъ, не оставляя ни памяти, ни слѣда. Но можетъ ли она быть безъ всякаго значенія, смысла и связи? А въ чемъ значеніе это состоитъ, когда и гдѣ оно для насъ объяснится?..

Но обратимся къ своимъ тугаринцамъ. Не только множество бесвязныхъ сновъ родилъ балъ этотъ, который мы описали, но и не менѣе того послѣдствія его изобличались наяву.

Еслибъ можно было сдѣлать сводъ всего того, что было сказано, пересказано, говорено, болтано, переболтано, разболтано въ теченіе слѣдующихъ за баломъ дней,—сколько тутъ было заключеній, умовоззрѣній, догадокъ, обмолвокъ, размолвокъ, удовольствія, надеждъ, неудовольствія, злобы и горя—о, конечно, еслибъ не было слѣдующаго затѣмъ воскресенья, гдѣ все это можетъ принять иной видъ, распутаться и запутаться снова, то не знаю, какъ и чѣмъ все это могло бы кончиться!

Настало утро—понедѣльникъ; весь городъ проти-

ралъ глаза и припоминалъ сонъ свой и вчерашній балъ.

— Какіе у нея глаза! — сказалъ Буслаевъ, адъютантъ военнаго губернатора:—какіе глаза! видѣлъ ты? Или ты слона-то и не примѣтилъ?

— Примѣтилъ,—отвѣчалъ его товарищъ, правитель канцеляріи Горнилинъ: — какъ не примѣтить! глаза большіе, голубые; пожалуй, лазоревые!

— И только?—продолжалъ Буслаевъ:—Не пиши, пожалуйста, картины своей такимъ потертымъ помазкомъ, не прикасайся такого предмета, молчи лучше! Тебя не обдало этимъ лучезарнымъ тепломъ, иначе бы ты воспѣвалъ глаза ея поразвязнѣе! Большіе и голубые! Что твои большіе и голубые? въ томъ-то и загадка, что они малы и велики, голубые, когда имъ надо быть голубыми, и каріе, и сѣрые, и черные, когда имъ надо быть карими, сѣрыми и черными! О, я бы, кажется, могъ теперь же воспѣть глаза эти, не запинаясь, звучными октавами!

— Пой же!—закричалъ Горнилинъ, воспламенившись въ свою очередь:—а я буду хоть вторить и подыгрывать!—взялъ въ руки гитару и ударилъ по струнамъ.

И Буслаевъ запѣлъ говоромъ подъ созвучные лады гитары:

— «Глаза, глаза, осыпьте вы меня, подъявши соболины вѣки, струями серебра плавучаго, дождемъ хрустальнымъ окатите! вы, искрометные, вы сыплете роскошно, расточительно тьмы отблесковъ души, души небесной!..

— «О, поскупитесь, тороватые!»—подхватилъ Горнилинъ:—«дарите взглядомъ этимъ достойныхъ себя, сыпьте серебро свое на доблестную душу, не сыпьте апельсиновъ..» или, бишь, «бисера..»

— Передъ Горнилинымъ и ему подобными! — за-

кричалъ Буслаевъ, вырвавъ у товарища гитару:—Выпуклое стекло какой-нибудь косморамы болѣе займетъ и утѣшитъ вашу братію, чѣмъ алмазное яблоко Ольгиныхъ очей!

— Да,—продолжалъ Горнилинъ:—тамъ видъ пообширнѣе будетъ, пообстоятельнѣе и поразнообразнѣе.

— Невѣжа!—подхватилъ опять Буслаевъ:—что можетъ быть въ этомъ скудельномъ, нищенскомъ мірѣ обширнѣе и разнообразнѣе этихъ очей? Я вижу въ нихъ вселенную. Не стану и говорить о душѣ, которая сказывается въ этихъ глазахъ,—нѣтъ, объ этомъ съ вашимъ братомъ говорить нечего; но посмотри только простымъ, холоднымъ наблюдателемъ на эту зѣницу, на эту живую игру и силу выраженій: ни минуты не стоитъ она спокойно, а отвѣчаетъ на всѣ, всѣ душевныя движенія! то сомкнется въ покоѣ, въ холѣ, въ нѣгѣ—и передъ тобою свѣтлоголубой глазъ, томный, чувствительный, воспріимчивый; ты готовъ растаять, какъ воскъ, и пасть... или нѣтъ, не ты, а кто-нибудь другой, кто это чувствуетъ; то глазъ этотъ расширяется немного, блеснувъ сокровенной искрой, и открываетъ въ срединѣ своей темный зрачокъ необъятной глубины и свѣтлости; то зѣница эта вдругъ вовсе отступится отъ своего зразчка, исчезнетъ, расширившись до самой окраины своей, и глазъ темнѣетъ, и дѣлается изъ темноголубаго каримъ, и наконецъ, передъ тобою черный, какъ смоль, глазъ, который жжетъ огнемъ, на что и куда ни взглянетъ — тлѣнье мигомъ въ пепелъ и золу; одно чистѣйшее золото, одна только выжига всплываетъ королькомъ...

— Такъ, дружище!—сказалъ вздохнувъ Горнилинъ, помолчавъ немного:—все это прекрасно, да вотъ что: не умѣю я вставлять мыслей и чувствъ своихъ потвоему въ такую великолѣпную оправу рококо; я думаю просто, что эта дѣвица чистая, непорочная въ

душѣ, которая во снѣ и наяву дремлетъ еще въ младенческомъ невѣдѣніи своемъ, колышется съ мотылькомъ на стебелькѣ и листочкѣ, съ солнечнымъ лучомъ на зыбкой струйкѣ; но что въ этомъ? когда гляжу на нее меня жалость беретъ и духъ захватываетъ, томитъ истома. На долго ли все это? Всякая поэзія дана, какъ греза; а проза, нагая существенность, запуская понемногу кошачьи когти свои въ глубину, добирается у насъ къ сроку не только до вещественнаго сердца, но и до духовной души. Она скована, приросла къ костямъ и къ мясу и не выбьется до поры изъ путъ своихъ, не устоитъ, среди небывалаго рая своего, противу насущной, грязной жизни, въ которую попадаетъ по неволѣ, какъ и всѣ мы, потому что живемъ на свѣтѣ. Къ чему же все это? Къ тому, чтобъ неминуемо, опаливъ крылья выспренняго полета, расхаживая между остальною плотскою братіею пѣшечкомъ, по уши въ грязи, затоптать непорочное вдохновеніе свое подъ ноги, дать его топтать кому угодно и, обманувшись въ надеждахъ, въ сладкихъ и пречистыхъ мечтахъ своихъ, въ самой жизни, въ людяхъ, въ себѣ самой, прозрѣть, наконецъ, этими голубо-карими глазами въ бездну нечистотъ мірскихъ, въ эту юдольную жизнь, и, изнемогая подъ непосильнымъ бременемъ черствой, грубой и наглой вещественности ся, заломить руки и, расплываясь слезами, воскликнуть: о, я несчастная, обманутая!..

Буслаевъ слушалъ рѣчь эту, самъ заломивъ руки и уставивъ въ старшаго товарища большіе глаза; наконецъ, помолчавъ, сказалъ:

— Но развѣ она не можетъ достаться достойному?

— Достойному! гдѣ же эти небожители? укажи на нихъ. О, кичливый юноша! Развѣ ты не изъ той же плоти созданъ, какъ и всѣ мы грѣшные? развѣ не ждетъ и тебя съ нею участь одна и та же: общаго

разочарованія, толкотня вокругъ домашняго очага, горохъ, огурцы и капуста,—словомъ, жизнеплотская, вещественная? Не въ томъ дѣло, другъ, кому она, голубоокая твоя, достанется, а въ томъ, что всѣхъ насъ ждетъ одна участь, что всякое обѣщанное на землѣ блаженство есть чистое надувательство, а всякое ощущеніе блаженства—временный хмѣль, чадъ, и послѣ просыпа больно заломитъ голова, заноетъ и защемитъ сердце. Зачѣмъ, для чего это такъ устроено—не знаю; но оно такъ, слѣдовательно, такъ и быть должно и, слѣдовательно, положимъ, къ лучшему; но гдѣ это лучше—мы также не знаемъ; видимъ только, что не здѣсь. Кичливый умъ нашъ и высокомѣрное—вотъ источники этого ложнаго положенія, въ которое поставлены всѣ мы, все такъ называемое хваленое образованное общество. Блаженъ, кто убиваетъ залетныя, заносчивыя грезы свои потовымъ трудомъ, не давая разгула духовному началу своему; придетъ срокъ—и духъ воцарствуетъ на волѣ. А кто, не къ мѣсту, нѣжа плоть свою досугомъ, взыграетъ жаворонкомъ и заликуетъ соловушкой, тотъ не жилецъ нашъ: онъ подъ часъ самъ отъ себя не скажется дома. Между тѣмъ, такъ мы ростемъ, такъ мужаемъ: насъ учатъ смолоду жить духовною жизнію, чтобъ потомъ разучиваться, какъ управимся, самоучкой; чтобъ вѣкъ, гоняясь за счастіемъ, со дня на день болѣе отъ него удаляться, копаться муравьемъ въ наносныхъ кучкахъ тли, воображая, что мы входимъ по золотымъ ступенямъ въ баснословный храмъ истины и свѣта,—словомъ, чтобъ, выбившись изъ силъ, пасть безъ памяти въ какомъ-то чаду, въ житейскомъ угарѣ, и очнуться—если доведется еще на бѣду очнуться, съ какою-то заглохшею пустотою въ груди и въ головѣ, гдѣ все исчезло, что было съ молоду насажено,—потому что насаженыто были вербочки съ бумажными листьями, золотыми

яблочками и восковыми фигурками, — и гдѣ все поросло не бумажнымъ, а живымъ, корневымъ чертополохомъ...

— Губернаторъ васъ проситъ!—сказалъ вошедшій деньщикъ Буслаева.—Буслаевъ, бывъ уже въ мундирѣ, схватилъ шляпу и побѣжалъ; а Горнилинъ спокойно сѣлъ за письменный столъ свой и принялся за бумаги. Онъ проворчалъ только про себя: «И тутъ то же, что и всюду; пишешь, пишешь — будто на письмѣ свѣтъ стоитъ; ину пору запишешься до того, что самъ этому повѣришь, и что, кажется, если не сдѣлаешь на то письменнаго распоряженія, то и солнышко завтра не выйдетъ и не будетъ пятницы либо вторника. А какъ разсудишь по совѣсти, то, право, роздалъ бы всю бумагу, сколько есть ея на бѣломъ свѣтѣ, ребятишкамъ на змѣи, а перья на морковные пистолеты. Но вотъ до чего мы запутались въ своихъ понятіяхъ, вотъ до чего мы,— безъ сомнѣнія, по чрезвычайной образованности своей,— все выворотили наизнанку: связку бумагъ мы называемъ *дѣломъ;* а самое дѣло, существенное исполненіе на дѣлѣ, къ чему все должно бы стремиться—мы называемъ... да не называемъ вовсе: для этого нѣтъ у насъ и названія. Переписка изъ средства чуть ли не обратилась въ цѣль, и мы добросовѣстно воображаемъ, что сдѣлали дѣло, когда исписали нѣсколько листовъ бумаги!

— Пойдемте къ близнецамъ, Илья Львовичъ,—сказалъ губернаторъ Буслаеву:—надобно посмотрѣть на новыя чудеса ихъ, на дагерротипные портреты, да оттиснуть и свои бакенбарды съ принадлежностью; благо не красками росписываютъ, такъ, глядя на портретъ, можно будетъ подумать, что и сѣдинъ еще нѣту!.

До близнецовъ всего было пути какихъ-нибудь 100 саженъ; но подали, по обычаю, коляску четверней. Бѣдный человѣкъ! Ему нельзя даже пройтись по го-

роду, какъ нашему брату, потому что это не прилично, по понятію тугаринцевъ, и надѣлало бы тревоги на цѣлую недѣлю. Въ самомъ дѣлѣ, положеніе этихъ людей иногда жалко: куда ни повернись, гдѣ ни пошевелись—вездѣ слѣдятъ за тобою десятки ногъ и глазъ; покоя и простора нѣтъ; гдѣ бы ты ни стоялъ, что бы ни дѣлалъ, всегда и вездѣ ты выходишь, какъ на показъ; всюду есть и должны быть свидѣтели, наблюдатели, услужливые и почтительные, послушные и покорные, исполнительные... но безъ свидѣтелей и наблюдателей можно быть развѣ только въ своемъ кабинетѣ. Какъ это должно быть скучно, какъ утомительно!..

Близнецы были оба дома и приняли желаннаго гостя съ большимъ умѣньемъ. Трудно описать, въ чемъ заключалось это умѣнье. Свѣтская вѣжливость, предупредительность, уваженіе — это не мудрено найти нынче во всѣхъ свѣтскихъ людяхъ, обтершихся въ хорошемъ обществѣ; но въ близнецахъ было еще что-то особенное, какое-то благородство и ловкость во всѣхъ пріемахъ, обнаруживающія скромное чувство собственнаго достоинства, избавляющее гостя отъ нѣсколько тягостнаго для него чувства, что всякое движеніе, стараніе и забота хозяина относятся собственно къ нему, къ гостю, и что все то, что дѣлается, дѣлается собственно для него. Умѣнье это, ловкость, свѣтская развязность близнецовъ, скрадывали очень искусно даже самый видъ одолженія и покрывали всѣ дѣйствія ихъ лоскомъ обыкновеннаго приличія. Умѣнье это было, можетъ статься, не послѣднею причиною, почему все тугаринское общество было безъ ума отъ близнецовъ. Они обворожили, обошли всѣхъ, какъ лѣшій обходитъ путника, и никто не могъ выпутаться изъ непосредственнаго ихъ вліянія.

Давно уже губернаторъ собирался навѣстить близнецовъ, чтобъ осмотрѣть всѣ чудеса ихъ, о которыхъ весь городъ не могъ наговориться. Въ самомъ дѣлѣ, домъ ихъ представлялъ крайне замѣчательное собраніе предметовъ изящества, рѣдкостей всякаго рода и въ то же время мастерства и искусства самихъ хозяевъ. Трудно было придумать что-нибудь, чего бы они не умѣли сдѣлать своими руками, и притомъ едва ли не лучше, нежели кто-нибудь иной. Убранство комнатъ было у нихъ таково, что обратило бы на себя вниманіе даже въ столицѣ; въ губернскомъ же городѣ, хотя бы это былъ и Тугаринъ, можетъ быть, ничего подобнаго не бывало. Сверхъ того, почти все, что только въ домѣ ихъ обращало на себя вниманіе посѣтителей, было собственной ихъ, близнецовъ, работы, чему даже трудно было бы повѣрить, еслибъ и самая мастерская ихъ не была для всякаго открыта.

Губернаторъ вошелъ. Въ первой, довольно обширной комнатѣ, или такъ называемой залѣ, разставлены были съ большимъ вкусомъ художественныя произведенія всѣхъ родовъ. Комната была въ два свѣта: отступя аршина на три отъ каждой изъ продольныхъ стѣнъ, расположены были въ одинъ рядъ, попарно, мраморныя изваянія въ полный человѣческій ростъ, на цвѣтныхъ стоялахъ; верхъ надъ этими изваяніями забранъ былъ почти сплошь превосходными картинами разной величины: большія висѣли надъ самыми статуями, меньшія наполняли промежутки, образуя въ общности узоръ въ видѣ сводовъ, которыхъ пятки сходились надъ каждою парою статуй. Сверхъ того, рядъ этотъ былъ завѣшенъ также точно картинами и съизнанки, отъ оконъ. Такимъ образомъ зала раздѣлена была продольною двойною колоннадою на средній и на два боковые участка, изъ которыхъ каждый былъ убранъ и украшенъ особо. Въ лѣвомъ—

разставлена по простѣнкамъ старинная мебель самой высокой работы прошлыхъ вѣковъ: все это было цѣльнаго дуба или орѣха, съ выпуклой рѣзьбой, съ широкими карнизами и затѣйливыми на нихъ сухариками, съ плодами, цвѣтами, головками, цѣлыми человѣческими тѣлами, звѣрями, баснословными животными и со множествомъ прикрасъ тогдашняго времени; все это было сработано, какъ работали прадѣды наши, чтобъ стало на сто лѣтъ съ походомъ, не щадя ни припасовъ, ни труда. Мебели фанерной или наклейной и съ нарѣзкой, какъ ее начали дѣлать уже съ половины прошедшаго вѣка, здѣсь не было вовсе. На этихъ вещахъ разставлена была различная посуда и другая старинная утварь—серебряная и золотая, вальяжной работы, съ слоновой костью, черепахой, раковинами, кораллами, жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями. На каждое блюдо, кружку, кубокъ, рогъ, ковшъ, чарку, стопу, горку, ендову или корабликъ можно было заглядѣться, и нынѣшнимъ облизаннымъ стопамъ нашимъ, или поддѣльнымъ на живую нитку чашамъ рококо было бы стыдно стать рядомъ съ этими полновѣсными произведеніями искусства.

По правую руку, или въ правомъ участкѣ, по простѣнкамъ и подъ окнами, расположены были музыкальные инструменты всѣхъ родовъ, величинъ и народовъ, начиная отъ гудка и балалайки до контрбаса, отъ рожка и сопѣлки до семидесяти двухъ русскихъ роговъ, отъ серинетки до органовъ и рояля. Тутъ же, у одного окна была придѣлана съ большимъ искусствомъ эолова арфа, о которой народъ бредилъ удивительными нелѣпицами. Когда въ сумерки окно это растворялось, и гусли-самогуды начинали издавать нѣжныя и полныя созвучія свои, то народъ стоялъ толпами подъ окномъ и слушалъ до самой полуночи, припоминая сказку объ Иванѣ-Царе-

вичѣ, о жаръ-птицѣ и о гусляхъ-самогудахъ, о которыхъ доселѣ слыхивалъ только въ сказкахъ, а теперь видѣлъ ихъ наяву. Въ другомъ ряду обоихъ боковыхъ участковъ, то есть насупротивъ оконъ и задъ съ задомъ со статуями, было расположено оружіе, охотничье вооруженіе и припасы и даже капканы, западочки и ловушки всѣхъ сбыточныхъ родовъ, начиная отъ мышеловки, удочки и птичьихъ цапковъ до пятипудоваго медвѣжьяго капкана, рогатины и китовыхъ багровъ. Ружья, пистолеты, сабли и ножи всѣхъ народовъ красовались тутъ же среди щитовъ, сѣкиръ, бердышей, копій, кистеней, чекановъ и мечей. По срединѣ залы стоялъ великолѣпный рояль со всѣми принадлежностями, съ запасомъ нотъ на вычурныхъ рѣзныхъ палочкахъ и особымъ, не менѣе затѣйливымъ устройствомъ для освѣщенія.

Все это было показано губернатору съ надлежащими поясненіями и въ порядкѣ, одно за другимъ; его водили то Ефремъ, то Малахій Поликарповичи и онъ, обращаясь къ тому или къ другому съ вопросомъ, никогда не зналъ навѣрное, кто изъ нихъ передъ нимъ: такъ они были другъ на друга похожи. Если они стояли рядомъ, то ихъ не трудно было отличить: Малахій былъ пониже, похудощавѣе и поблѣднѣе лицомъ; но порознь никто почти ихъ не различалъ. Народъ утверждалъ, что если хорошенько взглядѣться въ старшаго, въ Ефрема, то за нимъ всегда стоялъ и Малахій; что даже изъ глазъ Ефрема, если въ нихъ пристально всмотрѣться, выглядывалъ на глубинѣ зрачка братъ его Малахій. Эта странная сказка была какъ-то сплетена съ общимъ у насъ народнымъ повѣрьемъ, что въ глубинѣ глаза каждаго человѣка сидитъ другой человѣкъ, почему и самый, зрачокъ иногда называется человѣчкомъ. Разрѣшеніе загадки этой, впрочемъ, очень просто и заключается въ томъ, что

въ зрачкѣ всегда отражаются, какъ въ зеркалѣ, окрестные предметы, и что каждый изъ насъ можетъ увидѣть себя въ зрачкѣ своего собесѣдника.

Въ слѣдующихъ затѣмъ покояхъ близнецовъ, были расположены рабочія или мастерскія ихъ. Разсматривая тамъ начатыя работы — картины, мраморныя изваянія, мебель, ружья, токарныя, гончарныя и другія работы всѣхъ возможныхъ родовъ — губернаторъ не могъ надивиться этому небывалому соединенію въ однихъ и тѣхъ же двухъ лицахъ всѣхъ искусствъ и художествъ.

— Но, ради Бога,—сказалъ онъ, наконецъ: — объясните мнѣ хотя одно: когда у васъ достаетъ времени на все это? Я рѣшительно становлюсь въ тупикъ; не говорю уже о непонятномъ для насъ искусствѣ вашемъ, о томъ, что вы знаете и умѣете все; но, помилуйте, васъ только двое, даже помощниковъ у васъ не видать... когда же вы успѣваете? Это непонятно? Неужели слухи, которые носятся на этотъ счетъ, справедливы?

— О, не вѣрьте слухамъ! — отвѣчалъ одинъ изъ нихъ:—вы сами знаете, что такое значитъ народная болтовня...

— Однакожъ,—возразилъ губернаторъ: — какъ же вы мнѣ эту загадку объясните? Говорятъ, вы вовсе не нуждаетесь въ снѣ, и у васъ, не въ примѣръ намъ грѣшнымъ, въ суткахъ двадцать четыре рабочіе часа?

— Это придумали отъ нечего дѣлать, — сказалъ улыбаясь близнецъ:—къ сказкѣ этой, вѣроятно, подало поводъ то, что мы, вообще точно мало спимъ, а иногда посидимъ и ночью, если заработаемся, какъ случается со всякимъ.

Разговоръ этотъ, казалось, былъ непріятенъ Таганаеву, и онъ вслѣдъ затѣмъ заговорилъ о другомъ.

Буслаевъ разсматривалъ все съ большимъ вниманіемъ, онъ также поневолѣ изумлялся этой, можно сказать, сверхъ-естественной дѣятельности и всеобъемлемости дарованій; но ему даже и это невольное сознаніе было въ тягость: онъ не наслаждался тѣмъ, что видѣлъ а терпѣлъ и выдерживалъ только поневолѣ, не могши оставить своего начальника. Близнецы, не таясь, показали въ мастерской своей вновь начатые разные шкафы, точно работы XVI вѣка, недоконченные антики бѣлаго мрамора, серебряную посуду въ работѣ... словомъ, объяснилось, что всѣ чудеса эти были издѣлія самихъ близнецовъ, хотя всѣ эти вещи, по крайней мѣрѣ, въ глазахъ тугаринскихъ знатоковъ, ровно ничѣмъ не отличались отъ подлинниковъ, которыхъ, впрочемъ, также никто не видалъ. Но у Буслаева въ то же время щемило сердце, само не зная по комъ и по чемъ. Въ одной изъ статуй, Буслаевъ, къ ужасу своему, узналъ Ольгу, хотя сходство это было скрыто довольно искусно: его оскорбила нагота изваянія и, сверхъ того, выраженіе лица, въ которомъ были столь чуждыя Ольгѣ наглыя и страстныя черты.

Близнецы были противны Буслаеву при всемъ его удивленіи къ ихъ геніальной даровитости; Ольга съ золотыми кудрями своими, кажется, замѣшалась какъ-то въ это дѣло и застила Буслаеву, становилась между нимъ и каждой картиной, статуей или другимъ предметомъ: а какъ она была не просвирнина дочь, то сквозь нее ему и нельзя было видѣть. Буслаевъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ конца этого посѣщенія.

Дагерротипный портретъ губернатора былъ сдѣланъ, какъ дѣлаютъ ихъ нынче—въ нѣсколько секундъ, потомъ вставленъ въ приготовленную заранѣе богатую рамочку и врученъ почетному посѣтителю. Таганаевъ

предложилъ Буслаеву то же; этотъ хотѣлъ отговориться, но приличіе требовало, наконецъ, уступить, и не успѣлъ онъ присѣсть, какъ и ему также вручили готовый портретъ его. Выраженіе было какое-то злое, искаженное, но Буслаевъ понималъ, что можетъ винить въ этомъ только себя самого, поблагодарилъ и положилъ портретъ въ карманъ. Близнецы при прощаньи просили позволенія прислать губернатору нѣкоторыя вещи, которыя ему особенно понравились; одинъ изъ нихъ сдѣлалъ даже то же предложеніе адъютанту его; но этотъ, самъ не памятуя чѣмъ и какъ, отговорился и спѣшилъ вонъ вслѣдъ за своимъ начальникомъ.

Деньщикъ губернатора, суевѣрный олончанинъ, любившій притомъ, при спопутности, лишнее выпить, разсказывалъ дворнѣ, по пріѣздѣ домой, такія чудеса, какихъ не видывали не только наяву, но и во снѣ, самъ губернаторъ и Буслаевъ: деньщикъ увѣрялъ, что, стоя въ передней и заглядывая въ двери, онъ видѣлъ, какъ всѣ статуи эти ворочались, потягивались и зѣвали каждый разъ, когда губернаторъ съ адъютантомъ отъ нихъ отворачивались; онъ увѣрялъ, что близнецы Таганаевы то сходились вмѣстѣ и сплавлялись въ одного человѣка, то опять раздваивались и даже расходились на-трое; что третій близнецъ былъ еще меньше, сухощавѣе и блѣднѣе втораго. Онъ увѣрялъ, клялся и божился, что комната, по частямъ, застилалась внезапно густымъ туманомъ, словно маревомъ, въ которомъ кишѣла какая-то чертовщина, а тамъ опять выростали тѣ же мраморы и картины, а туманъ, ложился на вещи свѣжей позолотой, и проч.— Черти, такъ черти и есть! — прибавилъ деньщикъ и плюнулъ. Иные дивились этому разсказу, крестились, и ужасались, другіе смѣялись, увѣряя, что у деньщика съ похмѣлья семерило въ глазахъ.

Въ тотъ же день вечеромъ въ людской губернаторской случилось, ради праздника, нѣсколько посѣтителей обоего пола; было угощеніе и бесѣда обо всякой всячинѣ; заставили деньщика повторить все, что онъ видѣлъ утромъ, и толковали объ этомъ долго и обстоятельно.

— Они-таки точно, говорятъ, съ нечистымъ знаются!—замѣтилъ поваръ.

— Чего знаются, — подхватилъ старый кучеръ:— таки-просто самъ сатана въ нихъ, да и только. Это схидна, змій-василискъ во образѣ человѣка; отъ того ему дьяволъ и служитъ.

— Отколѣ жъ они берутся, эти змѣи? — спросилъ кто-то.

— А вотъ откуда,—отвѣчалъ кучеръ:—вотъ, полубарыни, чай, знаютъ спорышокъ, — продолжалъ онъ, указавъ на дворовыхъ женщинъ:—спорышокъ—маленькое яичко, выносокъ куриный, послѣдній, что ли, говорятъ, и всего-то съ солдатскую пульку. Ну, вотъ, это все ничего, потому что снесла его курица, хоть и ошиблась; а то и пѣтуху приводится ину пору этакой спорышокъ снести, ровно куриный выносокъ.

— Пѣтуху!—воскликнули иные, между тѣмъ какъ другіе подтверждали это, и кучеръ продолжалъ:

— Да, пѣтуху; только на рѣдкость, во сто лѣтъ одинъ разъ,—во сто лѣтъ, то есть, одинъ только такой пѣтухъ найдется и снесетъ. Старые люди отъ дѣдовъ слышали, что пѣтухъ въ это время закружится на одномъ мѣстѣ, захлопаетъ крыльями, заоретъ, запоетъ по обычаю своему, да и снесетъ яичко. Вотъ тебѣ и штука: яичко не величко, да въ немъ что сидитъ, спроси,— такъ и узнаешь кузькину матушку, да! Кто знаетъ что поболѣе нашего, такъ его не обманешь яйцомъ этимъ. Вонъ, знахарь какой-нибудь сразу толкъ дастъ въ немъ; а нашему брату, разумѣется, не вдогадъ. Коли

такое яйцо попадется дѣвкѣ, да она его шесть недѣль день и ночь проноситъ подъ мышкой, такъ и выведетъ изъ него эту самую ехидну, то есть змѣя-василиска. Онъ-то какъ вылупится, такъ и поклонится названной матери своей, дѣвкѣ этой, всею нечистою силой преисподнею, и станетъ службы служить на дѣвку-ту всякія: что ни задумай она, что ни загадай, все тутъ. Вотъ онъ служитъ службы, а самъ отпрашивается у нея на волю; а какъ только обманетъ ее, выпросится, либо заслужитъ волю за три службы большія, то и пойдетъ по свѣту ходить да бѣдокурить. Добра отъ него не жди: все худо да худо; куда ни пришелъ, все бѣда около него, а самому ничего; самъ онъ, ровно нечистый, и перекидывается во что захотѣлъ, и мару всякую на людей напускаетъ и что хочетъ, то и проказитъ.

— А какую жъ это онъ мару напускаетъ, дядюшка?— спросилъ робко подчиненный кучера, выносной мальчишка.

— Какую,—отвѣчалъ тотъ:—ты, щенокъ, что разумѣешь? а вотъ какую: отведетъ тебѣ глаза, да и только. Вотъ у насъ на ярмаркѣ появился такой: лежатъ колоды, бревна; онъ тебѣ въ одинъ конецъ въ бревно влѣзетъ и пролѣзетъ его насквозь, ровно бъ тебѣ вотъ въ трубу какую, а въ другой конецъ и вылѣзетъ. Народъ стоитъ кругомъ, не надивуется; а тутъ сторонніе мужики подъѣхали съ сѣномъ, имъ-то вишь и не успѣлъ онъ глаза тѣ отвести, и не вдогадъ; они глядятъ со стороны: что молъ народъ чему дивится? Братцы, да вѣдь онъ не въ колоду лѣзетъ; нешто не видите: онъ по землѣ, собака, ползетъ, подлѣ бревна! А тотъ и вскочилъ: «Вы, говоритъ, чего сюда глазѣть пришли? а что воза ваши горятъ, этого и не видите?» Глядь, анъ сѣно-то и горитъ; вотъ оно что!

— А какой же ему конецъ будетъ, дядя, этому змію?—спросилъ форейторъ, едва переводя духъ.

— А извѣстно какой,—продолжалъ кучеръ:—провалится сквозь землю, какъ конецъ придетъ; живымъ огнемъ сгоритъ: вотъ самъ изорта полымя выпуститъ, да такъ самъ по себѣ и сгоритъ на мѣстѣ, и головешки не останется; пропадетъ да и только.

Обществу, собравшемуся въ застольной на дворѣ губернаторскомъ, все это показалось хоть и страшно, но весьма правдоподобно. Были, правда, вольнодумцы, какъ, напримѣръ, буфетчикъ Ѳедька, который утверждалъ, что все это враки; что у деньщика съ похмѣлья голова вертѣлась и въ глазахъ семерило; но большинство было на сторонѣ вѣрующихъ, и грозили даже Ѳедькѣ, что когда-нибудь ему за вольнодумство будетъ худо.

Между тѣмъ въ этотъ же вечеръ, въ одномъ изъ видныхъ каменныхъ домовъ Тугарина, стройная, какъ тополь молодая дѣвушка вошла въ свою почивальню; одиннадцать ударило; она остановилась въ дверяхъ, положила руку на грудь, вскинула глаза кверху, вздохнула и опять опустила голову, будто ей было что-то очень тяжело. Осмотрѣвшись затѣмъ, одна ли она, посмотрѣла также, плотно ли опущены сторы у окна, притворила тихо дверь, прислушалась во всѣ стороны, и, наконецъ, достала изъ-за косыночки записку и робко подошла къ уборному столику, на которомъ стояли двѣ свѣчи и большой пучокъ прекрасныхъ цвѣтовъ. Она присѣла, склонила голову и, развернувъ записочку, начала ее медленно читать. Грудь ея всколыхалась зыбью не отъ внѣшней бури, а отъ внутренняго волненья. Читая все однѣ и тѣ же три строки, она оперлась на локоть, опустивъ голову на руку, и золотистыя кудри засыпали собою и руку, и лицо ея. Толстая въ руку коса была обвита вокругъ гребня, и, вмѣстѣ съ этими кудрями, показывала необычайное богатство и роскошь волосъ. Наконецъ, она опроки-

нулась въ креслахъ назадъ, закинувъ голову, зажмуривъ глаза и опустивъ руки на колѣни, какъ утомленная до-нельзя. Она, казалось, дремала, но вѣки быстро дрожали. Въ этомъ положеніи была она изумительно хороша и живописна. Какой превосходный, изящный очеркъ, какая свѣжесть и прозрачность продолговатаго лица, внезапно открывшагося отъ разсыпавшихся въ обѣ стороны кудрей! какой изящный станъ, какая удивительная соразмѣрность склада въ плечахъ, груди и лебяжьей шеѣ... Но ей послышались шаги: она внезапно выпрямилась на креслахъ и открыла глаза... глаза, которые описалъ уже Буслаевъ и описалъ вѣрно, сказавъ, что они бываютъ и голубые, какъ самая яркая незабудка, и черные, какъ крыло ворона. Это замѣчательное и довольно рѣдкое свойство глаза человѣческаго основывается на томъ, что зѣница бываетъ голубая, а отверстіе ея, или зрачекъ, какъ всегда, темный или черный; а какъ зрачокъ суживается и расширяется, то зѣница иногда почти вовсе исчезаетъ въ узенькой полоскѣ, и вся средина глаза является черною. Прибавимъ къ этому, что зѣница суживается и образуетъ голубой глазъ при разсмотрѣніи близкихъ предметовъ, или при умственномъ напряженіи къ тому; а расширяется она и образуетъ черный глазъ при взглядѣ на предметы отдаленные или при игрѣ воображенія, представляющаго, хотя бы то въ переносномъ смыслѣ, отдаленные, мечтательные предметы. Посему описанное нами явленіе всегда служитъ доказательствомъ чрезвычайно пылкаго, бѣглаго и заносчиваго воображенія и души, способной къ внезапнымъ, нѣжнымъ и страстнымъ впечатлѣніямъ. У этихъ людей, въ особенности, если это женщина, глазъ всегда загорается особеннымъ блескомъ, какъ выраженіемъ этой же чрезвычайной живости и воспріимчивости воображенія и пламенной души.

Шаги вскорѣ затихли. Ольга успокилась; оборотивъ голову и встрѣтивъ передъ собою глазами зеркало, она улубилась въ него взоромъ и задумалась опять такъ же упорно, какъ и прежде, когда, зажмурившись, закинула головку на спинку креселъ. Въ это время она видѣла въ зеркалѣ большіе черные глаза, что и служитъ яснымъ доказательствомъ, что она, несмотря на пристальный взглядъ свой, разсматривала въ зеркалѣ не себя; иначе, по близости предмета, у нея, конечно, былъ бы глазъ голубой. Записочка все еще была у нея въ рукахъ, и еслибъ вы подошли тихонько съ боку, то прочитали бы:

«Съ позволенія вашего и почтеннѣйшей матушки вашей, спѣшу представить вамъ образчикъ цвѣтовъ моей самоучковой работы. Вѣрьте, что я пользуюсь милостивымъ позволеніемъ этимъ съ истиннымъ наслажденіемъ. Съ глубочайшимъ почтеніемъ и проч.

Вашъ Ефремъ Таганаевъ».

«Братъ Малахій завидуетъ мнѣ и просилъ позволенія присоединить нѣсколько цвѣтковъ отъ себя; но я, какъ само собою разумѣется, не позволилъ. Извините!»

Она взглянула на огромную связку яркихъ, превосходныхъ цвѣтовъ и стала ихъ слегка поглаживать пальчиками, наслаждаясь ихъ нѣжно бархатною поверхностью. Какъ будто снова изумившись этому, она привстала и принялась ихъ тщательно разсматривать. Такъ, цвѣты, листья, лепестки, тычинки, пупочки—все это перяное, все изъ самоцвѣтныхъ, яркихъ перьевъ; но если отнести цвѣтокъ отъ глаза только на разстояніе локтя, то можно бы побожиться, что это живые цвѣты. Махровый макъ, гвоздика, шапочки, и особенно маргаритки—это непостижимое подражаніе природѣ,—и все это дѣлаетъ онъ самъ, думала она:—какой вкусъ, какое умѣнье!

Она долго смотрѣла на цвѣты, держа ихъ передъ собою въ рукахъ и, склонившись надъ ними головой, будто хотѣла упиться ихъ душистыми, невидимыми парами, но прекрасная на видъ гвоздика была мертва и не душиста. При этой задумчивой недвижности взора, глаза Ольгины, конечно, не разъ темнѣли и голубѣли, загорались блескомъ и потухали, смотря по ходу безотчетныхъ чувствъ ея; но вдругъ эти глаза заволоклись туманомъ, потомъ крупная слеза расплылась по всему яблоку, потомъ какая-то дрожь пробѣжала по всему тѣлу, слезы внезапно полились ручьемъ, и она, не выпуская пучка цвѣтовъ изъ рукъ, накрыла ими все лицо и долго еще стояла въ этомъ положеніи.

О чемъ, зачѣмъ эти слезы—этого она не была бы въ состояніи объяснить Постараемся сдѣлать это за нее.

Ольга была воспитана, къ сожалѣнію, не на землѣ; гнѣздышко ея, выкормившее столько пріемышей, находясь среди самого шумнаго и многолюднаго въ Россіи города, было отгорожено такъ прочно и плотно отъ дѣйствительности въ физическомъ и нравственномъ отношеніи, что она оперилась, сдѣлалась лѣтною, вспорхнула и полетѣла, не прикоснувшись еще ни ножками своими до земли безъ паркетной подстилки ни чувствами своими до чего-нибудь вещественнаго, ни, наконецъ, разсудкомъ и воображеніемъ до бывалаго и сбыточнаго. Въ такомъ состояніи спустилась она изъ поднебья подъ кровлю родительскаго дома, въ Тугаринѣ; молодежь ударила тревогу при первомъ появленіи въ обществѣ этой райской птички: она порхала беззаботно, какъ мотылекъ, и смотрѣла на свѣтъ и на общество въ какой-то цвѣтистый, радужный калейдоскопъ глазами то черными, то карими, то лазоревыми, и потому видѣла не дѣйствительность, а то

только, что могли представить ей необузданное воображеніе ея и зашитыя въ китайскій башмачекъ понятія. Будучи идоломъ отца и матери, людей довольно образованныхъ и зажиточныхъ, Ольга не была стѣснена дома ничѣмъ и не успѣла еще разочароваться, оберегаемая родителями отъ всякихъ насущныхъ столкновеній; она еще пѣла, смѣялась и порхала, наслаждаясь властью, и была несказанно счастлива, сама не зная и не вѣдая съ чего и почему. На долго ли такое счастье?

Также безотчетно она теперь плакала и вздымала грудь свою глубокими вздохами; но какъ блаженство ея происходило отъ этого незримаго владычества надо всѣмъ и отъ сказочныхъ понятій о жизни—такъ и слезы текли теперь по угрожающему безмятежной жизни этой разстройству. Ольгу невозможно было вовсе уберечь отъ наружныхъ вліяній, отъ ядовитаго дыханія свѣта; нельзя было поставить ее восковой фигурой на вербочку и не прикасаться къ ней; она уже нѣсколько разъ, въ послѣднее время, была поражена враждебно холодною и суровою дѣйствительностію, хотя и не видала еще желѣзныхъ когтей этого стоглаваго чудовища; затѣмъ она встрѣтилась съ Буслаевымъ, узнавъ въ немъ съ перваго взгляда вѣрнаго, покорнаго и безотвѣтнаго раба. Буслаевъ сталъ навѣщать родителей ея часто; они предвидѣли то, что могло случиться, и не думали тому противиться; Буслаевъ былъ ей дружка по всему; сердце ея только было взыграло радостію, какъ утренній жаворонокъ, трепещущій въ вышинѣ надъ землею—какъ вдругъ передъ нею сталъ этотъ загадочный человѣкъ, близнецъ Таганаевъ, и мгновенно потрясъ и помутилъ всю душу ея, подчинилъ ее себѣ однимъ взглядомъ, приковалъ къ себѣ и господствовалъ надъ нею почти какъ надъ рабыней... Ольга не понимала тутъ ничего;

сердце ея надрывалось и радостію, и грустію, но оно страшно томилось отъ какой-то неизвѣстности; оно билось, какъ птичка въ клѣткѣ, какъ мотылекъ, оналившій крылья, упавшій на землю и обратившійся внезапно изъ воздушнаго жильца въ ползучаго, земляного червя... она испугалась этого неизвѣстнаго ей доселѣ чувства и однѣ только слезы могли доставить ей временное облегченіе, а сонъ—забвеніе. Вотъ источникъ этихъ слезъ.

Со времени поселенія близнецовъ въ Тугаринѣ, стали частенько появляться пожары, и было подозрѣніе въ поджогахъ: народъ, безъ всякаго повода и смысла, утверждалъ, что это происходило отъ близнецовъ. Хлѣбъ нѣсколько вздорожалъ, показался падежъ на скотъ—и въ этомъ народъ винилъ Таганаевыхъ. Самое прозваніе ихъ, какъ носились слухи въ народѣ, было взято отъ какой-то проклятой горы на Уралѣ, изъ которой-де черти таскаютъ по ночамъ золото бадьями и разсыпаютъ его по доламъ и по угорьямъ. Гора Таганай есть, конечно, на Уралѣ; но сколько извѣстно, въ немъ нѣтъ золота, и черти не ходятъ за нимъ туда съ бадьями. Таганай извѣстенъ только дикостью своею, и самая подошва его едва доступна для коннаго путника, а на вершину, усаженную по всему гребню отвѣсной зубчатой скалой, въ родѣ какихъ-то развалинъ, съ трудомъ взбирается пѣшій. Таганай также извѣстенъ, между прочимъ, какъ мѣсто нахожденія гранатовъ. Но молва судила объ этомъ иначе. Народъ говорилъ, что близнецы «въ себѣ жито держатъ», хотя этому изреченію нельзя было пріискать никакого смысла, потому что Таганаевы хлѣбомъ не торговали, не сѣяли и не закупали его, а ѣли, вѣроятно, не болѣе, какъ и всякій иной. Но народъ ненавидѣлъ Таганаевыхъ, по крайней мѣрѣ, столько же, сколько образованное общество имъ безусловно удивлялось, и ненавидѣлъ безъ причинъ, а по какому-то

чутью или предубѣжденію, считалъ ихъ въ связи съ нечистой силой и, взваливая на нихъ всякое зло, всякое бѣдствіе и несчастіе, разсказывалъ на ихъ счетъ страшныя нелѣпости.

Извѣстно по стократному несчастному опыту, что никакое народное бѣдствіе—холера, неурожаи, голодъ, пожары, палы, и проч. не приписываются народомъ естественному стеченію обстоятельствъ: чернь всегда ищетъ и находитъ *виновника*, и доводы, и доказательства этому тѣмъ убѣдительнѣе для черни, чѣмъ они нелѣпѣе. Точно то же случилось и тутъ. Во всемъ, что было дурного, виноваты были близнецы; оправданій никто отъ нихъ не спрашивалъ и не принималъ, а молвѣ невозможно зажать рта, потому что говоръ ея разносится незримыми устами.

Буслаевъ, съ благородными возвышенными, можетъ быть, нѣсколько залетными чувствами своими и воображеніемъ, былъ поставленъ близнецами въ какое-то странное положеніе. Онъ страстно привязался къ Ольгѣ, и со дня первой встрѣчи съ нею у него была одна дума, одно желаніе и стремленіе, чтобъ заслужить благосклонность ея — о любви онъ почти не смѣлъ мечтать—и просить ея руки. Онъ всѣми средствами и усиліями старался обратить на себя ея вниманіе и устранить другихъ соискателей и первое время, казалось, начиналъ въ этомъ успѣвать; но вдругъ явился близнецъ этотъ, или близнецы, и, выворотивъ на изнанку всѣ мѣры и предположенія его, поселили въ немъ лихорадочное безпокойство и поразили параличомъ всю дѣятельность его на этомъ поприщѣ.

Странно, но самый скромный и невинный шагъ Буслаева, если онъ имѣлъ какое-либо отношеніе къ этому предмету, выходилъ теперь неудаченъ, и даже нерѣдко оказывался неумѣстнымъ. Смѣшно и глупо было бы приписывать это Таганаевымъ, которые большею частію

не могли имѣть на это никакого вліянія; но Бусласву невольно мерещились эти зловѣщія птицы день и ночь, во снѣ и наяву.

Тугаринское общество приглашено было на загородную закуску, обѣдъ и вечеръ, устроенные въ обширномъ саду, который принадлежалъ хозяину празднества, мѣстному откупщику питейныхъ сборовъ. Баринъ этотъ праздновалъ именины супруги своей, крещеной еврейки и задавалъ пиръ на славу.

На этомъ веселомъ праздникѣ, куда былъ приглашенъ весь городъ, и никто не замедлилъ прибыть, гдѣ гости пировали и забавлялись, каждый по своему вкусу и желанію, почти круглыя сутки—на этомъ праздникѣ одинъ изъ близнецовъ показалъ себя опять въ полномъ блескѣ мужества, ловкости и искусства. Другой братъ его не пріѣхалъ по нездоровью; но правда, что этотъ съ честію отвѣчалъ за двоихъ: и смѣшно, и странно было видѣть, какъ обращающіеся къ нему со всѣхъ сторонъ съ разговоромъ попеременно называли его одинъ Ефремомъ, другой Малахіемъ Поликарповичемъ; онъ же, привыкнувъ къ этому недоразумѣнію и вполнѣ издавна съ нимъ освоившись, одинаково отзывался и отвѣчалъ на тотъ и на другой зовъ, не подавая изъ вѣжливости даже вида, что въ немъ обознались.

Тутъ были въ саду устроены игры, гимнастическіе снаряды и упражненія всѣхъ родовъ, до которыхъ нынѣшній начальникъ губерніи былъ большой охотникъ: почему услужливый хозяинъ праздника и позаботился всѣми силами угодить этому вкусу, сдѣлавшемуся, впрочемъ, въ Тугаринѣ со времени прибытія губернатора, всеобщимъ. Вся тугаринская молодежь состязалась въ ловкости и силѣ на площадкѣ передъ зданіемъ, между тѣмъ, какъ барыни и дѣвицы, разсыпавшись по открытымъ окнамъ и на огромномъ крыльцѣ

съ навѣсомъ, присутствіемъ своимъ оживляли ристалище и подстрекали самолюбіе соперниковъ.

Давно уже кто-то замѣтилъ странность природы человѣческой, состоящей въ томъ, что мы безъ особеннаго огорченія готовы уступить кому-либо, по заслугамъ, первенство въ умственныхъ способностяхъ; но большая часть изъ насъ крайне раздражительны, если намъ приходится признать себя побѣжденными въ какихъ-либо тѣлесныхъ упражненіяхъ. То же обнаруживалось и здѣсь: за что бы ни принимался Таганаевъ—за кегли, каруселъ, прыганье съ шестомъ и безъ шеста, бѣганье въ запуски, за перетяжку черезъ палку или рука съ рукой, наконецъ, за стрѣльбу въ цѣль изъ лука, пистолета и винтовки—во всемъ онъ выходилъ до того побѣдителемъ, что ему не могло быть въ числѣ гостей ни одного соперника. Каждому совѣстно было выказать ребячество свое и негодованіе на то, въ чемъ никто не виноватъ и чему въ сущности всякій только завидовалъ; но многіе не могли скрыть этого чувства, и одна только чрезвычайная любезность самого близнеца и умѣнье его обращаться примиряли съ нимъ, хотя по наружности, оскорбленныхъ его соперниковъ. Онъ нисколько не искалъ случая выказать ловкость, силу и искусство свое, а, напротивъ, вступалъ въ состязаніе не иначе, какъ когда самое приличіе не позволяло уклониться отъ вызова или приглашенія, не выказавъ какого-то неумѣстнаго упрямства или пренебреженія. Но обстоятельства сами собой были до того странны, что поводъ этотъ преслѣдовалъ его, такъ сказать, шагъ за шагомъ, и что такимъ образомъ, близнецъ, при всей скромности своей, почти не сходилъ съ поприща. Едва оканчивалъ онъ однимъ ударомъ партію кеглей, какъ человѣка два-три изъ побѣжденныхъ въ стрѣльбѣ или иномъ упражненіи уже приглашали его помѣ-

ряться съ ихъ противникомъ, и обоимъ, при обязательныхъ пріемахъ Таганаева, нельзя было отъ этой чести отказаться. Такимъ образомъ, не только сами соучастники, такъ сказать, натравливали Таганаева другъ на друга, но и зрители и даже зрительницы, вмѣшиваясь иногда въ общій говоръ и одобряя ловкость того или другого молодого человѣка, вызывали его на состязаніе съ близнецомъ, который всегда выходилъ побѣдителемъ, оставляя всѣхъ за собою.

Въ такое положеніе былъ поставленъ нѣсколько разъ въ теченіе этого дня добрый, но разсудительный и влюбленный до безумія Буслаевъ. Онъ и безъ того ненавидѣлъ Таганаева, можетъ быть, угадывая въ немъ, не по соображеніямъ, а по безотчетному чувству, соперника; теперь же онъ не зналъ куда дѣваться отъ негодованія и злобы, а между тѣмъ, сохранилъ еще столько присутствія духа и спокойствія, чтобъ понять, что онъ самъ сдѣлался бы смѣшенъ, еслибъ обнаружилъ такое ребячество. И вотъ въ чемъ состояла тайна искусства и наслажденія близнеца: озлобить человѣка противъ себя, вывести его изъ всякихъ предѣловъ терпѣнія, но связать его въ то же время законами нашихъ условныхъ приличій и удержать ничѣмъ ненарушаемымъ спокойствіемъ своимъ и обязательнымъ обращеніемъ въ границахъ свѣтской вѣжливости. При всемъ томъ, Таганаевъ умѣлъ, однакожъ, мастерски выказать, гдѣ считалъ это нужнымъ, перевѣсъ силъ своихъ или искусства; и въ этотъ день, между прочимъ, какъ будто въ предостереженіе всѣмъ недоброжелателямъ своимъ, не безъ намѣренія, можетъ быть, сажалъ изъ пистолета пулю въ пулю, отходя, въ видѣ шутки, все дальше и дальше отъ цѣли; а наконецъ, когда неосторожная кукушка, Богъ вѣсть откуда взявшись, пронеслась, какъ ястребъ, между деревьями, то онъ также спокойно пронизалъ ее пулькой. и, за-

смѣявшись, будто сыгралъ какую-нибудь самую обыкновенную шутку, передалъ пистолетъ и отошелъ въ сторону, заговоривъ съ кѣмъ-то вовсе о посторонних предметахъ.

Народъ, который глазѣлъ на пиръ этотъ съ улицы, черезъ узенькія щели промежъ досками забора, не только объяснялъ и толковалъ видѣнное имъ по-своему, но смотрѣлъ даже на все это совсѣмъ иными глазами. Такъ, народная молва утверждала послѣ, что и другой братъ или близнецъ ходилъ всюду слѣдомъ за первымъ, подавалъ ему пистолеты, сажалъ прямо изъ руки пулю въ цѣль, а когда близнецъ убилъ въ летъ кукушку, то народъ увѣрялъ, что какой-то чертенокъ держалъ ее вплоть передъ нимъ, растянувъ за крылья. Подобнаго вздора много ходило молвой, и нѣкоторые даже утверждали, что видѣли тутъ не только двухъ, но и всѣхъ трехъ братьевъ; но что третій мелькалъ тамъ и сямъ, какъ тѣнь, устраивалъ также все, что было нужно для успѣха Ефрема, мѣшалъ, въ чемъ могъ, другимъ и дразнилъ всѣхъ людей языкомъ. Подобныя нелѣпости каждый разъ ходили въ народѣ, когда одинъ изъ близнецовъ гдѣ-либо показывался и обращалъ на себя вниманіе; не умѣя объяснить себѣ ловкость или искусство человѣка, котораго онъ ненавидѣлъ, народъ придумалъ такія, обыкновенныя въ быту его, толкованія и стоялъ за нихъ горою. Замѣчательно, что въ такихъ случаяхъ невозможно было узнать или дослѣдиться, отъ кого именно подобный вздоръ выходилъ; «всѣ говорятъ», «народъ говоритъ»—этимъ ограничивались всѣ свѣдѣнія.

О убитой кукушкѣ народъ въ особенности толковалъ довольно много. Даже стрѣлкамъ и охотникамъ диво это казалось несбыточнымъ. Есть народное повѣрье, что бываетъ наговоренное ружье съ чортикомъ, т. е. когда знающій человѣкъ прицѣлится имъ въ птицу, то она отъ него уйти не можетъ: чертенокъ, ухвативъ

ее и, растопырив за крылья, держитъ прямо передъ дуломъ, не опасаясь самъ быть раненымъ; птица бьется и трепещетъ, но не можетъ вырваться; а когда охотникъ выстрѣлитъ, то чертенокъ бросаетъ ее наземь и самъ исчезаетъ. Все это вполнѣ согласовалось съ тѣмъ, что *народъ*, т. е. неизвѣстно кто именно, видѣлъ въ щели забора, — и потому въ застольныхъ, людскихъ и передняхъ никто не сомнѣвался въ истинѣ этой нелѣпицы, которая пересказывалась и въ высшемъ обществѣ то вслухъ, какъ чистая нелѣпость, то шопотомъ, какъ странность, въ которой недоумѣвали.

Буслаевъ былъ на этомъ праздникѣ сильно встревоженъ, разсѣянъ и какъ-то не въ своей тарелкѣ. Онъ подходилъ нѣсколько разъ съ осторожностью къ Ольгѣ, замѣчалъ, что близость его отзывалась въ ней какимъ-то волненіемъ и даже внутреннимъ раздоромъ; она измѣнялась въ лицѣ, была не совсѣмъ спокойна, то сама первая обращалась къ нему въ разговорѣ, то какъ будто опять въ томъ раскаивалась и избѣгала новой встрѣчи; но онъ не зналъ, какъ все это объяснить, въ пользу ли свою или нѣтъ; въ тоскѣ, въ какомъ-то отчаяніи и изнеможеніи онъ желалъ убраться изъ этого шумнаго сборища въ уединеніе, но, по занимаемой имъ должности, не смѣлъ уѣхать ранѣе своего генерала.

Смирившись подъ этою необходимостью, Буслаевъ отшатнулся подъ вечеръ отъ остальнаго общества и, забившись въ крайній конецъ сада, присѣлъ въ задумчивости на разсыпавшуюся дерновую скамью, прислонивъ раскаленную голову свою къ дереву. Мысли его, однакожъ, не отрывались отъ ликующаго общества, въ которомъ была и она, Ольга; а раздававшаяся издали музыка представляла его воображенію ее же, Ольгу, какъ она несется вихремъ, едва касаясь пола, съ го-

ловкою, обсыпанною золотистыми кудрями, въ вѣнкѣ изъ бѣлыхъ лилій... «и вѣрно съ *ними*» подумалъ онъ, и почти готовъ былъ вскочить и бѣжать туда, чтобъ удостовѣриться въ этомъ предположеніи; но онъ одумался; на лицѣ его выразилась какая-то сострадательная улыбка, и онъ, забывшись, махнулъ слегка рукою, сказавъ: «Богъ съ нею; это ея воля!»

Успокоившись немного, онъ услышалъ не вдалекѣ отъ себя разговоръ: двое крестьянъ, можетъ быть, садовники или работники, стояли, глядѣли издали по прямой просади на пирующихъ, и одинъ что-то жарко разсказывалъ.

— Вся дворня, братецъ ты мой, была при этомъ дѣлѣ, вотъ что! — говорилъ одинъ изъ нихъ: — за споромъ дѣло стадо; а было это у Крапивникова, въ Долгушкѣ. Онъ насмѣхаться, вишь, сталъ надъ коноваломъ, а коновалъ былъ сторонній. — «что? не умѣешь», говоритъ, «отворить кровь?» коновалъ и говоритъ: что-де не первую тысячу починать придется мнѣ, коли баринъ прикажетъ кинуть кровь мерину; а кинуть надо, не то лошадь пропадетъ.—«Ну», говоритъ тотъ: «надо-то надо, въ этомъ не спорю, да не за свое дѣло берешься, братъ, не умѣешь». Баринъ приказалъ; коновалъ принялся; что жъ? вѣдь истыкалъ всю лошадь, ни капли не пошло: вотъ все одно, что стѣну, либо доску долби! Сперва осерчалъ было коновалъ, давай да давай постукивать колотушкой, а тамъ ужъ и руки опустились, и присмирѣлъ, и повинился: ты-де, стало быть, больше моего знаешь, виноватъ я; не погуби, батюшка, отпусти! «Ступай!» говоритъ: «да сегодня не кидай смотри: руда не пойдетъ: завтра можно». Вотъ что!

Буслаевъ, обративъ невольно вниманіе на этотъ дикій разсказъ, подошелъ и спросилъ, кто это такой штукарь, что заговариваетъ кровь?

— А вотъ близнецъ-отъ!—сказалъ крестьянинъ, указавъ на домъ, гдѣ въ это время раздался какой-то дружный, веселый хохотъ...

— Опять близнецъ, опять онъ!— подумалъ бѣдный Буслаевъ:—нигдѣ нѣтъ мнѣ отъ него покоя... Что это за человѣкъ? чего отъ хочетъ? зачѣмъ онъ здѣсь? откуда онъ взялся?

Буслаевъ обратился скорыми шагами на одну изъ дорожекъ, ведущихъ къ дому; но чѣмъ ближе онъ подходилъ къ нему, тѣмъ медленнѣе дѣлались шаги его. Яркое освѣщеніе въ большой залѣ ослѣпило его на время; но когда онъ прозрѣлъ, то увидѣлъ прямо передъ собою, на другомъ концѣ залы, Ольгу въ краснорѣчивомъ молчаніи во время занимательнаго для нея разсказа Таганаева. Музыка замолкла, и чета эта стала расхаживать по залѣ; Буслаевъ замѣтилъ, что Таганаевъ первый тронулся съ мѣста, а Ольга за нимъ послѣдовала; ей вскорѣ показалось неловко продолжать прогулку, обращая на себя всеобщее вниманіе; она безпрестанно снова алѣла, потупляла глаза, поглядывала изъ-подъ длинныхъ рѣсницъ съ безпокойствомъ по сторонамъ, но не смѣла или не могла отстать отъ неровнаго товарища своего и слѣдовала за нимъ, какъ привязанная невидимою цѣпью. Онъ же, казалось, вовсе не замѣчалъ этого и ловкими, развязными пріемами своими умѣлъ придать этой насильственной бесѣдѣ видъ строгаго приличія и почтительности. Какъ будто сжалившись, наконецъ, надъ своею жертвою, Таганаевъ непринужденно остановился у стула, спросилъ Ольгу, не угодно ли ей, можетъ быть, присѣсть, и ей казалось въ эту минуту, что она бы упала безъ чувствъ, еслибъ ей пришлось пройтись съ близнецомъ еще разъ-другой по залѣ.

Уже многіе изъ пожилыхъ гостей тороватаго хозяина слѣдовали примѣру мраморныхъ статуй Таганаева

и зѣвали; уже блонды и кружева, несмотря на драгоцѣнность свою, принимали видъ менѣе казистый и походили на обвисшія тряпки; старички, кромѣ тѣхъ, которые не покончили еще игры своей, сидѣли тутъ и тамъ въ растяжку на креслахъ, сложивъ руки, закинувъ головы, и дремали; уже Иванъ Максимовичъ выспался, ожилъ, ходилъ и поглядывалъ, нельзя ли гдѣ выпить и закусить; словомъ, балъ уже подходилъ къ концу, когда уѣхалъ губернаторъ, а за нимъ и бѣдный Буслаевъ. Друга своего Горнилина онъ уже засталъ дома.

— Скажи мнѣ, ради Бога,—говорилъ Буслаевъ Горнилину, когда и этотъ день кончился, по примѣру прочихъ, когда всѣ разъѣхались, и на дачѣ откупщика огни погасили и смерклось, какъ смеркается на остальномъ неоткупщичьемъ Божьемъ мірѣ:—скажи и мнѣ, ради Бога, Горнилинъ, что ты думаешь обо всемъ этомъ?

Горнилинъ сидѣлъ въ халатѣ, съ трубкой, готовясь отойти ко сну, а Буслаевъ стоялъ передъ нимъ въ мундирѣ, какъ пріѣхалъ съ бала, застегнутый на всѣ крючки и пуговицы.

— О чемъ же обо всемъ этомъ?— спросилъ Горнилинъ.

— О чемъ! объ Ольгѣ и... и... и объ этомъ человѣкѣ, если это человѣкъ, о Таганаевѣ!

— Я думаю, что Ольга влюблена въ него, и жалѣю объ ней. Онъ не любитъ ни ея, ни кого-либо иного, кромѣ себя. Онъ волочится за нею, какъ у насъ выражаются, не по нраву, не по сердцу, а просто по обычаю молодецкому, и потому мнѣ ея жаль.

— Но, ради Бога, скажи, что же мнѣ дѣлать? Я не могу далѣе смотрѣть на это; я не могу этого снести!..

— Какъ не можешь — можешь! Мало ли что на

свѣтѣ бываетъ невыносимо, а между тѣмъ мы выносимъ все.

— Это ты меня утѣшаешь, да?

— Да, другъ мой, именно утѣшаю; обтерпишься современемъ, почерствѣешь, будешь менѣе раздражителенъ, и успокоишься.

— Горнилинъ, не говори мнѣ теперь этимъ холоднымъ, разумнымъ языкомъ: ты язвишь меня; говори такъ, какъ съ человѣкомъ въ моемъ положеніи говорить должно! Послушай: ты знаешь, я живу, я дышу теперь только Ольгой; назови это какъ хочешь—дурачествомъ, ребячествомъ, но я знаю, я, что это такое, и я тебѣ говорю, что я прозябалъ только, какъ былинка—нѣтъ, кисъ, какъ плѣсень, до знакомства съ нею, и умру безъ нея; но вотъ тебѣ рука моя: если-бъ я зналъ, что она съ нимъ будетъ счастливѣе, нежели со мною, я бы торжественно самъ отрекся отъ своего блаженства...

— Стой, другъ,— закричалъ Горнилинъ въ нетерпѣніи:—стой! Куда ты занесся? Ты меня спрашиваешь; ты меня хочешь слушать? Ну, такъ слушай же спокойно, сколько можешь; завладѣй же на пять минутъ сердцемъ своимъ посредствомъ разсудка, и слушай: сдѣлай милость не великодушничай, потому что это здѣсь вовсе не у мѣста. Ты, какъ я тебя знаю, дѣйствительно добръ, благороденъ и великодушенъ; но здѣсь, въ настоящемъ случаѣ, употребить этихъ качествъ въ дѣло нельзя, негдѣ. Здѣсь ваша рѣчь еще впереди; никто не спрашиваетъ, да и, вѣроятно, не спроситъ, угодно ли тебѣ будетъ отказаться отъ Ольги—отказаться отъ того, что тебѣ еще вовсе не принадлежитъ; а еслибъ она тебѣ принадлежала, если-бъ тебѣ дано было право владѣнія ею, тогда позволь надѣяться, другъ, ты заговорилъ бы иначе и не показалъ ни для кого въ мірѣ этой великодушной уступчивости.

— Ты правъ, Горнилинъ; это такъ. Ты умнѣе, разсудительнѣе меня; но, ради Бога, скажи, что мнѣ дѣлать?

— Дай руку, другъ, и слушай: напередъ всего, соберись съ разсудкомъ, успокойся и для этого оставайся дома на цѣлую недѣлю, не показывайся въ обществѣ; я тебѣ обѣщаю слѣдить за всѣмъ и наблюдать; но ты оставайся дома и положись на меня.

— А потомъ?

— А потомъ увидишь: утро вечера мудренѣе. Если будетъ надежда, рѣшись и дѣйствуй; если же нѣтъ, если тутъ все для тебя потеряно — тогда мужайся; тогда пришло время опереться на доблесть свою и чувство собственнаго достоинства. Тогда тебѣ здѣсь житья не будетъ; брось все на время и пускайся съ посохомъ странника въ путь. Свѣтъ не клиномъ передъ тобой сошелся, а что далѣе, то все шире, да шире. Вотъ, мой совѣтъ, мой завѣтный наказъ другу, и ты его исполнишь!

Буслаевъ обнялъ Горнилина, пожалъ ему руку и скорыми шагами молча удалился. Ему было совѣстно показать лицо свое, по которому бѣжали горючія слезы.

Не мудрено было ему, впрочемъ, исполнить завѣтъ друга на первый случай, по крайней мѣрѣ: отъ сильнаго волненія и огорченія, какъ докторъ увѣрялъ, у него внезапно прикинулась рожа къ лицу и заставила просидѣть дома двѣ недѣли. Докторъ, видно, отгадалъ тайну его, приписавъ рожу именно этой причинѣ — и Буслаевъ, какъ-будто пристыженный, молчалъ.

У губернатора сдѣлалась сильная головная боль, которая, впрочемъ, черезъ сутки прошла, и докторъ это приписывалъ чрезмѣрнымъ занятіямъ его, нерѣдко длившимся далеко за полночь. Глухая молва, ходившая по городу, въ этихъ двухъ ничего незначащихъ случаяхъ нашла опять нѣчто чрезвычайное и связала

его, по обыкновенію, съ непріятелями своими, близнецами: дагерротипные портреты, снятые ими съ губернатора и съ Буслаева, были причиной болѣзни того и другого. Увѣряли, будто каждый человѣкъ, съ кого близнецы снимали портретъ, непремѣнно заболѣвалъ, и приводили этому множество примѣровъ, по которымъ, конечно, не всегда можно было наводить справки.

— Родимые мои,—говорила всесвѣтная тугаринская про-или приживалка, извѣстная подъ именемъ *капитанши*:—родимые мои, вѣдь это дѣло богопротивное; поличія человѣческаго, кромѣ ликовъ святыхъ, писать нельзя, да и не съ добрымъ же умысломъ это дѣлается? Надъ поличіемъ твоимъ, все одно, что надъ слѣдкомъ, либо надъ волосками, коли худой человѣкъ, что худое задумаетъ—сдѣлаетъ. Вотъ у насъ, въ Богородскомъ уѣздѣ, это при мнѣ было, въ мою память: разъѣзжалъ, видишь ли, какой-то формасонъ, и кто таковъ и откуда взялся, ничего не знаютъ, а формасонъ настоящій, и въ бѣлой пуховой круглой шляпѣ. Разъѣзжаетъ себѣ, словно добрый какой, а самъ въ свою вѣру обращаетъ, и много даритъ золотомъ за то, а еще больше сулитъ впередъ. Вотъ кто согласится, того и закабалитъ себѣ, и запишетъ въ книгу свою, а пишетъ онъ, вишь, не по-крещеному, — пишетъ отъ стѣны, ровно татаринъ. Вотъ, записалъ, да поличіе съ него и сыметъ; таки-словно живой сидитъ, весь тутъ, только что въ бѣлой шляпѣ напишетъ; да еще развѣ вотъ, что души нѣтъ: а привяжетъ и душу! Запишетъ и денегъ дастъ, а поличіе-то увезетъ съ собой; а какъ только кто опять откинется отъ фармасонской вѣры его, да покается, такъ онъ, родимые мои, поличіе-то поставитъ, и самъ бѣлую шляпу на себя опять надѣнетъ, да изъ пистолета ему бѣлу грудь и прострѣлитъ; какъ прострѣлитъ—такъ тотъ человѣкъ сердечный, хоть за тысячу верстъ будь, Богу

душу и отдастъ! Да, батюшка, сама видѣла, сама; я много лѣтъ на свѣтѣ прожила, много что знаю и видала!

Разсказъ этотъ ходилъ по городу въ двоякомъ видѣ: иные передавали его глазъ на глазъ, съ тѣмъ же простодушіемъ, какъ слышали, пожимали плечами и дѣлали свои замѣчанія и примѣненія; другіе, напротивъ, разсказывали его какъ новую, замысловатую выдумку капитанши, которая подслуживалась всегда и вездѣ очень кстати, знала кому и чѣмъ угодить и выручить на бѣдность за услугу свою, ощутительную благодарность.

Вслѣдъ за пирушкой у откупщика занемогла и Ольга. Она простудилась, выходя нѣсколько разъ послѣ танцевъ на широкое крыльцо, въ садъ, а можетъ быть, даже выпила неосторожно стаканъ лимонада. У ней сдѣлалась сильная головная боль, которая, по словамъ доктора, явно принадлежала къ числу ломотныхъ или ревматическихъ болей, называемыхъ также простудными и другими названіями; это, по мнѣнію его, не подлежало никакому сомнѣнію, потому, между прочимъ, что при этомъ у Ольги обнаруживалась и лихорадка, и больная жаловалась на чувство, будто голова стянута желѣзнымъ обручемъ. Нашлись, однакожъ, люди, которые, положивъ въ основаніе аксіому, что доктора ничего не смыслятъ, намекали шопотомъ на вѣнокъ изъ бѣлыхъ лилій, который былъ, какъ извѣстно, собственной работы Таганаева и имъ же поднесенъ Ольгѣ въ числѣ другихъ цвѣтовъ. Докторъ, услышавъ гдѣ-то объ этомъ, но не дослышавъ за недосугомъ, или не понявъ, въ чемъ дѣло, вообразилъ, что у Ольги на головѣ былъ вѣнокъ изъ настоящихъ живыхъ лилій; измѣнивъ на этомъ основаніи, мнѣніе свое о болѣзни Ольги, онъ объѣздилъ весь городъ и разсказывалъ всюду, какъ рѣшенную вещь, что у

Ольги голова разболѣлась совсѣмъ не отъ простуды, чему онъ и въ началѣ болѣзни, по качеству припадковъ, никакъ не могъ вѣрить, но что болѣзнь приключилась отъ сильнаго наркотическаго запаха цѣлаго вѣнка изъ живыхъ лилій, которыя въ особенности на ночь, то есть, по захожденіи солнца, испаряютъ самый вредный и одуряющій запахъ, и надѣвать такой вѣнокъ на голову онъ никому не совѣтовалъ бы.

Относительно этого вѣнка, мы должны объяснить еще, что Ольга, сбираясь на извѣстный пиръ откупщика, долго стояла въ раздумьѣ передъ уборнымъ столикомъ своимъ и въ какой-то нерѣшимости перебирала розовыми пальчиками золотую цѣпочку и бусы, и головной обручикъ, не рѣшаясь, чѣмъ убрать волнистые и золотистые волосы свои и поглядывая во все это время на превосходные цвѣты Таганаева. Ей, кажется, хотѣлось бы убрать голову свою этими цвѣтами; но какое-то темное чувство приличія удерживало ее отъ этого, такъ что она даже не взяла въ руки цвѣтка и не прикинула его на мѣсто, чтобъ увидѣть, каково-то онъ будетъ ей къ лицу. Въ это время вошла къ ней мать и стала торопить Ольгу, потому что отецъ уже одѣлся и не любитъ въ такихъ случаяхъ долго дожидаться; видя нерѣшимость Ольги, она выбрала превосходный вѣнокъ изъ бѣлыхъ лилій и положила ей на голову. Ольга опустилась передъ матерью молча на одно колѣно, не возражая ни слова, но съ чувствомъ, будто приноситъ себя на жертву неограниченной дочерней любви своей. Откуда чувство это и въ какой связи оно было съ этимъ ничтожнымъ по себѣ случаемъ—этого не знаемъ.

По поводу нездоровья губернатора, Буслаева и даже Ольги, пошла опять странная молва, доходившая изъ застольной, черезъ переднюю или дѣвичью, въ барскіе покои. Это было повтореніе той же безсмыслицы,

какъ дѣвка вывела изъ пѣтушьяго яйца змѣя, который на нее служилъ, но только съ нѣкоторыми измѣненіями противъ разсказа кучера. Дѣвка, изволите видѣть, вывела этого змѣя изъ пѣтушьяго яйца, проносивъ его шесть недѣль подъ мышкой—это вѣрно; змѣй служилъ на нее чортову службу, и она помыкала имъ, какъ хотѣла,—и это все такъ; но, при одной изъ службъ этихъ, чортъ попалъ невзначай въ рукомойникъ и никакъ не могъ оттуда выскочить; и вотъ по какому поводу: дѣвка, для забавы своей, затѣяла смутить и соблазнить какого-то раскольника, поселившагося въ лѣсу. Змѣй порядилъ чорта на эту службу; но пустынникъ, смекнулъ, въ чемъ дѣло, предложилъ нечистому выкупаться въ глиняномъ, висячемъ рукомойникѣ; искуситель вскочилъ туда, а отшельникъ накрылъ его деревяннымъ крестомъ. Въ этомъ отчаянномъ положеніи, по уши въ водѣ, чортъ просидѣлъ, по крайней мѣрѣ, сутки, покуда змѣй успѣлъ отыскать и снарядить человѣка для поданія ему помощи. Для этого-то именно подосланъ былъ имъ Таганаевъ, человѣкъ склонный ко всѣмъ внушеніямъ искусителя; по неизвѣстному побужденію, отыскалъ онъ жилище отшельника, услышалъ въ рукомойникѣ плачевный голосъ закабаленнаго батрака, снялъ крестъ и выпустилъ плѣнника, но съ уговоромъ, на честное слово, чтобъ чертъ оказалъ ему большую и важную услугу. Изъ благодарности чортъ открылъ Таганаеву всю тайну связей своихъ со змѣемъ и съ несчастною дѣвкою, научивъ его, какъ обмануть дѣвку эту и завладѣть ея пріемышемъ. Готовый на все, Таганаевъ, успѣлъ, наконецъ, послѣ продолжительныхъ усилій, войти въ тѣсныя связи съ названною матерью василиска, пригвоздилъ однажды, въ лунную ночь, тѣнь ея къ стѣнѣ избы, заткнувъ осиновый колочекъ въ сучекъ; этимъ отчаяннымъ и рѣшительнымъ средствомъ онъ принудилъ ее пере-

дать ему вѣрнаго слугу ея, а затѣмъ, покинулъ ее на произволъ судьбы и самъ пользуется теперь неограниченною силою этого таинственнаго змѣя. Народъ увѣрялъ, что нѣкоторые даже видѣли чудище это, какъ оно, въ облакѣ дыма, летаетъ въ трубу и изъ трубы у Таганаева; что видѣть его можно только по ночамъ извѣстныхъ въ народѣ черныхъ дней, и что для этого должно обмыть себѣ глаза отваромъ травы-заря и смотрѣть на трубу Таганаева однимъ глазомъ изъ-за угла сосѣдняго дома такъ, чтобъ закрыть имъ половину трубы.

Мы уже упомянули, что народъ приписывалъ близнецамъ и чуму на скотъ, и пожары, и, наконецъ, угрожающій голодъ Хлѣбная мышь, извѣстная подъ названіемъ житничка, появилась въ большомъ числѣ и истребляла послѣдніе запасы хлѣба въ зернѣ. Таганаевъ сказалъ гдѣ-то въ обществѣ, что у него есть хорошее и вѣрное средство отъ этихъ мышей, и на предложеніе губернатора изъявилъ полную готовность осмотрѣть запасныя жилища и истребить мышей, сказавъ, однакоже, что онъ долженъ сдѣлать это самъ, потому что дѣло это требуетъ осторожности и извѣстныхъ пріемовъ.

Какъ только распространился слухъ, что Таганаевъ объѣзжалъ ближайшія къ городу запасныя житницы и *заговаривалъ* тамъ мышей, то разсказамъ объ этомъ не было конца. Мыши были изгнаны, въ этомъ никто не спорилъ и не сомнѣвался; въ народѣ ходили даже презатѣйливыя подробности о чинѣ или порядкѣ, который соблюдался мышами при поголовномъ переселеніи ихъ изъ житницъ въ чистое поле; но въ то же время народъ былъ увѣренъ, что это было не къ добру, что Таганаевъ съ дьявольскимъ лицемѣріемъ принялъ на себя это спасительное дѣло, а самъ, безъ всякаго сомнѣнія, напустилъ при этомъ случаѣ

какую-нибудь бѣду, которая будетъ еще гибельнѣй первой.

Вслѣдъ затѣмъ распространилась молва, что зерновой хлѣбъ въ нѣкоторыхъ житницахъ ожилъ; что хлѣбъ побрелъ пѣшій во всѣ четыре стороны, что сдѣлался даже лѣтнымъ и всѣ запасы разлетѣлись. Эта вѣсть взволновала народъ, и уже необходимо было принять нѣкоторыя предосторожности для предупрежденія безпорядковъ. Донесенія мѣстныхъ смотрителей и даже дворянъ, подтвердили истину народной молвы, которой сущность состояла въ слѣдующемъ: хлѣбная моль внезапно развелась въ несмѣтномъ числѣ; насѣкомое это кладетъ по яичку въ каждое зерно; тамъ выводится гусеничка, выѣдаетъ до-чиста все зерно, до тончайшей наружной оболочки его, залегаетъ тамъ же личинкой, а когда, наконецъ, выползаетъ молью и дѣлается лѣтною, то тащитъ за собою эту оболочку зерна, даже подлетываетъ съ нею, покуда отъ нея не освободится. Это извѣстное явленіе, если оно происходитъ въ большихъ размѣрахъ, поражаетъ умы въ невѣжественномъ народѣ и всегда подаетъ поводъ къ сверхъестественнымъ толкованіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, странно и поразительно видѣть, какъ цѣлые запасы хлѣба внезапно, въ глазахъ вашихъ, исчезаютъ; у васъ засыпано нѣсколько сотъ или тысячъ четвертей, и въ теченіе какихъ-нибудь сутокъ, вамъ остается только растворить всѣ ворота и отдушины житницы, стоять и смотрѣть сложа руки, какъ хлѣбъ вашъ выползаетъ и вылетаетъ, а затѣмъ, вымести и вычистить пустые закромы: хлѣба не осталось ни зерна. Хлѣбъ ожилъ, хлѣбъ пошелъ пѣшій, хлѣбъ полетѣлъ—это обыкновенныя выраженія при такомъ случаѣ, который приписывается всегда порчѣ, урокѣ, напуску, злому умыслу какого-нибудь человѣка. На сей разъ въ этомъ ясно обвинялся близнецъ или близнецы.

На бѣду, Таганаевъ, пренебрегая этою молвою и надсмѣхаясь надъ нею, очутился въ базарный день на площади; за дѣломъ ли онъ пошелъ, или по случаю прогулки, но весь базаръ пришелъ въ волненіе; толпы буйной и отчаянной черни его окружили, требовали, чтобъ онъ отпустилъ порчу, чтобъ онъ не держалъ обилія, а выдавалъ хлѣбъ; шумъ и крикъ увеличивались до неистовства; Таганаевъ увидѣлъ, что ему остается только искать спасенія въ томъ, чтобъ куда-нибудь скрыться; начинали уже рвать и толкать его его спереди, съ тылу и съ боковъ; страшныя угрозы и проклятія сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Пользуясь своею ловкостью, онъ внезапно схватилъ одного мужика, который навалился на него съ довольно рѣшительнымъ намѣреніемъ, подсунулъ его ближайшимъ изъ буйной толпы, вмѣсто себя, а самъ, перескочивъ черезъ нѣсколькихъ человѣкъ, скрылся за бывшій вблизи колодезь и, какъ самъ послѣ говорилъ, достигъ благополучно своего дома. Все это очень просто; но народъ говорилъ не то: Таганаевъ, изволите видѣть, перекинулся у него въ рукахъ въ крестьянина, котораго никто на базарѣ не зналъ и который неизвѣстно когда и куда дѣвался; Таганаевъ сбилъ съ ногъ семерыхъ мужиковъ, успѣвъ заплести каждому изъ нихъ по колтуну, а самъ, въ виду всѣхъ, вскочилъ въ колодезь, около восьми саженъ глубиною, и пропалъ; если же онъ теперь дома, или въ иномъ мѣстѣ на бѣломъ свѣтѣ, то, безъ сомнѣнія, вылѣзъ опять изъ-подъ земли.

Шумъ и волненіе на базарѣ привлекли туда новыя толпы любопытныхъ, полицію, а наконецъ, пріѣхалъ даже и самъ губернаторъ. Народъ стоялъ, не сходя съ мѣста, вокругъ колодезя, глядѣлъ туда, аукалъ, кидалъ каменья, спускалъ бадьи и, покачавъ ихъ во всѣ стороны, подымалъ снова; закидывалъ багры и

крючья—словомъ, народъ утверждалъ, что близнецъ сидитъ въ колодезѣ. Съ трудомъ только толпу разогнали, пославъ всѣхъ по домамъ, и поставили хожалаго по близости дома Таганаева, опасаясь, чтобъ чернь не покусилась на новые безпорядки.

Между тѣмъ, время шло да шло своимъ чередомъ, и повѣсть наша, подвигаясь впередъ вмѣстѣ со временемъ, пережила лѣто и осень, давно уже вступила въ зиму и собиралась встрѣчать весну. Великій постъ былъ на исходѣ. Поживетъ ли она, вмѣстѣ съ весною природы, и до своей весны?

Буслаевъ выздоровѣлъ, но, несмотря на все стараніе вѣрнаго друга своего, Горинлина, не получалъ во все время своей болѣзни никакихъ особенныхъ извѣстій; пѣшій и лѣтный хлѣбъ, а затѣмъ происшествіе на базарѣ, занимали всѣ досужіе языки Тугарина, и, кромѣ этихъ странныхъ и несчастныхъ случаевъ, ничего не было слышно о Таганаевѣ, который самъ на это время счелъ за лучшее остаться на нѣсколько дней дома. Ольга же, также не выѣзжавшая первые дни по нездоровью, не явилась въ воскресенье на балѣ дворянскаго собранія, и злые языки не упустили тотчасъ же замѣтить, что тутъ не было и двухъ главныхъ поклонниковъ ея. Выздоровѣвъ, Буслаевъ воспользовался первымъ случаемъ, чтобъ побывать въ домѣ родителей Ольги. Это было вечеромъ; отецъ ея жилъ довольно открыто, и Буслаевъ засталъ тамъ небольшое общество. Ему непритворно обрадовались, и сама даже Ольга, изобличивъ, для опытнаго наблюдателя, въ первую минуту появленія Буслаева, неравнодушіе свое къ нему, вскорѣ побѣдила въ себѣ это волненіе и смущеніе и сдѣлалась мила, ласкова и развязна; въ ней только замѣтна была повременамъ какая-то необычайная робость.

Она сѣла за флигель, играла и пѣла; затѣмъ, пѣли

и другіе, нѣлъ и Буслаевъ съ нею вмѣстѣ, стоя за ея стуломъ. Онъ не могъ отвести глазъ отъ этихъ роскошныхъ, золотистыхъ кудрей, отъ полныхъ бѣлыхъ плечъ и рукъ, и съ жадностью прислушивался къ нѣжному, мягкому голосу ея, который выражалъ мгновенно, противъ воли скрытыя чувства пылкой и чувствительной ея души. Буслаевъ замѣчалъ уже нѣсколько разъ, когда стоялъ противъ Ольги у флигеля, что, когда глаза ея, расширясь, темнѣли и дѣлались, наконецъ, черными, то голосъ ея былъ твердъ, звученъ и смѣлъ; когда же, напротивъ, глаза ея голубѣли, принимали какой-то нѣжный лазоревый отливъ съ поволокою, то голосъ ея дѣлался мягче, нѣжнѣе, болѣе томнымъ, и даже иногда дрожалъ.

Ольга взяла какой-то новенькій дуэтъ и пригласила Буслаева попробовать его. Она была потверже его въ музыкѣ, и потому сдѣлалась на этотъ разъ учительницей, а онъ послушнымъ ученикомъ. Урокъ этотъ былъ менѣе занимателенъ для прочихъ собесѣдниковъ, и они занялись по сторонамъ разговоромъ, частію съ хозяиномъ и хозяйкой дома, частію же съ двумя, бывшими тутъ, подругами Ольги.

— Вы, кажется, разсѣяны?—сказала она Буслаеву, который сбивался два-три раза сряду.

— Я васъ не видалъ такъ давно, такъ давно,— отвѣчалъ онъ:—а теперь...

— А теперь что же? думаете о другомъ?

— О нѣтъ, Ольга Николаевна, объ васъ я думаю, не о другомъ—объ васъ, и потому-то все другое забываю!

Ольга немного смутилась, вскинула голову, мило тряхнула кудрями, взяла аккордъ и, перебирая клавиши рояля, спросила:—вы развѣ были нездоровы?

— Лицо мое пострадало нѣсколько отъ тѣзки!—сказалъ Буслаевъ, и Ольга, вздрогнувъ едва замѣтно

Богъ вѣсть почему припоминала въ умѣ, какъ зовутъ Таганаева и какъ Буслаева, и опомнившись, что Ефремъ или Малахій и Илья не могутъ быть тёзками, успокоилась. Буслаевъ продолжалъ:—Но я слышалъ, Ольга Николаевна, что *вы* были не совсѣмъ здоровы?

— Право? нѣтъ, это было пустое, головная боль. Почему же вы это знаете?

— Я знаю также, что вы заболѣли отъ недоразумѣнія: на васъ были цвѣты, бѣлыя лиліи, до того превосходно поддѣланныя, что у васъ отъ многаго сильнаго запаха ихъ заболѣла голова.

— О, да вы и насмѣхаться умѣете! Это нашъ добрый Карлъ Ивановичъ выдумалъ на меня такую напраслину. Но я все-таки разсердилась на этотъ вѣнокъ, я не хочу его болѣе надѣвать, не хочу его видѣть...

— Право? Скажите, ради Бога, вы не шутите?

Буслаевъ при этомъ вопросѣ не могъ скрыть удовольствія, поразившаго его по случаю такой вовсе неожиданной вѣсти.

У Ольги разгорѣлось не только лицо, но даже грудь, которая взволновалась болѣе обыкновеннаго, и руки; на лицѣ выразилось какое-то страданіе, глаза поголубѣли, потускнѣли, и губки ея показывали, что она почти готова была заплакать; она чувствовала, что положеніе ея дѣлается чрезвычайно неловкимъ, что ей нельзя отвѣчать молчаніемъ на одушевленный страстный вопросъ Буслаева, а между тѣмъ, у нея не доставало для отвѣта ни силы, ни разсудка; она не знала, что отвѣчать. Буслаевъ сидѣлъ, утонувъ въ мечтахъ, съ нею рядомъ, уставилъ на прекрасное лицо ея свои глаза и ждалъ, однакоже, этого отвѣта также въ какомъ-то странномъ недоумѣніи.

Отвѣчать Ольгѣ, конечно, было нечего; но могъ ли, при такихъ обстоятельствахъ, и самъ Буслаевъ, съ

своей стороны, продолжать разговоръ, не сдѣлавъ развѣ перехода къ погодѣ или иному невинному обстоятельству? могъ ли онъ высказать то, что въ эту минуту сжимало и тѣснило грудь, что огнемъ растекалось по жиламъ его, воспламеняя все его тѣло, до послѣдняго суставчика мизинца?

Еслибъ не было этого ненавистнаго врага рода человѣческаго, Таганаева—конечно, пара недоговоренныхъ словъ могла бы сказать много, почти столько, сколько въ сущности Буслаеву было нужно; но невыразимо странныя отношенія и положеніе этого человѣка измѣняли все дѣло. Онъ стоялъ какимъ-то мрачнымъ привидѣніемъ между Ольгой и Буслаевымъ, затемняя ему Божій свѣтъ и застя передъ этимъ краснымъ солнышкомъ. Если было рѣшиться Буслаеву говорить, то надо было говорить много, надобно было объяснить все, очистить совѣсть свою, свалить гору съ плечъ и разъяснить эти запутанныя сосложенія и сочетанія. Буслаевъ осторожно оглянулся; подобный разговоръ казался ему неумѣстнымъ, невозможнымъ.

Не получая отвѣта на пристальный, озабоченный вопросъ свой и растаявъ мало-по-малу вблизи златокудрой Ольги, онъ, однакожъ, продолжалъ вполголоса:

— Если бъ вы знали, Ольга Николаевна, какъ часто у меня по васъ болѣетъ сердце—отъ искренняго, душевнаго участія, отъ желанія вамъ добра и всѣхъ благъ, за которыя я бы съ наслажденіемъ отдалъ жизнь свою...

— Вы пугаете меня,—отвѣчала Ольга робко, обративъ къ нему голову: — развѣ мнѣ угрожаетъ что-нибудь? скажите!.. И развѣ я... развѣ вы думаете.. развѣ бы я согласилась искупить свое спокойствіе или счастіе вашимъ?

Какая-то всеобщая тревога вокругъ забывшейся четы

и шумные со всѣхъ сторонъ возгласы заставили ихъ опомниться; Ольга безсознательно ухватилась за стоящій передъ нею листокъ нотъ, а Буслаевъ вскочилъ торопливо и чего-то сильно испугавшись: Таганаевъ только что вступалъ въ залу. Ловко и развязно онъ раскланивался, между тѣмъ какъ со всѣхъ сторонъ сыпались на него шумныя привѣтствія.

Раскланявшись съ хозяиномъ и хозяйкой, онъ тотчасъ же обратился къ Ольгѣ, которая, казалось, даже и не старалась скрыть своего смущенія, или, вѣрнѣе сказать, своего пораженія: она была очень блѣдна и съ трудомъ только отвѣчала на нѣсколько самыхъ обыкновенныхъ вопросовъ. Онъ сказалъ ей еще нѣсколько общихъ словъ — и та же зависимость, то же порабощеніе, которое мы уже замѣтили и прежде, видимо, овладѣли бѣдной плѣнницей. Она уже не смѣялась болѣе; она была сильно взволнована и съ трудомъ удерживалась отъ глубокихъ вздоховъ; она безпрестанно украдкой приглядывалась и прислушивалась въ ту сторону, гдѣ стоялъ, сидѣлъ или ходилъ этотъ загадочный человѣкъ; который, съ своей стороны, завладѣлъ всеобщимъ вниманіемъ и участіемъ на весь вечеръ. Когда онъ сѣлъ за рояль, шумно ударилъ по клавишамъ, бойко пробѣжалъ по нимъ вверхъ и внизъ и огласилъ залу превосходнымъ, звучнымъ баритономъ своимъ, то приковалъ къ себѣ всеобщее вниманіе; только изрѣдка слушатели были поражены какимъ-то страннымъ чувствомъ удивленія и ужаса, когда голосъ Таганаева внезапно, такъ сказать, раздвоился и самъ себѣ вторилъ; но вслѣдъ затѣмъ, онъ опять входилъ въ обыкновенные предѣлы свои, и едва уловимые, двойственные звуки навсегда изчезали. Ольга сидѣла въ это время съ выраженіемъ какой-то важной задумчивости на лицѣ, обративъ постоянно темные, большіе глаза свои на этого непонятнаго человѣка.

Когда же, наконецъ, кто-то осмѣлился вспомнить Буслаева и робко, украдкой поискать его глазами, то Ильи Львовича давно уже не было въ комнатѣ, даже не было въ домѣ, и никто не замѣтилъ его ухода. Увидѣвъ, что онъ сдѣлался лишнимъ, какъ пятое колесо въ телѣгѣ, онъ втихомолку убрался, хотя сердце его надрывалось съ отчаянія и боли.

Горнилинъ замѣтилъ по первому взгляду такое грустное расположеніе Буслаева и пріискивалъ средство успокоить его, но опасался заговорить невпопадъ, чтобъ не растревожить его еще болѣе. Буслаевъ ходилъ скоро взадъ и впередъ, между тѣмъ, какъ Горнилинъ сидѣлъ за работою; но вслѣдъ затѣмъ Буслаевъ кинулся ничкомъ на диванъ, растянувшись во всю длину его, подложивъ закинутыя кверху руки подъ голову и уставивъ глаза въ потолокъ; тогда Горнилинъ всталъ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ и расхаживалъ въ свою очередь по комнатѣ мѣрными шагами. Никто не говорилъ ни слова.

— Горнилинъ,—сказалъ, наконецъ, Буслаевъ, вскочивъ и сѣвъ на диванъ:—я сейчасъ разсчиталъ, что ты старѣе меня не болѣе, какъ годами шестью; скажи мнѣ, откуда взялась въ тебѣ эта опытная премудрость, это спокойствіе и сухой, прозаическій взглядъ на все житейское?

— Откуда?—отвѣчалъ тотъ, пожавъ плечами:—откуда все берется; отъ корня или сѣмени, отъ солнца, дождя, воздуха и вѣтра... Фіалка и лопушникъ растутъ нерѣдко на одной и той же почвѣ. Не думаю, впрочемъ, чтобъ я въ этомъ отношеніи представлялъ что-нибудь особенное; а, можетъ быть, ты собственно слишкомъ не спокоенъ теперь, и потому смотришь на меня такими не мудрыми глазами.

— Но, послушай, неужели ты никогда не былъ влюбленъ? Скажи мнѣ, другъ, признайся, разскажи... мнѣ хочется слышать это отъ тебя!

— Зачѣмъ же ты называешь это признаніемъ? То, что я могу разсказать объ этомъ, я не таю ни отъ кого—ничего же человѣческаго не отрекаюся, какъ сказалъ латинскій мудрецъ — и готовъ подѣлиться опытностью, чувствами и понятіями своими со всякимъ, кто приметъ въ нихъ участіе. Тебѣ же, другъ, радъ говорить объ этомъ съ теплымъ чувствомъ дружбы. Но не думай, чтобъ я испыталъ что-либо чрезвычайное; нѣтъ, похожденія мои въ сущности очень просты и повторились надо мною, можетъ быть, надъ сотымъ или тысячнымъ; но обстоятельства, при которыхъ я прошелъ испытаніе это, мелочная обстановка главной и весьма обыкновенной картины, были довольно разительны и поучительны, по крайней мѣрѣ, собственно для меня, надъ которымъ все это сбывалось.

Горнилину казалось, что Буслаевъ перешелъ внезапно въ довольно спокойное или по крайней мѣрѣ въ болѣе разсудительное расположеніе, что въ немъ пробудилась какая-то жажда спокойно слушать разсказъ о близкомъ ему теперь предметѣ, и полагалъ, что этимъ расположеніемъ должно воспользоваться. Онъ присѣлъ къ нему на диванъ и началъ разсказъ свой:

— Ты знаешь, что я остался круглымъ сиротой съ восьми лѣтъ и почти не помню своихъ родителей: помню темно заботливую, ласковую мать, которая сама чесала меня каждое утро и учила молиться, помню, какъ сквозь сонъ, больного, хилаго отца, который долго лежалъ на смертномъ одрѣ, такъ что въ памяти моей остались не разъ слышанныя мною отъ постороннихъ людей слова: «Когда бы уже Господь милосердый прекратилъ страданія его».

«Наконецъ и это исполнилось, а вслѣдъ затѣмъ, очень скоро, скончалась матушка, будто она жила только для того еще на свѣтѣ, чтобъ высидѣть до конца у изголовья этого страдальца. Дядя мой остался моимъ опе-

куномъ, отдалъ меня въ школу, потомъ въ гимназію, наконецъ, въ университетъ. Дядя этотъ былъ въ сущности холоденъ и равнодушенъ ко мнѣ, и къ этому я привыкъ; не зная лучшаго, я не замѣчалъ даже этого, а почиталъ и уважалъ дядю безусловно. Никогда не приходило мнѣ и въ голову подумать, не только спросить о томъ, не было ли у меня какого наслѣдства и все, что дѣлалъ для меня дядя, я принималъ за чистое благодѣянье. Я перешелъ отъ родителей своихъ къ нему въ руки и продолжалъ почитать себя у него точно въ тѣхъ же отношеніяхъ, какъ въ родительскомъ домѣ.

«Когда мнѣ минуло двадцать два года, и я кончилъ ученіе, то дядя заперся однажды со мною, при какихъ-то особенныхъ околичностяхъ, въ свою комнату, былъ добрѣе и ласковѣе обыкновеннаго, напутствовалъ меня на предстоящее мнѣ поприще жизни золотыми наставленіями и поученіями и слегка коснулся того, что отецъ мой оставилъ небольшое наслѣдство собственно на мое воспитаніе; что имущества этого, однакожъ, не доставало на необходимые по сему расходы, и что онъ, дядя, не щадилъ для меня своего—въ чемъ я и не думалъ сомнѣваться и не усомнился бы, вѣроятно, по нынѣшній день, еслибъ онъ не вздумалъ прибавить къ этому, съ какимъ-то смущеніемъ и почти скороговоркой, нѣсколько словъ, совершенно противорѣчащихъ сказанному; а именно: что доброжелательство его ко мнѣ, къ сожалѣнію, вовлекло его въ нѣкоторыя не совсѣмъ удачныя предпріятія, при которыхъ онъ пострадалъ отъ неблагонамѣренныхъ людей, и потерялъ и свое, и остатокъ моего достоянія. Я молчалъ, не смѣя даже спросить объясненія этой загадки; а дядя тутъ же подсунулъ мнѣ для подписи какія-то изготовленныя имъ бумаги, сказавъ, что порядокъ требуетъ тутъ подписи моей, въ удостовѣреніе согласія моего и признательности относительно всего сдѣланнаго имъ для

меня въ продолженіе моего несовершеннолѣтія. Само собою разумѣется, что я подписывалъ имя и фамилію свои тамъ, гдѣ дядя указывалъ мнѣ пальцемъ, не призадумавшись ни на минуту. Этимъ, какъ и уже впослѣдствіи удостовѣрился, дядя прекратилъ навсегда всѣ счеты свои по опекѣ надо мною и надъ небольшимъ бывшимъ имуществомъ моимъ.

«Но я все еще ничего не подозрѣвалъ. Я кончилъ экзаменъ, готовился на службу и мнѣ надо было одѣться; я обратился къ дядѣ, по старой привычкѣ, испрашивая его приказаній на этотъ счетъ. — Я ужъ думалъ объ этомъ, сказалъ онъ мнѣ:—и, право, нахожусь въ большомъ затрудненіи. Я не въ состояніи пособить тебѣ; остается одно: у тебя осталось еще отъ матери семейство людей; дай мнѣ довѣренность, я постараюсь сбыть ихъ повыгоднѣе, и ты можешь тогда одѣться и снарядиться хорошо, разсчитывая смѣло на это пособіе.

«Я исполнилъ приказаніе дяди и, не ожидая лишняго дня, тотчасъ же заказалъ себѣ мундиръ съ принадлежностью и всю одежду, можетъ быть, нѣсколько роскошнѣе, чѣмъ бы слѣдовало, но во всякомъ случаѣ, въ твердой увѣренности, что я уплачу все это по сдѣланному дядей распоряженію. Между тѣмъ время проходитъ, дядя откладываетъ дѣло со дня на день, говоритъ, что все еще не можетъ пріискать покупщика, а я получилъ уже назначеніе, долженъ ѣхать и не знаю какъ мнѣ быть съ долгами. Вдругъ я слышу на сторонѣ, что семья давно продана; приступаю къ дядѣ, представляю крайность своего положенія—и слышу отъ него, что онъ точно продалъ семью, но денегъ еще не получилъ; что получилъ и деньги, но только не всѣ; и наконецъ, что денегъ этихъ нѣтъ, что онъ употребилъ ихъ по своимъ крайнимъ надобностямъ и современемъ мнѣ отдастъ.

«Въ отчаяніи кинулся я къ товарищамъ, изъ которыхъ въ особенности одинъ, человѣкъ богатый, былъ со мною очень друженъ и, при всей бѣдности моей, оставался мнѣ еще долженъ сотни двѣ рублей, по старымъ студентскимъ расчетамъ. Это извѣстная истина, что нуждаются въ деньгахъ всегда болѣе зажиточные люди, всегда богатые бываютъ должниками бѣдныхъ и всегда ихъ надуваютъ. Мой задушевный другъ, которому я совѣстился доселѣ напомнить о небольшомъ долгѣ его, самъ съ трудомъ только объ этомъ вспомнилъ, да и то не совсѣмъ ясно; онъ далъ мнѣ также замѣтить, какъ неприлично требовать уплаты стараго долга, и въ особенности заводить рѣчь о такой бездѣлицѣ, о двухстахъ рубляхъ! Оскорбившись этимъ, по праву преимущества своего положенія передъ моимъ, онъ прогулялъ и проигралъ, правда, въ тотъ же вечеръ болѣе этой суммы, но денегъ не уплатилъ мнѣ по сегодняшній день. Онъ теперь занимаетъ значительное мѣсто, составилъ себѣ имя и извѣстность въ обществѣ, и потому, конечно, не нуждается въ моемъ одобреніи.

«Итакъ, родной дядя мой и такъ называемый другъ и товарищъ жестоко меня разочаровали. Я увидѣлъ, что долженъ искать помощи въ одномъ только себѣ и на себя одного надѣяться. Я взялъ ту только часть изъ заказанной одежды, которая была для меня необходима, убѣдивъ портного принять остальное обратно за извѣстное вознагражденіе, убѣдилъ его также повѣрить честному слову моему и получать исподволь уплату, потому что на нѣтъ и суда нѣтъ, и онъ, въ противномъ случаѣ, не получилъ бы ничего.

«Отправившись, затѣмъ, по назначенію, я положилъ себѣ святымъ правиломъ не издерживать ни одного мѣднаго гроша изъ жалованья моего на какое бы то ни было удобство и прихоть, за исключеніемъ однихъ только неизбѣжныхъ расходовъ для поддержанія жизни.

Я ѣлъ одинъ черствый хлѣбъ, въ полномъ и буквальномъ смыслѣ слова, не могъ никуда показываться въ общество, и даже знаться съ товарищами: мнѣ не во что было порядочно одѣться; но послѣ двухгодичнаго, жестокаго искуса этого я уплатилъ сполна долги свои и вздохнулъ свободно на вольномъ свѣтѣ. Къ этому прибавлю еще, въ скобкахъ, что, упрекая не только дядю, но и себя, въ постушкѣ нашемъ, въ безпутной продажѣ семьи,—продать которую я допустилъ только изъ крайности, между тѣмъ, какъ дядя промоталъ деньги,—я впослѣдствіи выкупилъ ее снова, и одного изъ членовъ этого семейства ты видишь въ лицѣ моего почтеннаго Якова.

«Ты не можешь себѣ представить, съ какимъ блаженствомъ я вступилъ опять съ безукоризненною совѣстію въ общія права человѣчества, въ которыхъ для меня доселѣ было сдѣлано такое тяжкое исключеніе. Я нерѣдко бывалъ безъ сапогъ; сидѣлъ дома и сказывался больнымъ, и только подобными пожертвованіями и усиліями могъ удержать въ покоѣ своего неумолимаго заимодавца, грозившаго мнѣ черезъ каждыя двѣ почты подать на меня жалобу. Никто не зналъ моего положенія; я прослылъ не только чудакомъ, но и пьяницей, и негодяемъ, который совѣстится показаться людямъ въ глаза. На человѣка, который бѣгаетъ отъ общества, можно клеветать, какъ на мертваго—и люди дѣлаютъ это отъ скуки и для забавы. Новый человѣкъ, особенно молодые люди, непремѣнно должны показываться въ своемъ кругу и въ обществѣ; когда ихъ сколько-нибудь узнаютъ, тогда сплетни эти не такъ легко прилипаютъ и скорѣе обнаруживаются.

«Когда испытанія мои кончились, когда я снова прилично одѣлся и вдругъ сталъ вести вовсе иной родъ жизни, то это обратило на себя всеобщее вниманіе, и досужій городишко заплелъ кокюшками на всѣхъ четы-

рехъ концахъ своихъ такія кружева, что имъ, какъ ниткѣ на клубкѣ Бабы-Яги, не было конца. Тогда только я объяснилъ дѣло откровенно своему начальству, показавъ и подписанные окончательно счеты; а кружевницамъ предоставилъ выплетать, по усмотрѣнію, самые затѣйливые городки и узоры.

«Я теперь захотѣлъ жить по-людски, думалъ, что и мнѣ можно объявить скромное притязаніе на мірскія радости; суетныя скорби были мнѣ уже извѣстны, и казалось, что имъ пришелъ конецъ, что колесо причудливой богини мчитъ меня теперь, за долготерпѣніе и твердость мою, безостановочно на высшую точку своего оборота.

«Въ одномъ изъ домовъ, съ которымъ я познакомился черезъ дядю, была дѣвушка, которая въ прежнее время вскружила мнѣ голову. Нравъ у меня, какъ ты знаешь, не слишкомъ пылкій, а потому и въ любви моей не было никакихъ неистовствъ; но зато она проникла довольно глубоко и залегла тамъ, какъ говорится, на мертвомъ якорѣ. Третій годъ уже я не видалъ этой дѣвушки и ничего объ ней не слышалъ, потому что отнюдь не хотѣлъ вмѣшаться въ судьбу ея, не будучи въ состояніи предложить ей сносную, по всѣмъ видимымъ соображеніямъ, участь; не менѣе того, мысли мои постоянно переносились къ ней; будучи ежеминутно готовъ услышать, безъ трепета и ропота, что она стала женою другого, я, однакожъ, считалъ, верхомъ блаженства тѣ мгновенія, когда позволялъ себѣ мечтать, что она можетъ быть еще свободна, можетъ быть, даже вспоминаетъ по прежнему обо мнѣ, и можетъ быть будетъ моею!».

— Опиши мнѣ ее,—перебилъ Горнилина Буслаевъ:— какова она была собой? Или тебя это растревожитъ?

— Нѣтъ, другъ мой,—отвѣчалъ Горнилинъ, улыбаясь:—тогдашній Горнилинъ есть только двойникъ

нынѣшняго—это не одно и то же лицо; я смотрю на него и на тогдашнія событія точно, какъ на вытверженный романъ или разсказъ.

«Описать ее.. что жъ тебѣ въ этомъ? Пожалуй: она была не велика ростомъ, бѣлокура, голубоглаза, очень стройна и тонка, но кругла, какъ хорошенькій ребенокъ; лицомъ она походила также на хорошенькое дитя; а живостію своего нрава и вѣчною готовностію хохотать надо всѣмъ, чѣмъ угодно было посмѣшить ее, она была чрезвычайно пріятною собесѣдницею всякаго общества. Она мгновенно оживляла, какъ волшебнымъ жезломъ, всякое собраніе, вечерокъ или домашній кружокъ; нельзя было не увлечься этою беззаботною веселостью и ребяческимъ радушіемъ. Припоминая ее теперь, я, конечно, не могу утверждать, чтобъ она была дѣвушка необыкновенная по уму или по красотѣ,—совсѣмъ нѣтъ; но она увлекала, по мѣрѣ приближенія къ ней, и заставляла забывать все, кромѣ собственно себя самой. Но оставимъ это... я въ угоду тебѣ сдѣлался живописцемъ.

«Итакъ, я рѣшился узнать судьбу этой дѣвушки, и если она еще свободна, предложить ей себя во всегдашніе товарищи и сотрудники жизни, потому, любезный, что жить на свѣтѣ безъ труда нельзя. Я узналъ, что она свободна, что даже отказала недавно какому-то жениху, что она стала теперь гораздо положительнѣе и спокойнѣе въ своемъ обращеніи и уже не съ такимъ наслажденіемъ хохочетъ. Болѣе я не могъ узнать ничего, но мнѣ и этого казалось за глаза довольно; я нашелъ случай и отправилъ коротенькое письмецо прямо къ ней въ руки, съ тѣмъ, что если она только согласится, то я обращусь къ отцу ея; въ противномъ случаѣ, я просилъ ее сжечь записку и не отвѣчать мнѣ ни слова».

— Что же, ты получилъ отвѣтъ?—перебилъ опять

въ нетерпѣніи Буслаевъ:—или, бѣдный другъ мой, ты не получилъ отвѣта? Она тебя забыла?

— Отвѣтъ я получилъ, — продолжалъ Горнилинъ, устремивъ глаза прямо передъ собою наземь:—отвѣтъ я получилъ, и ты увидишь его въ подлинникѣ; онъ еще цѣлъ; но я попрошу тебя угадать предварительно, въ чемъ бы отвѣтъ этотъ могъ состоять?

Буслаевъ вскочилъ тревожно и началъ опять ходить.

— Въ чемъ! ну, разумѣется: или да, или нѣтъ, или позвольте подумать; а соображая нынѣшнія обстоятельства твои, полагаю, что она отказала; ты опоздалъ?

— Ни то, ни другое, ни третье?

— Такъ что же? Стало быть, она отвѣчала ни то, ни сё?

— Нѣтъ, она отвѣчала очень ясно и положительно, можетъ быть, яснѣе и положительнѣе, чѣмъ дѣвица когда-либо въ ея положеніи отвѣчала.

— Да что же такое?

— Отгадай; отгадай хотя приблизительно: она, въ сущности, конечно, давала согласіе свое; но такое согласіе, которое было еще болѣе, нежели отказомъ, потому что дѣлало бракъ нашъ невозможнымъ.

— Ты меня озадачиваешь,—сказалъ Буслаевъ:—если бъ я былъ теперь расположенъ шутить, то сказалъ бы: она, вѣроятно, соглашается, но съ тѣмъ условіемъ, чтобъ ты былъ невѣстой, а она женихомъ, потому что она не дѣвица, не женщина, а мужчина!

— Напротивъ, потому-то собственно, что она была женщина, бракъ нашъ сдѣлался невозможнымъ; и несмотря на это, въ твоемъ предположеніи, или въ одной части его, заключается разгадка.

— Нѣтъ, ужъ не мучь же меня болѣе,—сказалъ Буслаевъ: — у меня голова кругомъ пошла, говори скорѣе...

— Пожалуйте сейчасъ къ губернатору, Семенъ

Ивановичъ! — сказалъ посланный Горнилину, который въ одну минуту надѣлъ вицмундиръ, бросилъ передъ Буслаевымъ на столъ записку и побѣжалъ.

Буслаевъ сидѣлъ и, не прикасаясь къ запискѣ, разсматривалъ ее съ большимъ вниманіемъ со всѣхъ сторонъ. Владѣя тайной, онъ мучилъ самъ себя нѣсколько времени съ большимъ наслажденіемъ, стараясь отгадать содержаніе записки. Онъ нехотя воображалъ себѣ, что записка относится къ нему, что получена имъ отъ одной извѣстной особы и должна рѣшить его участь. Вскрывъ ее, наконецъ, и пробѣжавъ глазами, онъ вскочилъ съ восклицаніемъ:—«Опять онъ! опять этотъ...» и опомнившись, что записка вовсе не относилась къ нему, сталъ перечитывать съ большимъ вниманіемъ слѣдующее:

«Получивъ письмо ваше, я долго не могла опомниться; но первымъ желаніемъ моимъ, когда я пришла въ себя, было покаяться передъ вами и тѣмъ... но нѣтъ, я этимъ не могу уже ни успокоить совѣсти своей, ни заслужить вашего уваженія! Все равно; вы должны знать все: годъ спустя послѣ отъѣзда вашего, одинъ человѣкъ сватался за меня; его уже нѣтъ на свѣтѣ; но черезъ него я сдѣлалась недостойною быть вашею невѣстой... Не могу писать болѣе отъ слезъ. Располагайте судьбою несчастной N. N.»

— Что же ты сдѣлалъ?—спросилъ, вдругъ забывшись, Буслаевъ, оглянулся и опомнился, что друга его нѣтъ.—Бѣдный!—сказалъ онъ:—такъ вотъ какія испытанія судьба на тебя положила, такъ вотъ какой крестъ досталось тебѣ нести! И ты не упалъ; ты шелъ бодро впередъ и вынесъ его, этотъ крестъ, и вынесъ вмѣстѣ съ нимъ чистую душу и доброе, благородное сердце! Ты не сѣтуешь болѣе на людей, потому что ничего не требуешь отъ нихъ, хотя и радуешься, нашедши что-нибудь хорошее; ты живешь

не внѣ себя, а внутри, въ себѣ самомъ; отъ этого ты чуждъ самолюбія, тщеславія, корысти; отъ этого ты не знаешь скуки, не знаешь мелочныхъ и суетныхъ житейскихъ бѣдъ и огорченій; ты скромно уважаешь самого себя—и люди не могутъ отказать тебѣ въ уваженіи... А я? что я такое? Я самъ въ себѣ не нахожу еще ничего, кромѣ растерзаннаго сердца; я ищу того, чего не достаетъ мнѣ, внѣ себя, требую всѣхъ благъ земныхъ отъ свѣта, отъ людей—и наказываю самого себя болѣзненнымъ, горькимъ чувствомъ, если коварный свѣтъ меня дурачитъ, или случай меня обманываетъ...

Горнилинъ воротился, сталъ противъ задумчиваго друга своего и старался разгадать его мысли и чувства.

— Ну, что скажешь, другъ?—спросилъ онъ.

— Я? и ничего, и очень много, коли дѣло пошло сегодня на загадки; но ты доскажи мнѣ сперва свое. Что же дальше?

— Письмо прочиталъ ты?

— Прочиталъ, разумѣется.

— Такъ говори ты: скажи, что бы ты сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ?

Буслаевъ подумалъ, развелъ руками, пожалъ плечами, прошелся по комнатѣ и остановился съ какою-то рѣшимостью передъ другомъ своимъ, сложивъ руки на груди и поднявъ гордо голову.

— А вотъ что бы я сдѣлалъ,—отвѣчалъ онъ:—если бъ я зналъ эту дѣвушку прежде такъ хорошо и коротко, еслибъ столько любилъ и уважалъ ее, что рѣшился бы сдѣлать ей предложеніе, то подобное признаніе съ ея стороны не удержало бы меня ни отъ чего. Обычай подчинилъ намъ женщинъ до того, что одно имя наше въ глазахъ свѣта покрываетъ все; а женщина, которая рѣшилась на подобное признаніе — это женщина необыкновенная, и я признаюсь, меня бы

подкупила уже одна эта довѣренность. Повторяю, все зависитъ отъ того, какъ я ее зналъ, и сколько я въ ней увѣренъ; но само по себѣ, обстоятельство это, кажется, не измѣнило бы моихъ чувствъ и намѣреній.

— Ты судишь благородно,—сказалъ Горнилинъ:—хотя, можетъ быть, нѣсколько мечтательно; но не спорю, быть можетъ, ты правъ. Я, съ своей стороны, въ то время, по крайней мѣрѣ, не могъ чувствовать такъ, какъ ты теперь чувствуешь по чужому дѣлу; а теперь не хочу растравлять старой раны позднимъ и безполезнымъ раскаяніемъ. Я оставилъ дѣло это и, кажется, оставилъ и самое намѣреніе когда-либо жениться.

— То есть, ты, однакожъ, зарока не кладешь на это?

— Нѣтъ, зарока не кладу; но вотъ, по крайней мѣрѣ, причина, почему я до сихъ поръ еще холостъ; а покуда буду чувствовать и думать, какъ теперь, не стану себя неволить.

Въ продолженіе этого разговора Горнилина и Буслаева, жившихъ въ домѣ своего начальника, люди ихъ бесѣдовали въ людской губернатора о предметѣ, близкомъ къ этому разговору—о Таганаевѣ. Опять было тутъ сказано и пересказано почти все то, что мы уже знаемъ, и, сверхъ того, пущено въ ходъ нѣсколько новыхъ событій или соображеній, истинъ или догадокъ, Богъ вѣсть откуда взявшихся.

— Тотъ, кто подчинилъ себѣ змѣя, высиженнаго или выношеннаго дѣвкой изъ пѣтушьяго яйца,—такъ говорилъ одинъ:—владѣетъ имъ ровно сто лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока не придетъ другому пѣтуху очередь снести яичко. Въ продолженіе этихъ ста лѣтъ, онъ можетъ перелинять и помолодѣть снова до трехъ разъ, каждую четверть вѣка, или въ другой срокъ, по произволу, а по истеченіи послѣдней четверти

гибнетъ. Гибель эту или смерть Таганаева предсказалъ недавно какой-то юродивый села Пономаревки, извѣстный во всей окружности подъ именемъ Аѳонія-юродиваго; конецъ этотъ близокъ и совершится, когда *воскресеніе будетъ въ субботу*. По этому-то третій близнецъ уже исчезъ вовсе и является только въ видѣ какой-то тѣни, а второй—показывается все рѣже и рѣже; всѣ они должны вскорѣ соединиться неразлучно въ одномъ Ефремѣ и погибнуть безъ слѣда въ одинъ ударъ.

— Онъ-таки, братцы,—сказалъ старый служитель Горшилина:—онъ-таки мнѣ и не впервые попадается на глаза, этотъ чортовъ послушникъ. Видно, онъ съ той поры вымолодился и продалъ чорту шкуру свою, а другую купилъ у него; да ужъ я знаю, что это все онъ. Я по глазамъ его узналъ, и по тому, что это онъ и есть: и про того, что я видѣлъ, годовъ тому съ десятокъ, въ Москвѣ, все то же говорили. Когда, вишь, мы съ молодымъ бариномъ жили еще въ Москвѣ, а онъ обучался въ университетѣ, на Тверской, а дядя ихъ жилъ подъ Новинскимъ, такъ на Ильинкѣ жилъ Лакаловъ господинъ, хорошій знакомый дяди моего барина, тотъ самый, которому достались мы, когда дядя обманулъ моего Семена Ивановича, продалъ насъ этому Лакалову господину, а денежки прогулялъ. Вотъ у Лакалова и былъ сосѣдъ, хорошій знакомый ему, хлѣбъ-соль съ нимъ важивалъ и часто ходили одинъ къ другому на вечеръ; а у сосѣда этого, у Михѣева Григорья Ивановича, была дочь, прекрасная и превеселая барышня, и предобрая душа. Въ тѣ поры и Семену Ивановичу никакъ приглянулась она; была она еще молоденькая, небольшая изъ себя, бѣлокурая, какъ кровь съ молокомъ; и веселая, и добрая, все, бывало, шутитъ да все смѣется. Вотъ ужъ когда Семенъ Ивановичъ уѣхалъ, а я по-

палъ въ чужія руки, къ Лакалову господину, такъ у Григорья Ивановича у Михѣева и пошелъ обивать пороги какой-то, Господь его знаетъ и кто такой, и откуда, только это онъ и есть, это самый Ефремъ Поликарповичъ и есть,—только что не въ своей шкурѣ теперь ходитъ. Этотъ-то бродяга и сманилъ было дочь у Григорья-то Ивановича, да послѣ и покинулъ ее, а самъ пропалъ безъ вѣсти, да отписалъ, говорятъ, самъ про себя, что померъ. Она, сердечная моя, всѣ глаза выплакала, на свѣтъ глядѣть перестала, да ужъ послѣ слышно было, что пошла въ монастырь. Вотъ оно каково: а все это онъ; ужъ я знаю, что онъ: вотъ онъ каковъ!

Между тѣмъ, вечеръ, въ смыслѣ суточныхъ перемѣнъ, давно уже кончился, потому что время подходило къ полуночи, и вскорѣ кончились также вечера въ Тугаринѣ, въ смыслѣ домашнихъ кружковъ, и кончился вечеръ у родителей Ольги. Но съ нею, съ бѣдною, случилось въ этотъ вечеръ что-то такое странное, такое необыкновенное, что едва ли бывало съ кѣмъ другимъ съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ стоитъ. Мы описали уже приходъ Таганаева, любезность его, владычество надъ всѣми, и въ особенности надъ робкимъ и нѣжнымъ сердцемъ бѣдной Ольги, но мы не сказали одного: который, именно, это былъ изъ двухъ близнецовъ! Тугаринцы уже привыкли къ этому общему недоумѣнію и даже, какъ я упомянулъ, обыкновенно мало объ немъ заботились; близнецы были такъ тождественны во всѣхъ отношеніяхъ, что въ нихъ, казалось, вложена была даже одна общая душа: по крайней мѣрѣ, одинъ всегда отвѣчалъ съ одинаковымъ удовольствіемъ за другого, продолжалъ за него любой разговоръ, зная всегда и во всякое время почти все, что прежде говорилъ и дѣлалъ другой, потому, вѣроятно, что братья дѣлились дома всѣми чувствами

и мыслями своими; но каково же было Ольгѣ попасть въ такое же недоумѣніе, Ольгѣ, которая была уже сама не своя въ присутствіи своего побѣдителя, словомъ, которая была къ нему совсѣмъ въ иныхъ отношеніяхъ, чѣмъ свѣтъ или общество?

Таганаевъ много съ нею говорилъ въ этотъ вечеръ, ловко припоминалъ ей мелочныя, ничтожныя, но важныя, при такихъ отношеніяхъ, обстоятельства ихъ первой встрѣчи, знакомства, бесѣды, недомолвокъ, гласныхъ и нѣмыхъ разговоровъ; Таганаевъ обворожилъ Ольгу болѣе чѣмъ когда-либо прежде, заставивъ ее забыть ту робость, тотъ дѣтскій, безотчетный страхъ, который сковывалъ члены ея, отъ котораго у нея занимался духъ въ груди при одномъ видѣ этого человѣка; она забылась, она попрежнему разыгралась опять, какъ дитя, шутила, смѣялась, даже пѣла вмѣстѣ съ нимъ, и пѣла еще смѣлѣе и лучше обыкновеннаго; родители смотрѣли съ любовью на это милое созданіе и молились за нее въ душѣ; она забылась до того, что глядѣла опять голубыми глазами, что дѣтски лепетала о прошломъ, дорогомъ для нея времени, разсказывала всѣ обстоятельства своего воспитанія, припоминала и описывала подругъ, представляла въ лицахъ злыхъ и добрыхъ, обожаемыхъ и презираемыхъ, бывшихъ наставниковъ и наставницъ своихъ, воспитанницъ и дамъ разнаго званія; словомъ, Ольга растаяла, какъ этого давно съ ней не случалось, и, по уходѣ послѣднихъ изъ близкихъ знакомыхъ, составлявшихъ этотъ небольшой кружокъ, полетѣла прямо въ объятія отца и матери—счастливая, блаженная, какъ невѣста, не зная куда дѣваться отъ избытка благодатныхъ чувствъ, готовая зарыдать, не отъ печали, не отъ горя — отъ чистой, невыразимой, безотчетной радости...

И вдругъ она слышитъ, будто она говорила весь вечеръ съ Малахіемъ Поликарповичемъ, съ тѣмъ, ко-

тораго она доселѣ мало видѣла и котораго, какъ ей казалось, вовсе не мудрено было отличить отъ Ефрема; полагала даже и была въ томъ увѣрена, хотя и никому этого не говорила, что отличитъ и узнаетъ Ефрема всегда и вездѣ по одной походкѣ, по голосу, по одному слову—по чувству, наконецъ, котораго не умѣла объяснить, но которое говорило ей каждый разъ безошибочно: онъ идетъ, онъ здѣсь... «Малахій?» сказала она, улыбаясь, какъ человѣкъ, знающій болѣе прочихъ: «помилуйте, это былъ Ефремъ Поликарповичъ; можно ли вѣчно ошибаться и не распознавать ихъ, когда это такъ легко?»

— Нѣтъ, мой другъ, — сказалъ отецъ: — ты сама ошиблась; но я нисколько этому не удивляюсь. Онъ самъ сказалъ мнѣ, что братъ его, Ефремъ, сегодня уѣхалъ потихоньку, во избѣжаніе новыхъ толковъ, къ Ивану Алексѣевичу въ деревню, гдѣ житнички появились въ несмѣтномъ числѣ и опустошаютъ гумна. Боже мой,—прибавилъ старикъ:—когда этому бѣдствію будетъ конецъ... умилосердись!

Ольга смотрѣла съ недовѣрчивостью на отца, не знала, спорить ли ей, оставить ли это дѣло нерѣшеннымъ: она все еще была увѣрена вполнѣ, что это былъ Ефремъ; она его называла такъ во весь вечеръ; онъ не только отвѣчалъ ей на это, какъ отвѣчаютъ всегда, когда говорятъ съ людьми въ обществѣ; но онъ... онъ отвѣчалъ ей какъ-то особенно, какъ человѣкъ, который слишкомъ хорошо знаетъ и чувствуетъ, что это именно онъ самъ и что говорятъ съ нимъ; онъ даже безпрестанно, какъ нарочно, припоминалъ сегодня прошлое, и всегда говорилъ самъ о себѣ, какъ о себѣ, а не какъ о братѣ... О, это невозможно!

Но Ольга съ этой минуты какъ-то затихла; а мать, увидѣвъ, что она устала, благословила ее и отпустила ко сну. Ольга вошла въ свою комнату почти такъ же

точно, какъ въ тотъ вечеръ, когда разбирала по складамъ записку Таганаева; она остановилась, перестуливъ завѣтный порогъ свой; и, вздохнувъ тяжело, призадумалась. Невыносимая мысль стала мучить ее: сомнѣніе, ужасное сомнѣніе овладѣло ею, невзирая на видимую увѣренность,—и она опять уже смотрѣла на всѣ окрестные предметы черными, большими остойчивыми глазами, между тѣмъ какъ алый румянецъ постепенно сбѣгалъ съ мраморнаго лица и груди. Внезапно мелькнула въ ней какая-то запутанная, неясная, но страшная мысль, которая была ей до такой степени противна и ненавистна, что бѣдная Ольга не была уже болѣе въ силахъ обознаться въ чувствахъ и мысляхъ своихъ и стояла, едва переводя духъ. Мысль или темный отголосокъ этой трудно выразить словами, не оскорбивъ чистаго сердца Ольги, потому именно, что эта мысль мелькнула въ ней безъ словъ, безъ выраженій, а такъ, будто электрической искрой. Но сущность мысли этой все-таки состояла въ сознаніи, что она любитъ страстно—сама не зная кого, любитъ человѣка, котораго даже не можетъ распознать въ лицо и отличить отъ другого — или отъ другихъ, что слѣдовательно, тутъ возможенъ обманъ, подлогъ— и она не въ состояніи его открыть. Эта таинственная и ужасающая двойственность явилась ей внезапно, какъ привидѣніе. «Двое... двое...» подумала она, — и Буслаевъ, благородный, покорный, вѣрный и нѣжный, стоялъ передъ очами души ея.—«Нѣтъ», подумала она, тряхнувъ въ негодованіи головкой и отступивъ поспѣшно на шагъ: «нѣтъ, я говорю не о томъ... о, это опять иное... я говорю о тѣхъ... о томъ... и ихъ двое... Какъ, двое?.. Развѣ это можно, развѣ это сбыточно?.. двое, и я даже не могу распознать ихъ?..» Ольга всплеснула руками, закрыла лицо и упала съ выраженіемъ совершеннаго отчаянія на изголовье своей

постели. Черезъ нѣсколько минутъ она встала, сорвала съ шеи платочекъ, будто онъ ее душитъ, будто ей не достаетъ воздуха, и пала на колѣни передъ стоявшимъ въ углу образкомъ, которымъ благословилъ ее, семнадцать лѣтъ тому назадъ, крестный отецъ.

Въ этомъ положеніи она стала видимо успокаиваться, опять полились слезы, и она сердечно шептала молитву.

Въ это время, мать Ольги вошла тихонько въ келійку ея, и, при видѣ дочери на колѣняхъ передъ иконою, ничего не подозрѣвая, остановилась, чтобъ не помѣшать ея вечерней молитвѣ. Ольга оглянулась, увидѣла мать и полетѣла въ ея объятія. Ольгѣ стало легче, она нѣсколько успокоилась, чувствовала въ себѣ болѣе силы и воли. Молитва ея была услышана. Оставшись одна, она еще разъ усердно помолилась, еще разъ горько поплакала, опять нѣсколько успокоилась и уснула.

Ровно въ полночь ударили въ набатъ; трещетки и барабаны прошли зловѣщимъ грохотомъ по всѣмъ улицамъ Тугарина... Мы упомянули выше, что въ теченіе лѣта было уже нѣсколько пожаровъ, одинъ вскорѣ за другимъ, что подозрѣвались поджоги, и что народная молва безотчетно обвиняла ненавистныхъ для черни близнецовъ. Нѣсколько недѣль прошло спокойно; жители начинали уже забывать этотъ убійственный страхъ, который въ такихъ случаяхъ овладѣваетъ всѣми безъ разбора; уже мирные обыватели начинали засыпать по ночамъ спокойно, не выставляя за ворота сторожа съ дубинкой или бабу съ кочергой, какъ вдругъ опять трещотка и барабанъ загремѣли, и испуганные на смерть жители бросались спросонья къ окнамъ и за ворота, чтобъ увидѣть, гдѣ и откуда грозитъ опасность. Ночь освѣтилась страшнымъ, зловѣщимъ заревомъ пожара; городъ ожилъ; улицы снова

покрылись народомъ, крики и вопли огласили воздухъ, ворота растворялись, и бочки съ водою катились со стукомъ и громомъ вдоль улицъ.

«Кто горитъ? гдѣ горитъ?» спрашивали тутъ и тамъ испуганные и вскочившіе со сна, выбѣжавъ за ворота—и встрѣчные, бѣгущіе съ пожара или на пожаръ, большею частію отвѣчали: «Слава Тебѣ, Господи, близнецы горятъ!»..

Домъ Таганаевыхъ былъ весь объятъ яркимъ пламенемъ, и дымъ черными тучами налегъ на подвѣтренныя строенія и разстилался клубомъ вдоль улицъ. Тьма народу сбѣжалась и все сбѣгались болѣе и болѣе; но всѣ до единаго стояли зрителями: ни одинъ человѣкъ не брался за дѣло. Въ этой огромной толпѣ, обыкновенно столь шумной, торопливой, суетливой, господствовала какая-то величавая тишина, какое-то благоговѣніе и никто не смѣлъ, въ настоящемъ случаѣ, «противиться волѣ и попущенію Божію», какъ народъ выражался, никто не трогался съ мѣста, не думалъ объ оказаніи помощи, объ утушеніи пожара, а всѣ, будто по взаимной клятвѣ и соглашенію, предоставляли проклятое, по понятіямъ черни, жилище Таганаевыхъ на жертву карающей стихіи. Полицейскія пожарныя средства были въ Тугаринѣ весьма слабы и, безъ помощи народа, ничтожны; но никто не приступалъ къ пожарнымъ трубамъ, несмотря ни на какія убѣжденія и понужденія, а бочки съ водою останавливались издали, запрудивъ собою всѣ улицы. Когда прибылъ губернаторъ, то уже не было никакой возможности спасти домъ близнецовъ, ни даже вынести что-нибудь изъ находящихся въ немъ сокровищъ; благоразуміе требовало подумать теперь только о томъ, чтобъ отстоять сосѣдей и не дать пожару распространиться. За это народъ принялся единодушно и съ необычайнымъ усердіемъ. Къ утру вся опас-

ность миновалась; деревянный домъ Таганаевыхъ сгорѣлъ до тла, но сосѣдніе дома всѣ были отстояны.

Случай этотъ произвелъ необыкновенное дѣйствіе на весь народъ въ Туганинѣ. Напередъ всего, народъ вспомнилъ, что это было въ субботу передъ вербнымъ воскресеніемъ, то есть, въ день Лазарева воскресенія, или собственно тогда, *когда воскресеніе бываетъ въ субботу*. «Вотъ» говорили всѣ единогласно: «вотъ разгадка замысловатой задачи Аѳони-юродиваго!» Иной крестился и ужасался; другой благодарилъ Создателя за праведную кару; третій разсказывалъ неслыханныя страсти о томъ, какъ черти вылетали подюжинно изъ яраго пламени и, свиваясь клубками въ черномъ дыму, уносились по вѣтру; народъ весь день толпился вокругъ пожарища, глядѣлъ съ ужасомъ на безобразную кучу углей, пепла и головней — то шепталъ и крестился, то изрыгалъ вслухъ свои безразсудныя проклятія, но никто не рѣшался пройтись по самому пожарищу, осмотрѣть вблизи, по врожденному любопытству, обгорѣвшіе остатки и поискать этихъ слитковъ золота, о которыхъ всякій толковалъ, и которыхъ при всемъ томъ всякій ужасался. Народъ увѣрялъ, что теперь всѣмъ бѣдствіямъ пришелъ конецъ и что больше голода не будетъ. Откуда взяться хлѣбу, объ этомъ не разсуждали; но всеобщая увѣренность въ скоромъ изобиліи его не менѣе того была причиною внезапнаго пониженія хлѣбныхъ цѣнъ на базарахъ: это обстоятельство, въ свою очередь, еще болѣе ободрило народъ и дало ему еще болѣе самоувѣренности.

Въ продолженіе пожара, никто не видѣлъ хозяевъ этого дома, въ которомъ, какъ равно и во дворѣ его, вообще, было такъ мертво, пусто и тихо, какъ въ необитаемомъ зданіи. О причинѣ пожара ничего нельзя было открыть, но явно было, что тутъ не было наружнаго поджога; огонь распространился снутри и

обнялъ все зданіе прежде, чѣмъ кто-либо поспѣлъ на помощь. Народъ утверждалъ, что домъ сгорѣлъ *самъ своимъ огнемъ*, не объясняя впрочемъ, какой это былъ *свой* огонь, и откуда онъ взялся.

Но гдѣ жъ жильцы этого дома? гдѣ близнецы? — объ нихъ не было никакого слуха; озабоченный губернаторъ посылалъ искать ихъ по всему городу—но они пропали безъ вѣсти. Вся прислуга ихъ состояла изъ трехъ человѣкъ; люди эти были строго допрошены, но и это не повело ни къ чему. По заведенному у Таганаевыхъ обычаю, люди находились постоянно въ удаленіи отъ господъ, черезъ дворъ, и являлись только по звонку; у господъ былъ свой ключъ или общая отмычка, которая отпирала и калитку, и всѣ двери въ домѣ; уходя со двора или возвращаясь домой, господа никогда не тревожили слугъ своихъ, которые спали всегда спокойно, не заботясь о томъ, дома ли господа ихъ или нѣтъ. Такъ было и въ этотъ вечеръ; Ефремъ Поликарповичъ воротился поздно изъ поѣздки своей и опять куда-то вышелъ; Малахій Поликарповичъ вышелъ въ сумерки; а возвратился ли кто изъ нихъ къ ночи домой, или нѣтъ, этого никто изъ прислуги и не вѣдалъ.

Стали, наконецъ, по распоряженію начальства, разрывать груду пепла на пожарищѣ, чтобъ хотя отыскать обгорѣлые трупы близнецовъ, если они погибли; но и это было тщетно. Все сгорѣло до тла, мраморы разсыпались и едва оставили признаки жженой извести; изъ металлическихъ вещей сдѣлались безобразные, небольшіе слитки; кромѣ того, не было никакого слѣда ни бывшихъ вещей, ни труповъ. Конечно, они могли сгорѣть вовсе въ этомъ страшномъ огнѣ и обратиться не только въ головню или въ уголь, но и въ пепелъ—въ сущности это не представляло ничего необыкновеннаго; но народъ былъ уже напе-

редъ увѣренъ, что таинственный Таганаевъ сгоритъ именно такимъ образомъ, не оставивъ по себѣ никакого слѣда, и что это случится, когда воскресеніе будетъ въ субботу.

Къ вечеру, однакожъ, распространился, Богъ вѣсть откуда, другой, чрезвычайно дикообразный слухъ или молва, въ которой нельзя было добиться никакого человѣческаго смысла; не менѣе того, однакожъ, всѣ, весь городъ и всѣ сословія жителей его, толковали объ этомъ, будучи поражены ужасомъ столь неожиданнаго событія, страшною смертію въ огнѣ двухъ братьевъ, составлявшихъ украшеніе и утѣху лучшаго общества въ Тугаринѣ. Странная и безтолковая молва эта или сказка заключалась въ слѣдующемъ.

Мы упомянули уже, что въ окрестности Тугарина бродилъ по деревнямъ какой-то Аѳоня-юродивый. Народъ почиталъ его какимъ-то богоугоднымъ человѣкомъ, подавалъ ему при всякомъ случаѣ богобоязненно ломоть хлѣба, причемъ вошло въ обычай говорить: «Аѳоня, молись за грѣшнаго раба Божьяго такого-то»; и Аѳоня читалъ молитву. Денегъ не бралъ онъ никогда; и оплевывался отъ нихъ; кромѣ чтенія молитвъ, никогда и ни съ кѣмъ не говорилъ за исключеніемъ весьма рѣдкихъ случаевъ, когда онъ благословлялъ или проклиналъ кого-нибудь, или же когда предрекалъ возмездіе за добрыя и дурныя дѣла и предсказывалъ въ двусмысленныхъ, темныхъ загадкахъ какія-либо событія. Итакъ, въ народѣ пошла молва, будто Таганаевъ, соединивъ въ одномъ лицѣ своемъ также и мнимыхъ братьевъ своихъ, но покинувъ, для обмана, тѣнь свою въ городѣ, отправился, при закатѣ солнца, скорыми шагами за городъ, исполняя тѣмъ наложенный на него завѣтъ или зарокъ, отъ котораго ему въ этотъ послѣдній часъ никакимъ образомъ нельзя уже было уклониться. Онъ встрѣтился съ Аѳоней-юродивымъ, при самомъ закатѣ солнца,

на возвышенномъ холму. Свѣтъ померкалъ, воздухъ густѣлъ и становился мутнѣе; лазорь и багрецъ одолѣвали на западѣ попеременно другъ друга, въ нѣмомъ и величавомъ состязаніи, смотря по виду и положенію раскиданныхъ по небосклону облаковъ, въ которыя ударяли еще послѣдніе лучи солнца. Аѳоня стоялъ на возвышенности передъ близнецомъ, крестился и читалъ молитву. Таганаевъ остановился на мѣстѣ, какъ замороженный; онъ какъ будто не могъ пошевелиться; на него внезапно нашелъ какой-то ледяной столбнякъ. Аѳоня крестилъ близнеца издали и вдругъ, захохотавъ, какъ безумный, пустился бѣгомъ на кругахъ около испуганнаго, полуобмершаго человѣка, которымъ онъ безусловно завладѣлъ. Описывая кругъ этотъ, какъ лошадь на приколѣ, Аѳоня входилъ постепенно въ какое-то неистовство, бѣсновался, ржалъ, прыгалъ, лягался и ломался, махалъ съ крикомъ руками, крутилъ головой, но лишь только близнецъ, собравъ послѣднія силы свои, хотѣлъ пошевелиться, какъ тотъ, не останавливаясь, обращалъ на него лютые, налившіеся кровью глаза свои, искаженное судорожными порывами лицо, и, подымая руки, изрыгалъ какія-то невнятныя слова; тогда плѣнникъ стоялъ опять какъ вкопанный, какъ обмершій, не зная самъ, безотчетный ли ужасъ сковалъ суставы его, или невидимая и непостижимая сила наложила руки на удрученныя его плечи. Волосъ на головѣ его поднялся дыбомъ, глаза и уста широко разверзлись, дыханіе спиралось, колѣни подкашивались, дрожь пробиралась курчавой ледянистой волной по захребетью. Вдругъ Аѳоня заревѣлъ дикимъ голосомъ: «Ступай на смѣну!» и, оборотившись на всемъ скаку въ средину круга, быстро устремился на полумертваго близнеца; несчастный, какимъ-то новольнымъ, мгновеннымъ порывомъ, будто воодушевленный отчаяньемъ и ужасомъ, сорвался съ мѣста и кинулся бѣжать изо всѣхъ силъ,

но, не добѣжавъ до описаннаго Аѳоней круга, поворотилъ противъ солнца, въ противную сторону отъ того направленія, по которому бѣгалъ Аѳоня, пустился также бѣгомъ на кругахъ, между тѣмъ какъ Аѳоня стоялъ уже, въ свою очередь, спокойно въ срединѣ. Близнецъ былъ не въ силахъ остановиться, ни перескочить завѣтной черты описаннаго Аѳоней круга, ни своротить въ сторону; онъ бѣжалъ какъ взапуски и объ закладъ головы своей, описывая нѣсколько меньшій кругъ внутри перваго.

Уже смерклось вовсе, а близнецъ все еще несется во весь духъ по тому же безконечному ободу; дыханіе его слышно издалече, а топотъ раздается какъ отъ полновѣсныхъ, тяжелыхъ конскихъ копытъ. Аѳоня дико вскрикивалъ, хохоталъ, взвизгивалъ — и, наконецъ, замолкъ; по временамъ только бормоталъ онъ что-то про себя, или начитывалъ шопотомъ. Небо заволоклось непроницаемыми, черными тучами, которыя быстро неслись отъ запада и грозно скоплялись надъ головами побѣдителя и побѣжденнаго, надъ малоумною головою получеловѣка юродиваго, и надъ удрученнымъ челомъ этого таинственнаго человѣка, почитаемаго въ народѣ какимъ-то отступникомъ и предателемъ своей души. Черная ночь давно уже облегла всю окрестность сплошными потемками; несчастный уже не могъ видѣть своего неумолимаго мучителя и палача, даже не могъ слышать голоса его отъ шума, стука и свиста въ собственной своей головѣ; близнецъ слышалъ только въ нѣмомъ ужасѣ, какъ глухо раздавался собственный топотъ его въ окрестности и въ какомъ-то отчаянномъ безпамятствѣ, какъ будто гонимый неодолимою силой, неся все впередъ, возвращаясь безпрерывно на одно и то же мѣсто и пускаясь опять безостановочно по тому же безконечному кругу. Онъ учащалъ съ минуты на минуту на бѣгу скачки свои, сгарая внутреннимъ жаромъ

своего дыханія, которое изсушило ему въ подошву запекшуюся кровью гортань, языкъ и губы. Все въ окрестности затихло, глубокая ночь объяла успокоившуюся природу,—а несчастный близнецъ все еще несется впередъ; отекшія, отяжелѣвшія ступни его падаютъ какъ чугунные песты на остывшую землю и гулъ раздается далече.

Вдругъ, издали, едва внятно, примчался по вѣтру отголосокъ ранняго пѣтуха; синее пламя мгновенно вспыхнуло по всему ободу таинственнаго круга—и Таганаева не стало. Авоня побрелъ молча съ холма, ворча про себя какія-то невнятныя рѣчи, и, не оглядываясь, исчезъ въ черныхъ потемкахъ. Вотъ, что разсказывалъ народъ.

Народное преданіе указываетъ на холмъ или курганъ, получившій съ этой поры названіе «Чертова городища»; суевѣрные крестятся, проѣзжая по дорогѣ мимо кургана въ городъ или изъ города; а смѣлые, какъ говорятъ, припадаютъ иногда по ночамъ въ отдаленіи къ битой, укатанной дорогѣ и внятно слышатъ, какъ близнецъ все еще мчится конскою рысью по тому же зачарованному кругу. На сколько лѣтъ или вѣковъ наложена на него эта служба—неизвѣстно.

Между тѣмъ какъ весь Тугаринъ пораженъ былъ этимъ необыкновеннымъ событіемъ, таинственною или, по крайней мѣрѣ, странною гибелью Таганаевыхъ; между тѣмъ какъ не одинъ только народъ, а всѣ сословія объ этомъ толковали, каждый по своему — образованный кругъ, какъ о дѣлѣ чрезвычайно странномъ и непонятномъ, а народъ,—какъ о случаѣ довольно простомъ и для него вполнѣ объяснимомъ,— между тѣмъ, говорю, и друзья наши, Горнилинъ съ Буслаевымъ, сидѣли вечеромъ дома и въ разговорѣ объ этомъ же предметѣ поглядывали другъ на друга съ какимъ-то недоумѣніемъ. Горнилинъ старался объяснить все естествен-

нымъ порядкомъ, а Буслаевъ, нисколько не оспаривая сущности мнѣнія своего друга, дѣлалъ, однакожъ, кой-какія довольно дѣльныя возраженія, и, между прочимъ, отановился на вопросѣ: куда же, наконецъ, дѣвались Таганаевы? Неужели они въ самомъ дѣлѣ сгорѣли до тла?

Въ эту минуту, Горнилина опять внезапно потребовалъ губернаторъ, и потому Буслаевъ продолжалъ начатый разговоръ мысленно одинъ и придумывалъ разрѣшеніе на предлагаемыя самому себѣ загадки.

— Кто они таковы? — сказалъ онъ самъ себѣ:—и зачѣмъ они здѣсь поселились? Откуда у нихъ это богатство? Откуда эти необыкновенныя способности и дарованія, употребляемыя ими во зло? Явно, что искусство, ловкость и свѣдѣнія одного дополнялись способностями и искусствомъ другого; что здѣсь два необыкновенные человѣка, по чрезвычайному сходству своему другъ съ другомъ, такъ сказать, слились въ одного, который отъ этого сдѣлался въ глазахъ общества еще большимъ и непостижимымъ дивомъ; можетъ быть, даже ловкій подлогъ и фиглярство участвовали во всемъ этомъ столько же или еще болѣе, какъ искусство; почему знать? можетъ быть, даже мраморы и картины вовсе не ихъ работы, а все это выставлялось только на показъ, ради мороки; но съ какою цѣлью, для чего? Тутъ должно крыться что-нибудь необычайное..

Горнилинъ, взглянувъ на губернатора, тотчасъ увидѣлъ, по выраженію его лица, что и тутъ также случилось что-нибудь необыкновенное. Не говоря ни слова, губернаторъ подалъ ему черезъ столъ бумагу, сказавъ: «прочитайте». Горнилинъ читалъ и по временамъ запинался отъ изумленія, а иногда перечитывалъ по нѣскольку строкъ опять снова, останавливаясь, припоминая и соображая въ умѣ своемъ разныя обстоятельства, относящіяся къ дѣлу.

Въ бумагѣ этой говорилось о двухъ братьяхъ-близнецахъ, изъ которыхъ одинъ нѣсколько лѣтъ тому уже сосланъ былъ въ Сибирь за поддѣлку денегъ, но бѣжалъ оттуда и скрывался неизвѣстно гдѣ, вѣроятно, подъ чужимъ именемъ, между тѣмъ, какъ другой братъ, отъявленный игрокъ и шулеръ, также пропалъ безъ вѣсти, обыгравъ въ Москвѣ молодого человѣка на огромную сумму. Братья эти, было сказано далѣе, до того походятъ другъ на друга, что ихъ чрезвычайно трудно распознать, они притомъ необыкновенно ловки и искусны на всѣ руки и не принадлежатъ къ числу простыхъ мошенниковъ, скрывающихся въ толпѣ и въ рубищѣ, а всегда втирались въ порядочное общество, гдѣ образованностію своею, необыкновенными дарованіями и умѣньемъ блеснуть, не разъ уже ослѣпляли всѣхъ и отклоняли отъ себя всякое подозрѣніе.

Между тѣмъ, нынѣ опять въ разныхъ мѣстахъ, впрочемъ, довольно отдаленныхъ отъ Тугарина, стали появляться въ большомъ числѣ весьма искусно поддѣланныя ассигнаціи, и нѣкоторые слѣды указываютъ именно на Тугаринъ, какъ на мѣсто ихъ производства, хотя дѣлатели ихъ, можетъ быть, изъ хитрой предосторожности, не распускаютъ денегъ своей работы тамъ, гдѣ сами проживаютъ. А какъ носятся слухи о какихъ-то близнецахъ Таганаевыхъ, обратившихъ въ Тугаринѣ на себя общее вниманіе, то и предписывалось мѣстному начальству изслѣдовать подъ рукой, кто они таковы, откуда, чѣмъ занимаются и проч., а между тѣмъ наблюдать за ними самымъ строгимъ образомъ.

— Ну, что скажешь?—спросилъ губернаторъ Горнилина, давъ ему напередъ время прочитать бумагу два или три раза. Горнилинъ пожалъ плечами, смотрѣлъ во всѣ глаза и долго не зналъ, что сказать. — Стало быть, они — проговорилъ онъ, наконецъ, указывая на бумагу:—стало быть, они узнали заблаговременно даже

объ этомъ; стало быть, подручники ихъ дали имъ знать, что ихъ ищутъ, что слѣды ихъ открыты?..

— Похоже на то,—отвѣчалъ губернаторъ—и теперь намъ остается одно: не теряя ни минуты распорядиться погоней по всѣмъ дорогамъ; Таганаевы были здѣсь такъ извѣстны, что ихъ зналъ почти всякій; разослать на почтовыхъ и съ открытыми листами людей, которые знали ихъ хорошо въ лицо, чтобъ имъ нельзя было укрыться гдѣ нибудь въ чужой одеждѣ — въ видѣ крестьянъ, отставныхъ солдатъ, монаховъ, или Богъ вѣсть подъ какимъ нарядомъ: нѣтъ сомнѣнія, что они на такой случай приготовлены. Идите и распорядитесь. Я уже послалъ за исправникомъ и полиціймейстеромъ.

Горнилинъ прибѣжалъ домой, сѣлъ, запыхавшись, за письменный столъ, не отвѣчалъ ни слова Буслаеву, который и оставилъ его въ покоѣ, видя, что онъ занятъ чѣмъ-то нужнымъ и спѣшнымъ. Но старикъ Яковъ, который возился въ комнатѣ съ сапогами или со щеткой, несмотря ни на что, подошелъ къ своему барину и, какъ онъ все умѣлъ дѣлать вопадъ и кстати, началъ изливать убѣжденія свои на счетъ тождества личности Таганаева и того человѣка, который былъ вхожъ у пріятеля Лакалова господина, то есть у Михѣева, и который обманулъ и покинулъ бѣдную дочь его. Конечно, подобное извѣстіе—будь оно справедливо или нѣтъ, должно было сильно растревожить Горнилина; но, привыкнувъ владѣть собою, особенно когда занятъ былъ служебными дѣлами, онъ продолжалъ писать, обѣщавъ Якову поговорить объ этомъ обстоятельствѣ въ другое время.

Когда дѣло это впослѣдствіи огласилось, то, конечно, подало новый поводъ къ безконечнымъ толкамъ и пересудамъ. Припоминали каждое слово, каждое движеніе близнецовъ въ продолженіе короткаго пре-

бываніе ихъ въ Тугаринѣ, и уже на все смотрѣли другими глазами и во всемъ видѣли явное и ясное подтвержденіе того, что теперь всякому было извѣстно.

Иванъ Максимовичъ очень перепугался по случаю пожара у Таганаева и всѣхъ страховъ, которые на этотъ счетъ ходили по городу. Съ нимъ едва не сдѣлалось удара, отъ котораго, разумѣется, спасъ его добрый Карлъ Ивановичъ; но съ этого времени Иванъ Максимовичъ вздрагивалъ частенько во снѣ и даже покачивался отъ слабости на стулѣ, когда засыпалъ, по своему обычаю, въ углу танцовальной залы, подъ шумокъ, подъ музыку и пляску. Вздрагивая, онъ оглядывался съ изумленіемъ, протиралъ слегка глаза, улыбался сосѣдямъ и покачивалъ головой, будто соглашался съ ними во всемъ, и снова засыпалъ, усѣвшись на креслахъ своихъ, какъ было удобнѣе.

Съ того дня, какъ Таганаевы пропали безъ вѣсти, народъ въ Тугаринѣ и во всей окрестности успокоился и загладилъ послушаніемъ прежнюю вину свою—безразсудное волненіе и буйство; все пришло опять въ порядокъ; благоразумныя мѣры начальства приносили ожидаемую пользу, и нужда миновалась. Люди образованные и разсудительные приписывали послѣднее именно тому, что волненіе и безпокойства прекратились, что ложные слухи, безпрерывно тревожившіе умы, разсѣялись, и каждый, обратившись къ своему долгу, спокойно принялся за обычныя занятія свои; народъ же, напротивъ, былъ увѣренъ, что причиною всѣхъ бѣдъ было присутствіе ненавистныхъ близнецовъ или близнеца, и что съ гибелью его все должно было придти въ естественный свой порядокъ.

Губернаторъ, который любилъ своего адъютанта и зналъ черезъ Горнилина все до него относящееся, счелъ за лучшее дать ему время опомниться и придти въ себя; поэтому Буслаевъ внезапно получилъ пред-

писаніе отправиться по различнымъ порученіямъ немедленно на другой край нашего государства. Предписаніе это было написано Горнилинымъ въ присутствіи самого Буслаева, который вовсе не подозрѣвалъ, что такое правитель канцеляріи въ эту минуту пишетъ съ такимъ усердіемъ, между тѣмъ, какъ они бесѣдовали вмѣстѣ о происшествіяхъ и обстоятельствахъ, близкихъ къ сердцу и помысламъ одного изъ друзей.

Ольга, безотчетно испуганная при первомъ извѣстіи о страшной кончинѣ Таганаева, упала въ безпамятствѣ и пролежала нѣсколько дней въ бреду. Когда ей сдѣлалось дурно и мать, и отецъ сами отъ испуга потерялись, не зная, что начать,—тутъ, на бѣду или на счастье, случилась всесвѣтная проживалка, капитанша. Она схватила склянку съ гофманскими каплями и вылила ее почти всю въ уста бѣдной Ольги, лежавшей безъ памяти, безъ дыханія, безъ біенія сердца. Карлъ Ивановичъ былъ этимъ чрезвычайно недоволенъ; усматривая въ капитаншѣ какую-то вредную и опасную соперницу, отравительницу, посягающую, въ невѣжествѣ своемъ, на жизнь ближнихъ, онъ до того разсердился, что наскочилъ на нее пѣтухомъ и чуть не прибилъ ее своею тростью. Всю послѣдующую болѣзнь Ольги онъ приписывалъ этимъ несчастнымъ гофманскимъ каплямъ и кричалъ по городу, что капитанша уморила было бѣдную Ольгу, и онъ, Карлъ Ивановичъ, едва только поспѣлъ во время, чтобъ спасти ее, но жизнь ея, по глупости и дерзости этой бабищы, висѣла-де на волоскѣ. Въ особенности, по мнѣнію доктора, спиртовой и эфирный духъ капель этихъ долженъ былъ подѣйствовать гибельно на такой субъектъ, котораго тонкій мозгъ и обоняніе почти за годъ передъ тѣмъ пострадали отъ вредныхъ испареній пахучихъ бѣлыхъ лилій. Капитанша въ свою очередь клялась и

божилась на всѣхъ перекресткахъ, что она дала Ольгѣ одну только капельку, одну малѣйшую капельку гофманской эссенціи, и за это, сверхъ прозванія своего, капитанша получила съ этого времени еще и другое: *гофманская капелька*. Ольга во все время болѣзни своей держалась обѣими руками за руки отца или матери, или кого-нибудь изъ подругъ, ни за что не хотѣла остаться одна и не выпускала изъ рукъ своихъ того, за кого успѣвала ухватиться. Оправившись, она еще болѣе похорошѣла, сдѣлалась блѣднѣе и бѣлѣе, нѣсколько задумчивѣе и спокойнѣе, плавнѣе и медленнѣе въ движеніяхъ своихъ и пріемахъ. Долго еще она весьма неохотно выѣзжала.

Послѣ перваго свиданія съ Буслаевымъ, по возвращеніи его мѣсяца черезъ три изъ командировки, Ольга въ первый разъ опять улыбнулась попрежнему, ожила и стала принимать участіе въ обществѣ. Глаза ея стали загораться опять тѣмъ же свѣтлымъ, яснымъ огнемъ и начали переливаться иногда опять изъ голубого цвѣта въ карій и черный, а этого давно уже не было замѣтно. Буслаевъ, кажется, не страдалъ болѣе, а наслаждался жизнію, полною блаженныхъ надеждъ. Горнилинъ спокойно и беззаботно ему улыбался.

Да, жить надеждой—всего надежнѣе; чѣмъ менѣе потребуешь отъ существенности, отъ настоящаго, тѣмъ счастливѣе будешь.

ОТСТАВНОЙ

Полковой штабъ-лѣкарь Подалякринскій вышелъ въ мундирѣ и при шпаженкѣ осматривать прибывшую въ полкъ партію рекрутъ. У него, на этотъ разъ, кромѣ должностной надобности при этомъ дѣлѣ, была и своя, семейная, а потому супруга его кричала ему вслѣдъ: «Смотри же, Иванъ Дмитріевичъ, порядочнаго выбери, чтобы не плакаться съ нимъ, доброхотнаго, слышишь?»

Подалякринскій, вмѣсто отвѣта, кивнулъ только головою, махнулъ рукой и пошелъ своимъ путемъ. Онъ осматривалъ каждаго рекрута подъ двойнымъ взглядомъ, казеннымъ и частнымъ, и, наконецъ, остановился передъ однимъ, который повидимому обратилъ на себя особое вниманіе опытнаго распознавателя душевныхъ качествъ человѣка, по наружнымъ признакамъ. Рекрутъ этотъ былъ средняго роста, плотноватъ, сутуловатъ и притомъ уже лѣтъ подъ тридцать; непривычная короткая стрижка придавала спокойному лицу его простоватый видъ, но штабъ-лѣкарь прочиталъ въ сѣрыхъ глазахъ его именно столько толковитости, сколько нужно было, по его мнѣнію, для того предназначенія, которое готовилось избираемому. Есть должности, обязанности

и порученія, при которыхъ лишняя доля ума дѣлается именно лишнею. Всякому изъ насъ случилось, вѣроятно, разъ-другой, на неумѣстное возраженіе или оправданіе: «я думалъ», отвѣчать: «думаютъ индѣйскіе пѣтухи да такіе дураки, какъ ты». Часто приходится говорить, въ отвѣтъ на умничанье исполнителя приказаній: «Не дѣлай своего хорошаго, а дѣлай мое худое». Штабъ-лѣкарь отступилъ отъ него на шагъ, зорко на него посмотрѣлъ, приподнялъ пальцемъ голову его за подбородокъ и спросилъ:—Какъ прозываешься?—Астафьевъ, ваше благородіе.—Костромской?—Костромской.—Изъ господскихъ?—Изъ господскихъ.—За что сданъ?—Ни за что, кому-нибудь надо было идти.—Какъ ни за что? дѣло прошлое, говори правду! — Я, сударь, и говорю правду: вотчина наша небольшая, молодые ребята что-то очень мелки, а я, хоть и женатый, да бездѣтный, полуодинокій, къ тому жъ еще хозяйка изнемоглась, хворастъ, тягла не тянули, меня и отдали.—А не хочешь ли ко мнѣ въ деньщики? — Власть начальничья; говорится: на службу не напрашивайся, а отъ службы не отказывайся.—Однако, хочешь что ли?—Не знаю—казалось бы, что хотѣлось послужить царю вмѣстѣ съ ребятами, то есть-съ ружьемъ; люди служатъ, до чего, нибудь дослуживаются.—Ну, какъ знаешь, Астафьевъ, служи и во фронтѣ,—сказалъ штабъ-лѣкарь и пошелъ дальше:—я противъ воли не возьму.

— Ну что, выбралъ?—спросила штабъ-лѣкарша своего мужа, когда онъ воротился домой: — Выбралъ, — отвѣчалъ этотъ:—да не совсѣмъ понутру себѣ—однако годящій, кажется. — Что жъ такъ?—спросила штабъ-лѣкарша, я жъ тебѣ говорила...—И самъ бы, матушка, догадался, да я одного только и нашелъ, изъ невидныхъ собой, то есть, малоспособныхъ, который былъ бы хорошъ, такъ что-то не захотѣлось ему въ деньщики, до чего-то хочется ему дослужиться; пусть попробуетъ,

на что мѣшать — противъ воли, Богъ съ нимъ, не возьму.

Съ этого времени прошло года два, три, и штабъ-лѣкарь, обходя свой полковой лазаретъ, остановился передъ солдатомъ, который уже дня три числился только *слабымъ*, то есть былъ на выходѣ, на дощечкѣ написано было у этого больного *Febris rheumatica*, и фельдшеръ снялъ уже со стойки скорбный листъ, чтобы отмѣтить, по приказанію врача, *sanus*, и выписать служиваго въ роту.—Ну, что, совсѣмъ что ли, Астафьевъ? —спросилъ штабъ-лѣкарь.—Совсѣмъ, ваше высокоблагородіе! —отвѣчалъ тотъ, научившись уже чествовать штабъ-лѣкаря по чину — и въ отвѣтъ на приказаніе его:—Ну, такъ съ Богомъ, маршъ!—сказалъ, что желаетъ переговорить съ нимъ. Подалякринскій вызвалъ его съ собою глазъ-на-глазъ.—Ну, что скажешь, Астафьевъ?—Да что, Иванъ Дмитріевичъ, началъ тотъ нѣсколько вкрадчивымъ голосомъ:—когда вотъ только пріѣли меня съ партіей, то вы было изволили, по милости своей, то есть, хотѣли взять меня въ деньщики; тогда мало ли что у человѣка бродитъ въ головѣ—вы, по милости своей, отказались; а теперь — что же мнѣ больше дѣлать — годы мои уже не то чтобы совсѣмъ молодые, бѣда надо мною стряслась, и самъ я виноватъ тому — только вы уже не извольте сомнѣваться во мнѣ, ваше высокоблагородіе, что слуга бы я вамъ былъ вѣрный.

Бѣда, которая стряслась надъ Астафьевымъ, и въ которой онъ самъ съ раскаяньемъ винился, состояла въ томъ, что онъ попалъ подъ штрафъ, и что поэтому нѣсколько лѣтъ службы его пропало. Къ нему пріѣхалъ какой-то землякъ, и Астафьевъ, человѣкъ трезвый и даже вовсе не пьющій, напился пьянъ или его землякъ напоилъ, все равно, и притомъ напился не только на караулѣ, но даже на часахъ, гдѣ на бѣду и уснулъ

По этому несчастному случаю онъ отданъ былъ подъ военный судъ. Во все продолженіе дѣла бѣднякъ горько каялся и денно, и ночно зарекался, не брать во всю жизнь ни капли водки въ ротъ; все это хорошо было для будущаго времени, но за прошедшее онъ, не менѣе того, поплатился. Черезъ нѣсколько дней послѣ описаннаго нами разговора, Астафьевъ назначенъ былъ въ деньщики къ штабъ-лѣкарю, который поздравлялъ съ этимъ радостнымъ домашнимъ событіемъ все свое семейство—и, какъ послѣдствія показали, не ошибся.

У Подалякринскаго была большая семья и, кромѣ семи или восьми дѣтей, еще двѣ подростки своячиницы и племянничекъ. Это были полусироты и бѣдняжки, взятыя имъ на свое попеченіе. Между тѣмъ доходы штабъ-лѣкаря были до того ограничены, что нужна была большая сноровка, привычка терпѣть нужду и крайне умѣренныя потребности для достиженія самой возможности изворотиться данными на долю его средствами. Прибавимъ еще, что хозяйка его была женщина добрая, но что едва ли не однимъ этимъ, весьма похвальнымъ свойствомъ, ограничивались всѣ доблестныя качества ея. Въ ней не было и слѣда того, чего мы вправѣ требовать отъ хозяйки дома: толковой бережливости, строгаго порядка, опрятности, любви къ труду, распорядительной заботливости... Нѣтъ, объ этомъ въ родительскомъ домѣ, гдѣ—не скажу воспитывалась, но, по крайней мѣрѣ, выросла Анна Ивановна, не могли ей дать и не дали никакого, ни даже отдаленнѣйшаго понятія; а своимъ умомъ не дошла она нижѐ до тѣни понятія объ этомъ. Мудрено и конечно несправедливо было бы, послѣ этого, винить ее за то, что было ей такъ же чуждо, какъ, напримѣръ, вамъ какой-нибудь варварскій обычай новозеландцевъ, о которомъ вы даже можетъ быть, и не слыхивали; это было бы то же, что обвинять человѣка и охуждать его за то, что природа

не дала ему обоняніе, что онъ не въ состояніи отличить запахъ фіалки и розы отъ запаха клопа и скипидара; чѣмъ онъ виноватъ, когда, понюхавъ со всѣмъ усердіемъ того и другого, и третьяго, не слышитъ ровно ничего, и говоритъ о запахѣ и обоняніи только по наслышкѣ? Не менѣе того все огромное семейство ея, не исключая и самого почтеннаго Ивана Дмитріевича, сильно страдало и иногда чуть не погибало подъ гнетомъ этого незамѣчаемаго ею самою недостатка. Относительно образа мыслей Анны Ивановны о воспитаніи дѣтей — обстоятельства также не совсѣмъ маловажнаго, — трудно сказать что-нибудь, потому что у нея не было рѣшительно никакого объ этомъ образа мыслей, ни даже вообще мыслей и безъ образа. День шелъ за днемъ, дѣти плодились у нея и размножались, она сама кормила ихъ грудью и сдавала нянькѣ или деньщику, исправлявшему должность пѣстуна; она прогоняла ихъ, когда они кричали и шумѣли, кормила лакомствомъ, когда оно было въ домѣ, и когда сама была въ духѣ; но зато иногда не давала имъ даже и голоднымъ хлѣба, когда они ей надоѣдали; она одѣвала ихъ въ разные лоскутья, какъ случилось, или предоставляла заботу о прикрытіи природной наготы ихъ любому изъ чрезвычайно безтолковой прислуги своей; словомъ, все это дѣлалось, какъ было угодно судьбѣ и случаю. Что такое нравственное образованіе—объ этомъ бѣдная Анна Ивановна и не слыхивала и во снѣ ничего не видывала, кромѣ развѣ того только, что надо бъ было, какъ знала она по темному преданію, *учить* дѣтей; но и тутъ она утѣшала себя и другихъ тѣмъ, что держать *учителей* было ей не на что, да и не было ихъ почти по деревнямъ и городишкамъ, гдѣ они кочевали. Анна Ивановна, какъ вы изъ всего этого видите, много измѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ покинула родительскій домъ, и стала на себя непохожа для тѣхъ, кто зналъ ее молодень-

кой дѣвочкой, и за это, конечно, винить ее нельзя, потому что женщина ея лѣтъ никогда не можетъ походить на дѣвочку. Но перемѣна эта бываетъ не одинакова: здѣсь состояла она только въ огрубѣніи, очерствѣніи, въ тѣсной связи и дружбѣ съ неряшествомъ, словомъ — въ привычкѣ ко всему дурному, къ чему можетъ пріучить недостатокъ, природная безтолочь, беззаботность и кочевая военная жизнь. Иванъ Дмитріевичъ, будучи весь день занятъ по службѣ, а по вечерамъ копѣечнымъ бостономъ, знать не зналъ и вѣдать не вѣдалъ ничего о томъ, что происходило у него въ домѣ и хозяйствѣ. Иногда, правда, когда ему случалось заглянуть у себя за кулисы, когда онъ слышалъ съ утра крикъ и ревъ дѣтей на разные голоса, видѣлъ ихъ въ грязи и въ рубищахъ, заѣденныхъ насѣкомыми, и прочее—когда онъ видѣлъ все это, то надѣвалъ на себя поспѣшно сюртукъ и уходилъ со двора, въ лазаретъ свой или къ кому-нибудь изъ больныхъ или здоровыхъ офицеровъ. Лучшаго средства для поправки дѣла онъ не могъ придумать.

При такомъ положеніи дѣлъ, конечно, человѣкъ, какъ Астафьевъ, былъ истинной находкой. Не долго приживался и пріурочивался онъ къ дому новаго господина своего, какъ освоился со всѣмъ домашнимъ бытомъ и мало-по-малу овладѣлъ всѣмъ хозяйствомъ и самымъ даже воспитаніемъ дѣтей. Онъ сдѣлался прачкой и сталъ мыть бѣлье, снимая его съ господъ и съ дѣтей ихъ, по своему усмотрѣнію; онъ же сдѣлался швеей, чинилъ бѣлье это и клалъ заплатки — чего до него въ домѣ Подалякринскаго почти и не знали: бѣлье донашивалось и разваливалось у всякаго на своихъ плечахъ. Вы спросите, гдѣ же онъ самъ выучился шить и мыть, будучи взятъ изъ крестьянъ? Нужда мудрена; сурово не бѣлье,—свое рукодѣлье, а прослуживъ нѣсколько лѣтъ солдатомъ, нельзя было ему не сдѣлаться

и швеей, и портнымъ, и сапожникомъ, и поваромъ, и прачкой. Астафьевъ мало-по-малу настоялъ даже на томъ, что было заведено нѣсколько перемѣнъ бѣлья, предложивъ сшить хотя миткалевыя рубашки, коли полотняныя дороги, и это новое изобрѣтеніе чрезвычайно понравилось Аннѣ Ивановнѣ и пошло въ ходъ. Онъ штопалъ чулки и носки, научившись этому наглядно еще дома, отъ сестры своей, которая жила когда-то въ господскомъ дворѣ; онъ мылъ и купалъ дѣтей, чесалъ и одѣвалъ ихъ, заплеталъ барышнямъ косы, уговаривая большенькихъ, по мѣрѣ того, какъ онѣ подростали, привыкать къ уходу около себя самимъ. Наставленія эти онъ приправлялъ примѣрами и наглядными доводами изъ житейскаго быта всѣхъ сословій, и разсказы его слушались охотно. Впрочемъ, когда старшія были уже подросточками, то, одѣвшись кой-какъ наскоро, все-таки выбѣгали иногда на крылечко и перекликивались на кухню съ Астафьевымъ, упрашивая его завязать или застегнуть имъ платье. Тогда вѣрный слуга, прачка, горничная, кучеръ и поваръ, покидалъ на время поваренный ножъ, уполовникъ или скалку—если пекъ пироги, и исполнялъ порученія барышни, заставляя ее въ этомъ критическомъ положеніи выслушивать добрые совѣты и наставленія. Замѣтимъ, что женской прислуги въ это время вовсе не было въ домѣ Подалякринскаго: своя дѣвка давно уже сбѣжала у Анны Ивановны, еще когда они стояли въ Херсонской губерніи, гдѣ побѣги эти были въ общемъ обычаѣ, а нанять сколько-нибудь годную въ тѣхъ мѣстахъ очень трудно, да притомъ для этого необходимы деньги, которыхъ въ наличности никогда не бывало. Астафьевъ завелъ въ домѣ половыя щетки, которыя дѣлалъ самъ, а до прихода его ихъ не было тутъ и въ заводѣ. Астафьевъ пріучилъ барыню прибирать изъ-подъ рукъ ворохи всякой всячины, обме-

тать иногда пыль, держать чистое бѣлье отдѣльно отъ чернаго, и понемногу почти отучилъ ее забирать въ долгъ съѣстные припасы, увидѣвъ въ самое короткое время, что это дѣлалось отъ одного только безпорядка и что за безпорядокъ этотъ всегда приходилось расплачиваться вдвое.—Завтрашнимъ днемъ не проживешь, сударыня,—говорилъ онъ:—надо жить вчерашнимъ.

Вы спросите, можетъ быть, какъ Астафьевъ могъ всего этого достигнуть? А напримѣръ вотъ какъ: все, что онъ могъ и умѣлъ сдѣлать самъ—а вы видѣли, что онъ изворачивался способностями своими недурно—то онъ дѣлалъ и дѣлалъ всегда молча, не откладывая и не докучая никому; всего, чего онъ требовалъ отъ барыни, достигалъ онъ исподволь терпѣніемъ, убѣжденіемъ и спокойною настойчивостью. «Вы бы, сударыня Анна Ивановна, принялись бы помаленьку на барышенъ по рубашечкѣ сшить; оно бы и расходъ вышелъ незамѣтный, и вамъ бы, то есть, не тяжело, а все бы дѣло-то спорилось». Анна Ивановна, какъ очень добрая женщина, не перечила Астафьеву; въ этомъ ей, дѣйствительно, казалось, нужны были только добрый совѣтъ и нѣкоторое понужденіе; если же Астафьевъ и затѣмъ видѣлъ, какъ это иногда случалось, что Анна Ивановна попрежнему бродила отъ скуки изъ угла въ уголъ, а дѣло не дѣлалось, то онъ, подкарауливъ время, когда зналъ, что деньжонки были въ домѣ на лицо, приходилъ къ барину и говорилъ сухо: «Пожалуйте денегъ, Иванъ Дмитріевичъ, надо купить миткалю».—На что?—Да на рубашечки, дѣтямъ, да и барышнямъ тожъ». И Иванъ Дмитріевичъ, ввѣрившись разъ Астафьеву и видя, что хозяйство идетъ у него ничуть не хуже, а напротивъ глаже, спокойнѣе и исправнѣе прежняго, отдавалъ ему нѣсколько цѣлковыхъ, предоставляя ими распоряжаться и ладить съ барыней. Астафьевъ покупалъ миткаль, приносилъ его барынѣ

и говорилъ также спокойно: «Вотъ, сударыня, извольтеко скроить, хоть по одной на каждаго, а на Машеньку пожалуй, хоть двѣ,—прибавилъ онъ однажды, покосившись на вторую своячиницу Ивана Дмитріевича:— ей ужъ и надѣть нечего; чинишь, чинишь, инно въ рукахъ разваливается, а скроивъ да помаленьку и сошьете, авось вотъ помогутъ вамъ и Катерина Ивановна, и Марья Ивановна». Подобными настояніями, Астафьевъ наконецъ достигалъ, чего хотѣлъ, и всѣ въ домѣ привыкли слушаться его и ничего не дѣлали безъ его совѣта. Астафьевъ мало-по-малу получилъ такой вѣсъ и значеніе въ домѣ штабъ-лѣкаря, что онъ даже—какъ ни смѣшно сказать это — лѣчилъ дѣтей, когда они хворали, совѣтуя, поить ли ихъ бузиной или ромашкой, класть ли сухія или мокрыя припарки,— и самъ Иванъ Дмитріевичъ, которому очень тяжело и хлопотно было пользовать своихъ дѣтей, спорить объ этомъ съ Анной Ивановной и наблюдать за исполненіемъ,—Иванъ Дмитріевичъ, молча предоставлялъ Астафьеву распоряжаться домашними средствами, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ Астафьевъ вылѣчилъ очень удачно одного изъ дѣтей его калиновыми побѣгами отъ золотухи.

Видя такую удачу, Астафьевъ пошелъ еще дальше въ преобразованіяхъ своихъ и дошелъ до роскоши: онъ сталъ уже требовать миткальцу на простыньки. До прихода его, одно только супружеское ложе Ивана Дмитріевича и Анны Ивановны пользовалось такимъ преимуществомъ: тамъ если не всегда, то, по крайней мѣрѣ, обыкновенно стлали простыню, но разумѣется одну только нижнюю, потому что о верхней никто изъ чадъ и домочадцевъ Ивана Дмитріевича, не исключая даже и самого Астафьева, не слыхивали; затѣмъ, всѣ прочіе семьяне спали въ повалку, гдѣ Богъ приведетъ, и укрывались тѣмъ, что случалось подъ рукой. Астафь-

евъ, во-первыхъ помирилъ барышенъ разъ навсегда, раздѣливъ между ними, силою данной ему власти, всѣ салопы, капотцы и тулупчики, чтобы не было впредь каждый вечеръ снова ссоры о томъ, кому чѣмъ укрываться; и во-вторыхъ, онъ мало-по-малу построилъ на каждаго и каждую по простынѣ, для перемѣны, и даже впослѣдствіи по одѣяльцу; онъ завелъ въ домѣ нѣсколько сундуковъ, домашней полковой работы, куда сложено было бѣлье и лишнее платье, между тѣмъ какъ подушки и одѣяла складывались на день на тѣ же сундуки; и онъ же, наконецъ, настаивалъ въ свое время, чтобы начать учить грамотѣ ребенка, когда ему исполнялось семь лѣтъ, докучая Ивану Дмитріевичу день за день, чтобы онъ выпросилъ для этого у адъютанта одного изъ писарей. Замѣтимъ, что самъ Астафьевъ былъ не грамотенъ; но онъ не менѣе того наблюдалъ за ученьемъ и дѣлалъ свои замѣчанія.

Я упомянулъ уже, что Астафьевъ терпѣть не могъ забирать припасы въ долгъ, какъ потому, что они всегда отъ этого становились дороже, такъ и потому, что онъ, по мирному расположенію своему, страхъ не любилъ, какъ онъ выражался, *собачиться* съ жидами, лавочниками и перекупщиками, а безъ этого, при продолжительномъ заборѣ и неисправной уплатѣ, конечно не обходилось. Послѣ долгихъ, но тщетныхъ покушеній замѣнить этотъ обычный хозяйственный порядокъ или безпорядокъ—другимъ, Астафьевъ наконецъ поступилъ такъ: подстерегши Ивана Дмитріевича, возвращавшагося съ жалованьемъ въ карманѣ, Астафьевъ присталъ къ нему на крыльцѣ и, проводивъ его до кабинета или комнаты, носившей названіе это, хотя въ ней и спали своячницы его, а иногда и гладили бѣлье, да сверхъ того висѣли по стѣнамъ небольшіе запасы луку въ плетеницахъ, а въ углу лежала кочанная капуста—но это для насъ теперь дѣло постороннее — проводивъ Ивана

Дмитріевича туда, Астафьевъ досталъ изъ кармана ключикъ, подобранный и припасенный имъ нарочно для этого случая, отперъ ящикъ въ столѣ и началъ убѣждать штабъ-лѣкаря безъ обиняковъ положить въ столъ деньги, увѣряя, что онѣ тамъ цѣлѣе будутъ; онъ довольно сухо, но убѣдительно прибавилъ къ этому, что еще много кой-о-чемъ надо подумать, а въ особенности необходимо уплатить должишки, потому что уже въ заборъ не даютъ больше, а только бранятся:—«А тамъ, не надо больше забирать на счетъ,—сказалъ рѣшительно Астафьевъ:—а станемъ брать на деньги, гдѣ посходнѣе, такъ не будемъ больше и кланяться *имъ*, собакамъ, а еще они намъ покланяются: это дѣло будетъ лучше». Иванъ Дмитріевичъ, котораго, правду сказать, принятый порядокъ домашняго хозяйства, а въ особенности долги частенько доводили до отчаянія, возразилъ на это съ нерѣшимостію, что по ограниченности доходовъ нельзя обойтись безъ долговъ и заборовъ; но Астафьевъ отвѣчалъ очень положительно и просто: «Вы, сударь, такъ совсѣмъ пропадете, ей Богу, пропадете; вотъ что: надо протягивать ножки по одежкѣ; а что напередъ платить деньги, что послѣ,—все одно, не миновать платить, только что лишнихъ возьмутъ съ васъ по полтинѣ на рубль, вотъ и все. Ужъ лучше, Иванъ Дмитріевичъ, вы меня послушайтесь: вотъ извольте денежки положить въ столъ, не бойтесь, цѣлы будутъ. я не возьму ни гроша, мнѣ вашего ни надо».

Захваченный такимъ образомъ врасплохъ и озадаченный слишкомъ очевидными доводами Астафьева, штабъ-лѣкарь положилъ деньги въ столъ, Астафьевъ заперъ его и, сунувъ ключъ въ карманъ, проворчалъ только: «Вотъ такъ оно дѣло-то чище будетъ». И съ этихъ поръ, онъ сдѣлался въ домѣ также казначеемъ и расходчикомъ: онъ велъ дѣла свои такъ хорошо и умѣлъ всегда такъ кстати выказать никѣмъ неожидае-

мую наличность, сбереженную имъ копѣйку, въ такое время, когда голодъ угрожалъ всей семьѣ, что вскорѣ всѣ привыкли къ этой новой должности Астафьева, и ее никто у него не оспаривалъ. Нерѣдко, правда, барыня ссорилась съ нимъ, требуя какихъ-нибудь прихотливыхъ, несбыточныхъ расходовъ, безъ всякаго соображенія и расчета,—упрекала его даже иногда въ дурномъ хозяйствѣ,—но Астафьевъ опираясь на чистую совѣсть свою, отвѣчалъ преспокойно на первое, что этого никакъ нельзя и не нужно и что на это денегъ нѣтъ; а на второе, что онъ отдаетъ отчетъ и барину, и барынѣ въ каждой копѣйкѣ, — что онъ Бога боится и что ему чужого не надо,—и вслѣдъ затѣмъ, выставивъ одну ногу, уставивъ глаза на поднятые пять пальцевъ лѣвой руки и перебирая ихъ указательнымъ перстомъ правой руки, Астафьевъ начиналъ высчитывать по пальцамъ всѣ расходы, до самыхъ мелочныхъ, мѣсяца за два или за три назадъ: грамотѣ онъ не зналъ, но помнилъ все наизусть. Этимъ разговоръ оканчивался, потому что у Анны Ивановны никогда недоставало терпѣнія выслушать расчетъ этотъ до конца, а Астафьева нельзя было сбить или остановить ничѣмъ, онъ продолжалъ счетъ свой, пока не подводилъ итога, — и дѣло оставалось при старомъ порядкѣ. Иванъ Дмитріевичъ, глядя на все это, былъ очень счастливъ, что могъ адресовать супругу свою, по случаю каждаго казначейскаго требованія, къ Астафьеву; предоставляя ему раздѣлываться, какъ знаетъ, Подалякринскій убирался втихомолку въ свою комнату или даже, смотря по обстоятельствамъ, уходилъ со двора, а Анна Ивановна, по добродушію своему и слабости характера, не только никогда не была въ силахъ настоять на требованіи своемъ противъ расходчика своего и казначея, но даже не умѣла путемъ съ нимъ побраниться. Наконецъ Астафьевъ, съ своей стороны, перенесши съ невозмутимымъ

спокойствіемъ духа всѣ нападки и упреки, умѣя кстати смолчать и во-время молвить словечко, задобривалъ гнѣвную Анну Ивановну или награждалъ, добронравную и послушную, вовсе неожиданнымъ фунтикомъ сахару или четверкою чаю, и миръ заключался при общихъ радостныхъ кликахъ всей семьи. Тогда онъ, стоя почтительно у дверей, смѣло и свободно читалъ наставленія свои и дѣлалъ нужныя впередъ распоряженія.

Дѣти, въ особенности барышни, пріучались понемногу быть помощниками Астафьева по хозяйству; онъ выучилъ ихъ не только шить и вязать, но даже плести простыя корзины и вязать щетки. Бывали въ теченіе многихъ лѣтъ службы Астафьева у штабъ-лѣкаря и такіе случаи, что ограниченныхъ доходовъ со всѣми натяжками недоставало на пропитаніе огромной семьи, особенно если безразсчетливая прихоть или неожиданный значительный расходъ поглощали мѣсячное жалованье; тогда Астафьевъ приходилъ скромненько къ отчаянному барину и, занесши руку на затылокъ,—вольность, въ которой онъ, по старой привычкѣ, возвращался иногда, съ тѣхъ поръ какъ попалъ въ нестроевую силу,—просился у Ивана Дмитріевича въ городъ. Зачѣмъ?—Да надо бы вотъ исправить кое-что по хозяйству.—Да что же такое, Астафьевъ—какое теперь хозяйство, у насъ мѣднаго гроша нѣтъ въ домѣ!—То-то, сударь, я за этимъ-то и говорю, что надо побывать въ городѣ, добыть, то есть, деньженокъ.—Гдѣ же ты добудешь?—Да у меня, признаться, десятокъ другой щетокъ есть заготовлено, такъ онѣ, себѣ, завалялись какъ-то, такъ я съ ними-то и пошелъ бы; все что-нибудь можно выручить... все-таки лучше, чѣмъ въ долгъ гдѣ искать да кланяться... свое добро надежнѣе чужого... вотъ до перваго числа пробиться только... И Астафьевъ уходилъ въ городъ, навьюченный щетками, которыя онъ вязалъ изъ ще-

тины, выхваченной тутъ и тамъ, урывками, изъ хребта вольношатающейся по селу свиньи. «Щетинка выростетъ скоро, говорилъ онъ, а гривенничекъ-то въ карманѣ». Изъ города жъ онъ возвращался, навьюченный нужнѣйшими припасами, и никогда не забывалъ принести барышнямъ грошовый гостинецъ.

Годы шли однообразно за годами, барышни росли не по днямъ, по часамъ, своячиницы заневѣстились, и вотъ къ старшенькой наклюнулся женишокъ. Тутъ-то посмотрѣли бъ вы, какъ Астафьевъ обо всемъ заботился, какъ онъ, черезъ добрыхъ людей—старыхъ, надежныхъ писарей и черезъ жену каптенармуса—разузнавалъ: каковъ онъ, женихъ этотъ, и годится ли онъ для нихъ? Какъ онъ, собравъ удовлетворительныя справки и свѣдѣнія, объявлялъ Аннѣ Ивановнѣ, что за этого человѣка Марью Ивановну отдать можно, и съ какимъ усердіемъ наконецъ онъ снаряжалъ невѣсту... Прочія дѣти у него же на рукахъ росли и зрѣли; чрезъ годъ или два тѣ же заботы; просватали и другую своячиницу. Тамъ стали пристраивать сыновей; одного отправили въ корпусъ съ попутчикомъ, знакомымъ офицеромъ; другого, который вышелъ изъ лѣтъ для этого, записали въ юнкера; затѣмъ пришелъ исподволь чередъ дочерей, которымъ, казалось, и конца не было, такъ быстро одна вслѣдъ за другою подростали, выкормленныя и выхоложенныя пѣстуномъ своимъ, Астафьевымъ. И ни одна изъ нихъ не засидѣлась, несмотря на бѣдность безприданную, на красоту изъ средней руки и другіе, болѣе или менѣе общіе всему человѣчеству недостатки, и несмотря на то, что онѣ росли, какъ груздики въ лѣсу, по волѣ Божьей и Астафьева... И если Астафьевъ, на основаніи собранныхъ имъ свѣдѣній, говорилъ: «Власть ваша, сударыня, а этотъ женихъ намъ не рука, за него не отдавайте, онъ съ жены послѣднюю рубаху

пропьетъ», то жениху этому отказывали, и дочери Подалякринскаго, безъ всякаго сомнѣнія, обязаны были Астафьеву за то, что ихъ не утопили за пьяницъ, буяновъ и разнаго рода негодяевъ, которыхъ, какъ извѣстно, вездѣ довольно; а всякому извѣстно, что свѣдѣнія о подноготной, домашней жизни и обычаяхъ человѣка гораздо легче и вѣрнѣе собираются именно тѣмъ путемъ, который былъ гораздо доступнѣе Астафьеву, чѣмъ отцу и матери невѣсты.

По мѣрѣ того, какъ семейство Подалякринскаго оперялось и выпархивало изъ гнѣздышка своего, для быта и жизни Астафьева, называемаго съ того времени, какъ онъ началъ старѣться, Дмитричемъ, — также настала иная и новая полоса. Ему надо было заботиться также объ отсутствующихъ, а между тѣмъ переписка по почтѣ требовала съ той и другой стороны нѣсколько лишнихъ гривенниковъ, а въ залишкѣ ихъ ни тутъ, ни тамъ не бывало; кромѣ того, надо сказать правду, вся семья штабъ-лѣкаря, за исключеніемъ развѣ его самого только и сына, воспитаннаго въ корпусѣ, была малограмотна или, по крайней мѣрѣ, до того не привычна къ письму и къ почтовой перепискѣ, что рѣдко и съ трудомъ только рѣшалась на такую мѣру. Проходили не только мѣсяцы, но и годы, въ теченіе коихъ родители—а съ ними и Дмитричъ—получали вѣсточку отъ дѣтей и посылали обратно не иначе, какъ по случаю прибытія какого-нибудь офицера, переведеннаго изъ одного полка въ другой или проѣзжающаго по какому-либо случаю черезъ мѣста расположенія двухъ родственныхъ полковъ.

Такъ какъ и своячиницы, и дочери Ивана Дмитріевича выданы были за поручиковъ, лѣкарей и аудиторовъ одного и того же корпуса, гдѣ также служили оба сына его и онъ самъ, то вся семья и была раскинута на пространствѣ двухъ или трехъ губерній

Обстоятельство это, заставившее Астафьева изучить нѣсколько географію того края, подало ему новую мысль: слѣдя за переходами Марьи Ивановны, Катерины Ивановны, другой Марьи Ивановны, т. е. своячиницы и дочери и прочихъ, онъ чертилъ въ раздумьи дорожки по песку, совѣтовался съ бывалыми солдатами и разсчитывалъ версты. Наконецъ, надумавшись, онъ прошелъ къ барынѣ, занесъ руку на затылокъ и сказалъ: «О чемъ, сударыня, я хотѣлъ вамъ доложить»...—Ну, о чемъ же, Дмитричъ? «А вотъ насчетъ того, что благодаря Бога, то есть, далъ Богъ пристроить намъ благополучно всѣхъ господъ и барышенъ, кромѣ только вотъ Наденьки—ну, она мала еще, а Господь и ее не оставитъ—пуще всего, надо молиться—а вотъ я ужъ сколько лѣтъ теперь не видался съ ними, особенно съ Марьею Ивановной старшенькой (т. е. своячиницей), да съ Катериной Ивановной, да правда и съ меньшенькой Марьей Ивановной тожъ давно, и съ Анной Ивановной тожъ, и съ Дмитріемъ Ивановичемъ—ну пусть вотъ съ Андреемъ Ивановичемъ и съ прочими, какъ вотъ и съ Маріей Ивановной видѣлись, не такъ давно, то есть, а все порядочно времени будетъ; ну а у тѣхъ, то есть, у старшихъ-то барышенъ (онъ ихъ все еще называлъ барышнями) и дѣтки пошли помаленьку, то есть свои, а я ихъ, сударыня, вѣдь и не видалъ, и не знаю ихъ въ глаза; такъ не будетъ ли милость ваша, написали бъ имъ всѣмъ по письму, кому что, то есть, надо знать, и насчетъ того, то есть, приписали бъ, чтобъ они хорошо жили, по-людски да по-Божески, а что живы-здоровы тятенька и маменька,—я бъ и самъ, то есть, объ этомъ доложилъ и завѣрилъ бы во всемъ, и гостинца можетъ какого пошлете, а я бы и своего свезъ, да и по щеточкѣ сапожной и платяной разнесъ бы имъ,—а тамъ, коли бъ

далъ Богъ по-здорову воротился, а вамъ бы то есть живой вѣсточки принесъ ото всѣхъ»...

Выдумка эта очень понравилась Аннѣ Ивановнѣ; она теперь жила со старикомъ Иваномъ Дмитріевичемъ и послѣднею дочерью, самъ-третей, и потому легко могла обойтись на нѣсколько времени безъ Астафьева; гнѣздо, противъ прежняго, опустѣло, а круговое путешествіе близкаго человѣка, односемьянина, ко всѣмъ милымъ ея, и возвращеніе его съ разсказами домой—это какъ-то чрезвычайно утѣшало ее и будто сближало между собою всѣхъ, раскинутыхъ по тремъ губерніямъ, членовъ ея семейства. Иванъ Дмитріевичъ соглашался на все, что положено и опредѣлено было въ семейномъ совѣтѣ, въ которомъ жена его и Астафьевъ были непремѣнными членами, а самъ онъ не постоянно присутствующимъ предсѣдателемъ. Подумавъ и разсмѣявшись, онъ махнулъ рукой и сказалъ: «Ну, и съ Богомъ, коли самъ напрашиваешься, хочешь провѣтриться, такъ ступай!» Но выслушавъ еще другое предположеніе Астафьева, которое родилось въ старикѣ по спопутности съ первымъ, Иванъ Дмитріевичъ убѣдилъ его отказаться отъ него, доказавъ Дмитричу, что это неудобно: Дмитричъ думалъ было, нельзя ли будетъ ему также зайти—благо онъ на ногахъ—домой, то есть, на родину, и узнать, что тамъ дѣлается... А между тѣмъ корпусъ стоялъ въ южной Россіи, Астафьевъ же былъ костромичъ!

Путешествіе окончено было ко всеобщему удовольствію и утѣшенію родителей, дѣтей и въ особенности самого Астафьева. Розсказнямъ о похожденіяхъ разнаго рода и о житьѣ-бытьѣ того и другого, и третьяго, не было конца. Дмитричъ принесъ съ собою, между прочимъ, подробныя свѣдѣнія о томъ, кто изъ замужнихъ дочерей какъ живетъ съ мужемъ, *то есть,* хорошо ли, плохо ли, и почему; но вообще

извѣстія были довольно утѣшительны. Одну только вторую дочь пришлось ему разбирать въ какой-то ссорѣ съ мужемъ; но и тутъ, какъ Дмитричъ увѣрялъ, по крайней мѣрѣ, онъ успѣлъ окончить дѣло миролюбиво, вразумивши супруговъ своими отеческими наставленіями.

Съ этого времени Астафьевъ отправлялся ежегодно по одному разу въ этотъ путь, въ обходъ по всѣмъ членамъ бывшаго семейства Подалякринскаго, разносилъ письма и гостинцы и приносилъ отвѣты, устныя пожеланія и поклоны. Дня своего отправленія ждалъ онъ всегда, какъ праздника, служилъ наканунѣ молебенъ, и никогда не забывалъ при этомъ утѣшать себя еще и тою надеждою, что вотъ онъ такимъ образомъ пойдетъ когда-нибудь и зайдетъ также домой, въ свою губернію.

Иванъ Дмитріевичъ съ Анной Ивановной состарѣлись, Астафьевъ посѣдѣлъ, какъ лунь, но былъ все тотъ же, только скучалъ иногда при своемъ одиночествѣ, потому что въ домѣ сдѣлалось тихо и пусто: изъ десяти дѣтей, со включеніемъ своячиницъ, осталась одна только, младшая дочь: Иванъ Дмитріевичъ, какъ выражалась Анна Ивановна, шатался весь день по должности, а вечеромъ постоянно отправлялся на бостончикъ; сама Анна Ивановча охотно уходила по слѣдамъ его, если онъ былъ не въ холостомъ обществѣ, или просиживала вечерокъ у одной изъ сослуживокъ своихъ; словомъ, домъ опустѣлъ. Между тѣмъ годы шли за годами, и Астафьевъ выслужилъ свои 25 лѣтъ, со времени вступленія въ должность деньщика къ штабъ-лѣкарю;—прежніе годы службы его, по случаю штрафа, не считались—и вотъ, сталъ онъ ожидать со дня на день своей чистой отставки, размышляя, что онъ станетъ съ нею дѣлать.

Разсуждая объ этомъ обстоятельствѣ, Астафьевъ

казалось, что отставка его еще далеко впереди и выйдетъ не скоро—такъ привыкъ онъ къ нынѣшнему своему положенію,—да кромѣ того, онъ спрашивалъ у добрыхъ людей: куда и зачѣмъ ему теперь идти домой послѣ тридцати лѣтъ отсутствія, ему, безродному и безплеменному старику, у котораго и хозяйка-то давно уже померла, и на всемъ свѣтѣ не осталось родныхъ никого, кромѣ Ивана Дмитріевича съ Анной Ивановной да дѣтокъ ихъ? «Коли станутъ они меня старика кормить, говорилъ онъ, то пусть и похоронятъ; ужъ не много мнѣ еще осталось доживать на свѣтѣ, не чужой вѣкъ заѣдать». Но когда Астафьеву выданъ былъ наконецъ паспортъ на всѣ четыре стороны, когда человѣка три сослуживцевъ его, получивъ также отставку, стали собираться въ путь, и наконецъ, прощаясь со всѣмъ полкомъ, зашли проститься и съ Дмитричемъ, и попрощавшись пошли себѣ съ посохами и котомками по широкой дорогѣ, а Дмитричъ стоялъ за воротами и глядѣлъ за ними вслѣдъ, тогда вдругъ на старика напала такая грусть, такая тоска, что онъ бродилъ, какъ шальной, не зная куда дѣваться. Баринъ и барыня допытывались, полагая, что ему нездоровится;—онъ отнѣкивался и молчалъ, и все еще перемогался и крѣпился. Наконецъ, однакоже, у него не хватило силъ, и его застали однажды врасплохъ, въ темномъ чуланчикѣ, куда онъ забился отъ людей: сидѣлъ онъ и плакалъ, какъ ребенокъ, горькими слезами. Долго Анна Ивановна не могла добиться толку, для чего Дмитричъ забился туда, между кулья, старыхъ колесъ и щетокъ собственнаго издѣлія, да еще сверхъ того, сидитъ и плачетъ. Наконецъ, Иванъ Дмитріевичъ разобралъ дѣло и сказалъ, что это-де болѣзнь Nostalgia, которой, напримѣръ, вовсе не знаютъ ярославцы, привыкшіе смолоду шататься по всему свѣту, между тѣмъ какъ сосѣди ихъ, костро-

мичи, а еще болѣе вятичи, нерѣдко сильно тоскуютъ по своей родинѣ. Да, въ старикѣ спорили два чувства, которыхъ онъ не умѣлъ ни согласовать и примирить, ни подавить: тоска по родинѣ и привязанность къ своимъ господамъ; вѣдь младшая дочь не была еще пристроена, какъ же ему было оставить ее? «На кого же я ее, сердечную, покину?» говорилъ онъ, вздыхая, не подумавъ о томъ, что говорилъ это родному отцу ея и матери, которые остаются при ней... Онъ кормилъ ее соской, кормилъ потомъ и ложкой, онъ стиралъ на нее пеленки, а теперь было ей уже 15 или 16 лѣтъ,—какъ же ему объ ней не позаботиться?

Наконецъ, послѣ долгихъ толковъ, порѣшили и уладили дѣло. Пришла весна, пришло время, когда Астафьевъ пускался съ письмами и гостинцами въ путь, въ обходъ по тремъ губерніямъ, и потянуло его на просторъ, какъ журавля къ отлету. Онъ увѣрялъ, удивляясь самъ тому, что у него и сердце бьется и даже икры и подошвы сводитъ, потому что засидѣлся. Итакъ, рѣшено было, чтобъ Дмитричу и теперь обойти, въ послѣдній разъ, урочный кругъ свой по всѣмъ воспитанникамъ и воскормленицамъ, проститься съ каждымъ изъ нихъ, а тамъ, перекрестясь, зайти по пути домой,—то есть, на пути изъ Подольской губерніи въ Волынскую и Кіевскую, зайти въ Костромскую. Давнишняя, завѣтная мысль его приходила въ исполненіе; а когда на него находило порою раскаяніе, то онъ утѣшалъ и себя, и Анну Ивановну тѣмъ, что если ему только не покажется дома, то ему всегда вольно воротиться. «Что мнѣ теперь, говорилъ онъ, я теперь вольный казакъ; куда захотѣлъ, туда и пошелъ».

Передъ отправленіемъ своимъ въ путь, Астафьевъ пришелъ еще къ барину съ объясненіемъ особаго рода: онъ отдалъ ему отчетъ въ томъ, сколько накопилъ

своихъ деньжонокъ въ 30 лѣтъ, «чтобы вамъ, сударь, было извѣстно, говорилъ онъ, что я уношу изъ вашего дома; безъ этого уходить не годится». Подаляринскій принудилъ старика принять еще хотя небольшую прибавку; они обнялись, и Дмитричъ, заплакавъ, поцѣловалъ ручку барыни и барышни, и наказавъ еще послѣдней, на прощанье, уважать тятеньку и маменьку, ходить около себя почище, чиниться, не обнашиваясь до послѣдняго, а впрочемъ во всемъ полагаться на волю Господню, — пустился въ путь. На улицѣ онъ еще разъ остановился, поправилъ котомку, снялъ фуражку, перекрестился—и пошелъ.

Была уже поздняя осень, когда отставной служивый, въ солдатской шинели безъ погоновъ, подходилъ къ небольшому селенію въ Костромской губерніи. Онъ почасту останавливался, осматривался кругомъ и съ трудомъ только признавалъ мѣстами знакомыя урочища, но зато каждый разъ при этомъ на смугломъ, лубяномъ лицѣ его появлялась топорная улыбка, сѣрые глаза оживлялись и зорко выглядывали изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бровей. Церкви не было въ селеніи; но когда показались на пригоркѣ кресты кладбища, то сутулый старикъ снялъ шапку и обнажилъ поросшую густыми, бѣлыми волосами голову, похожую на щетку своего издѣлія. Онъ положилъ три земныхъ поклона, прослезился и, бормоча про себя на ходу, поминалъ многихъ изъ лежавшихъ на кладбищѣ этомъ, поименно. Поднявшись на послѣдній взлобокъ, онъ опять остановился и подперся посохомъ: деревенька вся лежала передъ нимъ; можно было разсмотрѣть каждый дворъ и домъ. Онъ опять перекрестился и стоялъ безъ шапки, глядя прямо на селеніе.

— Пятьдесятъ три—сказалъ онъ наконецъ—да, дворовъ десятка два поприбавилось; и у барина усадебка *обстроена* получше: видно, молодой—должно быть, что

теперь правитъ молодой—хозяинъ хорошій. А избы моей не узнаешь, хоть не ищи! И съ этого края избы выросли, и съ того края выросли—вонъ, поди, до самаго оврагу!—Вотъ каково тридцать годовъ слишкомъ дома не бывать — и не маленькій вышелъ отсюда, хозяйку покинулъ, царство ей небесное, а теперь — на своемъ пепелищѣ заплутаешься, ей Богу!

— А что, — продолжалъ онъ про себя:—есть ли кто на деревнѣ кто-бы узналъ меня? Наврядъ ли. Попытаемся!

Онъ спустился съ пригорка и пошелъ медленными шагами вдоль по улицѣ, разсматривая направо и налѣво всякую избу и вглядываясь зорко въ каждаго прохожаго. Перваго встрѣтилъ онъ пожилого мужика, который, видя что отставной служивый остановился и смотритъ ему въ глаза, — поклонился, проговорилъ: «здравствуй, дѣдушка», и пошелъ своимъ путемъ. Дальше встрѣтилъ Астафьевъ дѣвку,—и та поклонилась молча, и поднявъ прутъ, пошла встрѣчать стадо. Старикъ оглянулся: пыль подымалась столбомъ по гребню пригорка, съ котораго онъ самъ только что спустился; ревъ коровъ раздавался издали—и изъ воротъ каждой избы стали показываться старушки, дѣвки, старики или дѣти, готовясь встрѣтить и загнать свою пестравушку, черна вушку или буренушку.

Дмитричъ отошелъ къ сторонкѣ, сталъ и началъ вглядываться молча въ каждаго изъ проходящихъ, надѣясь увидѣть хоть одно знакомое лицо; но старые и молодые встрѣтили скотъ свой и загнали его домой, проходя туда и сюда мимо старика,—а онъ стоялъ одинокъ и неузнанъ, какъ на чужбинѣ. Пыль начинала улегаться на опустѣвшей улицѣ; пастухъ, сдавъ съ рукъ на нынѣшній день товаръ свой, отправился на покой въ чередную избу, которая должна сегодня накормить и пріютить его; въ дворахъ тутъ и тамъ слы-

шались только голоса бабъ, бесѣдующихъ съ коровами своими или съ ребятишками, а у Дмитрича что-то подступило подъ сердце, его одолѣла тоска. Онъ присѣлъ на завалинку.

Немного погодя, окно надъ головою старика растворилось и тамъ показалась также голова, плѣшивая отъ бровей до затылка, съ бѣлокудрыми висками. «Что служба, спросилъ старикъ, аль проходомъ?»—А какъ Богъ пошлетъ,—отвѣчалъ Дмитричъ, снявъ фуражку, кивнулъ головой и накрывшись опять:—коли кто зазоветъ старика, такъ заночуемъ, а нѣтъ, такъ пожалуй и мимо.—«Просимъ милости, сказалъ первый, кланяясь, и на печь посадимъ и толоконцемъ угостимъ. Чѣмъ Богъ послалъ. А вы домой идете?»—Домой—благодарствуемъ на добромъ словѣ.—«А далече?»—Оно въ старину бывало и недалече, а теперь не знаю, какъ и сказать: ино и скажешь, да не повѣрятъ. «Что такъ?»—Да вотъ такъ: эта изба чья теперь, вонъ, гдѣ супротивъ воротъ корова телка лижетъ? «Эта—да нашего мужика!»—А какъ, то есть, прозывается этотъ мужикъ вашъ?

«А прозывается онъ Бобренкомъ» — А! Бобренкомъ,—продолжалъ Дмитричъ:—а чья изба была тутъ до него?—«До него—да вѣдь ужъ онъ давно и предавно тутъ».—Нужды нѣтъ, что давно, знаемъ и мы счетъ годамъ; да чья была она? «Да тутъ жилъ хозяиномъ, почитай, что ровня мнѣ былъ по годамъ, однолѣтокъ мнѣ, то есть, мужичокъ нашъ, да ужъ гдѣ та пора, давно предавно, — на службу ушелъ, сданъ былъ въ некрутство»... Въ это время голова старухи высунулась изъ другого окна; поглядѣвъ немного на странника, съ которымъ хозяинъ ея бесѣдовалъ, и слышавъ все что было говорено, старушка вступилась за своего старика, который, какъ ей казалось, не умѣлъ толкомъ сговорить съ прохожимъ, и продолжала:—Нѣтути его, ба-

тюшка, того мужичка давно ужъ на свѣтѣ нѣтути, въ солдаты ушелъ да турки изъ пушки его убили!

— А типунъ тебѣ на языкъ, да коза въ огородъ!— закричалъ окрысившись Дмитричъ и всталъ вытянувшись такъ, что и горба его не стало видно: — Крестьянина того звали Астафьевымъ, Васильемъ, продолжалъ онъ, глядя на крестящуюся отъ изумленія старуху,—а теперь вотъ дослужился, что чествуютъ его Дмитричемъ, а вотъ онъ живъ, передъ вами!

Старикъ со старухой, образумившись, кинулись на улицу, принимать дорогого гостя: оба они помнили еще хорошо Астафьева, что нынѣ Дмитричъ, но не чаяли съ нимъ свидѣться. Аханьямъ, удивленіямъ и извиненіямъ не было конца.—Батюшка, отвѣчала старуха, когда Дмитричъ сталъ ей пенять, что она хотѣла уморить его—батюшка, ну прости меня грѣшную, что съ велика бабья ума молвила; люди такъ говорили, что чай давно пропалъ онъ, легко ли дѣло, что время—мѣста ушло—ну и я, грѣшная, за ними; ты прости меня: отъ слова не сбудется!

Вечеромъ, когда вѣсть о приходѣ Дмитрича прошла по деревенькѣ, еще пять-шесть стариковъ и старухъ собрались посмотрѣть на выходца съ того свѣта, привѣтствовали его и обнимали; болѣе не зналъ его на селѣ никто: въ 32 года выросло новое поколѣніе! Долѣе всѣхъ бесѣдовалъ Дмитричъ съ Авдотьей, одинокой вдовой почти однихъ съ нимъ лѣтъ, которая закрыла глаза хозяйкѣ его и пересказывала всѣ подробности ея кончины, будто это случилось вчера, хоть тому прошло 27 лѣтъ.

На другое утро Дмитричъ почистился, пооправился и пошелъ явиться къ молодому помѣщику, сыну того, котораго Астафьевъ, уходя на службу, оставилъ еще холостымъ. Поздоровавшись, старикъ подалъ помѣщику письмо отъ своего штабъ-лѣкаря, въ которомъ этотъ

свидѣтельствовалъ въ самыхъ задушевныхъ выраженіяхъ все, что умѣлъ высказать добраго и хорошаго объ Астафьевѣ. Помѣщикъ принялъ старика ласково, приглашая его не только остаться на родинѣ своей, но обѣщая даже ему и пособіе, во уваженіе прекраснаго объ немъ отзыва.—Мнѣ большаго не надо, ваше благородіе,—отвѣчалъ Дмитричъ, кланяясь:—а помаленьку, дастъ Богъ, какъ-нибудь ломоть хлѣба себѣ промыслю; по подоконью не пойду; а ужъ коли будетъ такая милость ваша, то позвольте мнѣ поставить кельенку на вашей землицѣ, на это достатку хватитъ у меня—я приму кого-нибудь къ себѣ,—а помру, все его да ваше будетъ...

Помѣщикъ съ удовольствіемъ на просьбу эту согласился, и Дмитричъ купилъ срубъ, поставилъ и отдѣлалъ его, и въ ту же зиму перебрался. Онъ все еще не говорилъ ни слова о томъ, кого онъ думаетъ принять къ себѣ, но напередъ устраивалъ маленькое хозяйство свое самъ и привелъ его въ такой порядокъ что помѣщикъ съ молодой женой не разъ заходили къ нему любоваться этимъ.—Что жъ,—сказалъ однажды баринъ, присѣвъ на лавку въ бѣлой избѣ Дмитрича:—вѣдь тебѣ старику одному и тяжело будетъ, и скучно; не повысмотрѣлъ ли ты себѣ кого?

Дмитричъ подперъ щетинистую бороду рукой, уставилъ сѣрые глаза свои въ подлавочье и, вздохнувъ, сказалъ наконецъ:—Скучно старику одному, сударь, разумѣется, что скучно: и домой пришелъ да словно на чужбину—все чужіе. Старики вымерли, насъ не дождались, молодые народились, насъ не спросились! А была бы милость ваша, такъ и я бы на старости лѣтъ людей насмѣшилъ.... «Ну, что же, говори Дмитричъ, жениться, что ли? Любую дѣвку бери»,—сказалъ, разсмѣявшись баринъ.—Нѣтъ, продолжалъ тотъ, почесывая затылокъ:—куда намъ....

дѣвка-то на нашего брата и смотрѣть не станетъ—да ужъ, и намъ, признаться, не до нея.... а вотъ, думалось бы то есть такъ, не пойдетъ ли за меня старика, коли милость ваша будетъ, Авдотья, вотъ она бы дружка была мнѣ, то есть ровня; мы, почитай. погодки; она одинокая, сердечная, осиротѣла кругомъ, стали бы мы съ нею жить вмѣстѣ—и поохали бъ дружно и на печку бы дружно—такъ и положили бъ, что будто Богъ свелъ!

Помѣщикъ тотчасъ же самъ пошелъ сватать старуху Авдотью за Астафьева. Она жила въ людяхъ, въ родѣ работницы и нахлѣбницы, и конечно уже не разсчитывала зажить когда-нибудь снова своимъ домкомъ, а и того менѣе попасть въ невѣсты. Сперва думала она, что баринъ шутитъ надъ нею; но потомъ понявъ, что рѣчь идетъ о дѣлѣ, и разсудивъ, что они оба круглые сироты, одинокіе вдовцы, что она притомъ была ближе всѣхъ къ покойницѣ женѣ Астафьева, и ходила за нею, и закрыла ей глаза—Авдотья поклонилась барину низехонько и сказала:—Что жъ, коли вправду—такъ ваша барская воля: станемъ вмѣстѣ съ Дмитричемъ Богу молиться, да другъ за другомъ ходить.

И свадьба Дмитрича съ Авдотьей состоялась. Забавно и грустно было смотрѣть на старика, который будто ожилъ и помолодѣлъ на седьмомъ десяткѣ, желая наверстать при концѣ жизни своей то, что обстоятельства заставили его утратить во время силы своей. Вся свадьба, по настоянію самого Дмитрича и къ большому утѣшенію всей деревни, сыграна была по всѣмъ строгимъ обычаямъ и принятымъ обрядамъ, причемъ было столько шуму, крику и смѣху, какъ давно никто не могъ запомнить. Нѣсколько разъ дѣвки собирались даже причитать и оплакивать дѣвичью красу Авдотьи, которая сердилась и кричала на нихъ

и съ трудомъ могла только угомонить ихъ тѣмъ, что по вдовѣ причетовъ такихъ не водится; самъ же Дмитричъ, напротивъ, подстрекалъ расшалившихся дѣвокъ, увѣряя что въ другихъ земляхъ причитаютъ одинаково и по вдовѣ, и что надо ввести обычай этотъ и въ Костромской губерніи.

Старички прожили спокойно зиму, настала и весна. Какъ только солнышко начало пригрѣвать землю, то они сидѣли оба рядкомъ на завалинкѣ, подостлавъ себѣ въ ноги соломки, привѣтливо кланялись прохожимъ и бесѣдовали другъ съ другомъ. Дмитричъ глохъ помаленьку и становился уже довольно тугъ на ухо; Авдотья слѣпла и давно уже не могла сама вдѣть нитку въ иглу; но они, не разлучаясь почти во весь день и помогая другъ другу во всѣхъ работахъ и занятіяхъ, дополняли и замѣщали одинъ другому взаимно недостатокъ зрѣнія и слуха. Она передавала ему, если онъ не дослышалъ, что другіе говорили, а онъ за то указывалъ или разсказывалъ ей то, чего она не могла разсмотрѣть, и оба были довольны: ему казалось, что онъ попрежнему чутокъ, прислушиваясь ухомъ Авдотьи, а она увѣряла, что видитъ все то, о чемъ толковалъ ей Дмитричъ. Это, впрочемъ, нерѣдко подавало поводъ къ забавнымъ недоразумѣніямъ. — Никакъ, Дмитричъ, это съ поля коровушки? — говорила Авдотья, глядя старику вопросительно въ глаза, а Дмитричъ, проведя рукою по подбородку своему, отвѣчалъ:—«бородушка?—бородушку поскребемъ вотъ въ субботу, къ празднику». Старички жили мирно, кротко и неразлучно, просиживая все свободное отъ работъ время рядкомъ, другъ подлѣ друга на завалинкѣ: тутъ бесѣда ихъ ограничивалась обыкновенно тѣмъ, что Дмитричъ разсказывалъ о томъ, что онъ видѣлъ, а Авдотья объясняла ему все, что слышала; изъ чего и слѣдуетъ, что источникъ бесѣды этой былъ неизсякаемъ.

Разъ они сидѣли такимъ образомъ и грѣлись на солнцѣ: оба они видимо дряхлѣли и тупѣли. «Вотъ, говорилъ Дмитричъ:—вишь, вонъ съ поля идетъ—здорово Стёпушка!—идетъ крестникъ твой, Степанъ,—много накосилъ, Степа? Ась?»—Немного, говоритъ, сломилъ косу,—повторила Авдотья вслѣдъ за крестникомъ, и продолжала:—А вотъ, Дмитричъ, слышишь: овечки на стойлѣ, на водопоѣ кричатъ,—и далече, да слышно!...

Но Дмитричъ, поддакивая по одной только привычкѣ, на этотъ разъ не слышалъ даже и того, что говорила ему Авдотья; потому что у него въ головѣ было другое; онъ, задумавшись, долго глядѣлъ вслѣдъ за Степаномъ и наконецъ, посидѣвъ молча, вздохнулъ и сказалъ: «А что, Авдотьюшка, вѣдь намъ не подъ силу и съ маленькимъ-то хозяйствомъ справиться; вѣдь ужъ наша пора миновалась... и баринъ то жъ, вѣдь онъ правду говоритъ, что надо намъ принять кого въ домъ: вѣдь ужъ мы съ тобой, то есть, вдвоемъ чай своихъ дѣтокъ не наживемъ... ась? что ты, Авдотьюшка, думаешь? Крестникъ твой, Степа, кажись, парень смирный, да онъ же одинокій сирота,—вотъ все равно, что и мы съ тобой,—не принять ли намъ его? Онъ попѣстуетъ насъ, а тамъ и похоронитъ, и вотъ избу съ хозяйствомъ ему покинемъ, все одно, то есть, что сыну; а то вѣдь помремъ, и пожалѣть-то насъ съ тобой некому будетъ!...

Авдотья, вообще соглашалась на все, чего Дмитричу хотѣлось; но здѣсь, изъ всѣхъ приведенныхъ имъ причинъ, послѣдняя показалась ей всего убѣдительнѣе, то есть, что некому будетъ надъ ними поплакать. Притомъ крестника своего, Степана, старуха любила и часто жалѣла объ немъ: что живетъ-де онъ въ чужихъ людяхъ, да и у людей-то несовсѣмъ добрыхъ, и что ему, бѣдному сиротѣ, тяжело. Итакъ,

на другой же день Степа принесъ подъ мышкой кой-какое отрепье свое, помолился передъ образомъ, а помолившись, поклонился въ ноги названному отцу и крестной матери и остался навсегда у нихъ въ домѣ. Онъ точно былъ парень смирный, въ общемъ и частномъ значеніи этого слова, то есть и безотвѣтенъ, и простенекъ, но впрочемъ работящъ, какъ волъ. Къ этому привыкъ онъ смолоду, какъ сирота, проживавшій то тутъ, то тамъ, всегда на чужихъ хлѣбахъ.

Дмитричъ съ Авдотьей возложили на пріемыша своего все хозяйство внѣ дома, а сами ходили только около избы да очага, заботливо присматривая за всѣмъ. Степанъ былъ работникъ ретивый, когда его заставляли работать и смотрѣли за тѣмъ, чтобы онъ дѣлалъ дѣло съ толкомъ, и потому у нихъ все шло хорошо. Старички поуспокоились и начинали отдыхать отъ прежнихъ трудовъ и заботъ; Дмитричъ теръ табакъ—это было любимымъ его занятіемъ,—изрѣдка связывалъ пару щетокъ и отправлялся съ ними къ барину на поклонъ; Авдотья сучила тоненькія восковыя свѣчи, коли ей удавалось добыть гдѣ-нибудь кусочекъ воску, и разносила ихъ, по обѣту, къ-той либо другой иконѣ, изъ числа бывшихъ на селѣ у крестьянъ. Остальное время сидѣли они вмѣстѣ дружно на завалинкѣ и бесѣдовали то о томъ, чего Дмитричъ не слышитъ, то о томъ, чего Авдотья не видитъ.

Однажды Авдотья также ссучила небольшую свѣчку и пошла съ нею къ барынѣ, поклонилась и просила позволенія поставить ее передъ иконой Параскевіи-Пятницы, которой она это давно уже обѣщала, но долго не могла добыть воску.—Гдѣ же ты у меня квидѣла, матуша, образъ этотъ?—спросила барыня:—у меня такого нѣтъ. «А какъ же, матушка, въ большомъ-то покоѣ у васъ,—отвѣчала старуха:—вѣдь я

помню, даромъ, что теперь слѣпая, хорошій такой, большой, въ окладѣ-то!»—Да это,—продолжала барыня:—это образъ Архангела Михаила!—«Ну, подхватила та:—вотъ ему-то я и обѣщалась, матушка, право, ей Богу, онъ-то и есть самый; такъ ужъ позвольте, коли милость ваша будетъ....»

Барыня съ удовольствіемъ согласилась на желаніе Авдотьи, которая, усердно помоливши, доколѣ свѣча ея не сгорѣла до конца, воротилась домой успокоенная и предовольная; она присѣла рядкомъ со старикомъ своимъ на завалинку. «Дмитричъ!—сказала она:—ты меня послушай: вотъ я молилась, все, вишь, молюсь, да и вижу, что святая-то угодница манитъ меня къ себѣ; я вотъ будто и упала передъ нею — а тутъ вотъ ровно я какой свѣтъ увидѣла; такъ я помолилась и встала»...—Ну что жъ,—сказалъ Дмитричъ, не дослышавъ и половины:—это хорошо, Авдотья, молись!—«Хорошо, мой родимый, да видно мнѣ ужъ скоро умереть; видно, Господь приберетъ меня скоро!» — Что такъ, Авдотья? про это никто не знаетъ, всѣ тамъ будемъ, кому когда придется, этого не минуешь.—«Такъ, Дмитричъ ты мой, да вотъ крестника-то жаль покинуть, надо его хоть женить, тогда пусть живутъ себѣ съ Богомъ, что при насъ, то безъ насъ.»

— Что дѣло, то дѣло, проворчалъ Дмитричъ: — женимъ его, такъ у насъ съ тобой и дѣтки будутъ. И то правда. А на комъ?—Старики принялись пересчитывать всѣхъ дѣвокъ на селѣ и долго не могли ни на одной остановиться: изъ зажиточнаго дома не пойдетъ за бѣдняка; изъ бѣдныхъ—тяжело будетъ самимъ содержать хозяйство; та хила, та ославилась, у той, слышно, есть уже женихъ на примѣтѣ—словомъ, старики стали втупикъ. «Дай спросимъ у Степы, можетъ статься, не задумалъ ли онъ самъ чего, нѣтъ

ли у него кого на умѣ....» Но оказалось, что Степа не прочь былъ отъ женитьбы, хоть онъ очень стыдился этого и потому закрывался шапкой, въ которую напередъ засунулъ оба кулака; указать же на предметъ страсти своей не могъ, а предоставлялъ выборъ невѣсты въ полной мѣрѣ и неограниченно своимъ старикамъ.

— Ну,—сказалъ Дмитричъ:—коли такъ, пойдемъ къ барину да станемъ просить за него Фіону: я сирота, ты сирота, онъ сирота, она сирота — вотъ мы четверо соберемся въ кучку, подъ одну крышу, да и заживемъ!—«Что ты, Дмитричъ, да это озорь дѣвка,»—сказала Авдотья.—Ну, отвѣчалъ старикъ, козырь не козырь, а такъ, то есть живетъ... да что, съ лица не воду пить, дѣвка здоровая!—«Да зла больно,—продолжала старуха:—вонъ и Прокофьевна ужъ ходила просить на нее къ барину—зелье, говоритъ, такое—не приведи Богъ!»—Жаловаться-то на сироту всякъ гораздъ,—сказалъ Дмитричъ:—а спроси-ко, ей-то каково? Вѣдь она у насъ не начальницей какой будетъ, не командиршей: а чай все изъ нашихъ же рукъ глядѣть станетъ: мы сиротъ примемъ, и насъ Господь не оставитъ. — Авдотья, богомольная и крайне жалостливая до сиротъ, согласилась.—«Ну, какъ знаешь, Дмитричъ, такъ и дѣлай, я отъ твоей воли не прочь.»

Фіона точно была круглая сирота, безъ куска своего хлѣба, и потому, безъ сомнѣнія, заслуживала бы общаго участія и сожалѣнія—но она ославилась злою дѣвкой, и ее никто не хотѣлъ принимать къ себѣ въ домъ; поэтому она принуждена была идти въ подпаски, и все еще оставалась при этой должности, хотя ей и было уже за двадцать лѣтъ. На все это старики наши не обратили сперва должнаго вниманія; по крайней мѣрѣ, Дмитричъ, не понимая, чтобы за добро можно было сдѣлать зло, отстаивалъ Фіону съ большою са-

моувѣренностію, и когда стали его предостерегать сторонніе люди, то онъ и ихъ также не хотѣлъ слушать, говоря, что она бѣдная сирота въ загонѣ и, попавъ въ порядочную семью, за смирнаго человѣка, на готовое хозяйство, не попомнитъ добра зломъ, а ужь, конечно, будетъ смирна, покорна и послушна; «поучимъ ее,»—прибавилъ онъ, какъ опытный воспитатель, не подумавъ, что у него такихъ воспитанницъ въ рукахъ не бывало.

Дмитричъ надѣлъ свой сюртукъ, насыпалъ въ тавлинку свѣжаго табаку, будто собирался идти въ походъ, взялъ палку и пошелъ къ барину, который сидѣлъ на крыльцѣ и смотрѣлъ лошадей. — Здорово, Дмитричъ, что скажешь добраго? Не въ крестные ли отцы зазываешь?—«Здравія желаю»,—отвѣчалъ онъ, мѣрно подступая, съ фуражкой въ рукахъ.—На крестины, что-ли, зовешь?—закричалъ баринъ погромче. Дмитричъ ухмыльнулся: «Никакъ нѣтъ, на свадьбу» — Какъ такъ?—«Да хотѣлось бы женить Степана, пришелъ къ вашему благородію за невѣстой».—Доброе дѣло—ну, вотъ подожди до весны, я велю тебѣ привести хорошую невѣсту изъ Яруги.—«Много благодарны, да ждать-то намъ не приходится: хотѣлось бы пристроить при себѣ Степана.... Коли будетъ ваша милость, пожаловать Фіону»....—Фіону? да ее, братецъ, что-то всѣ обѣгаютъ, нигдѣ она не уживается... —«Гдѣ-же сиротѣ ужиться, ее, чай, всякъ норовитъ обидѣть, извѣстное дѣло; мы и сами сироты, да коли сиротъ призримъ, то они уважатъ насъ и Бога умолятъ. Вотъ мы отъ Степана, нечего грѣшить, и слова худого не слыхали!»—Ну, какъ знаешь, Дмитричъ, коли сами этого хотите, то съ Богомъ. Можетъ статься, ты и правъ и задумалъ доброе дѣло. Съ Богомъ.

На Фіонѣ были доселѣ одни только лохмотья, а

путной лопатинки не бывало. Дмитричъ одѣлъ ее хорошо и чисто и самъ ею любовался; Фіонушка кланялась и благодарила, онъ ей читалъ наставленія — она слушала и молчала. Степана съ Фіоной обвѣнчали, старички повеселѣли; Дмитричъ былъ доволенъ, что пристроилъ двухъ сиротъ и самъ сдѣлался настоящимъ семьяниномъ; онъ уже готовился мысленно къ воспитанію внучатъ, припоминая, какъ онъ ростилъ и кормилъ, и пѣстовалъ когда-то, и выняньчилъ осмерыхъ дѣтей сряду, не считая свояченицъ штабъ-лѣкаря, которыя были уже не такъ малы, и онъ напѣвалъ уже про себя, какъ тогда бывало: «Вареная пятока съ инбиремъ, варилъ ее дядя Семіонъ, Семіонъ...»

Но не долго пришлось старику тѣшить себя этими сладкими мечтами. Уже на третій или четвертый день по свадьбѣ, Фіона, разгнѣванная чѣмъ-то, молчала упорно весь день, отворачивалась отъ всѣхъ, косилась на людей изподлобья, стучала посудой и бросала каждую вещь изъ рукъ, вмѣсто того, чтобы ее положить или поставить. Прошло дня два, среди затишья, и старики было успокоились; но затѣмъ вдругъ въ душѣ или сердцѣ Фіоны поднялась такая страшная буря, что Дмитричъ съ Авдотьей просидѣли весь день за воротами, вздыхая, покачивая головой и поглядывая вверхъ, гдѣ крикъ, брань и проклятія раздавались съ самаго утра и до вечера, хотя Фіона была тамъ одна, потому что и Степа ушелъ отъ нея въ поле. Дмитричъ прислушивался повременамъ и спрашивалъ вполголоса Авдотью: что она?—А старуха отвѣчала на это, кивнувъ головой и махнувъ рукой, дескать: пусть ее, молчи.—Да что она кричитъ еще?—спросилъ старикъ. Авдотья повторила тотъ же знакъ, не смѣя даже и за воротами сказать громкаго слова, чтобы лютующая Фіона его не услыхала. Такъ старики просидѣли весь день до вечера и не обѣдали; Фіона не звала ихъ,

потому что ничего не варила. Степанъ воротился съ поля и, заглянувъ только въ избу, ушелъ отъ крику и присѣлъ молча къ старикамъ на завалинку. Поздно вечеромъ всѣ они улеглись, когда уже Фіонушка выбилась изъ силъ и уходилась.

Управился бы, можетъ быть, въ прежнее время Дмитричъ съ этимъ чортомъ, несмотря на всегдашнее миролюбіе свое, но теперь была не та пора: онъ уже почти начиналъ впадать въ ребячество, до того онъ сталъ дряхлѣть. Знать, пришла пора. Попытался было онъ прочитать названной сношенькѣ своей наставленіе, думалъ таки усовѣстить ее, но она отвѣчала ему однимъ крикомъ и бранью, а наконецъ ухватила два лучшихъ поливанныхъ горшка и грозилась сейчасъ же ударить ихъ объ земь, если онъ не замолчитъ: жаль стало Дмитричу горшковъ, и онъ замолчалъ, проворчавъ только: горшки на что бить—горшки ничѣмъ не виноваты.

Чрезъ нѣсколько дней опять пошло то же: брань, крикъ и проклятія сыпались съ утра на безотвѣтнаго мужа, на старика и старуху. Дмитричъ вышелъ изъ терпѣнія, пошелъ съ жалобой къ барину; баринъ очень разсердился на Фіону и приказалъ міру разсудить ее: міръ высѣкъ ее розгами, а она, пришедши съ крикомъ и ревомъ домой, столкнула мужа съ высокаго крыльца и повыкидала всѣ горшки изъ окна. Остальное время этого дня она провыла въ избѣ голосомъ при открытыхъ окнахъ. Сосѣди приходили было ее унимать, но она выпроваживала ихъ помеломъ.

Дмитричъ сталъ крѣпко призадумываться, ужъ и самъ не зная, что дѣлать,—а житья ему со старухой не было. Поздняя осень согнала ихъ съ любимой завалинки, они поневолѣ сидѣли на печи, откуда Авдотья не сходила уже нѣсколько дней, слабѣя и забываясь по временамъ; ухаживая за нею, Дмитричъ опять было

нѣсколько ожилъ, приободрился и получилъ какой-то нравственный перевѣсъ въ домѣ, но это было не надолго. Авдотья скончалась, Дмитричъ прожилъ съ нею всего года два, но оплакивалъ ее горько. Съ этого времени онъ не могъ уже найти дома никакого покоя: онъ бродилъ изъ угла въ уголъ, копался во дворѣ, садился за ворота—на все оглядывался по сторонамъ, будто тутъ кого не доставало, и не зналъ, куда съ тоски дѣваться. Фіонушка бѣсновалась день за день, и Дмитричу казалось, что онъ жилъ въ аду. Обѣдъ почти никогда не варился, а въ избу никому не было приступа.

Разъ утромъ, старикъ сидѣлъ на печи; ему хотѣлось поѣсть, и была уже пора завтракать: Фіона не думала собирать на столъ и бранилась вмѣсто того съ мужемъ. Степанъ молчалъ, старикъ вздыхалъ, а Фіона пуще выходила изъ себя, потому что ей не к чему было придраться. Наконецъ, ставъ передъ Дмитричемъ, она осыпала его упреками и бранью, и притомъ съ такою злостью, что, крича ему надъ ухомъ, почти вцѣпилась старику въ волосы.

Дмитричъ будто проснулся ото сна: онъ поглядѣлъ на невѣстку, слѣзъ молча съ печи, вышелъ изъ избы — и больше нога его въ ней не бывала. Онъ пошелъ въ клѣть, досталъ солдатскую шинелишку свою безъ погоновъ, надѣлъ ее сверхъ полушубка, обулся въ лучшіе сапоги, сверхъ теплыхъ подвертковъ, взялъ котомку, шапку, рукавицы и тотъ же посохъ, съ которымъ пришелъ нѣкогда домой, перекрестился нѣсколько разъ и спокойно пошелъ со двора. Кой-кто на деревнѣ видѣли его и посмотрѣли вслѣдъ за нимъ, не зная, куда бы и зачѣмъ это Дмитричъ побрелъ; одна только баба слышала, что онъ ворчалъ про себя: «Богъ съ ней и съ избой, не видалъ я избы! На старое мѣсто пойду, въ полкъ, тамъ лучше»

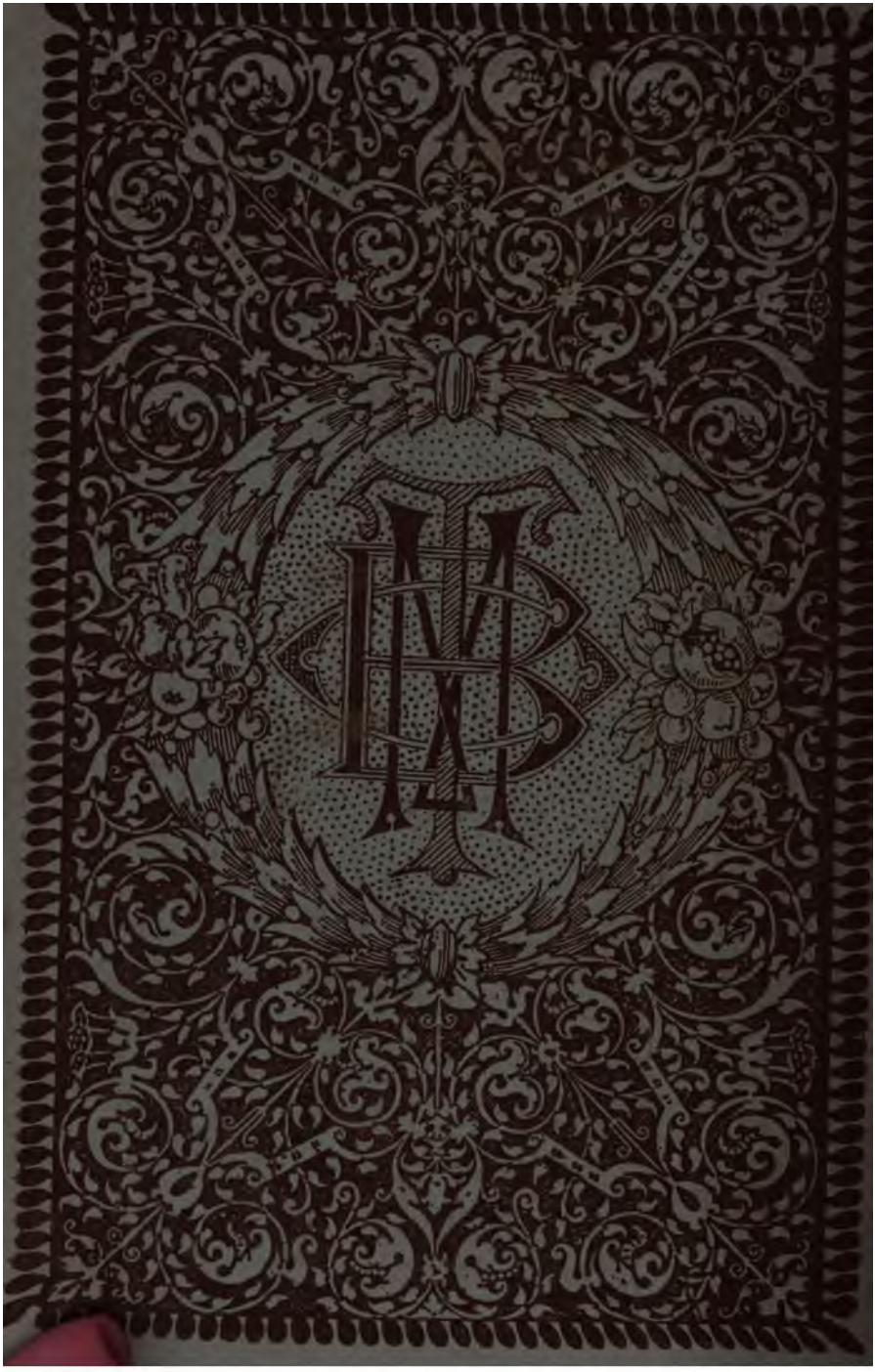
Больше Дмитрича не видали, и куда онъ пошелъ, и далеко ли дошелъ—никто не знаетъ. Но, проходя мимо кладбища, на горкѣ, онъ зашелъ туда и, видно, молился на Авдотьиной могилѣ—это разсказывалъ послѣ свинопасъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВАГО ТОМА

	стр.
КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ	V
ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЬ ИГРИВЫЙ—повѣсть	1
ОТЕЦЪ СЪ СЫНОМЪ—старая погудка на русскій ладъ	106
ГДѢ ПОТЕРЯЕШЬ, НЕ ЧАЕШЬ, ГДѢ НАЙДЕШЬ, НЕ ЗНАЕШЬ — ключъ, ладъ и строй пѣсни	180
ГОФМАНСКАЯ КАПЛЯ—повѣсть	209
ОТСТАВНОЙ	290

891.73
D131
V. 1



Stanford University Libraries
3 6105 013 373 589

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 1 0 1996
(SEP 10 1996)

Stanford University Library
Stanford, California

БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
КНИГА IV — 1879 ГОДЪ
ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ